

84(2р=Балх)

Т 346

1035820

1035820



Алим Тенгеев
ТЯЖЕЛЫЕ ЖЕРНОВА



79 ✓
Алим Теппеев

ТЯЖЕЛЫЕ ЖЕРНОВА

РОМАН

Авторизованный перевод с балкарского **И. Каримэва**

1035820 ✓

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1985

Каб.-Балк. гос. п. Училища научная
Библиотека
имени Н. К. Крупской

С/531-к/2
С/60/2
Т/1

Художник Л. М. Хайлов

Тенпсев А. М.

Т34 Тяжелые жернова: Роман/ Авториз. пер. с балк.
И. Каримова.— М.: Сов. Россия, 1985.— 384 с., ил.

Роман одного из ведущих прозаиков Кабардино-Балкарии «Тяжелые жернова» рассказывает о борьбе горцев с фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны.

Герои романа — советские люди, которые в условиях оккупации сохранили дух свободы и независимости и самоотверженно боролись с врагом.

Острые сюжетные повороты, яркие характеры людей, преданных социалистическому Отечеству, отличают авторскую манеру.

Т $\frac{4702100000-152}{M-105(03)85}$ 124—85

С(Кав)2

И тогда бог Грозы сел на землю,
 Потекли его слезы тогда,
 словно река.
 Весь в слезах, бог Грозы тогда
 слово сказал:
 «Кто же выстоит в битве с
 чудовищем этим?
 Кто же сможет сражаться?
 Кого же чудовище не устршит?»
 Из «Песни об Улликумми»

Но жернова дробили зерна,
 и продолжал пылать очаг.
 Кайсын Кулиев

ЗАЧИН



На ныгыше¹ сидели старики. Опечалены были они: плохие пришли вести. Как сбывшееся проклятие, надвигался на аул враг. И собрались старики посмотреть друг другу в глаза. Они знали: плохие вести всегда сбываются. Но похоже было, что эта весть заставит забыть все беды, что пережили раньше. — Нет, не может этого быть, — сказал Тебо.

Никто не ответил ему.

— Говорят, ты строгий счет ведешь, Биязурка, — сказал Казак сидевшему рядом старику. — Сколько мужчин ушло на фронт из Жамауата?

— С теми, кто ушел вчера? — спросил Биязурка, не поднимая головы.

— От самого первого до вчерашних, за весь год войны.

— Семьсот шестнадцать... Вернувшихся инвалидами... девятнадцать... — Биязурка помолчал, выписывая палкой какие-то узоры на земле, спросил: — О тех, на кого черная бумага пришла, тоже сказать? — И, не дожидаясь ответа Казака, вытащил из нагрудного кармана сложенный вчетверо потертый уже на сгибах тетрадный лист.

¹ Ныгыш — место в ауле, где собираются мужчины; собрание мужчин.

— Оставь ради бога, Биязурка, оставь,— взмолился Тебо, он на днях только получил похоронную: под городом Харьковом погиб младший брат его Мусабий.

Биязурка, словно боясь взглянуть в лицо Тебо, долго смотрел в свои каракули; руки его чуть вздрагивали — и арабские буквы, написанные химическим карандашом, прыгали перед его потускневшими глазами.

— Так и есть, никого не осталось, не на кого опереться,— сказал Казак, опуская руку в глубокий карман вельветовых шаровар.

Он вытащил оттуда кисет, золотой узор которого уже начал расшиваться, и развязал его. По ныгышу медовым облачком прошел запах табака. Потом Казак достал из кисета сложенную для самокрутки газету и оторвал листок.

— Много погибло, земля им пухом,— сказал наконец Биязурка.

В тяжкие дни старики Жамауата собирались вот так и решали, как быть. Ныгыш — это был ныгыш, и, покуда найдутся в ауле мужчины, которые могут обдумать все и сказать верное слово, он не остынет. Сюда, на большой ныгыш, называемый испокон веков холмом Ашуга, последние полвека первым приходил Жарнес. После него — Сохта из Байрымовых. Ему, наверное, было лет девяносто — так утверждал Жарнес, покуда Сохта был жив. Ибо когда по случаю второй женитьбы Жарнеса зарезали жертвенного быка и мочевой пузырь того быка дали, как и положено, мальчику, то мальчиком этим оказался Сохта. Сохта же утверждал, что ему достался альчик¹ быка, но Жарнес стоял на своем: он точно помнил, Сохта получил мочевой пузырь. (Будто других забот не было в свадебный день у жениха Жарнеса, как следить, что получил малыш Сохта — альчик или пузырь.) А те, кто доподлинно знал, как было на самом деле, — то есть те, кто резал быка и подарил мочевой пузырь (или альчик?), давно уже покоились в земле. Но по нашим подсчетам, если Сохта был тогда малышом, который забавлялся тем, что пускал воздух из бычьего пузыря, то, когда он умер, ему было не девяносто, а несколько меньше.

В общем, темная это история, но другие ныгышчане, забыв, что сами они родились много позже того незабвенного быка, мочевой пузырь и альчик которого стали предметом неразрешимого спора, то есть куда позднее второй женитьбы Жарнеса, горячо кидались в спор:

¹ Альчик — игровая говяжья надкопытная кость.

— Нет, это был пузырь! (Кесиуан.)

Подумай, что ты сказал, Кесиуан! Я своими глазами видел: Сохте достался альчик. (Бияка.)

— Клянусь...

— Не клянись. От неверной клятвы живот схватит.

— И живот не схватит! Клянусь, я сам вырвал пузырь из рук Сохты, когда тот, пакостник, пускал из него ветры вслед Айсейирову Кануко! (Курман-хаджи.)

— Алааны, жив ли Айсейиров Кануко? (Сам Жарнес.)

— Оскуда жив, будь благословен твой дом! — кричал ему на ухо хромой Кыйык. — Он умер. Когда в Безенги чума была. По пути оттуда и умер. Прямо в своей арбе. Сами волы привезли его в аул.

— И некому было похоронить его. Все боялись.

— Пойди сам и похорони чумного-то.

— Хаджи Алиймирза пошел с двумя сыновьями и похоронил. Он же устроил ему аш¹, зарезав волов. Мне отец рассказывал.

И те, кто спорил, уже не помнили, с чего начался спор, как не помнили год своего рождения. Но есть ныгыш — есть и спор. Залетал воробей, клевал крошки табака, оброненные Казаком, удивленно смотрел на Жарнеса: какую только гадость не клюют эти люди.

— Не твой ли воробей, Жарнес? — спрашивал Кыйык.

И ныгыш переходил к обсуждению житья-бытья Жарнесовых воробьев.

— Жарнес, сколько их у тебя?

— Что-о? — подносил он ухо ко рту вопрошающего.

— Сколько у тебя воробушков? Числом сколько?

— Сто!

Жарнес говорил не раздумывая: для него «сто» было серьезным числом, достойным, чтобы его называл мужчина.

— Жарнес, а сколько же тебе лет примерно?

— Ну... сто... Должно быть, так...

— Ну, что ты, Жарнес, сто и мне стукнуло, — с усмешкой говорил Биязурка.

— Ну и тебе, наверное, сто. — Но, тут же передумав, он набрасывался на непонятливых ныгышчан: — Отступники, а сколько же мне лет? Видите палку! По голове получите, лазим². Кыкын из Жаубермезовых жил, покуда святым не стал. Не то что я!

¹ Аш — похороны, поминки.

² «Лазим», точно так же, как и слова «олахий», «биллахий», «тейри», «валлахи» — часто употребляемые в клятве имена божеств.

Ордаи:

— И ты хочешь стать святым, е-а, Жарнес?

— Я правду и говорю. Мне будет... В том году в Сын-конуше скот пал от чумы... Шырдаи, смотри, пристаю! Сказать им, что ли? Совестно только...— И решившись:— Пророк Локмаи еще был жив, я его своими глазами видел! Вот!

Биязурка:

— Ты уже сам святым стал, Жарнес.

— Отцом кир-рянюсь, пророк Рокмаи и сейчас живой, так что, может быть, и видер,— соглашался Ережип, со дня рождения своего ни разу, кроме как в думах, не одолевший звука «л».

Шырдаи, у которого искал поддержки Жарнес, в Жамауате никто не знал. Он был невидимым собеседником Жарнеса и приходил к нему, когда Жарнес терялся или гневался. Никто в присутствии Жарнеса не смел помянуть имя Шырдаи. Только помяни — палка Жарнеса начинала играть в воздухе. Поэтому только самые безрассудные могли спросить его о Шырдаи.

Жарнес повернулся к Биязурке:

— Косил ли ты, бедный сын Геуюза, в этом году? Сколько копен сложил?

— Я не Геуюза сын, я сын Кыштыу.

— Биязурка, ты, негодный? Ну, если сын Кыштыу, то, конечно, косил.

— Да, Жарнес, уже повесил косу.

— Удиршиком¹ стал, значит.

Тебо из Жанкуатовых:

— Тейри, лазим, если кто и умел косить, так это когда-то Жарнес. А теперь Гейтмырза. Никому догнать его не под силу, разве только Байчо.

— В этом селе первым намаз совершил Кыкын,— вспоминал Жарнес,— а вторым я.

Третьим — после Жарнеса и Сохты,— в бараньей шубе, перекинув руки через заложенную за спину палку, приходил дюжий Биязурка из Чегета. О чем бы ни шла беседа, он слушал внимательно, с каким-то одним, глубоким, чувством, и только восклицал порой: «Чудеса!», «Вот потеха!», и конец его палки выплясывал долгий безмолвный танец в пыли пыгыша. В то время в Жамауате только Биязурка имел часы, и, если стояло ненастье, чтобы узнать, не пора

¹ Искаженное — ударник.

ли совершать полуденный намаз, посылали к нему детей. И дети, подбежав к дому Биязурки на расстоянии своего голоса, кричали: «Ой, Биязурка-а, что часы говорят, не пора ли совершать намаз? Отец спрашивает: может, пора-а?»

Четвертый и пятый приходили из Ажоки вместе — Казак из Жапхотовых и Тебо из Жанкуатовых. Они были соседями. И ни Ажока, ни Кюнлим не знали, мирно и в ладу они живут или исходят силами в вечной распре. «Пес с волком» или «душа с телом»? Это был такой же спор, как «пузырь или альчик». Что бы ни сказал Казак — Тебо шел против него. И на каждое слово Тебо Казак набрасывался с такой яростью, будто не слово это было, а уголек, который пужно затоптать немедленно, пока он не учинил пожара. Поэтому и предполагали, что день-деньской грызутся они, как пес с волком.

Но с другой стороны, если посмотреть, как, мирно беседуя, шагают они на ныгыш, и особенно — какие добрые соседки Ляпшу, жена Тебо, и Майруш, жена Казака, можно было заключить, что эти два дома живут, как душа и тело.

Тебо имел тридцать девять баранов, трех коров, одну телку, осла с семейством — ослихой и осленком; число же баранов у Казака не достигало тридцати девяти, и коров у него было не три, а две, что же касается телок и ослов, то пусть у всех у нас в судный день будет столько грехов: ни единой телки, ни одного осла. Но у Казака был конь! Желтогривый скакун! Когда Тебо запрягал своего — чтоб он подох! — осла в двуколку и, тарахтя, катил по каменной дороге, Казак проскакивал мимо верхом на желтогривом (говорил он при этом Тебо «салам алейкум» или не говорил — никто не знал, Тебо его салама не слышал, а других свидетелей не оказывалось), Тебо, еще издали слышав топот тех проклятых копыт, начинал чернеть, а когда Казак пролетал мимо, срывал гнев на бедном осле. Осел Тебо, в ушастую голову которого уже запала эта связь между цокотом копыт и обжигающими ударами хозяйского кнута, как только конский топот настигал двуколку, поджимал хвост между ног и начинал судорожно вилять.

Но не потому Тебо каждый раз, как говорится, надевал рубашку из огня, что у Казака был конь, а у него нет. Тебо мог купить их сколько угодно — хоть на каждый палец по одному, но в том-то и дело, что Казак не покупал коня — он выиграл желтогривого! Они с хозяином желтогривого, кабардинцем, поспорили, кто лучше знает кабардинский

язык, и Казак обыграл его на слове жаль — подбородок, водшея коня. Тебо-то и купил бы, но может ли купленная лошадь сравниться с выигранной? А ведь надо знать, что и Тебо мог обыграть кабардинца на таком слове. Вот почему у Тебо колело в сердце каждый раз, когда он видел Казака верхом на желтогривом. Потому и продолжал ездить на осле. И хорошо, что на ныгыш ходят пешком.

Итак, четвертым и пятым приходили Казак и Тебо. После них приходили: Курман-хаджи, после Курмана-хаджи — Латырай из Тамазовых; после Латырая — Ережиш — так прозвали Муссу из Атабаевых, после Ережиша — Галай, последним приходил Кыйык из Кесиуановых. Слово Кыйык — означает «кривой», а звали его Тана — «теленок». Так что он скорее был согласен на прозвище, чем на собственное имя.

Но именно с его приходом начиналось решение самых серьезных, неотложных дел в Жамауате.

— Сын Кесиуана, прямой ты сегодня или кривой? — спрашивали его.

Вопрос этот имел глубокий смысл, а по-иному спросить о том, о чем они хотели узнать, было нельзя. Узнать же хотели: не согрешил ли он с Батчау (прозвище ее было Кымпырт — Курносая), которая и по сей день была стройна и всегда свежа, и соседки говорили о ней: «Кымпырт, как бронзовый кумган, всегда одинакова». Так вот мужчины, прежде чем приступить к решению насущных вопросов, желали знать — трогал сегодня Кыйык свою жену, сноху покойного Кесиуана, или не трогал. Прямой — значит, не трогал. Кривой — грешен. Не будем углубляться, ныгышчане знали, о чем спрашивали, а сын Кесиуана пока что был из тех, кто умеет косить с размахом... Как дело обстояло, так он и отвечал, вызывая всеобщую зависть:

— Тейри, делайте, что хотите, но подлинно кривой!

— Отступник! — взрывался негодованием ныгыш.

— Нечестивец!

— Вот почему так весела сегодня Батчау.

Очнувшись от криков, Жарнес спрашивал очень кстати:

— Сын Кесиуана, что поделываешь?

Тебо, всегда сидевший рядом с Жарнесом, кричал ему в ухо:

— Не надо, Жарнес, не спрашивай, что он поделывает!

— Что-о?

— Говорю, не спрашивай, чем он занимается!

— А что, косил он свою делянку?

— Косил, косил, Жарнес, еще как, говорит, косил!

Другим важным вопросом, который обсуждался на ныгыше, был календарь.

— Жарнес, каким будет год?— спрашивали на ныгыше. Жарнес, коли был в настроении, говорил, каким по приметам будет год. Но когда бывал не в духе, отвечал:

— Подите спросите у аллаха. Идите, идите, спрашивайте у него!

— Ведь аллах твоими устами говорит, Жарнес!

Это нравилось Жарнесу, он становился молодым, сильным. А природу он знал безошибочно.

Так проводили время старики на ныгыше.

Теперь ныгыш опустел. Одни умерли, другие, помоложе, ушли. Умер Сохта из Байрымовых. И род его кончился. Единственный сын его — Зеке — погиб еще в японскую войну. Сын Зеке — Зейтун — считался большим человеком: он был директором маслосырзавода, но Мачар, отпрыск Молаевых, оговорил Зейтуна ради места его. Так и не вернулся Зейтун в свой аул, неизвестно, что с ним случилось, да у него и не осталось никого, чтобы пойти и разузнать. Бияка погиб во время ташыуула¹, его забодал бык. Бияка человек был не из видных, но его уважали из-за отца — известного всему Баксанскому ущелью певца Жантака. На самом деле его звали Окулай, но он немного хромал, вот и прозвали Жантак — хромой. Дом его стоял вот здесь, на холме Ашуг. Предание гласило, что и ныгыш стал собираться здесь благодаря ему. Жантак был упрям, от своего слова не отступал никогда. Однажды на какой-то свадьбе он спел песню про молодого хвастуна, княжеского сынка. И князья эти, паленые души, огнем отрыгивающие, не простили ему! Открыто тягаться с певцом не могли, так подловили его, когда он возвращался из Карачая, и сбросили со скалы. Бияка в отца не пошел, был человек смирный и бесталаный. И оттого, когда родился у него сын — Хачамаука, родственники радовались, что у смиренного Бияки родился тьякчи — носитель пастушечьей палки. Было чему радоваться, а кто еще мог родиться от тьякчи, кроме тьякчи!

Но, видно, и батрак устает батрачить. Хачамаука, когда вырос, пошел не в батраки, а в солдаты. Потом здесь же, на ныгыше, говорили, что при одном имени Хачамауки белых начинала дергать икота. Он первым водрузил красное знамя над аулсоветом Жамауата. Вот кто унаследовал кровь

¹ Т а ш ы у у л — время завоза сена.

Жаптака! Но в 1927 году его вот здесь, на холме Ашуг, в доме деда зарезали бандиты. Жена его Жамилят пережила ту страшную ночь, но ненадолго. Не вынесла горя и вскоре тоже умерла. Единственным продолжателем рода Жаптака остался сын Хачамауки — Харун, которого по добромучаю в ту ночь не было дома, джигитовал где-то на свадьбе.

Отец Кыйыка — Кеснуан — умер еще совсем молодым от болезни, которую называют туююнмек — узелок, потому что женщины лечили от нее тем, что завязывали и развязывали тесьму на животе больного. Многих таким образом спасли женщины Жамауата, и если Кеснуан умер — не их вина, они сделали все, что могли, а богинями не были даже женщины Жамауата. Теперь эту болезнь называют аппендицитом.

Гейтмырза, Галай, Кичинау и еще много ныгышчан ушли на фронт. Но какие бы ни наступали времена, сколько бы мужчин разом ни уходило из аула, ныгыш оставался, он был душой аула, и это знал каждый, кто носил шапку. Старики умирали, молодые становились старыми, и тепло ныгыша никогда не остывало.

В последние дни и Жарнес приходил сюда редко — все больше сидел у себя во дворе. А без него ныгыш — что очаг без огня, кош¹ без пса. Поэтому старики, посидев на ныгыше и видя, что Жарнеса нет, молча вставали и шли к нему во двор. Жарнес быстро привык к этому и говорил прохожим: «Передайте там, что сегодня я не смогу пойти туда».

Услышав горькую весть о том, что враг наступает в Жамауат, он странно засуетился, стал чаще и громче обычного разговаривать сам с собой и чаще стал приходиться к нему Шырдан. Жарнес не стерпел и пошел на ныгыш. Пришел к сел, подобрал бережно подол изношенной черкески, положил руки на изгиб палки и сидел не шевелясь, не оглядываясь, словно боялся, что оглянется — а враг уже тут.

* * *

Три разных мира составляли аул Жамауат — старики, молодежь и женщины. И каждый из этих трех миров — хотя внешне жили они в единстве и согласии — таил в душе обиду на какой-нибудь другой. Старики считали, что молодежь совершенно непомятлива, что она совсем не похожа на сво-

¹ Кош — стоянка, жилище пастухов.

их славных отцов; молодые, наоборот, думали, что старики ущемляют их, не дают им по-настоящему развернуться; женщины же были уверены: когда бы не они, женщины, то и старики и молодые давным-давно разбрелись бы по белу свету. Но кто знает, возможно, как часы, по утверждению Латырая, делает часами пружина, сидящая у них внутри, так и Жамауат делало Жамауатом оно — недовольство стариков молодыми, а молодых стариками, и убежденность женщин, что без них давно бы пропали мужчины этого строптивого и непоседливого аула.

Впрочем, из этих трех миров состоит, вероятно, и любое человеческое поселение. Но в отличие от остальных большой Жамауат делился еще на четыре аула и поэтому имел четыре норова-характера. Кюплюм, Чегет, Ажока, Езен, как четыре времени года, никак не могли поладить между собою и никак не могли обойтись друг без друга.

Весною и летом, но особенно в осеннюю страду кюплюмчане забывали, как зовут брата; люди Ажоки не видели, как идет дым из соседского очага, даже если бы этот дым стлался им прямо в глаза, не замечали, чей сын на чью дочку поглядывает. Езенчане утверждали, что ждать добра от молитв, совершаемых в Чегете в ту пору, бессмысленно: так наспех и без всякого благочестия читали их. Конечно, при таком поношении их молитв Чегет вскипал от возмущения — «болтливый, пустопорожний Езен!» — но перелить возмущение в хороший, освежающий скандал было некогда. Вот, к примеру, самый длинный в ту пору разговор в Жамауате:

— Алан, будем мы нынче бахчи пахать? (Тебо.)

— Тейри, не собак же на водопой погоним! (Казак, поскольку он был бригадиром.)

И лишь когда первый иней выбеливал южные склоны, на лицах жамауатчан появлялось нечто похожее на радость или на успокоение. Вот теперь они примечали все: чьи это копны стоят рядом с копнами Байчо или Хаджиосмапа; чья это дочь выдалась такой красавицей к осени, из чьего это очага такой густой дым. Но и в дни обилия и всеобщего довольства они оставались упрямыми. О, это упрямство Жамауата! Воистину, кто не высекал искр, стукнувшись с кремневое упрямство жамауатчан, тот не знает, что такое упрямство, нет, не знает!

Но самыми упорными соперниками были Чегет и Кюплюм — вторая и третья бригады. Если на бурном колхозном собрании или на щедром сабантуе кто-то досужий вдруг

упоминал об отношениях Чегета и Кюнлюма — считай, спор на несколько дней обеспечен. Кто бы с кем ни соревновался, Кюнлюм смотрел на Чегета, Чегет же и в труде, и в веселье состязался только с Кюнлюмом¹.

Как утверждали в Ажоке, незаживающая сердечная рана между двумя этими аулами пролегла оттого, что в Кюнлюме картошка росла рассыпчатой, сухой и Кюнлюм этим еще и хвастался. Но было подозрение — и к этому склонялись те, кто издавна жил в Жамауате, — раздор между Кюнлюмом и Чегетом начался с того самого дня, как в Жамауате научились читать. Как-то сто лет тому назад, точнее, когда Харнесу было только двадцать семь лет, через аул Тогалан, разбросанный по склонам там, где теперь стоит Жамауат, проходил какой-то путешественник. И ничего другого этот бродяга, кроме красоты девушек Чегета, не увидел. Было бы полбеды, если бы этот проходимец заметил красивых девушек и остался этим доволен. Нет, он еще умудрился написать об этом в своем тефтере². А потом другой бездельник взял да напечатал этот тефтер. И вот мирные, неплохие в общем-то соседи оказались недругами! Нет, насколько все же неблагодарным был тот чужестранец, если хлеб-соль вкушал в Кюнлюме, а воспел красоту девушек Чегета! А то, что он гостил именно в Кюнлюме, кюнлюмчапе могли доказать кому угодно. В общем, жили себе Кюнлюм и Чегет — жили тихо-мирно, не ведали о том тефтере. Но вот прошло сто лет — и кому-то очень захотелось свою учепость показать! И ничего другого не придумал, как отыскать в старых книгах эту сомнительную запись. Нашел и смутил хороших соседей.

— Все беды от знания. (Латырай. Впрочем, и не он один.)

— Не знаю... — многозначительно протянула Майруш из Ажоки. И опять: — Не зна-аю...

Поначалу никто не понял, чего же она не знает. Но Майруш объяснила:

— Если какая-то вострушка из Чегета строила глазки какому-то проходимцу и приласкала его... Не зна-аю! Ведь всем известно, и тефтер тому свидетель, что женщины Чегета щедры на скорые ласки, а ласка еще не красота!

И самая убийственная (к сожалению, не попавшая в тефтеры какого-нибудь другого путешественника) мысль

¹ Чегет — север, кюнлюм — юг; Северный аул, Южный аул.

² Тефтер — тетрадь.

Майруш была такая: «Коли кобыла не ржет, жеребец уздечку не рвет, прости им аллах обоим!» Вот когда стало известно каждому, почему тот бродяга-грамотей хвалили именно чеветских женщин, а не каких-нибудь других!

— Да чем же могли прославиться женщины Чегета, если не жеманством да кривлянием! — подхватывала слова Майруш соседка ее Ляпшу, жена Тебо. — Чеветских девушек в тефтерах славят, а кюнлюмских — в газете. Вон дочка Байчо — Азинат! В Москву ездила, с Крупской на карточку снималась. Найдись хоть одна такая в Чегете, они бы не по земле, они бы по небу ходили!

Порой Чевет и сам был не рад своей сомнительной славе. И на слова Майруш и Ляпшу огрызался: неизвестно, дескать, что бы тот путешественник о самой Ажоке написал, — только тем и спаслись, что сто лет назад, когда этот досужий путешественник объезжал горы, ни Ажоки, ни Езена, который хоть и помалкивает сейчас, но улыбается весьма ехидно, и на свете не было. Там, где ныне стоит дом Жарнеса, росли могучие чинары. Можно даже закрыть глаза и представить, как путешественник сидел под одной из этих чинар и писал о девушках Чегета. А там, где сейчас выгыш, дикие кабаны клычищами выкапывали сладкие корни (этими корешками в голодные годы не хуже кабанов кормились сами жамауатчане). Словом, ни Ажоки, ни Езена тогда не было. Так что им только оставалось радоваться, что внимание того путешественника миновало их.

Тефтер, конечно, тефтером, но все же надо признать, что девушки, росшие в Чегете, были приметнее. Даже вдали от Жамауата люди сразу узнавали, откуда девушка — из Чегета или из Кюнлюма. Стоило баксанцу или пастуху из Мукуша увидеть красивую девушку, он уже с лица ее читал: из Чегета.

Но было одно утешение у Кюнлюма: сколько бы ни хваталась чеветские женщины красотой своих дочерей, глаза у дочерей были в Кюнлюме. Они вздыхали, глядя на Кюнлюм, сохли по кюнлюмским парням и, хотя у них был свой родник, за водою шли в Кюнлюм. И в конце концов к досаде уязвленных чеветчан свадьба игралась в Кюнлюме.

* * *

Но извечные соперники Чевет и Кюнлюм, если дело касалось Езена, сразу же становились такими дружными, что и водой не разольешь. В один голос они утверждали, что

в Езене собрались (Ажока тому свидетель!) одни лежебоки и объедалы. Лопух-то рубят и то кричат. А женщины, какие еще могли быть женщины, как не под стать своим мужчинам? Неумелые, легкомысленные, неряшливые!.. Тейри, про таких и спрашивать не стоило!

Главная вина Езена, из-за которой был он осыпан всеми наветами, состояла в том, что возник он гораздо позже остальных аулов, — отсюда и все, как полагали три остальных аула, его пороки. Но поскольку Езен лежал на равнине, то и школу построили там. И какую школу! Только Красный Фук из нартского эпоса имел такой дворец, да и то на небе! Тут оскорбленные Чегет и Кюнлюм восстали! Они всегда были открытые — Чегет и Кюнлюм, — от сердца к языку дорога была прямая, а сердце у них было на кончике языка. У Ажоки же нрав был другой: посмотрит на соседей, подумает и только потом скажет. Три уязвленных аула решили написать об этом куда следует. Но пока Латырай искал карандаш, пока выводил свои каракули, рядом со школой вырос другой дворец — теперь уже Дом Советов, поскольку Жамауат был районным центром! Тогда от гнева горы почернели перед глазами жителей трех верхних аулов. Они уже собрались отправить куда следует представительную делегацию в составе Латырая, Галая и сына Кесиуапа — Кыйка, но Жарнес напомнил изречение древних: «Терпи до трех раз». И решили тогда Чегет, Кюнлюм и Ажока: потерпим до третьего раза.

Ждать пришлось недолго. В Езене построили магазин! С двумя прилавками и такими окнами, что все послы, собравшиеся идти с протестом, могли встать под любым из них и собственными глазами увидеть, какие же они маленькие и неказистые рядом с этими окнами. И аксакалы строго-настрого наказали: впредь магазина не признавать, товаров там не брать, пайщиками сельской кооперации не состоять! А на следующий день Ляпшу, ввергая женщин Ажоки в смутение и ужас, рассказывала: чего только нет в том магазине, чего только нет! Сахар — мешками, керосину — огромная железная бочка! А мануфактуры!

И мало кто из женщин Чегета, Кюнлюма, а тем более Ажоки стряпал в тот вечер ужин для своего семейства, а многие — прости им великий аллах! — даже забыли совершить намаз. Поскольку Езену был объявлен, как теперь говорят, бойкот, то из всех трех аулов женщины тайком друг от друга побежали в магазин. И первыми, как это и водится, попались самые осторожные — женщины Ажоки.



И Налмас, дочь Чыккы из Кюнлюма, громко, на все три аула, сказала:

— Ажока — что воробей, где нива уродилась, там и клюет!

Ляпшу из Ажоки сказала с тихой издевкой, но услышали ее тоже все:

— Скажите ей, чтоб прикусила язык! У кого добрая нива, у того и люди есть!

Загадкой были слова Ляпшу. И прежде чем осудить Ажоку, следовало разгадать ее. И по обычаю сначала каждый решал загадку сам у себя дома, потом ее вынесли на ныгыш. Но, и там не установив, что же самый длинный язык Ажоки хотел этим сказать, вернулись домой. И обдумали еще раз. И впрямь: почему у кого есть нива, у того должны быть и люди? Может, этим Ляпшу призывала сдать на милость Езену и его магазин? Или просто говорила: что есть — то есть. Мужья спрашивали у жен, жены — у свекровей, но так ни к чему и не пришли. В конце концов загадку разрешил все тот же Латырай. Никто не принимал его всерьез, но самые сложные вопросы, над которыми лучшие умы Жамауата ломали голову, в конечном счете решал он. Когда уже иссякли все догадки, Латырай с достойной истинного мудреца скромностью сказал:

— Теяр, а в этом есть какой-то смысл!

Оттого мудрость и зовется мудростью, что самые сложные, самые непонятные вопросы объясняет вот так просто. И жаль, что в Жамауате не умели ценить таких людей, как Латырай! Жаль и зря!

Мудрость Латырая успокоила было сердца трех верхних аулов. Но между тем из тканей самые цветастые, из конфет самые сладкие доставались Езену. Иногда, чтобы уравнять веса (точнее — чтобы не рассорить четыре бригады), подкладывали гири на тарелку верхних аулов — продавцами в магазин ставили девушек из Чегета или из Кюнлюма, — Ажока пока обиду свою могла держать дома, у нее еще не было достаточно грамотной в счетном деле девушки, чтобы могла работать в магазине. Но толку что? Работала бойкая чегетчанка или тихоня кюнлюмчанка там, работала и вдруг брала да выходила в Езене замуж! Вот оно, равнинное коварство! И поскольку теперь молодая сноха старалась угодить в первую очередь не матери и отцу, а свекру и свекрови, их многочисленной родне, в итоге — всему Езену, то, покуда Езен не выпотрошит всего завоза, Чегету, Кюнлюму, а тем более Ажоке туда и соваться было нечего!

1035820

Как говорили потом и говорят по сей день, знаменитый поединок между Фердаус — женщиной из Езена и Налмас — женщиной из Чегета, которую после замужества стали называть Чыккы-кызы (дочь Чыккы), из-за этого и произошел. Поединок тот был, очевидно, не из мелких пограничных стычек, поскольку в летописи Жамауата, полной прекрасных схваток и славных женских поединков, равного этому не упоминается. А как написано в коране, что должно было случиться — случилось, что должно случиться — случится!

Кто из них первой поднесла спичку к вспыхнувшему поединку, кто находилась в тот момент с ненарушенным омовением, а кто омовения не имела вовсе, этого теперь в точности установить нельзя. Но те, кто лишь слышал об этой схватке, говорили тем, кто видел ее собственными глазами, что почин взяла Фердаус. Она как раз выходила из магазина, когда достопочтенная дочь Чыккы входила туда. Фердаус — женщина дородная, мощная, румяная, как испекшийся на ровном огне хычин, отстранилась ровно настолько, чтобы тощей Чыккы-кызы хватило пройти. Лицо Фердаус прямо-таки светилось изобилием, но кому-то со стороны это могло показаться сытостью. И Чыккы-кызы так и посчитала. Ибо она сразу заметила взгляд, который Фердаус бросила на ее бота¹, уже потертый и порядком выносившийся, и величаво перевела на свой, только что купленный.

— Как поживаете, Фердаус? — спросила Чыккы-кызы, должным образом оценив то, что Фердаус потеснилась в дверях.

— А, женщина, в магазин товар привезли, а мне достался только вот этот неважный бота, — сказала Фердаус, изгибом бровей указав на замечательный бота, намотанный вокруг пояса.

Нет. Чыккы-кызы не завидовала Фердаус. У нее у самой в сундуке лежали несколько новых, еще не надеванных, острых на складках бота... Ей пужна была бязь, обычная бязь, чтобы сшить тому, кто в коше, белье — рубашку нательную и кальсоны. Старое износилось, а то, что не износилось, потеряло вид и, сколько теперь ни стирай, все равно кажется грязным. Так почему Фердаус намекает на потертый, залоснившийся бота Чыккы-кызы? Почему она тычет ей в глаза свой новый? И она ответила, впрочем, совершенно спокойно, не глядя на нее и даже отвернувшись:

¹ Бота — плед.

— Прежде, говорят, вставало в верховьях Юрду чудище и своим телом перекрывало русло. Не знаю только, какое на этом чудище было бота.

Фердауус была полной, избобильной женщиной, это правда, но чудищем себя не считала. Она и сказала несколько слов в том смысле, что, дескать, женщины Езена живут в полном достатке и с ясной душой, не то что женщины Чегета, вконец скрюченные, сторбленные, высохшие от вечной пужды. Чыккы-кызы — дочь Кюплюма, невестка Чегета, — чувствуя за плечами силу двух аулов, ответила, что-де касается скрюченности, то в Чегете и в Кюплюме на этот счет думают иначе, и — хвала аллаху, по пять раз на дню хвала — никогда не были и не будут у них такие большие животы и короткие шеи, как у женщин Езена, у которых на одной короткой шее столькоросло подбородков, что домашняя жаба позавидует.

Вспыхнувшая Фердауус кинула взгляд на подбородок Чыккы-кызы и попыталась взглянуть на свой. Но потом увела взгляд в сторону и с ленивой улыбкой сказала, что женщины Езена оттого видные, что у них кость хорошая, что из видных родов вышли...

— Ой, бедные, что-то, а о роде-то уж помалкивали бы, — сказала Чыккы-кызы с убийственным спокойствием, о сennenным еще более убийственной улыбкой. Она поняла, что миром не получитя. — Вы пришельцы, кто у вас вышел из приличного рода? К властям близко сидите — вот и все ваше достоинство!

Очевидно, и Фердауус не очень торопилась домой, — она вошла обратно в магазин, встала и, положив мощные руки на новый бота, набрала воздуха в грудь точно для того, чтобы выдуть Чыккы-кызы из магазина.

— Мы безродные? — спросила она, чувствуя, как внутри нее начинает распалаться огонь. — Если мой род хуже твоего, пусть скажут! — Она повернулась к женщинам в магазине.

Надо полагать, что большинство женщин, что стояли там, были из Езена, — почти все посмотрели на Чыккы-кызы с укоризной, желая этим сказать, что хотя Чыккы-кызы и шутит, но и шутить следует подумавши. Что ни говори, а у Фердауус был сепаратор, а с женщиной, имеющей сепаратор, ссориться не следовало.

— Да что они скажут? — беззаботно сказала Чыккы-кызы. (Какая ей была корысть в езенском сепараторе?) — Было бы что сказать, давно бы сказали.

Теперь и Чыккы-кызы чувствовала, как вместе с гневом вырывают в ней мощь и отвага. Руки и ноги ее, уста, сердце — все наполнялось светлым негодованием, слова рождались сами собой — лишь однажды до этого посетило ее такое озарение, но об этом в свое время и на своем месте. Она покрепче затянула свой потертый и залоснившийся ботинок на поясе, сняла и заново перевязала старый шелковый платок на голове и только после этого положила руки на пояс. Повернулась к Фердауус, примерилась — нет, выдуть ее было невозможно.

— Женщины, вы только взгляните на нее, — удивилась Фердауус. — Ум свой изжила, дни пережила, а тоже, пришла, раскудахталась, как курица, которая ищет где снести. Да чтоб ты своим кудахтаньем подавилась!

— Э, пустомеля, что, сытость свою здесь изрыгаешь, да? — четко сказала Чыккы-кызы и шагнула вперед. — Кто ум свой изжил, дни пережил, давно в Езен переехали. Вместе с теми, чье кудахтанье в чужих только огородах и слышится. Что же, скажу, коли так просите: бесштанницы, нечестивые, несчастные... — Слова, которые Фердауус приготовилась сказать, не помещались в ней, грудь вздымалась, открытый рот прыгал на ее большом лице, но Чыккы-кызы не давала ей и слова вымолвить. — Пустоголовые! — сказала она, будто последний камень в ограду положила.

— Бесштанницы — в Чегете! — выдохнула наконец Фердауус. О кудахтанье в чужих огородах она почему-то умолчала. — Чьи подолы гниют — в Кюнлюме живут! Кто вони и грязи не понимает — в Чегете обитает. Ой, да вы и намаз-то совершаете, повернувшись наоборот...

— Лай, бедняжка, лай! — сказала Чыккы-кызы спокойно. Но чем спокойнее она говорила, тем сильнее распалась Фердауус. И видели женщины: Чыккы-кызы одолевала великую езенскую женщину Фердауус. — Два гёренке¹ сахару взвесь, бедная, — повернулась Чыккы-кызы к продавщице. И, не глядя на весы, не глядя на вновь задохнувшуюся Фердауус, вперила глаза в рулон бязи на прилавке.

— Ой, чтоб ты пасла свишей, что тебе надо? — Фердауус, дрожа от ярости, вплотную подошла к ней. — Хочешь, чтобы и наши дома были пусты и пахли только камнем, как ваши? Аллах свидетель, то, что мы едим сегодня, позавтра уже не едим.

— Вот-вот, — обрадовалась Чыккы-кызы. — Еда — вот все

¹ Гёренке — мера веса, соответствует тремстам граммам.

ваше веселье и радость. Отсюда и ваша слава. Котло-скребы толстобрюхие, из-за похлебки подрались!.. Получилось два гёренке, бедная? Сколько с меня?.. Оу, иди, иди, ты уже все сказала! Теперь десять метров бязи желтой, чтоб я жертвою твоей стала... Ты бы лучше с этим азартом масло сбивала, а то даже за маслом в магазин бегаете.

Нет, не везло в тот день Фердауус. Чыккы-кызы была Чыккы-кызы! Она вертела огромную Фардауус, как веретено. В этом кружении у Фердауус все слова носило с языка.

— Нет, ты только посмотри, до чего они довели тебя, — обратилась между тем Чыккы-кызы к продавщице. Теперь она жалела ее, езенскую сноху: покончив с Фердауус, расправлялась со всем Езеном разом. — Наверное, они тебя в арбу, груженную солью, запрягают. Несчастные лежебоки! На тебе лица нет. Но ты не поддавайся! — И, повернувшись к женщинам, сказала: — Вот она, ваша человечность! Аллах свидетель, во всех пяти балкарских общинах не было красивее девушки! Что вы с нею сделали! Стыдитесь!.. Десять метров есть, бедная? А ширина неважная, оказывается. Еще сорок копеек? Бери из яиц, денег больше нету... — И Чыккы-кызы собралась уходить.

Слов нет, Фердауус была разбита в прах.

И когда Чыккы-кызы вышла из магазина — совершенно сгокойно, даже, как показалось обескураженным женщинам, улыбаясь, — Фердауус побежала за нею и, стоя в дверях, крикнула вслед, как кричат собакам:

— Хиррр, хиррр...

Чыккы-кызы обернулась и, действительно улыбаясь, сказала:

— Оу, аллах меж нами, чуть совсем не забыла... Самую лучшую вашу славу чуть не забыла. Вашу песню. — И, глумясь над бездарным молчанием езенских женщин, пропела:

Сосны в Баксане
То кривые, то ровные...
Девушки в Езене
То ли еще девушки,
То ли уже женщины...

И бездарное это молчание разлетелось вдребезги, как крынка с перебродившей бузой, — женщины разом ахнули! Подул ветерок, словно посланный кем-то, чтобы разнести по аулам позор Езена. И он понес песенку Чыккы-кызы, смешивая ее с дорожной пылью, долго стучась в ворота, двери, окна. А когда женщины, очнувшись, посмотрели наверх, то Чыккы-кызы уже заворачивала в проулок.

Сломленный таким бесславным исходом поединка, Езеп долго не мог прийти в себя. Жители же верхних аулов до того обнаглели, что даже мужчины приписывали себе славу Чыккы-кызы.

* * *

Что бы ни говорили, счастливый был аул Жамауат. Четыре имени, четыре бригады имел он и четыре не похожих друг на друга характера. По-разному встречал Жамауат четыре времени года, но все четыре любил одинаково. Нет, что бы ни говорили, хороший был аул Жамауат, отличные люди жили в нем. Лучшие земли и лучшие в мире горы окружали его.

Как бы другие аулы ни поругивали Кюндюм — солнце раньше всех всходило над ним; как бы порою ни хмурили брови, глядя на Чегет, зима с белым снегом дольше всего гостила там; и как бы ни хотели не признавать Ажоку — другого такого родника, как там, не было нигде на земле. И как бы ни потешались над Езепом — не будь его кирпичного завода, в Жамауате не стояли бы такие дома! Не беда, что Жамауат лежал вдаль от большого мира. Он ближе всех стоял к горам! Оттого все было в Жамауате. Он умел и радоваться и скорбеть. И пусть аллах спасет недругов от гнева Жамауата! Но когда он бывал радушным, то какое село в мире могло сравниться с его щедростью, широтой, размахом! Над ним синело бескрайнее, удивительно доброе небо, вокруг высились, зеленели достигающие этого неба горы! Посередине аула протекала, несущая в себе прохладу ледников, прозрачная река Юрду.

Жамауат прошел большой и долгий путь. Большой путь — это всегда большой путь, на нем и ухабы, и провалы, и кручи, и теснины... И Жамауат тащил по нему свою судьбу. Она, эта судьба, как свидетельствовали могильники, пещеры, почерневшие от огня и печали, рассеянные по склонам башни, была нелегкой. Не говоря о других бедах, Жамауат восемь раз был разрушен дотла и восемь раз поднимался вновь. Устав от бесконечного разрушения, чтобы как-то отвести судьбу, люди переименовали свое селение в Жамауат. А прежде он назывался Тогалап. Когда люди стали образованными, они догадались, что Тогалап — это ток алап, что означает «сытый алап». Если селение, разрушенное восемь раз, восемь раз поднималось снова, значит, был толк в этой земле!

Тогалан был разрушен восемь раз. Но предание гласило, что Тогалану предстоит быть разрушенным в девятый. Это волновало Жамауат. Конечно, теперь поводом для смертельной распри не стали бы ни сито, ни тем более коромысло, из-за которых аул превратился в руины последние два раза. (Причин первых шести разрушений история не помнит.) Теперь вода была в каждом дворе, а муку пропускали через сито прямо там, где мололи. Все это, конечно, весьма крепко пошатнуло достоинство сита и коромысла. Ни один мужчина в Жамауате не полез бы теперь в драку из-за сита и коромысла, ибо ни одна женщина не пошла бы просить кожаное сито у соседки, поскольку теперь их просто не было, а нынешнее сито, если бы даже хозяйка по оплошности оставила его на гумне, мышам не прогрызть, хотя эти зловредные мыши водятся и поныне. И коромысел хватало всем. Оттого и ломал голову Жамауат, с какой стороны придет к нему беда.

Разрушение Жамауата стало бы высшей несправедливостью мира. Чья рука могла подняться на это? Фиргаууны¹ опьянели от сытости, оттого и был разрушен Мисир². Прекрасный Урум³ постигла беда оттого, что народ его поссорился с богами. Здесь же, в Жамауате, насколько помнил Жарнес, в последние сто лет ничего такого не было, что могло бы разгневать богов.

Предание, говоря о следующем разрушении Тогалана, предупреждало: случится это, когда кто-нибудь построит дом за Нарт-горой, возвышающейся над верхней околицей Жамауата. Потому даже в самые смутные годы, когда из-за клочка земли люди кидались друг на друга с вилами, никому и в голову не приходило поставить дом на чудесных, плодородных землях за Нарт-горой. Вот и делили эти земли, как шкуру, на огороды: кому доставалась спинная часть, кому — паховая; выращивали там ячмень и картошку, а Ережип однажды там посадил даже арбузы, над чем потом два года потешались на жамауатском ныгыше, при совершенном непонимании причины смеха со стороны Ережипа. Жамауатчане любили земли за Нарт-горой, берегли их, называли их красивыми именами — Дыркыла⁴, Алмалы⁵... Но и земли эти были достойны любви — лишь однаж-

¹ Фиргаууны — фараоны.

² Мисир — Египет.

³ Урум — Греция.

⁴ Дыркыла — делянки.

⁵ Алмалы — яблоневые.

ды они оказались бессильны: когда Ережип посадил там арбузы. В другие годы замечательную осень дарили они людям. Арбы, груженные ячменными снопами или картошкой, катились вниз тяжело и изобильно, улицы и переулочки сухо и светло пахли зерном и достатком, а лица жамауатчан были исполнены благородства.

Удивительно, что, гадая о причине следующего разрушения аула, они не думали о войне! Нет, не потому, что жамауатчане забыли про войну. Не только не забыли — до сих пор дым недавней войны резал им глаза. Красный Жамауат! Большевистский Жамауат! Аул, однажды насчитавший у себя меньше живых, чем повешенных! Древний Тогалан, поставивший восемь домов на одном фундаменте. Нет, не могли забыть жамауатчане о ней. Но не война должна была разрушить Жамауат. Предание говорило, что каждый раз люди сами уничтожали свой аул. Поссорившись!

И вот война пришла.

— А-ха-а,— сказали они горько.

И на этом возгласе кончилась одна жизнь и началась другая жизнь Жамауата. Теперь все, что ни делалось, делалось для фронта. Даже матери понимали: для фронта растили они сыновей. Это было ясно, как ясна прозрачность воды, белизна снега. Покуда будет на родной земле захватчик — даже в черных от копоти пещерах будут подрастать сыновья для битвы с ними. Каждая женщина в Жамауате понимала это. Ведь не кто-нибудь, а именно их землячка, прекрасная Боюнчак отрубила голову крымскому хану, захватившему Тогалан, и отправила в мешке из бычьей шкуры его жене — как высокий дар признательности горских женщин за любовь крымских ханов к ним...

И дни стали короткими. Время, так спокойно и мирно текшее прежде, теперь покатилося, запрыгало, как колесо, пущенное с горы Сырбыт. Не то что быстрыми — мгновенными стали дни. Мало, что времени стало мало: его жамауатчанам всегда было в обрез, но теперь и малое оно стало каким-то нетерпеливым, горячим, дергалось и рвалось. Оно было одним лихорадочным деянием — днями и ночами, неделями и месяцами отправляли жамауатчане на фронт все, что было у них: хлеб, сыр, мясо, масло, одежду и даже — своих детей... Не было женщины, которая не вязала бы для фронта, не шила, не сбивала масло, не варила бы сыры, не отдала бы фронту своего ребенка или мужа.

Все уходило туда, а оттуда приходили вести: оставляли города, сдавали села, отступали и отступали вглубь,

сюда... Словно ручьи крови и пота, которыми истекал аул, потом — здесь, кровью — там, вливались в эту проклятую войну, и она, как черная вода из погреба, поднималась выше, выше и затопляла дом.

Кто еще мог взять в руки лопату, кирку, кто был еще в силах поднять носилки или хотя бы стряпать на других — все пошли рыть противотанковые рвы. Сколько там было народу! Усталые, исхудавшие, потерявшие сон люди! Не потерявшие одной только надежды! И кроме нее, казалось, ничего и нет...

Возвращаясь на тяжелых арбах, люди Жамауата были задумчивы. Остановливать врага ямой им казалось делом последним. Если уж не остановили, схватив за рога, то не остановишь, держа за хвост. Так думал и Харун, председатель жамауатского колхоза.

Встречать врага на своем пороге было куда тяжелей, чем встретиться с ним где-то вдали. Здесь твоя земля, и ты обязан передать ее следующему поколению в целостности, какой получил ее от отцов. И даже умереть нельзя. Умирать сейчас — значит оставить врагу свой дом. По простому крестьянскому пониманию Харуна жить под пятой оккупанта и при этом оставаться народом куда труднее, чем просто выбрать смерть... Это будет изнурительная война. Враг, прошедший через такую большую страну, мог легко расправиться с ними, с балкарцами. И даже не в этом беда...

Но если народ дрогнет и покроет себя позором — это будет настоящей бедой! Если же народ останется верным себе и будет помнить, что, хотя враг пришел к нему в дом, хозяин все-таки по-прежнему — он, и даст врагу понять это, тогда он по-прежнему будет иметь право на чувство собственного достоинства.

Рассвет жамауатские подводы встретили в пути, когда уже въезжали в аул. Харун остановил обоз. Не утаив ничего, он рассказал землякам о своих ночных раздумьях. Перед лицом беды слова успокоения, а тем более высокие слова — были бы просто трусостью. Так полагал Харун. Эти изможденные люди, сидевшие сейчас на подводах и молча смотревшие на него, не первый раз встречались с бедой и были не из тех, кто легко покорялся ей.

Теперь беда доползла и легла на Жамауат. И на померкших склонах не было теперь ни Кюнлюма, ни Чегета, ни Ажоки, ни Езена. Был один большой аул, потомок легендарного Тогалана — Жамауат. И у человека, и у селения,

сколько бы у них ни было прозвищ, имя, как и душа, только одно. Не знал Харун, что ждало этот аул. Но было ясно — начинались дни тяжкого испытания.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Одинокий путник спускался с гор. Утрепный возбужденно-светлый мир, словно ошеломленный видом человека, окружив его, шел вместе с ним. Удивительно молодым, неизвным был этот мир — только сегодня родился он, перед самым рассветом! Ему, словно детенышу какого-то огромного зверя, хотелось остановить одинокого путника и поиграть с ним. Но, нехватно большой, он был не в силах остановить, спросить, что же того гонит, мучит. И с затаенным стоном досады шел, не отставая от него. И человек, казалось, должен был понимать этот смятый глубинный стон: ибо он тоже вышел прямо из тех белеющих вершин. Он был много старше этого мира, — во взгляде его не было даже следа удивления; все, что видел, было всегда, и не только с тех пор, как он родился и живет, но и тогда, когда жил его отец, и отец отца, и даже отец всего их рода. А коли так, то ничего в этом мире не могло вызвать удивления. И путник смотрел только на свои чабуры¹. Большие были у него чабуры — старые, как мир вчера; переплетенные, нерезаванные много раз, живого места нет. Роса, дождь, снег, вода были виноваты в том, что они расползлись и затвердели — вкривь и вкось, бугристые и искореженные. Когда-то чабуры были крепкими и ладными, так что зря застыли смешинки на влажном лице дороги и на следах валков, пробежавших по склону темными дорожками, — ногам путника было тепло, сухая, мягкая солома внутри чабур честно выполняла свою работу. А то, что эта добрая солома кое-где выглядывала из швов, так это потому, что стесняться ей было нечего.

«Надо у колхоза шкуру на чабуры попросить», — подумал путник... Он остановился, остановился и мир, сопровождавший его. Остановились вершины — белея вдали; и горы застыли: шагающие в шаге, смеющиеся — в усмешке, сердитые — насупясь; низины и скошенные склоны — со

¹ Чабуры — самодельная обувь из бычьей шкуры.

стогами и пасущимися косями, все они остановились и застыли, обступив его. Бесспорно, ошеломленный утренний мир видел человека впервые. И он прямо-таки разрывался от досады, что и путник не удивляется, не восхищается, глядя на него! Тогда в негодовании своем он, мир, вздувал грудь, хмурился обрывами и гудел ущельями. Но все же надеялся, что путник наконец увидит, оценит его красоту и возрадуется. И снова до самых далеких своих горизонтов становился мягким и светлым, ласкался горами и травой, переливающимися родниками.

А путник переживал, что чабуры его износились.

— Слепой!— крикнул мир, вконец раздосадованный.

Ему стало больно оттого, что путник так глух и деловит. Дрожь прошла по миру, и человек тоже вздрогнул. Он удивился: «Кто задрожал? Я? Астофирулла¹!...— Он прислушался к себе.— Нет, не я, бог свидетель. Земля вздрогнула? Где-то, видать, скала обрушилась...» Он посмотрел вокруг, словно впервые увидел этот неохватный утренний мир.

«А земля, наверное, больше, чем я вижу,— подумал он.— Удивительно, до каких мест доходят ее пределы? До Турции? А если Турция дальше, чем Карачай, то, должно быть, земля очень большая...»

Довольный тем, что путник начал думать, мир несколько успокоился. Он посмотрел на него внимательно и увидел... Человек этот был крупного телосложения, и глубокое миролюбие застыло в его взгляде. Но где он был до сих пор? Под землей? В пещере? Наверное, там. Теперь мало на земле таких крупных людей. Вот когда земля была молода, когда было ей, ну, миллиард лет, не больше,— жили такие люди! Как они ходили, какие поднимали тяжести! Слушать умели и молчать! Они были смешные. Смешные и добрые. И этот конечно был из их породы.

И мир спросил его:

— Кто ты есть?

— Байчо,— ответил путник, как ответил бы: человек.

— А род чей?

— Геуюзовых.

— Сколько тебе лет?

— Кто знает... Кто считал свои годы...

— Куда идешь?

¹ Астофирулла — «Боже всемогущественный», выражение испуга, удивления.

- Домой.
- Зачем?
- Больше некуда.
- Оо... Оо... Оо... Оу... Уу...

Байчо опять вздрогнул. «Земля холодная,— подумал он.— Если будет приступ малярии, дело худо...» Опять прислушался к себе. Сел на траву. «Нет, клянусь Чоппа я не дрожу. Это обвал где-то. Или землетрясение. Аллах, помоги быку! Он держит землю! Когда он пьет воду и отряхивается, говорят, происходит землетрясение...»

Мир заглянул ему в лицо. Добрый взгляд у этого человека. И сам он похож на эту землю. Но он счастливее, чем земля. У него есть дом. А дом земли—где? Нет у земли дома! Будь земля поумней, прежде всего построила бы себе дом и спряталась в нем от беды. А теперь...

- Байчо, к нам пришла беда.
- К кому — к нам?
- К тебе. Ко мне.
- И правда. А что это — война?
- Слышишь?!

Опять вздрогнул Байчо. «Аллах, береги быка, если он упадет, беды не оберемся...— Он быстро помолился.— Аллах, береги быка...»

— Мне негде скрыться,— сказала земля.

Байчо за поспешной молитвой стопа земли не расслышал.

— Ты защитишь меня, Байчо?

«Дорога далекая,— думал Байчо, собираясь встать.— О, если бы можно было никуда не идти... Остаться в коше и пасти овец». С трудом взвалил тяжелую ношу на спину, но вставать не спешил. Он взглянул на небо и увидел, как из-за гор вылетели черные айрапаны. Байчо, позабыв лень, вскочил на ноги, колени задрожали. Эти твари летели прямо на него. Быстро летели и быстро опускались... ПРЯМО НА НЕГО. «Этот, чтобы дом его сторел, может и задавить!»— закричал кто-то внутри Байчо. Тот, который кричал, прятался в нем, в Байчо, а куда спрятаться самому Байчо?!

Когда он впервые услышал, что есть летающая машина и называют ее айрапан, он не поверил. И, все же не веря в душе, он хотел увидеть ее. Сейчас он верил, а видеть совсем не хотел. «Нет, от него убежать нельзя,— ду-

¹ Чоппа — ямьское божество.

мал. оп, не зная, бежать надо или стоять.— И чем он за небо держится; чтоб мать его!..»

Самолет со страшным гулом падал на него. Осталось единственное спасение — Байчо закрыл глаза. Теперь гул рвался не с неба и не из земли, он расходился от самого Байчо. Это теперь от него дрожали и земля и небо, потому что айраплан с лета вонзился в Байчо, прямо в голову.

Байчо не помнил, сколько времени он оставался мертвым. Пока не зашло солнце и не взошла ночь? Или же пока не кончился один мир и не зародился другой? Между этими огромными превращениями дымились на земле зияющие воронки и где-то, вдали от своей ноши, лежал человек, и похож он был не на человека, а на осколок странного небесного тела. И когда мир зародился вновь и образовалась твердь, существо это сначала искало свои руки. Потом руки поплавали в воздухе и узнали, что кругом гот же прекрасный утренний мир, пахнущий молодой осенью. Но человек ничего не слышал, не видел ничего, котлы ада клокотали у него в голове, и ему казалось, что он вплавлен в глыбу кремешного мрака.

Утро вернулось к нему, и он увидел себя зарытым в землю. И сразу же уши его стали слышать. Они так накалились — можно было подумать, что их держали на огне. Теперь же они остывали, потрескивая, как остывает выжженная известь, и, по мере того как остывали уши, Байчо слышал лучше и лучше.

Удивляясь тому, что он жив, Байчо искал взглядом айраплан. Его уже не было. И с миром этим ничего не случилось. Скалы оставались скалами, взгорья — взгорьями. Байчо снова взялся за свою ношу. Но вновь застыл, сначала увидев, а потом услышав, как там, внизу, где был его аул Жамауат, в небо взлетели большие комья огня. Страшный гул невидимого айраплана перешел в жалобный вой, а потом донесся грохот, выплеснулся через край долины, и крепкие, сбитые волны его, то ли с хвалой, то ли укоряя, прокатились, приминая алюю тишину.

— Что это? Что такое? — крикнул Байчо миру.

И вместо ответа Байчо услышал стон. Он шел из очень глубокой глубины — точно из самого сердца земли. Байчо постарался понять — и понял: земля сама обижалась, звала на помощь. Она устала, ей опостылела война. И если Байчо кричал миру: почему не даете мне заниматься своим



делом? — земля кричала Байчо: почему в мире пахнет кровью, а не зерном? Она, земля, была так щедра к людям, а люди знали одно: жечь ее, делить, хватать, топтать.

Байчо соглашался с суровыми укорами земли. Они были справедливы. Он и сам вдруг захотел испытать такое же чувство обиды. Он никогда ни на кого обиды не держал, желание мести было ему не знакомо. Правда, он был только Байчо, и коли он был Байчо, то ему приходилось и голодать, и мерзнуть, и слышать от людей горькое, не заслуженное им слово, но после голодного дня — он бывал сытым, и если порою мерз, то больше бывал в тепле, и если обижали несправедливо — он не умирал от этого, а боль проходила. Он недоумевал — и только. Разве можно сердиться на камень, сердись на свою слепую ногу. Так уж мир устроен, и нельзя на всех копить обиду. Он не знал этих жгучих чувств и потому людей обидчивых, а тем более мстительных, не понимал никогда. Но вот у него отобрали стадо, мало того — самого чуть не зарыли в землю. И он впервые почувствовал нечто похожее на обиду. Значит, сказал он себе, люди про обиду говорят не зря. Она есть, даже у земли есть. А может, и у Байчо. И если он мало знал о ней, то лишь оттого, что темен и глуп. И это правда — как нож на поясе, как выюк на спине.

II

Это ощущение, что есть в мире несправедливость, начало шевелиться в Байчо еще раньше. Потому что только по несправедливости он вот так — пусто и одиноко — возвращается домой. Только из-за нее. Иначе люди не отняли бы у него отару и не сказали: «уходи». Ведь он знал каждую овцу, каждую он растил с заботой и любовью! А они угнали стадо, до пастуха им и дела не было! Он говорил, руками размахивал, а они лишь усмехались молча. Он говорил: «Если какой-то враг идет, пусть идет себе, отцовскую голову, что ли, будет он здесь искать? Как придет, так и уйдет. Зачем из-за этого гнать куда-то наш скот?» А тем — как ветерок в ухо оленя, даже головы не повернули. «Иди домой, — сказали они, — к детям ступай. Кто, кроме тебя, позаботится о них?» Сказали так и погнали куда-то стадо. Отговорки! Пустые отговорки! Не захотели в товарищи взять, вот и сказали: «Иди к детям». Байчо смотрел им вслед. Верховые козем наезжали на овец, пешие погоняли

наскоро срезанными палками. И когда отара скрылась за горой, он расстегнул ворот старой, заскорузлой рубашки из домотканой шерсти и без сил прислонился к плетню коша. Он понял, что такое сиротство. У Байчо не было притязаний на колхозный скот, хозяином отары было, полагал он, колхозное руководство. Но если нужно спрятать скот от врага, то почему нельзя укрыть его по эту сторону гор, а не мучить долгим перегоном через перевал? Чем та сторона лучше этой? Ладно, пусть та сторона лучше, по почему тогда Байчо, от которого всегда была какая-то польза, вдруг стал ненужным даже в такой истинно чабанской работе, как отгон?

Так он простоял весь остаток дня.

Ночью он лежал на растоптанном вконец мулжаре¹ и в открытую дверь смотрел на загон. И ночь, как назло, была такой длинной, бесконечной — темная предосенняя ночь. И в густой темноте коша Байчо был одинок, словно отбившийся от стада тур. Холоден был мулжар и неуютен конь. Но, к счастью, уже на перевале ночи завывали волки. Услышав их, он забыл свое одиночество. Вой волков ободрил Байчо. Оттого, что они здесь, почудилось, что и отара снова зашевелилась в загоне, что сон кыйырчы² снова чуток. Впервые за всю жизнь, прошедшую рядом с отарой, ему захотелось, чтобы волки прошли в кош, зарезали пару баранов и ушли, неся их на крепких шеях.

У Байчо к волкам была тайная любовь. Они тоже, как думал Байчо, знали его. Если быть справедливым, то нужно признать, что волки были истинными горцами и свою жизнь проживали честно, насколько могли. Но, конечно, Байчо любил их не за то, что они нападали на стадо и за много лет ни разу не дали ему поспать спокойно на кыйыре.

Давно, когда сегодняшних волков и на свете еще не было, случилось это. Так давно, что многое Байчо уже позабыл. Помнил только, что вечер тот был — туман и морось. Несколько овец отбились от стада и потерялись. Он искал их. Овец не нашел, но поскользнулся, скатился по крутому скалистому склону и сломал ногу. Треск кости и острую обжигающую боль он почувствовал сразу же, только сорвался с кручи, но, катясь в темноте по мокрым камням,

¹ Мулжар — соломенный настил коша.

² Кыйырчы — пастух, который охраняет ночью овец, ложась у края загона; от слова кыйыр — край.

он думал не о ноге, а о том, за что бы ухватиться, потому что в конце откоса был уступ, свалившись с которого он вряд ли останется жив. Удержаться он не сумел и, падая с уступа, лишь закрыл глаза...

Он пришел в себя от острой боли в правой ноге. Попытался встать — боль прожгла все кости, и он застонал. Попытался ползти боком. Нет, боль была сильнее, чем желание идти, он лег на спину и закрыл глаза.

Байчо старался не думать о ноге — сломанная нога могла зажить, как заживала не раз в детстве, он думал о пропавших овцах. Они станут добычей волков, и как рассчитается за них колхозный пастух Байчо, у которого полдюжины детей и скоро — если бог даст благополучие его дому — должен родиться еще один? Потом он сообразил, что волки, прежде чем добраться до овец, могут найти его, и, хотя человечье мясо — не баранина, но, за наименьшим лучшим, сойдут и кости Байчо. Впрочем, они могут и не есть бедного старого Байчо, достаточно загрызть его — и дорога в кош, к овцам открыта. Мокрая дрожь прошла по спине, ногу стало жечь больше прежнего. И он пополз в сторону коша, надеясь, что в случае чего кто-нибудь услышит его крик.

Волки появились, когда он выбрался из ложбины. Их было двое. Байчо вынул пастуший нож, приготовился. Он вспомнил, что существует заговор, которым связывают звериную пасть. Он прочитал его и заговорил волков. Но по тому, как волки подходили к нему, было件нятно, что вся эта ворожба им невдомек. Первый волк обнюхал его ниже пояса, морда его на миг задержалась возле покалеченной ноги. Глаза уже привыкли к темноте, и Байчо увидел, что на морде волка то ли смешинка застыла, то ли вдруг скрючило ее, словно собрался чихнуть. Байчо держал наготове большой нож, которым не одного барана зарезал, и следил за каждым движением волка. Тот же, встревоженный тем, что он вынюхал, посмотрел на своего товарища, что-то шепнул ему, а тот выслушал и, ничего не ответив, скрылся в чащобе. Первый волк, — кажется, это была волчица, — отошел от Байчо и чуть поодаль стал на задние ноги.

«Аллах, удивительное бесконечно!» — сказал Байчо про себя. Хоть и сказал так, но еще не верил им и был начеку. Порой, сам того не замечая, Байчо стонал, и тогда волчица тихо скулила, вставала и бегала туда-сюда, снова возвращалась на место и садилась, повернув к Байчо голову с настороженными ушами.

Другой волк скоро вернулся. «Они — одна семья, — подумал Байчо. — Чего они ждут?» Видя, что волки настроены миролюбиво, Байчо осмелел. Он оперся на палку, которую не выпустил из рук, даже когда катился по откосу, и попытался встать. От боли посветлело вокруг, острый озноб прошел от ноги до затылка. Все же встал, шапкой огер мокрый лоб — и побрел, ложась на палку. Стоило качнуться сломанной ногой, и каждый волос на голове нглой вшивался в череп.

В эту ночь Байчо понял, что в жизни есть чему удивляться.

Волки встали по обе стороны от Байчо и пошли рядом с ним. Остановится он, остановятся и они, ждут, когда он зашагает снова. И опять шагали, когда шагал он, и останавливались, когда он, упершись в палку и поджав ногу, ждал, пока ночная морось не остудит горячую испарину. И, только услышав вой недремлющих настунных псов, они отстали. Уже светало. Волки знали: псы всегда сыты, и потому всегда сильны, и всегда не любят волков, не щадят их никогда, и, хотя ничего плохого в это утро волки не замыслили, псы не пощадили бы их и сейчас.

Прошло много лет, но Байчо не забыл того великодушия волков. Когда в кошe об этих честных охотниках говорили со страхом и ненавистью, называли их кровожадными, алчными и злобыными, он сидел рядом и угрюмо молчал.

Теперь, лежа на холодном, жестком мулжаре, он чувствовал, как волки все ближе и ближе подходили к кошу. Байчо обрадовался, он ждал этой встречи. Воспоминания о тех волках, а потом голодный вой этих — развеселили его. Он забыл обиду на людей, которые угнали его отару.

Между тем волки подошли к кошу. Рысцей обежали загон, порыскали там и тут, не нашли ничего и зло заскулили. Нет баранов, есть пастух — и они сбились у входа в кош, горящими глазами высвечивая лицо Байчо. Пасти их были ощерены, зубы белели в темноте, и каждый зуб зудел от запаха пастуха. Да, сейчас волки действительно были кровожадны, алчны и злобны. Но переступить порог коша, так сильно пропахшего человеком, у них не хватало духа. Байчо же с восторгом смотрел на них, — их было много, они были молодые и здоровые, но голод мучил их, оттого они сидели у порога коша, сторожа пастуха, другие бегают и вокруг загона. Он лежал не шевелясь, изредка волки слышали его глубокий вздох, скулили, уже готовые прыгнуть, но то ли страшно было им, то ли совестно...

Когда волки наконец ушли, Байчо тоже стал собираться. Худо было здесь, недобрый был теперь этот кош. Когда в загоне нет стада, а пастух не слышит, как жуют овцы, их мирной толкотни, кош что темница — и пастух кажется себе таким голым, убогим и одиноким, точно человек, оставшийся на зиму без тулупа.

Он вынес вьюк, положил во дворе на чурбан. Потом крепко заколотил дверь коша, пошел к загону, еще раз осмотрел ограду, кое-где подправил. Постоял, глядя в темный загон, — он еще пах свежим овечьим навозом, но был пуст, там лежала черная, осенняя ночь.

— Пусть аллах поможет! — сказал он то ли себе, то ли загону.

Ноша его состояла из половины тушки вяленой баранины, щербатой с краев старой деревянной чаши с маслом, бескожих овечьих шкур, одной каракулевой шкурки, и все это завернуто в старый войлок, впитавший в себя запах многих пещер, знавший десятки пастушечьих сказаний. Ноша эта была удобно перевязана жантау — веревкой из бычьей кожи. В темноте вьюка не было — была тяжесть. И Байчо вышел в путь, взяв на спину эту тяжесть.

III

Теперь половина пути была позади. На одно плечо путника давила жантау, на другое — палка. Байчо удобно просунул палку в веревку, и тяжесть вьюка одинаково легла на оба плеча. Так он носил свои пожитки в трудных переходах на пастбищах. Если бы не это, он давно бы устал в таком долгом пути.

Путник снял шапку — большую, как его чабуры, и такую же старую. Его лоб под огромной шапкой вспотел, вспотела и спина; когда он вывернул подол шубы и вытер лоб, по спине прошла прохлада и он почувствовал облегчение. Потом изнанкой бараньего подола вытер и свое огромное, выклеванное оспой лицо, провел по рыжеватым усам. Рябь была мелкая, но так густо усыпала желтоватое, словно подернутое ржавчиной лицо, что щербины казались большими. И сам он был большой. И ноша была у него большая. Лишь заботы у него были небольшие — и оттого большая ноша и большая семья не тяготили его.

Когда горы остались позади, а солнце перевалило за них, ноша его стала тяжелей. Тогда он положил вьюк на

обочину, огляделся вокруг и отошел от дороги. Он решил совершить то, без чего, по воле аллаха, не обходились даже пророки, — опустился на одно колено и развязал завязку своих широких шаровар из домотканой шерсти. Концы завязки всегда болтались снаружи, поверх шаровар. И Байчо каждый раз долго развязывал их, путаясь в их немудреных узлах, но он и не думал прятать концы тесьмы в шаровары, как это делали другие мужчины. Совершив праведное дело, он землей обтер руки и, вернувшись, лениво, как-то равнодушно закинул ношу за спину и продолжил свой путь.

О чем он думал теперь? О том, что чудом остался жив? Или — о войне? Нет, о войне он уже не думал. Он ее не знал. Война — это не его дело. Он был пастух, овчар. С кем угодно он мог посостязаться в умении пасти скот. Но война... Кто произвел на свет этого ублюдка, пусть тот и думает о ней.

«Но, — спросил себя Байчо, — если все воюют, то что буду делать я?» И из немногих вопросов, которые он задал себе на всем долгом пути из коша, этот вопрос был самым трудным. «На самом деле — если пришла война и все научились воевать, чем тогда будем заниматься мы? Оллаха, клянусь Чоппа, печальны наши дела...»

И Байчо сильно опечалился. Хотя ноги его и шагали в сторону аула, ему показалось, что он топчется на месте или идет куда-то назад. Он посмотрел вокруг большими, добрыми, совершенно ничего не понимающими глазами под огромной мохнатой шапкой. На склонах стояли уже слежавшиеся стога, то ли они знали, что ташыуул нынче будет поздним, то ли сочувствовали горю Байчо, — тоже были сгорблены и печальны. Но какими бы большими ни казались стога — это совсем не то что стога Байчо. Разве это стога? В лучшем случае — копны! Байчо, если хорошо поднатужится, поднимет их за раз! Сам Байчо ставил стог не торопясь, тщательно собирая, крепко сбивая, счесывая бока. Его за это ругали. Говорили: больше стога — тяжелые, трудно их свозить, и бригадир говорил: «Много в них сена уходит, комиссия же не по сему, а по счету принимает». Байчо молчал и удивлялся несерьезности колхозных начальников: умные люди, а рассуждают, как дети. Должно быть, шутят. И продолжал складывать стога так же основательно и с любовью. Что за сено останется в маленьких стогах, если снизу их съедает земная сырость, сверху портят осенние дожди! Нет, зря ругают. Если па то пошло,

он не косарь, он пастух. Но только паступал сенокос, его гнали сюда, отара же оставалась на чужих людей. А здесь сразу начинали ругать: большие копны ставишь, стога большими складываешь, до зарп встаешь... Нет, никак не мог согласиться с этим Байчо. Если он и виноват в чем, так разве лишь в том, что часто ломал вилы. Спасибо, не за то ругали, что вилы сломал, а за то, что себя не жалеет. И тогда он брал только по две копны. Но ему казалось, что ходить с двумя все равно что таскать взад-вперед пустые вилы. Он уходил на самый дальний конец выкоса и, подняв четыре копны разом, шел к стогу, совершенно не видный под сеном.

— Ай, грешники, аллахом проклятые, — улыбнулся Байчо одному воспоминанию и покачал головой.

Нет, зря думали люди, что Байчо человек темный и непопятимый. Ведь и в нем текла жамауатская кровь, и в играх-шутках он тоже имел понятие. Иначе в тот день Байчо мог проткнуть кого-нибудь вилами, — все знали, сил у него хватило бы. Аллах свидетель, он мог и ткнуть... Они, черти, наверное, скрывались за копной, потому он их не заметил. Или просто за широкими полями своей войлочной шляпы не углядел? Как бы то ни было, они здорово подшутили над ним.

Он сложил вместе несколько копен, придавил их коленом, притоптал и, наставив вилы, опустился на колено, спиной к сену. Кто-то сказал, то ли насмешливо, то ли всерьез: «Отдохнул бы чуть, Байчо». Он не стал отвечать, подумал: «Отдыхать, что ли, пришли» — и попытался взять копну на спину. Но кто-то из косцов тихонько подошел и в тот момент, когда Байчо брал копну на спину, распластался сверху. И Байчо, всегда без усилий поднимавший копну, не мог оторвать ее от земли. «Вилы в землю вошли, что ли?» — подумал он. Поправил вилы на плече и снова воткнул их в копну. Нет, вилы были ни при чем. Тогда он рассердился на себя, напрягся и поднял. Шагая под тяжелой копной, намного тяжелее обычного, он увидел рядом, слева, скользкую по траве круглую, расходящуюся на два отростка тень. Толстые эти отростки не были похожи на длинный сухостой колючей травы, иногда попадающийся в сене. Байчо скосил глаза, посмотрел внимательно: похоже, человеческие ноги. А по концам, похоже, чабуры... Теперь понятно, почему копна не отрывалась с земли и почему ему пришлось крепко поднатужиться. Так вот почему вдруг все кругом затихло. И Байчо хитрить умел. Он

сделал вид, что ничего не заметил, шел спокойно, мерно, будто о том лишь думал, как бы копна не разошлась. Полюдя же к стогу, он разбежался и с разбега закинул копну вместе с человеком наверх.

— Хай-хай-хай! — пзумился кто-то.

— Он Кыйыку все потроха перемешал!

— Я же говорил: не ешь одну грушу вдвоем с медведем.

Байчо ни слова не сказал, пошел к дальним копнам, оставив всех потешаться над позором Кыйыка.

Если вспоминать, не было часа на косовице, чтобы косары не пытались подшутить над ним. Это было счастливое время. К трудолюбивым горцам наконец пришло изобилие — кровь играла, жизнь была веселая, и не могли жаммаутчане оставить такого человека, как Байчо, в покое, ведь он был не из этого мира — и сила его, и доброта его, и умение работать... Они любили его (в это очень верил Байчо), а поскольку любили, то им хотелось играть с ним, тормошить его. И чего только не придумывали! От беззлобной, радостной шутки до издевки, от которой иному впору броситься со скалы. Но ничто не могло вывести Байчо из терпения. И если ему все же приходилось сердиться, он говорил: «Ий, негодные!» «Негодный» — было у него самым крепким ругательством. А «негодные» были в отчаянии оттого, что не могли вывести Байчо из себя! Интересно, каким бывает этот огромный человек, если разозлится и выйдет из себя, интересно, наверное, и страшно-вато. Им хотелось увидеть хотя бы краешком его ярость.

И в какой-то год, на какой-то косовице, они все же получили свое. Байчо как крепко работал, так же крепко и спал. Постелью ему были несколько копен. Каждое утро он перетряхивал сено, ставил отдельными копами, чтобы сено не потеряло мягкости и свежести, а на ночь снова составлял вместе. Однажды ночью это неугомонное дурачье все же выкинуло такое, что утром, проснувшись, Байчо чуть не сошел с ума. Шутка началась с любопытства, а любопытство, давнее и безобидное, было вызвано тем, как щедры были аллах и природа к этому человеку на сыновей и дочерей. Чем же таким владел Байчо, если его жена, не пропуская между родами даже, кажется, года, выносила на свет то одного, то сразу двоих, между тем как жены других рожали двоих-троих за всю жизнь, да и то с трудом?.. Если так мощно шло размножение Байчо, значит, чем-то особенным отличил его аллах!

Но те, что под яркой полной луной увидели нетерпеливые зрители, вовсе не соответствовало общей стати Байчо!

Раздосадованные мужчины так и оставили шаровары Байчо распущенными. Утром, проснувшись, Байчо, как обычно, пару минут посидел на сене — словно молился или все еще просыпаясь. Потом огляделся по сторонам. Редко бывало, чтобы люди поднимались раньше Байчо, а тут они стояли кто где и смеялись. И даже у закрывшихся платками женщин, которые вчера пришли копнить сено, вздрагивали плечи. Еще ни о чем не догадываясь, Байчо по привычке потянулся. Он еще и встал бы так, но бригадир Харун спросил:

— Что, Байчо, проветриваешь?

Байчо глянул на себя и понял, чем было вызвано это раннее веселье. Он почувствовал, что будто его разорвало надвое вдоль. Подняв штаны, он соскользнул со своей копы. Очень спокойно стянул завязку шаровар, встал на ноги. Постоял еще, будто не решаясь, что делать. Мужчины насторожились, они вдруг поняли, что содеянное ими не было шуткой. Женщины, смеющиеся, застыли, словно наказанные небом за свой злой смех. И на глазах ошеломленного народа Байчо с неправдоподобной быстротой пронесся к куче привезенных накануне дров, но в руки его попал не чурбан, а топор. Заметив кого-то за шалашом, он с налитыми кровью глазами прыгнул туда. Те, кто говорят, что аллаха нет, действительно не сведуци, ибо, прыгнув с топором, Байчо споткнулся о чью-то косоправку и упал. Топор отлетел в сторону. Тот, кто прятался за шалашом, побежал к топору, Харун — к Байчо. Человек закинул топор подальше, Харун же, помогая Байчо встать, крепко обнял его. Но разъяренный Байчо легко отмахнул его в сторону и схватил косоправку. И косоправки было достаточно, чтобы обидчик не то что чужих штанов — и своих собственных больше не коснулся! Но Харун снова схватил его в объятия и все-таки удержал его. Тут очнулись женщины, подбежали к Байчо и бросили перед ним свои белые платки. Байчо ни слова не произнес. Отшвырнул косоправку, взял свою косу-пятимерку и ушел.

Сам Байчо шутить не умел. Но он всегда с восхищением смотрел на веселящихся. Если шутили с ним, он бывал доволен, весь наполнялся легкой радостью. Порой он мечтал стать молодым и веселиться так же, как и они. О, тогда не было бы среди них лучшего шутника!

Байчо считал, что игра — это от здоровья, от любви

друг к другу. Не могли шутить друг с другом люди, друг друга не уважающие. Но то, что уязвляло достоинство человека, не могло быть шуткой. Стремление заглянуть в тайные святыни человека, установленные богом, не могло быть шуткой. И так же со словом. Слово в шутке должно быть светлым, идущим из самых добрых человеческих глубин. А то, что сделали с ним, это было издевательством, а издеваться над человеком было хуже, чем убить его,— это Байчо знал.

За долгие годы молчаливого наблюдения за людьми Байчо заметил еще: если человек был прост, непритязателен, щедр, работающ, не капризен, многие хотели быть с ним в товарищах, но когда дело касалось славы и выгоды — этот человек чаще других оставался ни с чем. Заметив это не на ком-то другом, а испытав на самом себе, он был поражен. Слов нет, другие были лучше его, умнее, а коли так, то место их выше и почетнее, чем место колхозного пастуха Байчо. По почему людям, не умеющим капризничать, приходилось терпеть больше, чем людям, умеющим капризничать? Удивительно и непонятно.

Ни разу в жизни Байчо не подумал, что люди в чем-то обделили его или чем-то ущемляли его достоинство. Нет, дело вовсе не в том, чтобы его унижали. Наоборот, обижало, что люди вроде как жалеют его. Что бы он ни сделал, об этом говорили как о чем-то особенном. И говорили с ним так, словно он до сих пор не человек, а только еще карабкается в их круг. А то вдруг заговаривали жалостливо, с участием, словно Байчо болен и вот-вот покинет их. Когда кто-нибудь из колхозного начальства приезжал на кощ, то спрашивал: «Байчо, бедный, как живешь?», а по-мужски: «Салам алейкум, да умножится ваше стадо!» — говорил другому пастуху. Осенью, когда колхозники получали за трудодни, он, возвратившись из коша, получал ему положенное, и, когда встречали его на улице везущего на арбе зерно ли, сыр ли, масло ли, удивлялись: «Вот вам и неприметный Байчо, вон сколько он получил!» — «Слава аллаху, детей много», — говорил Байчо, подгалкивая арбу сзади. «Тянувший вол из ярма не вылезает, так и ты, безотказный, весь в работе. Очень правильный, нужный ты человек». А он и на это отвечал просто: «А что делать, как не работать?»

А Байчо не был бедным, не был и неприметным. И безотказным он не был. Правильным, исполнительным он был не для того, чтобы кому-то понравиться. Человеку присуще

работать, как реке течь вниз. И на трудодень он получал не больше других, и косу тоже не он выдумал. А коли так, то пусть люди говорят с ним, как с равным, как положено горцам. Зачем они говорили с ним, жалеючи его!

Он хотел, чьбы говорили просто: «Салам алейкум!» Пусть даже поругают. И тогда бы он почувствовал себя более значительным. А вместо этого люди отчего-то жалели Байчо и в чем-то сочувствовали ему, словно был он в человеческой отаре осенний приплод.

И еще с годами уяснил Байчо: престиж человека, его место в жизни связаны не только с тем, как на самом деле относятся к нему люди. Тут многое зависело от самого человека, от собственных его притязаний. Если ты сам себе цену не установишь, другим устанавливать тебе цену некогда. У людей и без тебя забот хватает.

Но что эти знания дали Байчо? Ничего не дали, наоборот, отняли. Смешно было даже поставить их рядом: такое ученое слово, как а н т а р и т е т, и Байчо. Они не подходили друг другу. Нисколько. Это все равно как если бы Байчо вместо чабуров вдруг стал ходить в сапогах! И потому Байчо очень скоро забыл о своих открытиях. И после он никогда не возвращался к этим праздным раздумьям, настолько сложным, что ничего, кроме уныния, после них не оставалось.

IV

Грохот подкатившей войны Жамауат услышал в полдень. Сбитый немецкий самолет упал у Нарт-горы между рекой и камнем Дебета, и тревогой жамауатских матерей стал не кровопролитный бой, шедший где-то на подступах к селу, а мальчишки, рвущиеся посмотреть сбитый фашистский самолет. Бой продолжался часа два, потом по селу стали проходить советские войска. С тех пор как на этих склонах поселились люди, не видели и не слышали, чтобы по улицам проходило столько пароду! Отступающие части шли быстро, с пушками, тяжело груженными подводами, рапешыми. Жамауатцы смотрели на этот поток и видели, что солдаты шли, насилуя себя, пехотя, совершенно не согласные с этим отступлением. Но приказ был не сражаться, а отступать.

Самыми несчастными в этот день были дети Жамауата. Это было невероятно! Красная Армия отступала! Нет, это

неправда, это какой-то обман взрослых! Их было много — будущих воинов, оскорбленных тем, что они видели в этот день. С горящими глазами сидели они на каменных заборах и на плоских крышах домов, позабыв о еде, не отвечая на тревожные окрики матерей. Нет, они не могли поверить, что Красная Армия — воп она какая большая! — могла отступать. И одни горячо, хоть с ними никто и не спорил, доказывали это, другие сидели молча, не отрывая глаз от потока, взглядом перебирая каждую шеренгу, надеясь среди отступающих увидеть своего отца или брата, а кто-то вдруг начинал плакать.

Покуда мальчики сидели так, женщины Жамауата выносили айран и только что испеченный домашний хлеб, прямо на ходу подавали солдатам. Бойцов больше мучила жажда, чем голод, они жадно пили айран¹, возвращали огромные деревянные чаши назад и просили еще. Чего-чего, а айрана в Жамауате всегда было вдоволь, женщины снова несли полные чаши. Кое-кто из солдат, видя, как смущены, как удручены женщины и как гневно смотрят с заборов на их отступление дети, говорил: «Не горюйте, мы вернемся».

Показался конец колонны. Один из мальчиков предложил:

— Давайте поднимаемся на Чохану — посмотрим, докуда дошло начало Красной Армии!

— Побежали! Башир верно говорит, надо на Чохану!

И мальчики разом присели на корточки, собираясь прыгнуть с забора. В это самое время в аул вошла конная часть. Большинство солдат сидели на расседланных лошадях, видно прихваченных где-то по пути, некоторые, сидя на крупе коня, держали перед собой раненого товарища.

— Башир, твоя мама бежит! — сказал Хыйса.

Башир увидел мать, бегущую с ведром в одной руке и со свертком в другой. Позабыв, что собирался на Чохану, Башир прыгнул и помчался навстречу ей. Подбежав, взял из ее руки ведро.

— Отнеси, сынок, пусть солдаты попьют.

Башир, расхрабрившись — поскольку не с пустыми руками, — вошел прямо в строй и, поднатужившись, попытался поднять ведро так, чтобы всадишку не пришлось нагибаться. Солдат все же нагнулся, взял ведро. Но сам, хотя губы потрескались от жажды, пить не стал, передал ведро боро-

¹ Айран — кислое молоко.

датоу солдату, ехавшему рядом. Потом снова нагнулся и легко посадил Башира на шею коня.

— Как зовут, мальчик?— спросил солдат.

— Башир. Второй класс,— ответил Башир гордо. Надо бы «третий», потому что он перешел в третий, но они сейчас не учились, а Башир был честный человек.

— Молодец! Мужчина!

— Стириляете?— спросил Башир, потрогав его автомат.

Но прежде, чем солдат ему ответил, Башир увидел жеребенка, резво семенившего за лошадьку.

— О-го,— с восхищением сказал Башир.

Солдат оглянулся назад и удивился, словно только сейчас увидел жеребенка. Завернув коня, он выехал из строя, опустил Башира на землю и спрыгнул сам.

— У тебя веревка есть?— спросил он Башира.

Башир не силен был в русском языке и, не поняв, опустил глаза.

— А-а,— махнул рукой солдат. Он снял с пояса свой широкий ремень, накинул его на шею жеребенка, вручил Баширу.— Раста большой!— сказал солдат. И, потрепав его по волосам, вскочил на неоседланную лошадь и поскакал за колонной.

Башир, потрясенный подарком солдата, не замечая друзей, в завистливом молчании окруживших его и жеребенка, долго глядел солдату вслед. Наконец он очнулся и испугался: сейчас эта радость окажется только сном — сколько раз уже бывало так! Но загалдели мальчики, от широкого солдатского ремня вспотела ладонь, последняя шеренга отступающих скрылась за спуском дороги. Жеребенок, оттого ли, что еще видел свою мать, оттого ли, что ему были любопытны окружившие его мальчики, поначалу стоял смирно. Но скоро и мальчишки наскучили, и страх, что потеряет мать, подстегнул — спина его задрожала, он тревожно заржал и начал вырываться. Ржание и то, как ремень рвался из рук, убедило Башира в том, что радость — настоящая, наяву, что жеребенок — его. Тогда он обнял голову жеребенка. Рыжая челка его спадала на белую звездочку на лбу; желтогривый, в белых чулочках!

— Я тебе дам чурек¹,— посулил ему Башир.

Жеребенок, то ли поняв обещание Башира, то ли обрадовавшись, что наконец-то кончилась эта долгая дорога, перестал рваться.

¹ Чурек — лепешка из кукурузной муки.

— Мало забот у меня было...— сказала Халыу, мать Башира... Но хотя и сказала так, в душе обрадовалась ликование сына. «Что поделаешь, совсем не время для радости,— сказала она про себя.— Говорят, миром уже завладел немец, о аллах, что будет с бедными детьми?»

— Мама, посмотри, какая у него звездочка на лбу!

— На счастье бы, сынок!

— Ух, пойду и покажу дедушке!

Башир ухватился за ремень, приятели кто уцепился за хвост, кто за гриву и с радостными криками потащили жеребенка домой, показать дедушке Жарнесу.

V

Жарнес сидел на дворе на большом четырехугольном камне и крошил чурек своим воробушкам. Их было много — воробушков Жарнеса. Ни летом, ни зимой они не покидали его и, хотя звались они птицами чердачными, жили здесь, во дворе, и почевали в корзине для кукурузных початков. Они хорошо знали Жарнеса и потому не боялись. Бывало, дедушка как сидел на камне, так и засыпал с чуреком в руке. Тогда воробьи слетались к нему на колени и нахально тянули чурек из слабых рук старика. То-то было радости! Они чирикали друг другу, как чуд-чудно пахнет палка Жарнеса, передразнивали дедушку, показывали, как он шевелит губами, когда спит. Споря, пересмеиваясь, они раздирали чурек — не оттого, что были голодны, жадны или невоспитанны. Они забавлялись, это была их гульба, все труды этого года были завершены — птенцы оперились, делать теперь им было нечего, вот и играли с дедушкой.

Когда в самом разгаре веселья дедушка просыпался, они из уважения к нему делали вид, что испугались, разлетались по карнизам, на крышу, а там, скрывая клювы под крылышками, смеялись.

— Безобразники!— говорил им вслед Жарнес и страдал:— Подождите, вот Башир придет, задаст вам!

Воробушки были забавой деда, последней его любовью. Родня и соседи, как бы ни заботились о старике, которому по собственному подсчету исполнилось сто двадцать семь лет, как бы ни старались занимать его, все же частенько оставляли его одного. К тому же соседи и домашние, как полагал Жарнес, теперь не очень-то нуждались в нем, а во-

робушки же всегда чего-то ждали от него, знали, что если кто и позаботится о них — так это только они сами или дедушка. Конечно, когда Жарнес был молодым, ну, например, когда ему было сто лет и старуха его Айшака была жива и ложилась у него в ноги, была у дедушки собеседница, было на кого прикрикнуть и кого отругать. Тогда Жарнес и за коровой смотрел. А когда есть корова — коса твоя остра, вилы наготове. Сгоняешь корову на водопой, почистишь ей кормушку, подоишь — день твой полон, к тому же есть повод на кого-нибудь прикрикнуть. А как тогда Жарнес косил! Какие он складывал кошны — прямо перед домом, воп на том склоне, а молодые из рода свозили их домой. Но с тех пор на свете много чего случилось. Говорили, что революция произошла. Все, значит, равны, и все у всех общее. Но Жарнес видел: у каждого был свой огород, да и покос на лугах у каждого был свой... Потом — еще что-то случилось, назвали — колхоз. Это чтобы все вместе работали. Теперь, говорили, будет коммунизм. Много случилось на свете, но Жарнес, хвала аллаху, так и жил, плохого не видел. Но будь даже самая хорошая жизнь, какой от нее прок, если нет собеседника? Когда нет собеседника, человек и с камнем заговорит! А воробушки — живые. Только и слышно: чур-чурек, чур-чурек! Нет, проживи человек хоть двести двадцать семь лет, он и тогда найдет себе заботу!

Услышав голоса мальчиков, воробьи пасторожились и в испуге — фр-р! — во все стороны. Жарнес, приподнявшись, посмотрел на улицу.

Башир — правнук Жарнеса. Его отец Гейтмырза — младший сын Ахияхакима. Жарнес, хоть и долго прожил, ветвистым не был. Ахияхаким, его единственный сын, умер в возрасте семидесяти девяти лет совсем дряхлым стариком, гораздо дряхлее своего отца. А на приступке своем оставил только двоих — сына Гейтмырзу и дочь. Дочь была старшая, она перед самой гражданской войной вышла замуж в Чегет. Гейтмырза часто навещал сестру и тоже повязался родством с Чегетом, привез невесту из Тапшасхановых. Халыу, влучатая сноха Жарнеса, не в пример старшей его снохе, принесла этому дому одного за другим двух сыновей — Мухтара и Башира. Ныне она опять была в тягости. Когда Гейтмырза лежал в госпитале в Моздоке, Халыу ездила к нему и, пока он не выздоровел и не уехал в свою часть, жила там. Соседки корили ее: такая обуза в такое время — но родственники Гейтмырзы были рады и еще боль-

ше полюбили Халыу за добросовестное отношение к продолжению рода. Война войной, а род родом. Когда эту новость донесли до Жарнеса, он обрадовался больше всех. «Значит, сколько, говорите, сыновей у этого пикудышного Гейтмырзы?— переспросил он, а когда объяснили, довольный, покивал головой:— Это хорошо, два брата и одна сестра.— И строго предупредил:— Только смотрите не выдавайте ее за нелюбимого...»

— Дедушка, гляди, какой у меня жеребенок!— еще с улицы закричал Башир.

— Ах вы, негодные, сейчас же отпустите его к матери!— сказал Жарнес, возмущенный тем, как мальчики навалились на бедного жеребенка.

— Сейчас, отпустили!— проворчал Башир.

— Ему солдат подарил,— заступился за Башира один из его товарищей.

— Солдат подарил, да мать не подарила. Как он ржал ей вслед!— другой мальчик принял сторону дедушки.

— Какой солдат?— спросил Жарнес.

— Из тех, которые отступают.

— Куда отступают?— смутился Жарнес.

— Дедушка никогда ничего не понимает,— сказал с горечью Башир. И терпеливо, громко начал объяснять:— Дедушка, через аул наши солдаты отступают!..

— Красная Армия...— пояснил другой мальчик.

— Уходят... убегают,— вздохнул третий.

— Много ты знаешь!— повернулся к нему Башир.— Они воевать идут. Пулеметы видел?

— Ну, поросята, скажите, где поймали жеребенка?

— Я же сказал, дедушка, мне солдат подарил.

— Чей солдат?

— Наш солдат.

— Гейтмырза вернулся, что ли?

— Да, вернулся!— разозлился Башир.— Дай чурек, жеребенка покормлю.

И, не дождавшись ответа, Башир взял из руки дедушки остатки черствого чурека, поднес к морде жеребенка. Тот хоть и не очень охотно, но все же снял хлеб мягкими губами с ладони.

— Сыночек, какой у тебя красивый жеребенок,— удивился наконец Жарнес. И, опираясь на палку, подошел к жеребенку, погладил его в паху, палкой постучал по ногам.— Хороший будет скакун,— сказал он. Хитро покосился на правнука, спросил:— А мне дашь прокатиться?

Оттого что дед перед всеми похвалил жеребенка, Башир враз повеселел.

— Конечно, будет скакуном! Дедушка, он пока необъезженный, он тебя сразу сбросит...

— В табуне поймали, говоришь? Иди, принеси мне кумгац, сыночек. Омоюсь. Полуденный намаз совершать пора.

— Дедушка, уже солнце заходит!

— Что же теперь, вечерний намаз совершать, что ли?

— Совершай. Тут немцы идут, а он все намаз да намаз...

Башир пожалел, что Мухтара не оказалось дома, вот бы кто по-настоящему оценил жеребенка. Нет, пропадает где-то... Оставив жеребенка на попечение друзей, Башир сбежал в дом, вынес деду кумгац.

— Дедушка, давай я полью.

— Нет, теленочек мой, при омовении другому поливать нельзя.

— Тогда я пойду в Алмалы.

— Как же, как же, ведь Гейтмырза приехал... Что он привез тебе? Да-да, вспомнил, жеребенка подарил. В наше время молодым тоже коней дарили. Выходит, жив обычай, не забывается, вот ведь как... Иди, загопи жеребенка в копышню, сена подбрось. Аллаху акбар...— Жарнес теперь все свои намазы совершал сидя.

— Вы ступайте, а я не могу оставить дедушку одного,— сказал Башир товарищам.— Что он будет делать, если придут немцы?

— Кто придет?— спросил Жарнес, оторвавшись от намаза.

— Немцы!

— А кто они такие?

— Враги, дедушка. Отец же ушел с ними ехать.

— И они сюда идут?

— Да.

— А где же тогда Гейтмырза? Где он воюет? И те, другие, из Жамауата?

— Тоже, наверное, убежали куда-нибудь,— сказал третий мальчик.

— Чего болтаешь!— огрызнулся Башир.

— А теперь враг сюда, в Жамауат, идет?— Жарнес забыл про намаз: новость, сообщенная Баширом, полностью завладела им. Видно было, что он силится понять что-то, но никак не мог собраться с мыслями.

— Ну, сказали же, дедушка.

— Ай, тоба, что они, заблудились, что им нужно?

— Дедушка, ты из дому не выходи,— строго сказал Башир деду.— Мама так наказала.

— Вы же ничего толком не говорите!— Он наконец сосредоточился и спросил — очень серьезно:— Теперь... эти... кто вы говорите, немисы, что они будут делать здесь?

— Жить здесь будут.

— Как... жить здесь будут? А мы?

— Так и будут... А мы убежим в пещеры.

— Да что это такое!— рассердился Жарнес.— Где же наши мужчины? Что, у нас нет мужчин? Сыночек, ты что-то путаешь... Постойте, я пойду на ныгыш.— И Жарнес решительно встал, намереваясь идти на ныгыш. Положил левую руку под шубу на пояс, правой крепко ухватил палку — теперь он был в полной походной готовности.— Что же это такое?— бормотал он.— Видно, кроме детей и женщин, людей не осталось... как тогда, во время Уллу Хожа¹. Почему они говорят о бегстве?..— Обернулся и спросил, то ли у Башира, то ли у себя: — Гейтмырза дома?

— Гейтмырза на войне!

Жарнес вскипел:

— Если он на войне, почему же враг здесь? Ты так говоришь, словно я войны не видел. Где Ахияхаким? Да, он же давно умер... У кого же спросить?.. Сыночек, дома ли Курманали из Токлуевых?

— Кто, кто?— переспросили мальчики друг у друга.

— И этого нету! А Темирболатов Жолай? Идите, позовите его.

Мальчики снова переглянулись: они о таком и не слышали.

Тогда Жарнес опустил голову.

— Да... Нет Курманали, нет Жалоя... конечно, придет враг,— бормотал он, семена взад-вперед по двору.— Кого им теперь бояться?.. Нет, нет... Вот, говорил я им: берегите людей, таких людей, которых враг будет бояться. Если в ауле нет человека, которого боялся бы враг, это не аул. Меня, что ли, они испугаются?..

— Дедушка, если замерзнешь, ложись.

— Матери так скажи,— Жарнес взял Башира за плечо.— Если вам придется бежать, то пусть для меня оставит еды на семь дней. Больше семи дней они здесь не пробу-

¹ Уллу Хож — село, уничтоженное во время Кавказской войны. Есть народная песня «Уллу Хож».

дут, а за семь дней и кыяма¹ не наступит. Я останусь. Что подумает враг об ауле, если на его ныгыше не будет сидеть хоть один старик.

И он решительно шагнул через ворота — неправдоподобно высушенный годами, точно языческое божество.

VI

Первых беженцев Байчо повстречал в овраге Уллукол. Впереди арбы, одной рукой ведя волов за уздечку, в другой держа старую войлочную шляпу, шел Афар. На арбе, как паседка, собрав вокруг себя малых детей, сидела жена Афара Сапже. Были грустны тюки на арбе, и дети грустны, и Сапже была печальпа.

— Удачной тебе дороги,— сказал Байчо.

— Здравствуй, сын Геуюза,— Афар остановил волов.— Вижу, в село путь держишь, Байчо?— он говорил, глядя на свою шляпу, словно стыдно было ему смотреть на Байчо.

Насколько знал Байчо, Афар работал в районе, в разных местах, и как говорили, то поднимали его, то понижали — но он всегда был при должности. Один раз, как помнил Байчо, даже голосовали за Афара. А вот куда его тогда выбирали, Байчо не помнил.

— Я домой иду,— сказал Байчо.

— Сын Геуюза, худо паше дело,— сказал Афар, все так же не поднимая глаз от своей шляпы.

— Что же случилось, Афар, отчего вы такие напуганные?

— Враг идет, Байчо.

— Придут, уйдут, вы-то чего так поднялись... всем миром,— сказал в своем невежестве Байчо.— Клянусь Чоппа, я никогда не слышал, чтобы ты кого-нибудь обижал... Разве может человек оставить свой дом?

Афар не стал отвечать ему.

— Иди, бедный Байчо, возвращайся к семье,— сказал он, надел шляпу и тронул волов.

— К детям иди, Байчо, дети — вот наша теперь забота,— сказала молчавшая все время Сапже.

— Хож-хож,— прикрикнул Афар на волов, и арба тронулась.

¹ Кыяма — судный день.

— И весь аул бежит?— спросил Байчо. Большой человек под большой пошей беспомощно стоял посреди дороги.

— Весь аул, может, и не побежит,— ответил, не оглядываясь, Афар,— но тем, кто был при власти, надо уходить.

Байчо больше не смотрел на арбы, не вглядывался, кто же ведет их, кто сидит на них, он шел, все ускоряя и ускоряя шаг, словно не те бежали из аула, а он, скрывшись под огромной шапкой, под огромной ношей бежал куда-то. Но и не глядя он видел несчастных беженцев, слышал тягучий скрип арб, тяжелые безучастные голоса мужчин, понукающих волов. Телята на арбах, коровы, мычащие в тревоге за своих телят, подростки-мальчишки верхом на неоседланных лошадях, старики, под конец жизни понявшие, что еще не все увидено, что суждено им увидеть, что самое тяжелое, оказывается, еще впереди; женщины и плачущие, и молчащие — все это тянулось и тянулось по огромному оврагу, и было похоже, что по этой теснине они шли прямо в глубь земли, в путро этих всепоглощающих гор.

Выбравшись из лоцины, Байчо увидел еще более паразитическую картину: там внизу, уходящей за горизонт рекой, шли войска. «Аллах, сколько народу на земле!— удивился Байчо.— Если эта армия, покрывшая всю землю, наша, то почему же она не одолела врага? Неужели врага больше, чем все это?»

Не снимая с плеч, опустил выюк на выступ придорожной скалы и в полном смятении смотрел на этот поток. Суровой, отчужденной была эта толпа, и каждый в этой толпе был усталый и голодный, словно пастух, целый день искавший пропавшую овцу и теперь ни с чем бредущий домой. Тысячи и тысячи пастухов — сколько же пропавших овец оставили они? И еще Байчо показалось: лавина эта стянута невидимой глазу стальной цепью. Спереди эту цепь тянут упрямые могучие быки — вроде того, который держит землю. Тянут без остановки, без передышки. Если же остановятся, то лишь для того, чтобы осмыслить дорогу и потом с еще большей силой рвануть цепь.

Байчо вышел на съеденную солдатскими сапогами дорогу, но не успел сделать и нескольких шагов, как снова остановился: со стороны Белых скал вылетели самолеты, тяжелые и черные. Сбросив ношу, он распрямылся и огляделся. Отступающие войска тоже, наверное, испугались: ряды нарушились и люди, как вспугнутая стая,— Байчо даже слышался треск и хлопанье, с каким разлетаются птицы,— рассыпались по склону и прижались к земле. Они

перебегали, стараясь скрыться в кустах, в лощинах, за камнями. Байчо же остался стоять, и с ним — большая тень посреди горячей сентябрьской пахнущей пылью и увядающей травой дороги. Самолетная стая распалась надвое, одна кучка полетела в сторону аула, другая развернулась прямо над головой Байчо так низко, что он увидел сидящих в ней, и ринулась прямо на склон, по которому только что рассыпались люди.

Байчо вдруг забыл свой страх, ему хотелось понять, почему эти люди, взрослые люди, — может, пахари, может, пастухи, — почему они, повалив свои плуги набок, бросив стада и отары без присмотра, затеяли эту плохую игру? Нет, решил он тут же, игравшие в эту игру не могли быть пахарями, а тем более — пастухами! Скорее всего они просто лодыри и бездельники: пастухи так зазря тратить свое время не будут.

Байчо очень хотел понять, с чего она начинается, эта проклятая война. С тех пор, как заговорили о ней, в Жамауате почти не осталось здоровых мужчин. И не только молодых, даже из его ровесников многих забрали. Было четыре пастуха в одном коше — теперь он один. Нет, вспомнил Байчо, теперь ни одного не осталось. Почему его односельчане, пахари и пастухи, должны воевать, а возможно — аллах, спаси их от греха! — и убивать?..

И тут Байчо задрожал — не от гула самолетов, не от стрельбы, — страх охватил его, когда он подумал, что мирным людям, его товарищам по кошу, которые уже год как ушли на фронт, может быть, тоже приходилось убивать. Ведь могли взять и его. Дали бы ему в руки оружие и сказали: «Стреляй!»

«Аллах, спаси меня от греха!» — взмолился Байчо. Нет, кош должен ржать, пес — лаять, а человек — делать свое дело. А война — это не его дело. Если собака будет ржать, а лошадь лаять — это же им обоим унизительно. Так и человеку унизительно воевать. Нет, войны не должно быть, каждый должен заниматься своим делом. Подумать еще дальше Байчо было уже не по уму. Среди этих немногих вопросов, которые тяжело, как камни, ворочал Байчо, не было одного: почему его самого не забрали на войну? Ведь он не старше Мустафы и Рамазана, которых все же забрали. Наверное, потому, что Байчо не может воевать — какой из Байчо воин? И это справедливо. Умные у нас начальники. «Пусть лучше Байчо пасет овец», — сказали, наверное.



Он пошел дальше, заставляя себя не оглядываться. Но снова видел, не глядя, снова слышал, снова чувствовал. И вот он увидел первого убитого солдата! Байчо остановился. Ноша его, словно оборвалась жантау, упала с плеч. Все, что было до этого мгновения, было неправдой. Правдой было вот это — умерший только что солдат.... И войной было не то, что видел он, стоя на дороге, не взрывы бомб, не перестрелка, а вот эта кровь, которая только-только свернулась и начала застывать, вот эти темные разводы, там, где земля, осенняя зрелая земля, припила молодую кровь. И даже не это, а удивленный взгляд молодого солдата, его глаза, широко открытые, смотрящие в небо и удивленные тем, какое оно высокое, светлое, хотя и без солнца. Байчо стоял над погибшим солдатом. И солдат смотрел так, будто за Байчо был долг.

Какой долг? Разве Байчо брал его? Когда?

— Когда ты родился?

— Не знаю.

— Когда тебе дали имя?

— Не знаю.

— Когда к тебе прибежал твой первый ребенок?

— Не знаю.

— Когда пулю, летящую в тебя, я...

И понял Байчо, почему, уже целую вечность идя сквозь войну, он не чувствовал опасности. Байчо поправил тело убитого, закрыл ему глаза. Потом вынул из рук винтовку, снял ремень, лопату, принес вещмешок, лежавший неподалеку. Кстати, Байчо не был и могильщиком.

Земля здесь, на склоне, каменная, глубоко не выкопана. Он походил, искал землю получше. Спустился в ложбину. Кустарник почти весь был скошен, большие кленовые листья свернулись, опаленные огнем. Пожалуй, здесь. Он перенес солдата, отмерил ему по росту и начал копать.

Огромный Байчо с крошечной лопатой в руках был беспомощен и неуклюж... Но он уже стоял в яме по пояс, когда, подняв голову, увидел окруживших его солдат. Он помялся минуту и стал копать дальше. Но его окликнули, помогли выбраться из могилы, молча отобрали маленькую лопату и показали на дорогу.

Еще в начале школьных каникул Мухтар косил в ложбине Баласлы, потом с помощью матери и брата сложил несколько копен. Теперь пужно было свезти их в одно место и огородить. Вечером он попросил у Казака волов, на помощь позвал Хакима. Рапо утром Хаким подъехал к их двору на ишачке, чтобы на обратном пути привезти дров, и они отправились в Баласлы. Война войною, а сено корове всегда пужно. Если же кошны не свезти и не огородить, потом своего сена и соломинки не найдешь.

Хаким был вторым ребенком Байчо. Старшей была Азинат, вторым — Хаким, третьей через два года Дауус родила Лазимат. Но за старшего был рассудительный и работающий Хаким. Все заботы по хозяйству лежали на его плечах. И он везде поспевал. И учился хорошо, одним из первых, его любили и товарищи, и учителя. И в доме был кореник, тянущий вол, — семейное ярмо крепко сидело на его шее. Хаким всегда помнил, что он мужчина и старший над одиннадцатью. Даже старшая Азинат, а следом за ней и своеправная Лазимат клялись именем брата. Азинат, кончив курсы, работала в мастерской, где шли тулупы. Лазимат из пятого класса перевели в седьмой, а потом из седьмого — сразу в девятый — теперь Хаким, Мухтар и Лазимат должны были пойти в десятый, но школа этой осенью не открылась.

Мухтар чаще, чем у себя в доме, где всего было в достатке, ел в доме Байчо, где не хватало на всех посуды, и, садясь за стол, дети сторожили, когда освободится чашка и ложка. Хаким и Мухтар ели одной ложкой из одной чашки. Халыу, мать Мухтара, по-жепски думала, что сын ее ходит туда не из-за Хакима, а ради Лазимат. Но то, что засело в голове у Халыу, Мухтару и Лазимат и на ум не приходило. Они были друзья, и Лазимат относилась к Мухтару так же, как и к Хакиму. Порой Хаким тоже приходил к Мухтару и тоже, пакрошив в густой, как сметана, айран горячий, только что вынутый из золы чурек, ел с ним из одной деревянной чашки. Но он всегда был в работе, и поэтому чаще Мухтар шел к ним.

«Хож-хож!» — изредка пожукали они волов, а так всю дорогу до Баласлы молчали, даже не смотрели друг на друга, словно были в ссоре. Приехав на место, быстро стянули копны в одно место и пачали стоговать. Мухтар подавал, Хаким складывал, и они быстро наметали стог. Хаким сде-

лал обвершку, но слезать не спешил, воткнул вилы в сено и сел. Мухтар растянулся на траве. И в этот миг из-за горы выскочил самолет. Ребята смотрели, как он летит прямо па них, потом проводили взглядом.

— Ну, что будем делать?— это было первое слово, сказанное сегодня Мухтаром.

То же самое и Хаким мог спросить у него, но он просто стал жевать соломинку.

— Слезай,— привстав, сказал Мухтар. Хакиму сверху было видно, как он изменился в лице, когда пролетел вражеский самолет. «Что же делать? Что делать?»— спрашивал его взгляд. Он вскочил.— Я тебя спрашиваю!— чуть не крикнул он.

— Что делать?— сказал спокойно Хаким.— Нас-то не спрашивают...

— Хаким!— На этот раз Мухтар действительно крикнул. Даже волю пасторожились.

— А что? Пусть идут. Посмотрим.— Хаким соскользнул со стога.— Пошли прутьев нарубим. Огородим сено — и домой.

Хаким взял топор, Мухтар пригнал ишачка.

Над тихим, пахнущим свежим сеном оврагом стоял тяжелый гул самолета. Хаким нашел большой куст орешника и принялся рубить его. И тут поблизости что-то разорвалось. Мухтар, побелев, посмотрел на друга. От взрывов дрожала земля. Было похоже, что бой пройдет по ложбине Баласлы.

— Гляди, еще два... У них за горой аэродром, наверное.— Хаким, не поднимая головы, продолжал рубить орешник. Мухтар подошел к нему очень близко, совсем вплотную.— Хаким... Ты... боишься?

— Отойди, рубить мешаешь.

— Они в сторону аула полетели...

Опять содрогнулась земля. Теперь казалось, бой идет в глубине земли, Мухтар ногами чувствовал его.

— В сторону аула?— Хаким приставил топор ко лбу и посмотрел в сторону села.— Тяжело гудят...

— Мы должны мстить, Хаким!

Хаким топором замахнулся на уходящий самолет, но опять ничего не ответил Мухтару, стал складывать в кучу срубленный орешник.

— Лучше побыстрее поставь плетень и иди домой,— сказал он погодя.— Мстить!— усмехнулся он.— Ты придумай — как? Топором, что ли?

— Тебе что, за кого ты будешь мстить! — вдруг сказал Мухтар. — Твой отец дома.

Хаким резко выпрямился. Посмотрел в удивлении и, перекидывая топор из руки в руку, будто примериваясь ударить, подошел к Мухтару.

— Ты, сыночек Гейтмырзы, ты что говоришь?

Но Мухтар даже взглядом не шевельнул. Хаким, подавив в себе гнев, отбросил топор, опустился перед Мухтаром на корточки. Помолчал, потом сказал тихо:

— Я за маму боюсь, Мухтар.

— А моя мать — не мать?

— У моей матери сердце больное. Если приступ... Случись что-нибудь со мной — она умрет. А нас тринадцать!

Они так и не поняли, кто первый протянул руку, но они обнялись и молча, неподвижно, положив голову на плечо друг другу, стояли на вздрагивающей земле.

— Не повезло нам... — сказал наконец Мухтар. — Родись мы на два года раньше, нет, хоть на год, пошли бы воевать...

Они огородили стог, навьючили ишачка дровами и уже после полудня, даже не тронув еду, которую брали с собой, вышли в обратный путь.

Впереди мерно шагали волы в ярме, огромные рога их были устремлены в небо. Взрывы стихли. Такая стояла тишина, что и гул самолетов, и бомбежка, и все, что они пережили, теперь казалось сном. Все пахло сном — и земля, и руки ребят, и длинные рога волов, и даже дрова на спине ишачка. Только от самого ишачка пахло ишачком.

— Если бы война была сном, а мы вдруг проснулись, — сказал Мухтар.

— Хорошее было бы пробуждение!

Они вышли на склон Аюташ. И вдруг — даже волы остановились. Еще дымились воронки. Лежал убитый конь. Перевернувшаяся арба... Кровь...

— Это те самолеты...

— Может, и убило кого? — Мухтар быстро посмотрел вокруг. — Здесь наши войска проходили... Бомбили их... Гляди, пилотка! — Он поднял окровавленную пилотку.

— Брось, — сказал Хаким.

— Зачем? Брату твоему, Чачию, отдам. Обрадуется.

— Пилотка с убитого?

— Сам умри! Где, если убили?

— Увезли или похоронили. Погибших не бросают.

— Нет, пилотка просто упала, когда он бежал. Видишь,

никого убитых нет. Только коню ногу оторвало. Воп его нога. Арбу-то как, прямо в щенки... Воп куда укатилось колесо...— Тут Мухтар увидел какой-то предмет, из кучи выброшенной взрывом земли торчал железный угол.

— Хаким, там что-то!..

— Что?

— Посмотри, в земле что-то есть.

— Не надо, Мухтар. Вдруг мина?

— Да ну, какая мина? Нет, я посмотрю.

— Иди-ка ты!— Хаким оттолкнул Мухтара, подошел к воронке и, опустившись на колени, осторожно, одной рукой начал отгрести землю.

— Похоже, ящик какой-то.

Мухтар присел с другой стороны воронки и обеими руками принялся откидывать землю. Показался небольшой железный ящик. Потянули, но даже не сдвинули с места. Еще разгребли землю — теперь ящик был весь на виду. Они взяли его с двух сторон, перенесли на ровное место, осторожно опустили на землю и отковырнули крышку.

Если бы в тот день Мухтар молил о том, чтобы война кончилась, чтобы вернулись те, кто ушел на фронт,— валлахи, все бы исполнилось! Но он хотел метить и молил об одном — об оружии. И вот им с Хакимом попался этот ящик! Пусть у того, кто говорит, что мольба не сбывается, у самого ни одна мольба не сбудется! Мухтар даже подпрыгнул:

— Хаким, смотри! Хаким, ты только посмотри!

Крикнул так, как крикнул бы маленький стосковавшийся сын, бросаясь на грудь пришедшего с войны отца: «Папа вернулся!»

Железный ящик был полон гранат!

— А что мы с ними будем делать?— спросил Хаким.

— Дурак! Осел! Ты посмотри, сколько их!

— А ты вспомни, умеешь ты метать гранаты?

— Ты дурак!— отмахнулся Мухтар. Бережно взял из ящика гранату, покрутил ее в руках, осмотрел со всех сторон.— Научусь, еще как научусь,— положил гранату на место.— Хаким, подгони ишака, ящик на дрова положим.

— Половина твоя, половина моя,— сказал Хаким.

— Давай, давай, давай сюда ишака!

Хаким подогнал ишачка. Они с трудом подняли ящик, положили поверх дров и примотали веревкой.

— Теперь я знаю, как я встречу врага,— сказал Мухтар.



— Почему — ты? Вдвоем!

— Нет,— сказал Мухтар.— Здесь мы не товарищи. Тебе нельзя.

— И шагу без меня не сделаешь!— сказал Хаким.— Не то я все про гранаты расскажу!

Были уже сумерки, когда они вышли к Нарт-горе.

— Видишь?— спросил Хаким.— Вон часовые. Прощайся со своими гранатами.

Мухтар, испугавшись, остановил ишачка.

— Хаким, ты уходи!— зашептал он, будто кто-то мог услышать их.— Я потом пойду.

— Почему?

— Увидят — отберут. Я через Алмалы пойду.

— Поймают. Хуже будет.

— Ты иди, гони волов. Вернешь их прямо Казаку.

— Это наши часовые. Наши стоят в Жамауате. Не видишь, что ли?

— Я гранаты никому не отдам! У них есть все, а они отступают!— С этими словами Мухтар повернул ишачка на Алмалы.

VIII

Забавный парень был этот Башир. Перазумный? Капризный? Озорной? Халыу полагала, что и того хуже — он был ненормальный. Жарнес думал иначе. «Башир,— говорил он,— что воробушек — вострый и беззаботный». Кто прав? Жарнес жил на свете сто двадцать семь лет, а Халыу — всего тридцать четыре. Конечно, странности Башира исходили не оттого, что прадеду было столько-то, а матери лишь столько. Все его странности, которые тревожили мать, были оттого, что он хотел знать все, причем узнать все сразу. Вот, например, почему мать его Халыу намаз совершает то сидя, то вставая, а дед — только сидя, лишь мотая туда-сюда головой. Еще он хотел знать, почему одни люди большие, а другие маленькие, почему люди не рождаются сразу большими. И откуда у Байчо так много детей? Или вот такие вопросы:

— Дедушка, а какой из себя аллах?

— Цыц, гяурское отродье!

— А что?

— Аллах — никакой. Аллах — это аллах.

— Ты же говоришь: великий аллах.

— Ну.

— И когда ты еще маленький был, а он уже был великий?

— Да, и когда я был маленький, и когда все были маленькими.

— Такой великий — как Чохана?

— Еще больше.

— Как Желтые скалы?

— Не кощунствуй!

— А что будет? Ну, скажи, какой он?

— Все создал аллах, и аллах больше любой горы на свете.

— Дедушка, а ты его видел?

— Его никто не видит. А он всех видит.

— И меня?

— И тебя.

— Прямо вот сейчас?

— Прямо вот сейчас.

— Дедушка, если я поднимусь на самую, самую, самую верхушку неба и даже выше, увижу аллаха?

— В гарш¹ хочешь сказать. Если в гарш поднимаешься, то, может, увидишь.

Тяжба между Жарнесом и Баширом началась после этого разговора. Жарнес полагал, что Баширу никогда не подняться в гарш, но если бы и поднялся на этой железной птице, которая его, Жарнеса, отнесла в город, то все равно аллах ему не покажется. А Башир считал, что подняться на седьмое небо и увидеть там аллаха, еще никем не увиденного, можно вполне.

Башир и Жарнес, два ребенка, — поскольку у Жарнеса опять начали прорезываться зубы, — проводившие дни в спорах между собой, встречались с аллахом: один — когда совершал намаз, другой — когда крепко-крепко мечтал. Жарнес в ожидании смерти просил у аллаха рай, а куда — хоть покоя, Башир же в ожидании зимы просил у него хороший хайнух и кнут из козьей сыромяты — погонять хайнух — и еще саржи².

В одну из ночей, когда он с этими мечтами лег спать, он и в самом деле встретился с аллахом. Аллах был в точности как Байчо — с рябым лицом, с огромными руками,

¹ Гарш — седьмое небо, космос.

² Хайнух — юла, деревянная вертушка, которую мальчики гоняют кнутом из козьей шкуры; саржи — самодельные лыжи.

высокий, добрый. Но только с бородой до колен, а на голове — белая чалма с красным верхом. Но Башир всмотрелся в него повнимательней, и показалось, что он похож не на Байчо, а на дедушку Жарнеса — такой же сухонький, па-смешливый старичок.

— Ты аллах? — спросил его Башир.

— Я аллах, — ответил тот голосом таким, будто заговорила пещера.

— Если ты аллах, ну-ка,пусти бурю.

Только сказал, как над миром промчалась буря, закрутила и понесла Башира.

— Хаа-хаа-хаа-хаа... — смеялся аллах. — Кто не верит в меня, того смешаю с бурей... Если дети в меня не верят — никогда не станут взрослыми, если взрослые — покоя не будет им. О-о... О-о... О-о... Изобилие дам, а радость — нет!

— Я верю! — быстро сказал Башир.

И буря стихла. Башир подошел к аллаху поближе.

— Зачем ты пришел ко мне? — спросил его аллах.

— Мой папа на фронте, — сказал Башир.

— Нет, ты пришел просить хайнух, — сказал ему аллах. — Ты пришел просить вертушку и кнут из козьей сыромяты.

Башир удивился: как это аллах угадал его мысли.

— Мой дедушка просит у тебя рай, а на земле — покой.

— Я ему дал покой, — сказал аллах. — И тебе дал хайнух и кнут. Вернешься — посмотри за дверью.

Башир заторопился домой.

— Остановись! — сказал аллах, опять будто из пещеры. — Ты хороший мальчик, проси еще.

— Ты знаешь мою маму?

— Знаю. Я ей дам еще одного сына.

— Она все время плачет.

— Она плачет из-за тех, кто забыл меня.

— Нет, — честно ответил Башир. — Она плачет из-за папы.

— Она верит в меня! Твой отец вернется.

— Ура-а-а!

Проснувшись испуганная Халыу, взглянула на сына и решила, что он опять воевал во сне. Башир, разбуженный собственным криком, вскочил и побежал к двери. Халыу — в одной рубашке — за ним.

За дверью не было ни вертушки, обещанной аллахом, ни кнута. Башир, глотая слезы, молча обнял мать. Халыу крепко прижала к сердцу пригорюнившегося ребенка и сно-

ва легла в постель, ни слова не сказала, только молилась про себя...

Две родные души обогревали ее: одна под сердцем ее, другая — на груди. Она лежала между двумя близкими мирами, которые горячим краешком касались ее. И так ей было тепло, покойно, что в этом наступающем рассвете не было женщины счастливее и здоровее.

* * *

Поскольку теперь он был не кто-нибудь, а хозяин жеребенка, Башир решил распрощаться с некоторыми мелкими, недостойными его нынешнего положения, привычками. И добиться того, чтобы взрослые — в конце-то концов! — начали его уважать. И в первую очередь — Мухтар. Вот кто совершенно не считался с ним! Конечно, Башир мог просто не обращать на это внимания, сказать: «Не считаешься — ну и не считайся, подумаешь!» — ну, и что бы ему было за это? И печего задаваться, все равно Башир все его тайны знает. Хотя бы про то, как прошлым летом Мухтар по ночам на кавалериста учился...

«...Я еще днем заметил, как он, когда в лес за дровами ездил, привез охапку ореховых прутьев и спрятал под мостом. А вечером сначала притворился, что спит, и, только все уснувши, встал и на цыпочках — в комнату бабушки! Тихо, без скрипа открыл дверь, проскользнул. Вор! Вор, как в сказке! Я на четвереньках — за ним. Гляжу: достает из сундука бабушкину шапку, прячет под бешметом и выходит. И бежит, словно от лупы. Я за ним. Он бежит — я бегу. Смотрю — в Алмалы. Поймал чью-то лошадь и поскакал обратно в аул. Взрослый уже, а не знает, что за конем не угопишься, попробовал бы, побегал сам! Прискакали мы, а он пробирается в дом к Махмуту, тому, который днем в долине занимался джигитовкой — на кавалериста готовится. Вышел с его кавалерийским седлом. Оседлал коня, вскочил и поскакал в долину. Я уже потом прибежал и спрятался под мостом. А он взял те прутья, понатыкал в гальку на берегу и давай рубить их шашкой на полном скаку! Точно так же, как взрослые рубили днем. Только еще лучше. Джигит! Шашка так и сверкала под луной. И копь запотел, потемнел весь. Да-а, увидел бы его сейчас Махмут, задал бы ему! Махмут — Мухтару? Это еще подумать надо. У Мухтара-то — ого какие мускулы! Мухтар так разошелся, что я не стерпел, как закричу: «Ура-а-а!»

Вот дурак! Ну, теперь уноси ноги! Прибежал домой и лег. Он вернулся под утро. Мама так ничего и не узнала. Мог бы я ему отомстить, коли он так задается? А зачем? Пусть думает, что его секреты никто не знает. А вот то, что я тоже об этом знаю, уже мой секрет!»

И хотя Башир в душе обижался на старшего брата за то, что он не берет его в товарищи, все же он знал, что нет в ауле парня, который хоть на мизинец мог бы сравниться с Мухтаром. Башир догадывался, что у Мухтара был какой-то свой заветный мир, о котором не знает никто, даже, наверное, Хаким. И в том мире все было заманчиво, все интересно. И эта ее заманчивость, как язычки пламени сквозь золу, прорывалась и в том, что Мухтар каждый день придумывал что-нибудь новое, и в том, как он рвался на фронт, и в том, как он шагал, как поднимал взгляд и как смотрел на мир — прямо и без страха.

У Башира тоже будет свой такой мир — вот только вырастет. Если бы Мухтар не считал Башира несмышленышем, если бы скорее ввел в свои дела, советовался с ним — а кто вернее и лучше брата посоветует в таких делах? — было бы лучше для обоих. Вот почему обида на брата не уменьшалась, а, наоборот, все росла и росла. Башир так любил брата, так гордился им, а тот только гнал его от себя.

Как Башир догадывался, этот тугой, упрямый мир Мухтара начал расти в нем с того дня, когда два года тому назад их родственник учитель Жабраил Локманович вызвал откуда-то самолет, чтобы увезти дедушку в далекий город и там оперировать ему ногу. Он заметил, с каким восторгом Мухтар смотрел на летчика. Тогда Мухтар вернулся из школы и то ли себе, то ли выбежавшему ему навстречу Баширу сказал: «Пусть я черным камнем лягу на дно Юрду, если не стану летчиком». С того дня он начал собирать из газет и книг все, что там было о летчиках. Читал днем и ночью. Воображая себя летчиком, прыгал с дерева на дерево, висел на ветке вверх ногами — испытывал себя. Однажды, спрыгнув с верхушки грушевого дерева, попал в больницу, два месяца лежал в гипсе. «Два ребра себе сломал и ногу, два ребра и ногу!» — причитала мама. Это что! А когда он без пищи, без теплой одежды, никому не сказав ни слова, ушел в лес и пропадал там три дня? У него, видите ли, загорелся самолет — и ему пришлось спрыгнуть с парашютом в лесу. Всем аулом искали, все старшие классы во главе с Жабраилом Локмановичем, и не

пашли. Уже думали, что погиб он, свалился со скалы, засыпало снегом. На четвертый день Мухтар вернулся сам. Белый, будто из могилы вышел. И снег — снег, и он — снег. Три дня один в лесу! Кто бы что ни говорил, как бы ни плакала мама, а все же Мухтар храбрец. Таким братом, клянусь, и Чкалов бы гордился!

А дедушка сказал: «Сдается мне, дурной ты будешь...»

Тоже нашел что сказать! Ну, что с дедушки взять, разве дедушки что-нибудь понимают? Сам бы попробовал! Три дня без пищи, и волки кругом!

Вот так он в душе гордился братом. И как подобало младшему брату, защищал он тогда Мухтара. Башир показал тогда людям, ругавшим Мухтара, что у летчика есть брат. Перед напором дедушки и матери (отец тогда был в горах, в коше) выстоял. И ждал, что кому-кому, а уж ему-то Мухтар о своем путешествии расскажет все. Уж теперь-то брат поделится с братом, и терпеливо ждал. Вот перестанут Мухтара ругать, уму-разуму учить, возьмет он Башира — и отправятся они на ишачках по дрова, и, пока будут ехать, все как есть расскажет. Ладно, про то, как днем было, если хочет, пусть не рассказывает. Про ночи — обязательно. Ночи... Да-а... Только подумаешь — жуть берет. Зима, снегу по колено, голодные волки воют...

— Ну, расскажи! — встал он перед Мухтаром, когда все уже терпение вышло.

— Иди уроки учи.

Вот был ответ Мухтара!

— Не буду учить. Не расскажешь — ни за что учить не буду. — И попробовал зайти с другой стороны: — А тебе холодно было?

— Откуда? Снег же теплый.

— Как бы не так. Он холодный.

— Это он в ауле холодный. А в лесу — теплый.

Нет, ничего не рассказал Мухтар! Вот тогда сердце Башира стало каменным — и он перестал спрашивать и даже надеяться перестал. Коли он не признает его и за брата не считает — пусть. Кто сказал, что Башир не вырастет? Если Мухтар пошел на три дня, он, Башир, пойдет — на десять!

После этого он не подходил к Мухтару. Хотя как младший брат и подчинялся ему, делал все, что он велел, но делал не поднимая лица, с таким видом, будто золы наглотался.

— Злой ты, однако, — сказал ему Мухтар.

Башир и тогда ничего не ответил.

После путешествия в лес антаритет Мухтара сильно поднялся — и в школе, и в округе. Башир не знал, как с ним вели себя, что об этом говорили ровесники Мухтара, а вот его, Башира, ровесники... Среди них о Мухтаре (не без помощи Башира) уже ходили легенды. «Он летчиком будет, оттого и путешествует», — говорил Башир друзьям. И когда те встречали Мухтара на улице, то смотрели на него, как смотрят на летчика.

Мухтар же, выдержав все испытания, поверив, что может стать летчиком, вдруг, к ужасу Башира, объявил, что быть летчиком вовсе и не собирается. Обида Башира перешла в страх. Какие уж тут обиды! Он чуть не заплакал.

— Ты что говоришь, Мухтар? Ты рехнулся, что ли?!

— Если будешь жив... Если будешь жив... — вдруг запел Мухтар, схватил братишку и, смеясь, поднял его над собой.

Но разочарование Башира было велико: подумавшись, поднял его над головой, даже если бы он его в горш закинул — и тогда Башир не простил бы его.

— Врун ты! Чем быть вруном, лучше... Клянусь, я бы...

Но Мухтар и впрямь будто рехнулся.

— Ну, что тут интересного — быть летчиком, — засмеялся он. — И не трудно, и не интересно. Ну, какая от летчика польза? Все летает и летает. Воробей тоже летает. То ли дело — самому самолеты строить! Ну, такие, которые самые сильные, самые быстрые в мире, чтобы никакой чужой самолет не мог их догнать. Пусть я черным камнем лягу на дно Юрду, если не стану инженером!

— Врешь ты все, я тебе не верю! — сказал ему Башир.

IX

Только упала первая бомба, Халыу потеряла голову: Мухтар не успел дойти до ложбины Баласлы, бомба взорвалась, а Мухтар не успел спрятаться, вместе с комьями земли полетел в воздух, сгорел, исчез, улетучился!..

— Оу, оу, день мой черный, — застонала Халыу.

Сходя с ума, выбежала из дому. По куда ей, куда броситься? Хотела следом бежать — дорога отрезана, полетела бы — да крыльев нет. «Вот, вот, — проклинала она себя за жадность, — вот, вот, тебе сено было нужно, пусть будет много скота у тебя, много сена у тебя пусть будет». Халыу

как подкошенная рухнула у дороги. И голос сына донесся из-под земли: «Мама, почему ты не остановила меня, мама, неужто ты не знала, что дорога моя на погибель... Или знала, да не пожалела меня? Тебе нужно было сено... Теперь у тебя нет ни сына, ни сена».

Опять в ложбине Баласлы взорвались бомбы. Воробушки Жарнеса с шумом залетели на крышу. Халыу приплетлась домой.

— Сноха, какой сегодня день?— спросил Жарнес.

— Черный день, дедушка, черный мой день! Правнук твой, несчастный, сено свозить уехал.

— И хорошо сделал. Самая пора, теперь и следует свозить сено.

— Он живым не вернется сегодня!

— Сноха, оплеуху получишь, лажим! Не дури.

— Война, дедушка, не слышишь, что ли?

— Что война с ним сделает? Он же сено стоговать поехал! Перестань, не дури, говорю. От Гейтмырзы что-нибудь есть?

Халыу опустилась на перевернутую корзину. Она сидела, закрыв глаза, и вздрагивала при каждом взрыве. Удивительно, при каждом взрыве Мухтара убивало, разметывало в воздухе, а с Хакимом ничего не случалось. Его Халыу даже не видела. А если представляла на мгновение — тот спокойно стоял среди взлетающих в небо огненных комьев земли и продолжал работать. Два ребенка, оба в один час по одной дороге пошли по одному и тому же делу — отчего же такая разнища? Только аллах был в силах понять это.

— Пойду к Дауус,— сказала Халыу. Встала.

— Встречать идешь?— спросил Жарнес. Халыу промолчала, да он уже и забыл, о чем спрашивал.— Иди, бедняжка, иди. Беспокоишься, вижу, значит, пора ему уже возвращаться.

— Аллах, отведи беду,— сказала Дауус при виде Халыу.

Халыу удивилась ее спокойствию. Дауус говорила так, словно никакой беды не случилось и мальчики просто ушли играть.

— Садись,— сказала Дауус.

Но разве сидеть пришла сюда Халыу? Сердце ее разрывалось от тревоги — теперь при виде Дауус — не только за Мухтара, но и за Хакима: ведь это их проклятое сено поехал стоговать сын Дауус.

— Хуже нет — наперед изводиться, — сказала Даус.— Аллах дал детей, аллах им и защитник.

То ли действительно Даус верила, что ничего худого с мальчиками не может случиться, то ли так умело скрывала свою тревогу, но Халыу ушла от нее успокоенной. А вскоре через аул пошли отступающие войска. Халыу вышла, как и другие женщины, просто посмотреть. Но она увидела, что жажда мучит солдат и что они голодны. Она бросилась домой, чтобы вынести им айран и, если успеет, быстренько что-нибудь испечь. Она так спешила, так суетилась, все валилось из рук, что не понимала, не видела, какими получились у нее булки, — она лишь тогда пришла в себя, когда уже — целовко, неуклюже, локтями поддерживая тяжелый живот — бежала с ведром в одной руке и горячими булками в другой. Бежала и просила о сострадании, о милосердии просила, вернуть ей сына живым, просила словами, которых и сама не слышала — но слышал тот, непременно слышал тот, кто должен был услышать, — заклинала всем, что придет на ум, даже утренней звездой, при свете которой Мухтар вышел в путь. С ведром в одной руке, прижав горячие булки к большому прыгающему животу другой рукой, бежала она ради того, чтобы вернули ей сына.

Потом она стояла на обочине, радуясь тому, что солдаты вили айран и что от этого им становилось хорошо. Она стояла, смотрела на солдат и временами забывала про Мухтара.

Но прошли войска, некоторые части остались в Жамауате, и солдат развели по домам. В доме Халыу остановились четыре солдата.

Халыу прибирала для них внутреннюю комнату, где обычно спал и готовил уроки Мухтар, и мучилась: плохая примета — при живом хозяине освобождать комнату для чужих мужчин. Никогда больше не увидит она Мухтара в этой комнате! Зря успокаивала ее Даус. Пустые утешения — только глаза отводила. Ей — что, у нее их полон дом, она убыли и не заметит. А она же...

И слова Халыу стали непонятными, поступки ее — неверными.

Солдаты весело смеялись, они окружили Жарнеса, и он рассказывал им, как летал на айраплане (поди, такой стальной птицы они не видели, хотя и шли сюда издалека), как он поднимался в гарш — седьмое небо! Один из солдат знал балкарский язык и пересказывал своим товарищам

по-русски. Солдаты больше смеялись над жестикуляцией деда, чем над его рассказом. А Халыу билась, точно птица в клетке. Все края мира, сжавшись, сошлись в ее доме. Она же металась посередине, колотясь об эти края. Темнее становились сумерки — билась она сильнее и больней. Вот и солнце закатилось. Вот и вечерняя звезда взошла...

— Сынок, спроси, может, они видели?

Башир уже давно спросил — не видели, не знают. С отчаяния спрашивала: кого уносит вода, тот за подводный камень хватается.

Еще раз сходила к Дауус. Видит Халыу: уже и Дауус в тревоге, тоже глаз от двери не отрывает.

— Извелась, бедная Халыу?

— Случится что, с каким лицом я покажусь тебе?

И обе выходят на улицу. Молча идут до Нарт-горы. А там стоят солдаты с автоматами. «Что за хождение в такой час! Немедленно по домам». Идут обратно. Сил нет, остановились возле дома Кыйыка, сына Кеснуана. Хурта — знаменитый своей злостью пес Кыйыка — встречает согнутых горем женщин не особенно приветливо, но зато весьма участливо встречает их хозяйка, стройная, как кумган, Кымпырт (настоящее ее имя — Батчау). Она с ходу кидается на Халыу:

— С какими глазами послала ты их в такой день, боль тебе в живот! Да я бы за все сено, какое есть на свете, не отпустила!

Утро было похоже на все утра мира — откуда же было знать Халыу, что вечер будет таким?

Кымпырт — Курносая — открывает пошире рот, чтобы еще хлестче отчитать Халыу, но тут что-то белое показывается на дороге. Волы. Следом идет Хаким.

Халыу встает на цыпочки, вглядывается... Мухтара нет!

Кымпырт оказалась быстрее всех — она успевает схватить Халыу.

Дауус:

— Ой, сынок, а где, где?..

Хаким:

— Идет, идет. Другой дорогой пошел.

Халыу:

— Оу! Оу! Оу!

Халыу знает: все это неправда. Хаким верпулся без Мухтара. Всегда так — матери не говорят сразу, хотя,

чтобы она приготовилась к беде. Горячий вздох застрял у нее в груди.

Соседки подбегают, окружают Халыу. Но она никого не слушает. Только головой мотает.

— Уймись ты! — сердится Батчау. — Можно подумать, что ты первая мать на свете, которая потеряла сына. Сейчас же перестань! — Что-что, а утешать она умеет.

— Халыу, он через Алмалы пошел, — говорит Хаким, поняв, в чем дело. — Осла с поклажей по этой дороге не пустили, — соврал он. — Вот и пошел через Алмалы. Наверное, уже дома.

Женщины решают всем миром идти на Алмалы, на встречу Мухтару. Халыу немного успокаивается. Кымпырт шагает впереди, остальные следом за ней. Ну, понятно, на склоне Алмалы они встречают Мухтара с ишачком.

— Чтоб ты пропал, — плача и смеясь, говорит Халыу.

Страх и радость смешались в ее взгляде, даже в темноте видно. И стыдно ей, и радостно, и удивительно. И не потому она колотит сына обоими кулаками по спине, что хочет побить за то, что извел мать, — она хочет удостовериться, правда ли он, на самом деле сын стоит перед нею, не сон ли все это...

Мухтар же смеется:

— Что может со мной случиться? Ничего со мной не случится, мама!

X

Из года в год, по мере того как детей и забот становилось больше, Байчо казалось, что бедность дана ему промыслом божьим, что без этой бедности — и жизнь его не имела бы смысла. Раза три в год приходил он домой и всегда видел своих детей разутыми и раздетыми; у одного колени выглядывала, у другого платье изношено, тельце светится, у третьей пальцы из башмака торчат, а малые и вовсе без штанишек крутятся. Но это не огорчало его, только ласкал их, приговаривая: «И, языческое отродье!» Важным было одно: пища. Дети должны быть сытыми, а все остальное — уж как будет, рассуждал он. И потому, придя домой, он первым делом заглядывал в лари — сколько там осталось муки и зерна, — и, только когда светилось дно ларя, темнело его лицо. В урожайный год лари ложились — но Байчо никогда не продал ни зернышка, если даже неку-

да было ссыпать. Его ругали, говорили: «Зачем ты на пять лет хлебом запасешься? Что, на следующий год земля уже не родит, что ли? Продай, купи хоть что-нибудь по дому». Не понимал он таких людей и даже обижался на них: «Кто знает, какая у аллаха задумка, может, и впрямь земля не родит. К кому, в чей дом пойдут тогда мои дети? Пусть только не голодают, а от нехватки чего другого они не помрут».

Поскольку Азинат была первым ребенком, он знал ее имя в точности, зная имя Хакима, поскольку он как бы заменял его в семье. Остальных же по имени знал четвердо, всегда путал, вон ведь их сколько, разве всех упомнишь, к тому же все время растут. В прошлый раз Хани была маленькая, а теперь маленькая — это Кесариу, которая тогда в зыбке лежала, а Хани вон та, побольше. Дети и сами, пока не подрастали, не знали толком, кого как зовут.

Итак, родив на свет столько душ, Байчо о дальнейшей их судьбе не задумывался. И мысль о том, что растут они в другое время, совершенно отличное от его времени, того, когда рос он, и теперь дети должны учиться, готовиться к жизни, просто не приходила ему в голову. Он знал одно: насколько честно он будет выполнять свою работу, то есть насколько хорошо будет пасти колхозных овец, настолько его дети будут сыты. И Байчо изо всех сил старался исполнять свой долг. А насчет остального... время само покажет детям путь. И когда он шел домой, в долгом и опасном пути не радость встречи с семьей наполняла его сердце, а унижительная обида за то, что отняли у него стадо, в котором он знал каждую овцу, и, аллах свидетель, не было там ягнечка, которого бы он не принял сам, своими руками...

— Как вы тут?— спросил он у жены, как всегда, не глядя ей в лицо, словно был виноват перед нею.

— Слава аллаху!— сказала Дауус.

Дети окружили не его, а окружили его ношу.

— Посмотри на них, на негодных,— сказал он, любясь на детей.— Где Азинат, не видать что-то?— Похоже было, что Байчо из всей семьи любил одну Азинат, лишь о ней он спрашивал всегда.

— Их увезли в сторону Прохладной,— сказала Дауус.— Говорят, там против танков ямы копают.

— Какие ямы?— Байчо изменился в лице.— Слабая девочка, какие она может ямы копать?

— Чтобы враг не прошел... Откуда я знаю?..

— Что же это такое!.. Малых детей от дома отрывают!

Дети с удивлением смотрели на него.

— Говорят, больше сабет блас¹ не будет, мужчина,— сказала Дауус.

— Эй-хей.. Как же они эту яму копают?..— Байчо отвлекся от своих мыслей, поглядел на детей, с надеждой окруживших мешок.— Где нашлась такая сила, что может сабет блас уничтожить?— Он передвинул березовый чурбан ближе к очагу и сел.

— Говорят, что нашлась. Рассказывают, сюда идут люди, которые при одном слове «Итлер» вскакивают, как самые настоящие язычники.

— Развяжи мешок, жена. Сыр есть, каймак есть. Пусть эти негодные пожуют... Хани, иди ко мне!

К нему подбежали две девочки.

— И, негодницы, кто из вас Хани?

— Я!

— Я!

— Нет, я!— подбежала третья.

— Ты — Кесариу, глупенькая,— подсказала ей мать.

— Я — Кесариу,— прошептала девочка лет трех, насто-
роженно глядя на отца.

— Кесариу, ты слушаешься маму?

— Я слушаюсь,— сказала другая девочка (лет семи).

— Нет, я слушаюсь,— сказала еще одна (годика че-
тыре).

— Я слушаюсь! Я слушаюсь! Я слушаюсь!— посыла-
лось со всех сторон.

Дауус развязала вьюк, раздала детям каймак.

— Оллаха, жена, плохи наши дела,— сказал Байчо. Он разобрался наконец, которая из девочек Хани, и взял ее на колени.

— Что случилось, мужчина, день мой черный?— испуга-
лась Дауус.

— Отары за перевал погнажи.

— Уф, чуть душу не отдала,— успокоилась она.— Что отары — теперь людей угоняют. Сам невредимым вернулся, и то ладно.

— Скот угнали, сабет блас, говоришь ты, не будет, как же я тогда детей буду кормить?

— Хлеб пока есть.

— Оллаха, жена, как же я могу не работать... Этой, негодной, штанишки бы падела...

¹ Искаженное — советская власть.

— Какие! И для старших-то нет... Лазимат как подсолнух растет, ее первую одеть надо.

— А где она, поздно ведь уже?— спросил Байчо, вспомнив про дочь.

— Поди знай. Птица на небе.

Но Байчо не стал о ней волноваться.

— Жив ли Жарнес, бедный?— спросил он.

— Всех тут давеча рассмешил,— сказала Дауус, облизывая дощечку от каймака¹.— Когда люди собрались бежать, он решил остаться в Жамауате. «Я останусь,— сказал, говорят.— Если и я убегу, то враг подумает, что Жамауат аул без мужчин». Жив Жарнес, все воробушками командует.

К Байчо подошел сын (Чачий, девять лет).

— Отец,— сказал он,— а Баширу солдат жеребенка подарил. У-у, такой красивый жеребенок! Отец, достань мне тоже.

— Жена,— повернулся Байчо к жене,— если эти язычники новую власть хотят установить... Как ты думаешь, дадут они людям работу?— Покуда мальчик думал о жеребенке, Байчо думал о его желудке.

Вернулась Лазимат, высокая, тоненькая девочка. Она обрадовалась, увидев дома отца, подбежала, обняла его.

Байчо застеснялся дочери. Беленькая, статная, почти взрослая. Он даже не узнал ее. И одета сносно, совсем не так, как представлялось после жалоб жены. И сама живая, веселая.

— Все хорошо, отец?— спросила она, хлопоча у печи.— А мы очень боялись за тебя, дорогу перережут, и останешься ты там...— Она остановилась, посмотрела на отца.— Теперь будешь сидеть дома, никуда не пойдешь.

— Куда же я пойду...— глухо сказал Байчо.— Куда же я пойду, дочь, если даже колхозы, говорят, распустят.

— Это ненадолго!— резко сказала Лазимат.— Отец, масла привез? Если привез, хычины² испеку.

Байчо продолжал размышлять:

— И среди них, наверное, есть люди. Тоже о чем-то, наверное, думают.

Лазимат достала из-под жыйгыча³ белый мешочек с мукой, насыпала в корыто:

¹ Каймак — тонкая пленка поверх остывшего молока. Эту пленку собирают, наматывают на специальную дощечку, привозят как гостинец из коша.

² Хычины — балкарское национальное блюдо, род пирогов.

³ Жыйгыч — пиша с полками, завешанная кошмой.

— Они фашисты, отец! Они хотят все народы поработить и стать хозяевами над всеми.

— Как это?— удивился Байчо.— Над нами тоже?

— А ты думаешь, зачем они идут сюда? Может, думаешь, они идут помочь тебе? Вот, мол, у балкарца Байчо тринадцать детей, им не всегда всего хватает, пойдем выручим бедного балкарца Байчо...

— Ты ничего не знаешь, дочь, лучше помалкивай.— Дауус не понравилась излишняя разговорчивость дочери.— Не женское это дело.

— Да, да, не вмешивайся, ты — девочка,— мягко сказал Байчо.

Лазимат насыпала соль в тесто.

— Клянусь, их так прижали на реке Балык, долго будут помнить. Пусть знают... Ух, если бы я была мужчиной!

Байчо больше не участвовал в семейном разговоре. Усталость наконец одолела его, глаза стали слипаться, и голоса своих детей он слышал уже сквозь дрему. Вернув Казаку волов, пришел домой Хаким — но Байчо этого уже не слышал. И на хычины он не проснулся. Большая семья Байчо отпраздновала его приезд без него.

XI

Когда все улеглось — и спаряды перестали взрываться, и Мухтар вернулся жив и невредим, и в доме у них встали на ночлег четверо солдат, чуть старше Мухтара, — Халыу засуетилась: надо было накрыть на стол — благодарить бога за Мухтара и угостить гостей.

После ухода Гейтмырзы на фронт они держали только корову да нескольких кур. Но кур Халыу всех перерезала — надо было кормить Жарнеса куриным бульоном. Будь Гейтмырза дома, он, как и положено горцу, зарезал бы в честь гостей овцу. Но нет Гейтмырзы, и не то чтобы овец, даже кур не осталось. Но что скажет Гейтмырза, если узнает, что она, хозяйка, ничем не угостила гостей? Ведь у дома есть, хоть он и далеко, хозяин, и дом должен принять гостей, как подобает горскому дому. Вот Халыу и засуетилась, стараясь справиться все по обычаю.

Подумав, она решила сходить в Езен к Хурмет, вдове Локмана, двоюродного племянника Жарнеса. Хоть и ночь уже стояла на дворе, ничего другого не оставалось.

Локман, пусть земля ему будет пухом, умер до войны. Аллах свидетель, но лучше Локмана в роду Билекчиевых никого не было. Сын Локмана Жабраил тоже был человек на виду, а жена его Залихат работала фельдшерницей. Теперь Жабраил, как и все мужчины, был на фронте, Хурмет, мать его, жила с невесткой и двумя детьми Жабраила. Жабраил Локманович был любимым учителем всех жамауатских детей — Халыу не раз слышала об этом от Мухтара и Башира, очень гордых, что у них такой дядя. И Халыу казалось, что, будь Жабраил дома, она бы не так боялась за своих сыновей.

С этими мыслями Халыу подошла к дому Локмана. Вошла, как и положено снохе, без стука, словно в свой дом. Открыла дверь и остановилась в удивление — Жабраил был дома! И все, как ей показалось, растерялись. Жабраил, как стоял возле жыйгыча, словно собирался нырнуть в него, так и застыл, потом, помявшись, вернулся к столу.

— Ах, день мой, устаз-жаш¹, чтобы я жертвою твоею стала, — забормотала Халыу и, потеряв все слова, подбежала, обняла его, заплакала. — Ты дома! Кто бы мог подумать! — Повернулась к Хурмет: — Гелля², пусть аллах не отнимет твоего счастья.

— И тебе счастья, сноха, пусть скорей придет день, когда мы порадуемся возвращению Гейтмырзы. Принеси стул, — сказала та Залихат.

— Садись, учитель, садись, — снова повернулась Халыу к Жабраилу. — Садись и рассказывай.

— Что рассказывать...

— Слава аллаху, выглядишь ты хорошо, — перебила его Халыу, с нежностью глядя на него. — Совсем вернулся или... — Халыу, конечно, хотела узнать что-нибудь о Гейтмырзе, но она не могла спрашивать о муже — не полагалось по обычаю. Халыу даже в тревоге не могла уронить чести. Жабраил должен был сам заговорить о нем, если, конечно, догадается, он заговорит, а она сделает вид, что не слушает, но вся, до самых корней волос, превратится во внимание. — Или же... Эта проклятая война так и не кончится? Остались еще там живые?..

— Немного уже осталось, скоро кончится, — двусмысленно сказал Жабраил. — От большой реки и от большого огня себя береги, говорят... Ты мальчиков береги. Особен-

¹ Устаз-жаш — учитель-джигит.

² Гелля — бабушка, уважительное обращение к старой жепщине.

но за Мухтаром смотри. И мы, покуда будем живы, не оставим их, выведем в люди.

— Слава аллаху, покуда вы есть, о бедных детях есть кому заботиться,— от души сказала Халыу.

— Как дед поживает?— спросила Хурмет.

— Живет, пока все хорошо... Учитель-джигит, скажи, ты совсем вернулся? Дай мне порадоваться.

— Мухтар уже, неверное, большой стал? Давно я его не видел.

— Только ростом. Ума пока совсем нет.

— Мухтар хороший парень,— вставила Залихат.

Наступило молчание. Отошла радость неожиданной встречи, и Халыу заметила, что обычно гостеприимная Хурмет теперь как-то нетерпеливо поглядывает на нее, а Жабраил то и дело смотрит на дверь и озирается, словно в доме припрятан покойник.

— Право, не думала я столько сидеть,— заторопилась Халыу.— Солдаты у нас остановились. Такие хорошие ребята... Как же не приготовить им что-нибудь. А дома... Вот и пришла к тебе, Хурмет, ты всегда выручала нас.

— А как же, как же,— засуетилась Хурмет.— Иди, сноха, поймай курицу.— Залихат вышла. Хурмет сходила в чулан, принесла миску пшеничной муки.— Хычины испечь.

— Тебе-то какое дело до них?— жестко сказал Жабраил.— Как-нибудь и без тебя обошлись бы... Ты лучше своим детям хычины испеки.

— Правда, оно и так, они обойдутся без меня... Но они мужчины, устаз-жаш, в дом пришли. Может, где-нибудь в паше в чьем-то дому остановились...

— Лучше каждому о самом себе подумать...

Хурмет недовольно глянула на сына, но ничего не сказала, высыпала муку в бязевый мешочек и протянула Халыу. Вошла Залихат, с трудом удерживая не в меру раскудавтавшуюся курицу. Хурмет связала курице ноги и положила в корзину.

— Как же получается, устаз-жаш?— спросила Халыу.— Сейчас, как говорится, кто в доме, а кто в поле, и если в этой круговерти война и остановится, те, кто далеко от нас, в поле, там и останутся?

— Тут каждый сам должен свою судьбу искать. Кто хочет — в доме, а кто хочет — в поле...

Халыу совсем растерялась. Если бы она знала, что такое судьба и как ее выбирают, разве бы спрашивала? Ей

стало стыдно: ворвалась в дом, не постучавшись, забыла, что теперь не прежние времена. Это раньше она приходила сюда, как в отцовский дом, и, хотя была старше Залихат, не чувствовала разницы, делилась с нею заботами, всегда была желанным гостем. Но теперь война, и многое стало по-другому, не так, как прежде. Выходит, и люди изменились. А почему так изменились, она не понимала: в заботах по детям, по деду, в тяжелой работе для фронта не было времени задуматься. Конечно, беда была всюду. Почти каждый день приходило в аул по несколько похоронок, и сама она вздрагивала при виде входящего в проулок почтальона. Нет, не стоило приходиться, своими заботами беспокоить людей.

Неделю назад она пришла в магазин за керосином и встретила там с Залихат. А Залихат, которая всегда была ей рада, расспрашивала о детях, о деде, о собственном ее здорье, всякий раз наказывала, чтобы она зашла к ней в фельдшерский пункт показаться, в тот день ничего не спросила, поздоровалась коротко и поспешила уйти. Тогда Халыу не придала этому значения, но теперь удивилась: неужто и тогда Жабраил уже был дома? Ведь коли так — Залихат бы земли под ногами не чуют, а она шла, уткнувшись взглядом в землю, будто боялась споткнуться.

— Был бы дома Гейтмырза, ты бы по ночам с корзиной не ходила! — сказал вдруг Жабраил.

У Халыу дернулась голова, как от пощечины. Конечно, не ходила бы! Будь Гейтмырза, она бы и забот не знала — ей только и оставалось бы приготовить и подать на стол. И зачем устаз-жаш так говорит, будто сам не знает?

Она посмотрела на него и поняла, что говорит все это Жабраил оттого, что чего-то боится, что сторонится людей, не хочет попасть на глаза еще кому-то, и даже то, что увидела его сноха, жена его брата Гейтмырзы, ему досадно.

И в доме совсем нет радости. Ведь не сегодня же он вернулся — домашние даже не собираются отмечать это событие. В горском доме, если путник вернулся с добром, так не бывает. Даже возвращение Гейтмырзы из коша она отмечала как праздник. Резала курицу, открывала крынку с бузой, зарытую в чулане, Залихат приходила на помощь, некла хычины. А теперь их муж и сын, любимый всем родом, что родом — всем аулом! — Жабраил живой и невредимый вернулся с фронта, а они молчат, и даже сноха своим приходом напугала их.

— Аллах да не разлучит тебя больше с домом, устажаш...

И тут с порога раздалось:

— Ну, коли курицу собираетесь резать — вот вам и первый гость!

За кудахтаньем бьющейся в корзине курицы никто не услышал, как распахнулась дверь и в дом вошел новый гость. И опять Халыу поразила: Жабраил не бросился обнимать своего, как она знала, самого близкого друга, — наоборот, опустил руки и растерянно стал озираться по сторонам, Залихат как-то горько усмехнулась, а Хурмет быстро опустила фитиль керосиновой лампы. Пользуясь наступившим замешательством, Халыу тихо вышла.

XII

— Чтоб дом твой сгорел, ты откуда? — воскликнул Харун.

И Жабраил, стряхнув оцепенение, обнял его.

— Живой, как видишь.

— Канул, словно камень в воду! — Харун оторвался от него, дружески ткнул его ладонью в грудь, так что Жабраил шатнулся. — Зажги же, Хурмет, лампу поярче, дай мне посмотреть на него.

Хурмет нехотя тронулась с места и, прежде чем поднять фитиль лампы, поправила кусок войлока, закрывавший окно.

Щурясь от света, Харун оглядел изможденное, усталое лицо друга. Жабраил походил на человека, только что перенесшего тяжелую болезнь.

— Как вы тут? — отворачиваясь, спросил Жабраил, ища, куда бы посадить гостя. Харун, как давеча и Халыу, все еще не замечал его растерянности.

— Мы-то... — он еще раз оглядел друга, радуясь его возвращению. — Ни дня, ни ночи не знаем. Да ничего, пока держимся. А вот ты... Крепко, видать, досталось. Хоть бы одно письмо написал из госпиталя.

— Нет, Харун... Рана была тяжелая, не до писем было.

— Как нога, зажила? Ну-ка, походи...

Жабраил, несжиданно для себя захромав, прошелся по комнате.

— Видишь, оставила война свою мету...

— Зато она оставила тебе голову, а мне — друга!

— Мало радости, Харун,— все так же хромая, он подошел к стене, высвободил деревянное кресло от лежавших на нем вещей и подвинул к столу.— Садись.— Повернулся к Залихат:— Ты что, забыла, как мы с Харуном любили сидеть? Давай что-нибудь на стол...

Залихат, удивленная игрой мужа, отвернулась, чтобы скрыть усмешку: хромота как-то даже украшала ее мужа, придавала ему солидности, что ли; еще бы палку с набалдашником — и он с этой отросшей бородой походил бы на ученого. Он и был самым ученым человеком в Жамауате.

— Сейчас,— сказала она почти весело, как в прежние времена.

Харун, словно только теперь заметил Хурмет, подошел к ней и обнял за плечи:

— А ты все плакала, боялась, что больше не увидишь своего сына, а он, видишь,— здесь живой!..— Он повернулся к Жабраилу:— Утром мы уходим, в райкоме только что закончилось совещание. И я не мог уйти, не повидав вас, не узнав, нет ли каких вестей от тебя. А тут — ты. Надо поговорить. А ты, гелля, спи...

— Ах, Харун, какой теперь у матери сон!— Она присела на кровать.— Мы уже все свои лучшие сны выспали, только тревожные и остались.— Она вскочила, подбежала к Харуну.— Отцом твоим прошу, памятью его прошу, сейчас, когда все смешалось, берегите себя, друг друга берегите... Пусть аллах покарает меня, если я тебя люблю меньше Жабраила. А ведь он единственный у меня...

— А как же, гелля, как же не беречь себя...— смешался вдруг Харун.

— Видишь, седая стою перед тобою, из этих рук ты хлеб-соль ел...

Харун не понимал, о чем просит Хурмет.

— Поздно, гелля. Ты спи, нам с Жабраилом поговорить надо.

Хурмет ушла. И, глядя в дверь, которую она тихо прикрыла за собой, Харун вдруг словно понял ее просьбу. Он медленно повернулся к Жабраилу:

— Когда вернулся-то?

— Давно.

— Как — давно?

— С месяц.

— С месяц?!?

— Ну, может, чуть меньше, какая разница...

— Разница-то есть. Ты что, списан?

— Какое это теперь имеет значение?

— Как это — не имеет значения? Ты кто, раненый, инвалид или... — Харун замолчал, не решаясь досказать.

Наступила тишина. Потрескивал фитиль в лампе — казалось, забились по темным углам какие-то черти и шепчутся.

— ...Или дезертир, хочешь сказать?

— Месяц ты дома, и никто об этом не знает, даже я не знаю. Жабраил, что это такое? Или я тебе уже не друг?

— Садись, Харун. Сначала сядь, успокойся. Все не так просто, как ты думаешь.

Харун отошел от двери, сел. Посмотрел на Жабраила. Тот не спешил начать разговор. Вошла Залихат, поставила на стол хлеб, сыр, пару луковиц и крынку с бузой, бросила на сидящих два быстрых взгляда, так же дважды робко улыбнулась — мужу и Харуну. Она вышла, но Жабраил продолжал молчать.

— Завтра — уже не наш день, — сказал Харун, не вытерпев. — Будет поздно. Если мы еще те, кем были...

— В том-то и дело, Харун, что мы уже не те, кем были. Жизнь надо начинать сызнова.

— Начать сызнова? А что — неправильно жили?

Харун встал, отошел к окну: ему, казалось, не хватает воздуха.

— Да откройте вы окна! Сидите, будто в могиле! — в сердцах отдернул штору, открыл окно.

Полночная чистая прохлада вместе с шумом близкой реки ворвалась в комнату. Он повернулся к Жабраилу и взглядом потребовал ответа.

— Может, и правильно жили, но той жизни больше нет. Нет ее, сгорела, по ветру развеяло, утонула, половодьем снесло! И бесполезно бежать с топором за поднявшейся рекой.

...Они познакомились взрослыми джигитами, когда уже в женихах ходили — на чужой свадьбе. Жабраил сопровождал невесту, а Харун был дружкой жениха — обязанности были сходны, и, выполняя их, они часто встречались, сблизились и, пока шла свадьба, крепко сдружились.

Харун был чуть старше, но первым женился Жабраил. Когда он украл Залихат, то дружкой взял Харуна. Обычно дружкой берут кого-нибудь из близких родственников, но чтобы друг, нусть даже и самый близкий, исполнял эту свадебную должность — такого не бывало. И когда Жабраил поставил его выше своих родственников, Харун оценил

это по достоинству, никто из Билекчиевых не смог сравниться с ним в расходах на той. А Жабраил тогда поклялся про себя: покуда он жив, не забудет щедрости друга. Никто этой клятвы не слышал, но и без того все в Жамауате знали: если понадобится, если настанет такой день, Жабраил встанет рядом с Харуном, пусть даже это будет стоить ему жизни.

Потом друзьям пришлось встречаться редко. Харун почти всегда был в горах, а Жабраил учился; но и после, когда он уже работал в школе, в свои редкие побывки Харун не мог застать Жабраила — то он в командировке, то снова на каких-то курсах. Но уж если вдруг оказывались в ауле оба одновременно — пока не наставала пора Харуну снова уходить в горы, — они не разлучались. Жабраил все уговаривал Харуна, чтобы он поскорее привел в свой дом «платкоголовую», — так мужчины в разговоре называют женщину. «А то уж совсем старый станешь, — смеялся он. — Да и в кош будешь возвращаться ухоженный да обласканный». — «Что ж, давай найди невесту», — говорил Харун. «Скажи кого, и мы сами ее приведем в твой дом», — настаивал Жабраил Локманович. «Ну кто за меня, зверя лесного, пойдет?»

Жабраил Локманович с головой ушел в дела своей школы, и у него всегда не хватало времени. Даже на свадьбу Харуна, когда тот женился на Аминат, не смог прийти, был в отъезде. Но Харун не обиделся, он понимал, что, будь у Жабраила хоть малая возможность, непременно бы явился на его той.

По настоянию Жабраила Харун окончил сельскохозяйственные курсы в Нальчике и стал бригадиром. И потому, когда пришло время, его выбрали председателем колхоза.

В Жамауате, как во всех селениях мира, людей, желающих руководить, было много, а умеющих руководить — мало. Жамауат можно было обмануть в чем угодно, но в умении отличить достойного — никогда! Поэтому он с лукавым молчанием смотрел на тех, кто выискивал щели, чтобы протиснуться к руководству, когда же приходил час решения, это лукавое молчание взрывалось хохотом — и аул называл имя того, в ком видел не страсть, а умение. Так было и когда выбирали Харуна. И Харун стал председателем колхоза.

Председатель Харун всегда советовался с Жабраилом, делился заботами, всегда был внимателен к его слову. Он гордился широким кругозором своего друга, тем, как он близ-

ко принимал к сердцу колхозные дела, как стремился помочь.

Только иногда, в долгих ночных застольях вдвоем, с хорошей мужской выпивкой и откровенным разговором, Харун становилось не по себе. Хоть уже несколько лет он был председателем, но как-то робел от той чистоты, опрятности по-городскому убранного дома. Ему казалось, что от него самого по-прежнему пахнет овчиной и навозом, и он даже поеживался от белого света городской посуды в застекленном шкафу. И рассуждения Жабраила, когда они не касались колхоза, тоже порой начинали напоминать эти городские тарелки: и красивые, и блестящие, но вкус супа в них какой-то другой, темножко чужой, да и суп в нем, казалось, остывает быстрее. И тогда Харун начинал злиться на себя, он думал, что Жабраил — человек по-настоящему сформированный, что он видит дальше его, Харуна, который всего-то знал, что своих овец да своих земляков, да еще немного вдолбили в него грамоты на курсах.

Началась война. Харун и Жабраил вместе пошли в военкомат с просьбой, чтобы их отправили на фронт. Но райком их не отпустил, считая, что сейчас они нужнее здесь, в тылу. Харун видел, какой беспокойной и полной жизнью жил в эти дни Жабраил, как он наставлял бывших своих учеников, провожая на фронт, как переживал, что не может уйти вместе с ними.

Жабраила призвали весной. И теперь уже Харун проводил его в дорогу. Жабраил писал ему из города, где проходил кратковременную военную подготовку. А потом Залихат получила письмо из госпиталя, и они узнали, что в первом же бою Жабраил был тяжело ранен. Будь это в другое время, он и Залихат съездили бы к нему, но враг рвался на Кавказ, и отлучка даже на несколько дней была бы равна дезертирству. А потом вестей не стало совсем. При встречах с Залихат Харун спрашивал взглядом, а та молча качала головой. И на той неделе она быстро покачала головой и как-то поспешно опустила глаза...

— Значит, нужно так понимать, что сопротивление бессмысленно?

— Да, Харун! Война проиграна. Это не наша война. Теперь следует подумать о себе и о своем ауле.

— Как это? — спокойно спросил Харун.

За долгие годы он привык верить Жабраилу, тот всегда знал что-то такое, чего не знал Харун. А теперь? Что же заставило такого умного и, как он считал, сильного человека

совершить столь дикий поступок? Он уже знал, что правды в словах Жабраила не будет, но вдруг стало интересно: что же придумал он на этот раз?

— Скажи, Харун, мы ли не поднялись на защиту своей земли, мы ли не шли грудью на танки? Но враг оказался сильнее. И что же — побежденный должен умереть.

— Да, Жабраил, побежденный должен умереть. Ты разве об этом не слышал? Но мы еще не побеждены.

— Ладно, умереть ты можешь сам, когда тебя победят, это твое право. А народ? Где сказано, что должен умереть народ? Харун, мы уже много лет знаем друг друга. Скажи, что нам делать? Куда мы пойдем, оставив дом, аул, родную землю? И если уйдем — какая от этого польза? — Харун молчал, Жабраил, истолковав его молчание по-своему, заговорил еще горячее, еще напористей: — Мы — народ малочисленный, пять горских общин, пять горсток.

Харун смотрел на Жабраила и думал: «Недаром говорят: «У человека и у луны — две стороны». Видимая и невидимая. И если хочешь узнать, надежен этот человек или опасен, нужно заглянуть на ту сторону — в этом случае та сторона важнее. Вот теперь и расплачивайся, расплачивайся за то, что не успел разобраться в человеке. Вот он и повернулся к тебе другой стороной, дном».

— ...Хорошо, уйдем, ты уйдешь, я уйду, — говорил Жабраил, — но куда уйдет аул? Старики, женщины, дети? Беда — в дом, а мы — из дома? Оставляя аул, народ, мы спасаем только самих себя. Ты говоришь: отечество. А что такое отечество, если не твой дом, не твой аул? Куда легче скрываться в горах, под видом партизан, а аул оставить на произвол врага...

— Ты его бросил на произвол еще там... — Харун показал в окно, — на берегу Дона. Сколько — месяц, два назад? Там тебе надо было думать о народе. Ты говоришь: новая жизнь... Тогда, наверное, имя у тебя тоже новое? Скажи, как теперь тебя зовут, а то ведь я могу тебя, как прежде, назвать — Жабраилом. Ты ведь себя нынешнего больше любишь, не так ли? Он же умнее прежнего... Я ведь помню, с какими мыслями ты уходил на фронт, — наверное, теперь ты их считаешь глупыми: с оружием в руках защищать свою землю, кровь за нее пролить, жизнь свою отдать... А теперь у тебя и жизнь другая, и народ ты теперь по-другому спасаешь — сидя в жыйгыче; нынче, наверное, и честь у тебя другая? Нет, Жабраил, себя ты, может, обманешь и Залихат обманешь, хотя тоже не надолго. А вот аул ты

не обманешь. Ты убежал с фронта и, будь у тебя прибежище где-то подальше, а не здесь, ты убежал бы туда. И все, что ты говоришь о пароде, это только солома, которую ты под себя подтыкаешь, чтобы мягче было отлеживаться, чтобы совесть, как сучок или камень, в бок не вшивалась. Ведь она, совесть, у тебя не жжется, а только тычется... И не говори, Жабраил: «дом», говори «пора»!..

— Ты столько наговорил, Харун,— сказал Жабраил и поднял взгляд на Харуна; весь вид его говорил, что он перед ним ни в чем не виноват и он точно так же не согласен с Харуном, как тот не согласен с ним.— А в жыйгыч я не от народа прятался, а от тебя, потому что ты сейчас пойдешь и донесешь на меня — и только потому, что я хочу служить своему народу не по-твоему. И посмотрим, Харун, чьи руки будут чище, кому народ скажет спасибо: мне, который остался с ним, или тебе...

При этих словах Харун остановился на пороге:

— Чистые руки?.. И чистота бывает разная. У того, кто намыливает веревку, тоже, наверное, руки чистые. Смотри, Жабраил, как бы тебе таким мылом не пришлось мыть руки. Ты не с народом остаешься, а с немцем.

И Харун вышел из дома Жабраила. Жалко было слов, жалко было его самого, жалко было детей, ни в чем не повинных... Позор ждал этот некогда достойный дом.

XIII

Терзания Залихат начались давно раньше.

Однажды утром, встав, как обычно, чуть свет, она выпустила кур из курятника и, насыпав им корма, пошла в хлев подоить корову. Уже подросший за лето теленок с нетерпением ждал ее, просунув голову между жердей стойла. Залихат почесала его шею, открыла двери и тут услышала, как из сеновала донесся громкий мужской храп. Страх охватил ее, она вцепилась в стойку плетня, чтобы не упасть. Теленок оттолкнул ее и бросился к матери. Снова всхрапнул кто-то и быстро-быстро забормотал во сне. Она рванулась было бежать к свекрови, но догадка, смутная, тревожная, остановила ее. Гулко забилось сердце. Сама того не сознавая, она сняла туго завязанный по утреннему холоду платок с головы и, держа его в руке, полезла по лестнице. Залихат сначала увидела большие грязные ступни, рядом — стоптанные, разбитые сапоги. Страх сменился лю-



бопытством, она поднялась еще на ступеньку. На сене, широко раскинувшись, спал ее муж! Обросший, истощенный, кожа да кости, в изодранной грязной солдатской одежде.

Залихат, стоя перед ним на коленях, выплакала свою радость. Потом робко взяла его руку, чтобы обнять. Жабраил вздрогнул, вскочил и, хватаясь за пояс, начал что-то искать. Залихат отбросила его руку и тоже вскочила — в страхе этот человек совсем не был похож на ее мужа, и она подумала, что в тоске приняла чужого мужчину за Жабраила. Но в следующую секунду он пришел в себя и молча привлек ее к себе на грудь.

— Бедный! — сказала она.

Жабраил был не в силах говорить и только твердыми потрескавшимися губами водил по влажной шее Залихат.

— Что же ты, — тихо сказала она, — домой дорогу нашел, а дверь открыть не сумел.

— Не сумел... — прошептал он. — Залихат, родная моя...

— Пойдем к матери, детей разбудим...

— Детей не надо, Залихат, детей потом, потом...

Залихат погладила грязные, всклокоченные волосы мужа.

— Ты что, Жабраил, сбежал?

— Тише, — сказал он. — Я не сбежал!

— Пошли в дом.

— Пойди скажи матери, чтоб без шума...

Залихат спустилась вниз, постояла, облокотившись на взахлеб сосавшего мать теленка, переждала, когда уймется дрожь в ногах. Дома Хурмет совершала утренний намаз: наверное, она молилась за сына, и Залихат, прислонившись к косяку, подождала, пока она не закончит молитву.

Почти две недели шел Жабраил по лесам, по безлюдным тропам, питался лесными плодами, овощами с бахчей, кукурузой с полей. На исходе ночи достиг он Жамауата и, боясь, что дома от радости поднимется шум, в дверь постучаться не решился. А стоять и ждать, пока проснутся домашние, не было сил. Побрел на сеновал, да так там и рухнул, только подумал, засыпая: я... уже... дома...

Матери и жене он сказал, что больше в свою часть не вернется. Попросил приготовить ему тайник за жыйгычем и детей пока к нему не пускать — они могли поделиться своей радостью на улице, а это сейчас было бы некстати. Почему — он не объяснял. Коли сказал, значит, так³ нужно.

Залихат видела, что муж ее вернулся каким-то надломленным, потерянным. Сильный, открытый, всегда здоровый,

жизнерадостный, Жабраил теперь был похож на кладеного быка. Она постаралась окружить его покоем, мыла его, одевала, кормила и тем была счастлива. Днем, когда дети играли на улице и почью, когда они спали, он выходил из своего тайника, подолгу сидел с матерью и женой. Понемногу он окреп телом, и Залихат ждала, что скоро воспрянет и духом, станет прежним Жабраилом.

Он жадно слушал радио, читал газеты, которые ему приносила Залихат, выспрашивал, о чем говорят в ауле. Жена видела, что какая-то неотвязная дума, какой-то страх преследуют его. Порой ночью, проспавшись в поту, он долго не смыкал глаз, ходил по комнате. Заходил к детям, разглядывал их при свете луны, ласкал Кемала, уморившегося за день в играх, Лейлу, которая только начинала говорить. Жабраил сидел в изголовье, и по лицу его было видно, что про себя, в мыслях, он играет с ними, разговаривает, и, успокоенный, возвращался в свое убежище.

Залихат поняла, что война ошеломила, скрутила его, много смертей видел он, много горя, вот и не может он до сих пор очнуться.

— Слава аллаху, живым вернулся... Разве ты один остановишь войну, — утешала она его.

Воспоминания преследовали Жабраила: еще одно, саднящее, тяжелое, не успевало уйти за перевал, как уже подтягивалось другое, — ни на миг не оставляли, были тенью его движений, отзвуком его слов.

Больше всего он сейчас боялся встретиться с Харуном. Но вот пришла эта незадачливая весть, а он как раз собрался по нужде и не успел спрятаться в свой тайник. Беда не приходит одна — следом в дверь вошел Харун. И стоило Харуну осудить его — погибший Ачахмат снова встал перед ним.

— Погиб он или нет? — сказал он вдруг, хотя Залихат уже говорила ему, что Зайнаф получила похоронку на Ачахмата.

— Кто? — лежавшая рядом Залихат даже вздрогнула.

— Что, что? Разве я что-нибудь сказал? — он зарылся головой в грудь жены.

Было похоже, что судьба свела его с этими двумя упрямыми для того, чтобы лишний раз испытать его. Упрямые были они — и Харун, и Ачахмат, коли скажут — на шаг не отступят. Ачахмат погиб. Ну, чего он добился своей смертью? Остановил врага? Хоть на шаг, хоть на миг остановил? И если бы Харун, этот тыякчи Харун, видел чуть

дальше своей пастушьей палки, пережил то, что пережил он, пролил свою кровь, он бы не говорил так.

...Было танковое наступление, и они, Ачахмат и Жабраил, шли рядом. Вот тогда и пришел страх. В первом бою, когда его ранило в ногу, он этого страха не почувствовал. Смерти и тогда боялся, но такого скручивающего все тело страха не было. Жабраил как-то спросил Ачахмата: боится ли он смерти? «Конечно,— сказал Ачахмат.— А кто не боится смерти? Очень даже боюсь,— и усмехнулся.— Но его,— он кивнул туда, за линию окопов,— чтоб он дерьмом питался, я не боюсь». Втайне Жабраил завидовал храбрости Ачахмата, ему хотелось быть таким, как он, уверенным, пераздумывающим.

Душное кипящее море давило на него, близко рвались снаряды, и страх все сильнее скручивал его. Но рядом был Ачахмат, и Жабраил еще как-то держался, старался не выдать ему своего страха. Взорвался снаряд, взметнулись тяжелые комья земли, Ачахмат вскинулся и, вскрикнув, скатился с пригорка. Первое, что почувствовал Жабраил в тот момент, когда Ачахмат упал и скатился вниз: словно лопнул какой-то давящий узел — и вырвался страх, потащил его за собой, сбил с ног и вдавил в землю. Жабраил пополз назад, помутневшее сознание вопило, он слышал свой голос: «Не оставляй Ачахмата, вернись, будь с ним. Потом будешь каяться! Вернись, может, он еще жив... Вернись!» Но бой уже ушел далеко, а совсем близко зеленел примолкший лес, и единственным теперь желанием было — достичь его.

— Не можешь забыть Ачахмата,— сказала Залихат.— Во сне кричишь, его зовешь.

— Его зову?

— Не раз, Жабраил... Мне так жалко его, такой был веселый, отчаянный... И любовью своей не насытился.

Жабраил представил Зайнаф, жену Ачахмата, и сердце его сжалось. Хотел спросить о ней, но мог ли он о своей первой любви спрашивать у жены?

— Долг на мне,— сказал он.— Надо рассказать Зайнаф, как он умер.

Много лет прошло, как разговаривал Жабраил со своей первой любовью в последний раз...

Тогда Жабраил ходил еще в женихах, а Залихат была самой красивой девушкой Жамаата, многие хотели бы по-свататься к ней, но не осмеливались. Встретились они на сенокосе, в бригаде косарей. Жабраил приехал на канику-

лы, Залихат только что вернулась, окончив фельдшерские курсы. Амбулаторию еще не открыли, и она работала здесь — вместе с другими девушками копнила сено. Как и все остальные парни, Жабраил сразу заметил Залихат. Заметил, но сердцем не загорелся, у него была возлюбленная — Зайнаф, простая деревенская девушка, не очень-то образованная, но Жабраил любил ее. И не такая видная, как Залихат, хотя тоже по-своему красива: смуглое продолговатое лицо, большие черные глаза. Нет, она и рядом с Залихат не потерялась. Жабраил любил одну лишь Зайнаф и думал: закончу учебу и женюсь на ней.

Может, так бы все и случилось, если бы в кош к косарям на своем бестолковом буланом коне не приехал Харун. Не с пустыми руками — с гостинцами для девушек и с хорошо отбитой косой для Жабраила. И в коше живут люди, и там умеют честь по чести принимать гостей, вечером в честь Харуна зарезали барана, устроили той.

Утром, попрощавшись с Харуном, косари ушли косить, девушки — копнить. Стряпать в тот день была очередь Залихат. Она прибрала в коше и принялась готовить обед. Жабраил остался, чтобы проводить Харуна. Когда все ушли, Жабраил решил на глазах у девушки погарцевать на буланом жеребце Харуна. Он был неплохим наездником, крепко сидел в седле, твердо вел коня в поводу, бывало, даже в скачках участвовал — не упускать же случая показать девушке свое умение. И он действительно молодецки впрыгнул в седло, натянул повод, чтобы удила перерезали дыхание коня, и огрел жеребца камчой. Но и у жеребца, видать, была своя гордость — при ударе он подлетел на месте, оторвавшись от земли всеми четырьмя копытами разом, — было так, будто седло выстрелило Жабраилом. Он грохнулся возле самых ног ошеломленной Залихат. Когда осела пыль, вернулись дыхание и слух, Жабраил попытался встать, но звонкий девичий смех снова пригнул его к земле. Подбежал Харун, напуганный тем, что друг так долго не встает, поднял его, поставил на ноги.

— Ай, чума в твой дом! — сказал он в сердцах.

Однако с Жабраилом ничего не случилось. Он вырвался из рук Харуна и, как-то неловко отряхивая выбившуюся из брюк рубашку, пошел прочь. Тогда, чтобы как-то выручить друга, Харун громко сказал:

— Привык в своем Осавиахиме к сумасшедшей джигитовке, чуть не убил моего коня. Знал бы, что опять за эти прыжки возьмешься, потуже затянул подпругу.

— Что же это за друг у вас? — смеясь, сказала Залихат. Она нисколько не жалела Жабраила, пропела даже:

Не умеет бриться
И коня боится...

Если бы в глазах Жабраила были пули, то пару из них она бы получила тут же. Он не сомневался: только косари вернутся — и снова начнутся за ужином обычные смех и розыгрыши, его позор станет для них общим подарком. Жабраил не знал, как он перетерпит насмешки, увесистые, как оплеухи, шуточки аулчан; чтобы не слышать издевок, не видеть широких ухмылок, решил было уехать, но передумал... Все равно хохот этот будет идти за ним до самого Жамауата, и если даже запереться в своем доме, закрыть все ставни — и тогда он будет звучать у него в ушах. Уж если смеются, пусть смеются в лицо.

Вечером, сославшись на то, что нужно наточить новую косу, он отошел от веселой компании и сел поодаль. Глаза его были на косе, а уши — там, в застолье. Но все было как всегда: обычные вечерние байки, старые шутки, привычные розыгрыши. О Жабраиле, как говорится, не скучали, о том, как он свалился с лошади, и речи не было. И на второй день об этом ни слова, и на третий.

Ненависть к Залихат перешла в раздумья о ней... Через неделю Жабраил начал любезничать, заигрывать с ней. И Залихат охотно принимала его шутки. Но кто в бригаде не знал, что все эти любезности достаются ей за счет Зайнафа? Каждая их шутка и каждый взгляд прошивали сердце Зайнафа насквозь. В несколько дней она похудела и подурнела. Любовь Жабраила к ней увядала, как скошенная трава. Она винила в этом красоту Залихат, плакала тайком, проклиная аллаха, что тот поспешил на такую красоту и для нее, мечтала увидеть Залихат обезображенной. «Ах, день мой, — плакала она, — какая же она бесстыжая, ведь знала о нашей любви, счастье разбила...» Разобраться в измене жениха поглубже она не умела.

— Бабочки с цветка на цветок летают, — говорила она, когда Жабраил был поблизости.

Но Жабраил делал вид, что намек не понимает.

— Пойдем, Зайнаф, — говорил он, — бабочек погощем. — И когда видел, что девушка готова идти с ним гонять бабочек, то, чтобы скрыть волнение, напевал:

Ох, женюсь, женюсь я вынче.
Кто придет ко мне на свадьбу?..

Нет, не потому, как думала Зайнаф, изменил ей жених, что разлюбил ее. Бывало, что, проснувшись, Жабраил мучился, вспоминал сон, в котором он был вместе с ней. Ни разу ему не приснилась Залихат, только Зайнаф, и сны эти были счастливые. Наверное, он все же любил ее. Но беда в том, что не она, а Залихат была первой красавицей в ауле — признанной красавицей. А поскольку и Жабраил не был в Жамауате вторым, то первому джигиту — и первый выбор. Не отдавать же Залихат второму! Вот потому Жабраил и пожертвовал своей любовью. Он увидел, что девушка, с которой боялись заговорить самые отчаянные джигиты Жамауата, принимает его ухаживания.

— Выходи за меня замуж, — сказал он ей.

— Вот спасибо, а я-то боялась, что так и останусь в девках, — рассмеялась Залихат.

— Может, и останешься, если будешь жить по пословице: «Бог дает, а он отбрыкивается».

Залихат была влюблена в Жабраила. Женским своим чутьем она чуяла, что и Жабраил готов выдержать все, лишь бы добиться ее согласия.

— Покажешь парню зубки, а он уже думает: сыр. Пошутили, и довольно. Разве что еще раз свалишься с лошади...

Но Жабраил увидел, что девушка довольна: когда язык замолкал, губы ее говорили иное.

— Вот свалю тебя, а потом свалюсь и сам...

Хоть и грубоватый, но ответ не рассердил девушку.

— Когда закончишь?

Жабраил:

— Что, болтовню или учебу?

— И болтовню, и учебу.

— Как только скажешь!

— Заканчивай!

— Что?

— Болтать!

И участь Зайнаф была решена. Очень скоро она узнала, что не зря бабочка летает с цветка на цветок и не зря Жабраил пел о скорой свадьбе. Но не к ней была обращена эта песня.

Не могла Залихат при такой своей красоте выбрать себе жениха и никого при этом не обидеть...

Была полная осенняя ночь. Луна глядела на них в открытое окно. Муж и жена, так долго не видевшие друг друга, истосковавшиеся, лежали, крепко обнявшись. Знакомый

мужской запах — знакомый женский запах — лучшие запахи в мире... Они снимали стыд, заботу о завтрашнем дне.

Но Залихат думала: не многие возвращались с войны... Словно камни, канувшие в воду, исчезали молодые, здоровые мужчины, а жены их, жены и невесты металась в горячей пустой постели, и подушки их становились каменными. А она, Залихат, лежит на сильной, широкой, пахнущей любовью груди мужа. И, лежа так, она, бессовестная, еще и корит его про себя... За то, что говорит о войне со страхом, за то, что не хочет снова покинуть ее, за то, что единственным своим мужским долгом считает отныне ее благополучие. И, зная все это, она еще винит его. Так это было несправедливо, так гадко, что от стыда у нее загорелось лицо. Великий это грех для жены — вдыхать родной запах мужа и думать иначе, чем он. И еще оттого ей было стыдно, что она пыталась мужу своему быть судьей, что на мгновение, на час, на день она засомневалась в нем, подумала плохо об отце своих детей, — ужас, на что способна женщина! Нет, Залихат должна сначала думать о своем доме, о своих детях; она прежде всего принадлежит своему мужу, детям, дому своему...

— Жабраил! Похудел ты у меня, бедный.

Жабраил ничего не ответил, просто обнял ее. Рослая, видная, истосковавшаяся Залихат на его груди казалась почти невесомой. Шея у Залихат белая, все еще девичьей свежести. В юности Залихат так и называли: девушка с лебединой шеей. Теперь она лежала, похожая на какую-то мифическую белую птицу, бессовестно подставив эту шею, наполненную светом и тоскою, Жабраилу.

— Пусть они сквозь землю провалятся... — сказала Залихат, уткнувшись носом в грудь мужа.

Она подумала о женщинах, которые в такие минуты в чем-то обвиняют своих мужей. Несчастные, что им заботы мира, пусть живут и молятся о здоровье мужей, молятся, чтобы они были рядом — здоровый ли, слепой ли, безногий ли, все равно, только бы рядом... Не дай аллах пережить тебя хоть на день!

— А!.. Пропади все пропадом!

— Почему? — не поняла она.

— Никогда человек не был волен над собою. И никогда не будет.

— Не знаю... На нас будут смотреть, Жабраил. Мы же у всех на виду были... Столько лет ты учил детей, а теперь?

— Что ж. И тогда мы были с народом, и теперь будем с народом.

— Ну, как же так, Жабраил? Человек, исповедовавший одну веру, как он начнет тут же исповедовать другую?

— Какой вере я служил?— медленно протянул Жабраил — и резко, чтобы раз и навсегда заткнуть ей рот:— Жизни я служил, народу!

— Ладно, ладно, Жабраил, я не знаю, что говорю... Повернись сюда.

— Я не буду вмешиваться ни во что,— сказал он, отводя ее руку.— Буду работать и жить. Я учитель — вот мое дело, и других дел у меня нет.

Она спросила, глядя через окно на луну, уходящую за Сырбыт:

— Как же так, Жабраил, мы что... вроде как в тюрьме будем?

— А-а...— только и сказал Жабраил.

— Как же так... Нельзя, наверное, жить своей жизнью, когда в доме захватчик? Ведь на то он и захватчик...

Долго молчали муж и жена, думая каждый о своем.

— А ты говорил, что Россия никогда не покорялась... А как же теперь?

— Что теперь Россия? Иди посмотри: за Доном — зола, тучи золы... Ты что, не видишь: не через Турцию же немец идет на Кавказ, а через Россию. Что он оставляет за собой? Сожженную землю!

— Не знаю,— сказала Залихат после долгого молчания.— Что я понимаю в войне. Поступай как знаешь.

— Я бежать от немца не буду. И служить ему тоже не буду.

Не вынеся ее долгого молчания, Жабраил толкнул локтем.

— Что молчишь? Может, я не прав, может, надо было...

— Спи, спи,— сказала Залихат.

— Похоже, ты недовольна?

— Ни о чем я не думаю, лишь бы ты был рядом,— измученная переживаниями, она повернулась к нему спиной.

Она думала: когда он был на фронте, ей приходилось слышать подобные разговоры: переждать, отсидеться, выжить... Как она возмущалась, разорвать хотелось такого! Теперь же... ей хотелось оправдать мужа. Ведь все это из-за любви к ней, к детям... Вот ведь как... Но позор ли это? Позор ли? Неужели это позор?

Харун женился поздно, и еще долго у них не было ребенка. Родственники Аминат глубоко переживали их беду, боялись потерять такого верного человека, который за столько лет ни разу ни словом, ни поступком не попрекнул жену. И жалко им было, что такой человек останется без потомства. Куда только Харун не возил Аминат, кому только не показывал. Годы шли, но ни от врачей, ни от знахарей пользы никакой не было. Видно, правду говорят: чего аллах не дает, того пророк дать не может. И хотя Харун никогда недовольства судьбой не выказывал — Аминат видела, как порой неуютно было мужу дома. Сидит один, сам себя не любит. И видела, с какой тоской и завистью смотрит он на своих ровесников, у которых по дому бегали дети. Однажды он предложил Аминат:

— Попроси у Даус, пусть она даст нам одного из своих детей. Мы усыновим... Ведь мы родственники.

Но Байчо ни зернышка своего отдавать не хотел.

Сколько раз Аминат решала уйти сама, освободить его. Достаточно ей и одной страдать, зачем же еще кого-то мучить, другую жизнь псушать? «Я виновата, я должна уйти», — думала она. Ей казалось, что в этом доме она чужая, пришла на время, да так засиделась, что позабыла обратную дорогу. Иногда Харун замечал, как она терзается, садился рядом и, с трудом скрывая боль, говорил: «Ну, разве ты виновата? Ведь ты больше горюешь, чем я? Что делать, если доли у нас нет? Не плачь, Аминат, я тебя и на всех детей мира не променяю».

И вдруг, когда уже совсем отчаялись, Аминат понесла. Родилась девочка. Маленькая Жюзум вернула в дом Харуна тепло и свет. И снова Харун стал молодым и сильным. И весь его род не мог нахвалиться Аминат, никто не корил ее, что родила девочку. Ведь женщина, родившая девочку, могла родить и мальчика — тут только начать.

Ах, какой же той закатили родичи Харуна! Весь Жамауат гулял на этом тое. Тогда и Жабраил Локманович искупил свою давнюю вину. Он помнил, что не был на свадьбе Харуна, так теперь он пришел со своим курманлыком¹. И когда Залихат открыла чемодан, все охнули: золоченый нагрудник, золоченый пояс, колыбельное прида-

¹ Курманлык — приношение в честь торжества, подарок.

ное — из чистого шелка; так своей дружбой, своей щедростью поразил тогда Жабраил Локманович односельчан.

...Харун шел от Жабраила потрясенный. Шел потрясенный, видел белую пыльную дорогу перед собой, но, казалось, ноги идут обратно. Многое, что ему было дорого, оставил он в том доме. Самого Жабраила... И свою железную, не знающую сомнений веру в людей. Если самый близкий, самый надежный человек отрекся от него в такой день, то что же теперь ждать от других? И еще сильнее охватывало его отчаяние оттого, что вспоминалось о Жабраиле все больше хорошее.

Луна закатилась за гору Сырбыт. Только тут Харун заметил, что уже пришел домой и стоит у себя во дворе. Увидел в освещенном окне — Аминат сидела, ждала его. Харун оглядел небо: уже светало. Изредка грохотали пушечные выстрелы. Где-то на склонах Сырбыта разорвался снаряд. Аминат вскочила, схватилась за сердце.

— Когда ты оставишь эту привычку?— войдя, сердито сказал он жене. Аминат никогда не ложилась, пока не возвращался Харун.— Уже утро. Что, у тебя души нет?!

— Садись, разую,— сказала она, ничего не ответив на ругань мужа.

— Разуваться уже не придется.— Подошел к спящей дочери, погладил ее по лицу.— Аминат,— сказал он, не отрывая от дочери взгляда,— пора уходить.

— Не тревожься,— сказала Аминат.— Не впервой.

Харун внимательно посмотрел на жену: среднего роста, худощавая, ничем вроде не примечательная.

Он подошел к ней вплотную. Погладил по волосам — нежность, которой не проявлял никогда. Аминат, тронутая этой неожиданной слабостью мужа, отвернула лицо, чтобы не выказать своего волнения. Только спросила:

— Возьмешь что-нибудь на дорогу?— И принялась убирать постель, расстеленную на двоих, сложила одеяло вдоль, сложила поперек, убрала в изголовье и застелила кровать одеялом.— Возьми еды на дорогу,— сказала она, все так же не глядя на мужа.

— Возьму,— сказал Харун тихо. Сейчас он был самым счастливым мужем на свете.

Пока Аминат готовила ему еду, он вышел во двор, вывел из конюшни коня, оседлал его, засыпал овса в торбу, повесил на шею коня.

Стустилась предрассветная темь. По всему Жамауату, особенно со стороны Дома Советов, слышалось движение —

полным ходом шла эвакуация райкома. И на большой дороге стоял гул — там проходили войска.

Харун вернулся в дом, сел у очага.

— Самое тяжелое впереди, — сказал он, глядя, как по затухающим углям бежали синие огоньки.

— Не от всякой беды умирают, — сказала Аминат, отошла к порогу и присела на корточки возле стула, на котором уже лежал готовый хурджин с продуктами. — Все вынесем, Харун. Ты береги себя, а мы вынесем все, кроме твоей смерти. — Впервые в жизни произнесла она имя мужа¹, и стыд прощекотал у нее внутри. — Мы все вынесем, — повторила она. — Беда не сильнее человека, мы тебя не опозорим, Харун..

— Ты жена коммуниста, жена одного из колхозных организаторов. И чтобы схватить меня, постараются найти тебя... — Аминат молчала. — Найти и сломить...

— Ты скажи, что делать, и я перенесу все, — сказала Аминат. — Я понимаю, враг есть враг, но не все ему под силу. Ты скажи, я сделаю.

— Как договорились, вы с Жюзум спрячетесь в Кабарде, — сказал Харун. — Верно говорят, лучше в каждом ауле иметь одного знакомого, чем одного быка. Вот наши друзья в Кабарде и помогут...

— Хорошо ли ты подумал, Харун?.. Тяжелой ношей будем мы для них, они жизнью рискуют.

— Возможно, но только в Кабарде я могу вас спрятать.

Они снова помолчали. Харун все глядел на огонь, который, то загораясь, то затухая, плясал, радуясь чему-то, на углях.

Вдруг он резко повернулся к двери:

— А если остаться? Самим остаться? Что они нам сделают? Мы их не тронем, они нас. И все трое будем вместе.

— Харун! — в сердцах сказала Аминат, вставая. — Уж не лги, не умеешь. И не надо меня испытывать.... Будет судьба — переживем, а не будет... Вечно жить еще никому не удавалось. Если же ты боишься, что я не выдержу, то не надо. А ради того, чтобы только выжить, позора не выберем...

— Аминат! — Харун подошел к ней, словно напраказивший ребенок, и повторил в замешательстве: — Аминат!

— Ай, хомух², — сказала ему Аминат, в точности как

¹ Женщины-горянки не обращаются к мужу по имени.

² Хомух — помощь.

сам Харун сказал час назад Жабраилу.— Что с тобой? Тебя не узнать... Мы и в Кабарде будем как дома. Покуда живы Бирсовы, с нами ничего не случится. Это ты уходишь, по береги себя...

Тут со двора окликнули:

— Харун, ты готов?

Харун надеялся, что успеет проводить семью хотя бы за околицу, но, видно, он уже нужен был там.

— Придется вам укладываться самим,— сказал он. Подошел к кровати дочери, не дыша постоял над ней. Сухой, шершавой ладонью погладил нежное личико.

Аминат, как давеча с постелью, теперь завозилась с хурджином. То брала его в руки, то опускала на низкую табуретку, то снова прижимала к груди. Наконец, одолев растерянность, вынесла хурджин во двор и поддерживала снизу ладонями, пока Харун привязывал его к тороке седла.

Когда Харун сел на лошадь, она, незаметно для остальных, стоявших возле ворот, обняла его ногу вместе со стременем, поцеловала пахнувший дегтем сапог: «Аллах, дай увидеться живыми...»

— Крепись, невестка,— сказал кто-то из темноты.

Лошадь Харуна с трудом пошла со двора. И только Аминат отпустила ногу мужа, его уже не было. Теперь Аминат стояла и обнимала темноту.

Едва она увязала необходимые вещи в два узла, как услышала мерное «хож-хож»: подвода, которая должна была увезти их в Кабарду, уже подъезжала к воротам.

XV

С рассветом начали отходить войска, стоявшие в Жамауате. Халыу, провожая своих постояльцев, всплакнула. Она стояла на высоком крыльце и, закрыв рот краем бота, глядела им вслед. Она переживала и молилась за уходящих, но не хотела, чтобы Мухтар пошел их провожать, не хотела в такой день терять его из виду. Хоть за Башира она была спокойна — он спал. Но проснись он — хлопот ей доставит еще больше, чем Мухтар. Но и Мухтар ради одного ее спокойствия сидеть дома не стал — крикнул, что проводит их до околицы, и встал к ним в строй.

Околица Жамауата — широкая долина, куда выходят три ущелья. В это утро она была похожа на перегорожен-

чую реку — подходили и подходили новые и новые части, шли подводы, пушки на конной тяге, машины и орудия, и она наполнялась, поднималась, превращалась в людское море.

Мухтар, проводив своих постояльцев, сидел высоко на скале. Долину еще наполнял сумрак. Отсюда ему казалось, что людское море кипит, бурлит, перекатываются волны, подгоняемые глубинным возмущением, и там, на краях, сверкнут, выйдя за черту тени, и, ударившись о скалы, поспешно отхлынут назад, словно для того, чтобы сообщить последующим волнам, что дальше дороги нет. А когда на долину упали лучи солнца, волны показались наливающейся пшеничной нивой, которую раскачивал жидковато-желтый ветер. Четыре солдата, их постояльцы, уже давно слились, потерялись в этом потоке, исчезли. В тот момент, когда Мухтар вскочил, чтобы сбежать со склона вниз, из-за Белых скал выскочили самолеты, точно такие же, как вчера в Баласлы. Но теперь их было много. Их было много, и они полетели прямо над потоком. На Нарт-горе дружно заговорили зенитки. Долину накрыла завеса взрывов, дыма и самолетного воя. Мухтар, зажмурив глаза, припал к земле. Самолеты, глумясь, промчались на вершок от его спины — не для того чтобы смять, уничтожить, истолочь вместе с землей, а для того чтобы поиздеваться над ним: с него, дескать, хватит и этого. Преодолев страх, Мухтар приподнял голову и посмотрел на долину. Все перемешалось — люди, кони, машины, земля; высоко в небо взмывали комья, камни, обломки подвод, разорванные на куски лошади, люди... Вылетали из затененной долины и ярко вспыхивали в лучах выходящего солнца. Черные самолеты, завершив свое дело, повернули назад. Там, на высоте, они сходились, расходились, летели то выше, то ниже, словно переговариваясь, довольные содеянным. От бессильного гнева Мухтар кусал губы, задыхаясь, ругался черными словами, пятерней рвал пыльную засохшую траву. Потом сел, обхватив колени руками. Отошли страх и глухота. Ненависть и стыд рвали сердце, как он сам только что рвал траву. Эти самолеты, это отступление, эта кровь, которую бесславно проливала сейчас родная Красная Армия, — вот это было правдой.

А все то, что он слышал за девять лет в школе, о чем читал, что видел в кино, о чем говорили на собраниях? Говорили, что мы самые сильные в мире, что наша армия — самая непобедимая, — значит, не доверяли нам. Скрывали тяжелую правду. Скрывали!.. Значит, были они и был он.

И Мухтар почувствовал себя чужим, никому не нужным. А эти бредни: стать летчиком, авиаконструктором, выучить английский язык!.. Собственная жизнь показалась такой ничтожной, что он закрыл глаза.

Нет, не мог он разобраться сам. разглядеть правду, а тем более понять ее. Но она была где-то здесь, рядом, горьким жаром поднималась она из этой вот дымящейся долины, где лежало столько погибших.

Он еще долго лежал, распластавшись на земле, и жаркие слезы обжигали его лицо.

Должна была уже пуста. Снова тихо в горах, снова поют птицы — мирная, добрая осень снова вернулась сюда. Желтовато-темный ветерок пахнет не кровью, не дымом — ольхой. И поскольку все на месте, то и мысли о том, что он остался в этом огромном мире один-одинешенек, тоже неправда.

Мухтар поднялся. Он вспомнил Жабраила Локмановича, ударил себя кулаком по голове. Любимый учитель, его дядя. человек, который знает всю человеческую историю. был дома. Все важные дела в их роду решались только при участии Жабраила Локмановича, первое и последнее слово принадлежало ему; он был тем угловым камнем, который объединял основания всех Жарнесовых домов. Вот кто объяснит ему все: ясно и правдиво.

Солнце уже оторвалось от края гор. Мухтар посмотрел на небо: похоже, заненастится. Но воздух был сухой, осенний. Тяжелые дождевые тучи хотя и выползали краями из-за гор, но они далеко, может, пройдут стороной. Осень еще чувствовала себя молодой и богатой.

Придя к Дому Советов, он увидел, что там идет спешная эвакуация. Подводы и машины одна за другой отходили от Дома Советов, некоторые из них Мухтар встретил еще по дороге. Во дворе у коновязей дергались оседланные кони. Толкотня, одни туда, другие сюда. Большие окна Дома Советов, большие дубовые двери открыты настежь. Оттуда выносили ящики разной величины, деревянные и железные, грузили их на подводы. Несколько знакомых парней, уже в солдатских шинелях, с оружием охраняли их. Многих из спящих по двору людей Мухтар знал. Среди них он увидел председателя Харуна, он закрывал брезентом груженую подводу. Рахай, герой гражданской войны, что-то объяснял двум парням с винтовками.

Но Мухтар не стал здесь останавливаться. Дом Локмана был неподалеку, боковыми окнами смотрел прямо на Дом Советов.

Когда Мухтар входил во двор, Хурмет с кумганом в руке вышла из дому: видно, собиралась совершить второй намаз.

— Добрыи день, гелля,— сказал Мухтар.— Живы, здоровы?

— Слава аллаху!— ответила Хурмет пастороженно.— Йа, аллах, почему в такой сумасшедший день не сидится дома? Чего ты ходишь? Не видишь, что творится?

— Я должен увидеть Жабраила Локмановича,— твердо сказал Мухтар, собираясь войти в дом.— Мама сказала, что он вернулся, мы очень обрадовались...

— Нашла о чем говорить,— недовольно сказала Хурмет. И подобрев:— Теленочек мой, ушел Жабраил... Уехал... Где же ты теперь найдешь его?

— Куда уехал?

— К своему командиру, куда же еще.

— А где его командир?— Мухтар спросил так, словно собирался искать часть, в которой находился Жабраил Локманович.

— Не знаю. Пришел — сказал «пришел», сказал «ухожу» — и ушел. Мы не спрашивали... Ты бы лучше, теленочек, из дома не выходил покуда.

— До свидания, гелля.— Он дошел до ворот, повернулся к Хурмет и, словно ища утешения, сказал:— И они уезжают куда-то... Харун, Рахай... Весь Дом Советов...

Но Хурмет не стала его утешать.

— И длинные дороги имеют конец. Змею, сидящую в своей дыре, колесо не раздавит...

Этого назидания, хоть и вышло оно из уст уважаемой бабушки Хурмет, Мухтар не понял и еще сильнее пожалел, что не встретился с Жабраилом Локмановичем. Только он мог сказать правду. Когда же и этого не получилось, он совсем почувствовал себя одиноким.

Когда он шел обратно, погрузка архивов и другого имущества районных организаций была закончена. Кто уселся в подводы, кто поехал верхом, и колонна двинулась по селу вниз. Они очень спешили, и колонна стремглав утягивалась за поворот.

Оставалось одно: догнать Харуна и спросить у него. Если он не поговорит с ним, то останется со своими вопросами наедине и они изгрызут его — никто потом не сможет ответить ему. Но было стыдно. О чем он будет спрашивать? Вернее, о чем спросить, он знал, а вот как спрашивать — не знал. Стыд, робость удержали его на месте.

Харун, который ехал одним из последних, уже приближался к повороту.

Мухтар сорвался с места... Добежал и, задыхаясь, грубо, ничего не соображая, рванул за повод. Харун удивился, приостановил коня и, тоже несколько растерявшись, устоялся на него. Мухтар стоял, силясь перевести дух.

— А мы... Что мы будем делать, Харун Хачамукаевич?

Харун молчал. Конь нетерпеливо перебирал ногами, и Мухтар тоже, чтобы не попасть ногами ему под копыто, крутился и приплясывал на месте, словно земля жгла ему ноги.

Все эти дни Харун боялся, что его спросят об этом, каждый раз, когда кто-нибудь из односельчан, из тех, кто оставался, поднимал на него взгляд, он ждал этого вопроса, и от стыда и тревоги перехватывало дыхание. И вот, в последнюю минуту, его все же спросили.

— Вы все убегаете...— слезы подступили к горлу, слова стали прерывистыми и непонятными.— Мы-то чем виноваты... Что нам-то делать?..

— Что вы должны делать... Терпение — вот что вам осталось, мужество и терпение.

— Терпеть, конечно, терпеть!— выкрикнул Мухтар.— А как терпеть? Каждый — как знает? Терпение... терпению рознь...— Мухтар силился перевести дух, взять себя в руки. Но волновался еще сильнее, дыхание совсем пропало, оттого слова его были почти беззвучны:— Почему вы нам правды не говорите?— Мухтар в отчаянии начал тыкать кулаком в шею коня.— Почему никто не говорит нам правды?..

Харун узнал этого парня. Племянник Жабраила, тот, который хотел быть летчиком и позапрошлой зимой на три дня ушел в лес, нагнал он тогда страху. Говорят, упрям очень. Халыу при встрече на его вопросы отвечала: «Мало радости, уж не знаю, что за человек из него получится». «Возраст такой»,— успокаивал ее Харун. Теперь, столкнувшись с ним в такую минуту, Харун молчал, с ответом не торопился.

— Что ж, Мухтар, побежден бывал тот, кто победить не хотел... А кто хочет...

Нет, не то говорит он парню, что ему сейчас до этих громких слов?.. Мухтар поднял взгляд на Харуна. Таким укором горели его глаза, таким нетерпением пылало лицо — Харуну стало жалко его. Парню нужна была только прямая истина, на сегодняшний день, только задание, как авго-

мат в руки. «Вот и первый для Ачахмата», — подумал Хирун. Он нагнулся и положил ему на плечо руку, сказал тихо:

— Иди к Ачахмату, джигит.

— Разве... — «Разве Ачахмат не убит?» — хотел спросить Мухтар.

— Обязательно найди Ачахмата, если он еще не ушел, только будь осторожен, никто не должен знать. — На несколько секунд они оба застыли в таком положении. — Все будет хорошо, ты найдешь, как бороться... И вместе, и поодиночке — мы должны бороться!

Теперь он говорил легко, после того, что он сказал про Ачахмата, слова его не были отвлеченными рассуждениями, они имели простой, житейский даже смысл:

— Мы народом останемся лишь в том случае, если будем бороться, Мухтар. Более справедливой, более священной борьбы не было в истории нашего народа... Только в том случае мы с тобой сохраним право называть себя балкарцами и говорить на своем языке! Наши песни, наши танцы, голоса наших матерей — все это останется нашим только в том случае, если мы не покоримся... Найди Ачахмата.

Мухтар отпустил поводья коня...

* * *

Теперь он стоял, прислонившись к высокому забору Дома Советов. Сколько он помнил себя, все большие праздники, важные события происходили здесь, на этой площади, перед этим двухэтажным каменным домом, который в Жаммауате называли просто Домсовет. Даже ночами в его окнах горел свет. В высоких просторных комнатах люди грудились ради того, чтобы район вышел вперед, чтобы лучше было жить... На побеленных стенах висели портреты партийных вождей, красных командиров, папанинцев. А по этой площади в праздничной демонстрации не раз проходил он сам, распевая:

Да здравствует Красная Армия —
Наша стальная крепость...

Теперь Дом Советов стоял опустевший, с распахнутыми настежь окнами и дверями.

Мухтар вошел в здание. Прошел по коридору первого этажа и открыл дверь с табличкой «Районный комитет

ВЛКСМ». Переступил порог и огляделся. Нет, этот кабинет совсем не был похож на тот, в котором его принимали в комсомол. В тот день в углу стояло Красное знамя. Теперь его не было. И большой портрет Ленина сняли. Только пятно невыгоревшей краски светилось на стене. И сами стены уже не были яркими, как в тот день, — тусклые какие-то, обшарпанные. Огромный стол под зеленым сукном зачем-то выдвинули на середину. Шкаф стоял на месте, только дверцы распахнуты, внутри грудами лежали книги — столько книг сразу Мухтар никогда не видел. Он перебирал их, разглядывал подолгу, листал, а потом, вытерев рукавом, ставил на полку. Он выбрал несколько книг: почтаю, верну. И тут же подумал: кому?

Он прошел в зал, где обычно проходили собрания или показывали кинофильмы, иногда спектакли, когда из Нальчика приезжали артисты. Стулья сгрудились посредине зала, словно отара напуганных овец. Он обошел их, трогая то один, то другой стул. Они, казалось, понимали, что брошены, потому были такими хмурыми и холодными на ощупь.

Он решил пройти в кабинет легендарного Жолая Темирболатова. По-разному говорили о нем в Жамауате. Одни поминали добрым словом, восхищались его умом и мужеством, другие говорили о нем как о человеке трусливом, ничемном, который, оказывается, был связан с международным империализмом. Когда его арестовали, Мухтар учился в пятом классе и еще не понимал, кто или что был этот международный империализм, и не только он, многие в Жамауате этого не понимали. Жолай судили здесь, в этом зале, и Мухтар один раз приходил сюда вместе с отцом. Того, кому продался Жолай, видно, не поймали, здесь его не было. Но говорили, что он, международный империализм, хотел с помощью Жолая проглотить Жамауат и даже весь Кавказ. А Жолай сидел как ни в чем не бывало и смеялся. «Как это — проглотить?» — испуганно смотря на Жолая, спрашивал Мухтар, но отец или сам не понимал, или просто объяснить не хотел, лишь просил, чтобы он помолчал. И Мухтару было удивительно, что потом, когда Жолай Темирболатов исчез из Жамауата, люди все же говорили о нем хорошо: он принес революцию в свой край, любит свою землю, называли его заступником села, человеком умным и справедливым.

Мухтар пошел в кабинет с таким чувством, что здесь найдет ответ своим вопросам.

И тут двери открыты настежь.

Видать, в этом кабинете давно уже никто не сидел — комнату много лет не ремонтировали. Штукатурка обсыпалась, стекло в окне разбито. Кто-то пытался снести внутреннюю правую от окна стену — остались следы лома или кирки, — но стена была толстая, хорошими руками сложенная, не поддавалась.

Он подошел к окну и вскрикнул: со всех сторон, и сверху, и снизу, из Ажоки, из Чегета, из Кюнлюма и из самого Езена к Домсовету бежали люди, по одному, по двое, по трое, старухи, женщины, девушки... Он отпрянул назад. Первое, что пришло в голову, — скрыться! Словно его настигли на месте преступления. Он сбежал вниз и, встретившись с ворвавшейся толпой, заскочил в кабинет райкома комсомола.

Мухтар понял, что люди прибежали, чтобы расхватать оставшееся имущество Домсовета. Они вытаскивали на улицу стулья, этажерки, тумбочки.. Взавшись по двое-трое — шкафы и столы. Самые жадные, как думал Мухтар, захватывали целые кабинеты: одна стояла в дверях, никого туда не пускала, а другая валила все на стол, чтобы потом вместе со столом и вытащить. Хватали кто что успевал, кому что попадалось. Часы, графины, срывали сукно со столов, а то и полосы материи, на которых были написаны лозунги. Сгребали с пола дорожки. Набрав все это в охапку, люди шли, не оглядываясь, громко переговариваясь между собой. Те, кто не пуждался во всем этом или не хотел брать, стояли на площади. Одни — прислонившись к стене Домсовета, другие — облокотившись на плетни ближних огородов, и смотрели на все как на зрелище: кому-то оно казалось смешным, кому-то — постыдным. Одни смеялись над слишком рьяными, другие провожали осуждающим взглядом. Одни удивлялись, другие же, наоборот, во всем этом видели извечную человеческую природу, вечно голодную до жизни.

— Ничего, каждая река возвращается в свое русло, — сказал кто-то. — Вот тогда они и ответят...

— А чего отвечать, возвратят, и все.

— Тейри, именно так. Откуда это добро, чьим трудом все собрано? Может, их Жолай, сын Темирболата, из своего дома приносил?

Уже сколько лет не было Жолая, а все еще начальство называли его именем.

— И не говори...

— Думали, Домсовет вечен, а глядите...

— Ты бы уж помолчала, дочь Геграевых. Что ты-то плохого видела от этих Советов, чтобы теперь злорадствовать? Клянусь вечерней звездой, не так, в белое да голубое, наряжалась ты до Советской-то власти! Ходила в платье, дырявом, как твоя память сейчас,— это сказала Ляпшу, жена Тебо.

Вскоре кабинеты побогаче растащили, и люди стали поглядывать и на кабинет райкома комсомола. Но, увидев там Мухтара, озадаченно отступили, пожимая плечами: прозеващи, дескать. Какая-то женщина осуждающе посмотрела на Мухтара и громко, на весь коридор, сказала:

— Молоденький, а глядите, какой запасливый!

Другая, на ходу перевязывая легкий платок на голове, пошла прямо на Мухтара.

— А что, его отец больше нашего на советскую власть работал?— платок опять развязался и соскользнул, обнажая растрепанные седые волосы.

— Уйди, парень, мне этот шкаф нужно вынести.

Женщина хотя и напористо говорила, но за порог не заступала. Другая, стоявшая за нею, сказала:

— Оставь, жена Молая, он еще молодой, не обижай его.

— Если молодой, пусть уважит меня, мою седину, пусть уступит шкаф!

Женщина была стара, слепа на один глаз и всем своим видом хотела показать, что из женщин, грабящих Дом Советов, она больше, чем кто-либо, имеет на это право. Мухтар, уязвленный тем, что его заподозрили в таком постыдном намерении, почти с ненавистью посмотрел на нее. Та, другая, заметив его взгляд, почувствовала себя неловко и отошла от кабинета. Но жена Молая запрочитала умильно:

— Уступи мне шкаф, чтоб твоя боль ко мне перешла, сколько лет мучаемся без шкафа... Ради матери своей, уступи.

Мухтар, пораженный настойчивостью старухи, молча отошел к окну, освободив доступ к шкафу.

Обе, столкнувшись в дверях, бросились к шкафу, открыли его и мгновенно в четыре руки выбросили на пол все книги и журналы. Наступая на них, с трудом подняли шкаф, покраснев от натуги, потащили к дверям.

Жена Молая срывающимся голосом крикнула в коридор:

— Жена Хасана, если тебе нужен стол, здесь стол есть!— обе женщины порядком вспотели, запыхались, но

шкаф тащили.— Мы и стол взяли!— кричала жена Молая, задыхаясь.— Там очень большой, хороший стол...

Мухтару было больно и удивительно одновременно. Он не понимал: может, так и должно быть, но почему люди так спешат, задыхаются, хватают что попало, чуть не топчут друг друга? Неужели нельзя все это делать спокойно, не толкаясь, не обижая друг друга?.. Нет, это был день, когда люди сошли с ума. Он даже не заметил, как вынесли стол, как все меньше и меньше становилось людей в Домсовете. Очнувшись, он подошел к груде сваленных книг, присел, собрал книги с пола, отряхнул от пыли, послонявив край ладони, стер следы ног и аккуратно сложил в три стопки на подоконнике. Он решил забрать все это домой, взял две стопки в две руки, пошел, с тем чтобы еще вернуться за оставшейся стопкой.

* * *

Теперь с этой третьей стопкой он пришел в дом к Ачахмату. Два года назад Ачахмат вручил ему комсомольский билет — так пусть теперь он скажет, что делать комсомольцу Мухтару, чтобы ему не было стыдно за людей и не было самому стыдно перед людьми.

Зайнаф, жена Ачахмата, хотела остановить его, но он так посмотрел на нее, что она ничего не сказала. Мухтар прошел в отоу¹.

Там, перекинув забинтованную ногу через костыль, сидел Ачахмат и собирал уже вычищенный автомат.

— А вы почему не убежали?— с вызовом, даже не поздоровавшись, сказал Мухтар. Сейчас он не был растерян, наоборот, был озлоблен на взрослых, смотрел настороженно.

— А что, уже все убежали, один я остался? — спросил Ачахмат спокойно.

— Хм,— скривил губы Мухтар.— Хоть бы одного увидеть, кто не бежит...

Ачахмат не стал отвечать ему, продолжал собирать автомат.

— Домсовет растащили,— с горечью сообщил Мухтар.— Вот и мне книги достались...

Ачахмат отложил автомат, из нагрудного кармана достал портсигар, закурил. Нет, он совсем не был растерян и бежать вроде не собирался.

¹ Отоу — гостиная.

— По-твоему, лучше было бы все это оставить врагу? Мухтар сдался, придвинул табуретку и сел рядом с ним.
— Ачахмат Гериевич... самую-самую правду... Мы побеждены?

Ачахмат посмотрел на него с удивлением:

— Кто это тебе сказал?

— Ну, почему тогда все бегут... и армия, и райком, и райсовет?

— Что за чушь ты говоришь, комсомолец Мухтар! Заладил: бегут, бегут... Отступают, а не бегут. Чему тебя учили в школе?— Ачахмат жадно затаился.— Война идет. И если нам приходится отходить в глубь страны, это еще не бегство. Те, кого ты видел около Домсовета, занимались эвакуацией ценных документов и архива. Многие ушли в партизаны. Кто смог, конечно.

— А вы?

— Я — вот. Сижу, вытянув ногу. Фашисты сказали: вот подстрелим Ачахмата, чтобы он и ходить не мог, только прыгал, и посмотрим, какой тогда из него солдат будет. Вот и посмотрим... А теперь скажи, зачем ты пришел ко мне?

— Меня Харун прислал.

— Харун прислал?..

— Скажите, что мы должны делать?

— Как говорят старики: дело само покажет, как его делать.

— Ну, когда они придут... что делать?

— Первым делом надо поздороваться.

— Вы все смеетесь!

— Значит, говоришь, Харун прислал? А что он тебе сказал?

— Сказал: «Найди Ачахмата, он тебе все скажет».

— Вот я и говорю: мы победим, Мухтар. Ты не бойся, мы победим. Тяжело будет. Но и им придется несладко: ты знаешь свои скалы, а они?

— У меня гранаты есть, целый ящик!

— Гранаты?

— Целый ящик!— Мухтар вскочил.— Вот я знаю одно место... Я там гранаты спрятал. Вы там организуйте свой штаб — клянусь, ни одна душа не найдет,— и Мухтар рассказал о пещере Байрым в Желтых скалах.

— А ты спрашиваешь, побеждены ли мы! Кто же нас победит? У тебя друзья есть?

— Нет у меня друзей... Вернее, есть, но...

— Но ты им не доверяешь, так? А себе ты веришь?

— Себе я верю... Но я не знаю, что нужно делать.

-- Мы еще многого не знаем, Мухтар. Знаем только, что война будет долгой и будет она страшной. А пестрашное войны и не бывает. Но и к страху привыкаешь. И к смерти даже. Сколько раз она ко мне приходила. Придет — да не с чем и уйдет... А тут все же своя земля... Короче говоря в случае... я буду у Казака. Придешь к нему не раньше чем через неделю. Приходи поздно ночью, когда все будут спать, постучи тихонько три раза в заднее окошко. Но, ты знаешь, — меня нет. Ни слова обо мне, никому, даже самому близкому другу. Впрочем, что тут говорить, ты такие вещи понимаешь. Береги себя. И еще — к своим гранатам не ходи, они нам пригодятся, но не сейчас. Это приказ. С этой минуты я твой командир, понял? Будь осторожен, осмотрителен. Зря голову сложишь — пользы никакой. Иди.

— Есть!

XVI

В то самое время, когда Мухтар, не застав Жабраила Локмановича и выслушав упреки Хурмет за то, что в такой день не сидит дома, хмурый и подавленный, шел домой, из ущелья вышла небольшая колонна: двое конвоиров вели с десятков заключенных. За день до этого наши оставили город, где была тюрьма, всех заключенных эвакуировали, эти были последними. Заключенные не знали, ведут их в новую тюрьму или же опять на работу: копать рвы, чинить дорогу, ремонтировать разрушенный или строить новый мост. Конвоиры подгоняли вовсю, пужно было прискочить, пока не перерезали дорогу. И заключенные, то быстрым шагом, то задыхаясь в клубах пыли, бежали рысцой.

По одну сторону тянулся голый отвесный склон, по другую — кукурузные поля.

Они уже подходили к той долине, где час назад отступали войска, как со стороны Белых скал вновь появились самолеты. Они летели низко, обшаривая долину. Но долина опустела, стояла удивительная тишина. Самолеты — то ли от досады, что упустили наши войска, то ли тяжело были нагружены — надсадно выли. Вдруг один из них, видно заметив небольшую колонну на дороге, оторвался от группы, полетел прямо в устье ущелья. «Ложись!» — крикнул разом оба конвоира и, пока заключенные не легли, стояли в караулили их. Но в тот миг, когда взрыв оглушил все

вокруг и конвоиры бросились на землю, один из заключенных — невысокого роста, плотный, лет сорока — сорока пяти, вскочил и, согнувшись, побежал в кукурузу. Хотя бомбы рвались совсем рядом, конвоир заметил убежавшего и, крича «Стой!», стреляя на ходу, побежал за ним. Тот бежал не оглядываясь, выстрелы, казалось, не пугали его. Он бежал, ломая кукурузу, задыхаясь от пыли, падая и поднимаясь, как вспугнутый пастушечьими псами медведь. Он пересек кукурузное поле, вбежал в лес, и конвой уже не мог его достать. Но он все бежал, силы покидали его, не хватало дыхания, он падал, поднимался и бежал дальше.

Мухтар уже поговорил с Харупом, увидел разграбление Дома Советов и, чувствуя уже себя солдатом, сказал Ачхмату: «Есть!», а тот беглец все сидел на склоне горы над Чегетом, откуда Жамауат был виден как на ладони. Но он не смотрел на аул.

Беглец тоже хотел мстить. Много мучений испытал он по милости этого аула. Жамауат не оценил его, не принял и всю жизнь помькал им. Теперь пастал черед его, беглеца.

— Думаете, сладко быть острожником?.. Ничего, сами попробуете,— говорил он, глядя поверх аула на горы по ту сторону долины.— Скоро попробуете... И кое-что послаще отведаете. Уж я постараюсь.

XVII

Все думают. Халыу сидит на топчане, латает домотканую рубашку Башира, и нет-нет да остановится иголка в ее руке. Мухтар стоит возле жыйгыча и вяло ест чурек. Но думы его сейчас очень далеко отсюда. Башир сидит на пороге и тоже терзается: сегодня он проснулся поздно и упустил уход солдат, а потом так и не узнал, где был Мухтар,— выходит, зря он был уверен, что знает все тайны старшего брата; то, что он знал, вовсе не было тайной, а вот какую-то настоящую тайну, быть может, даже военную, он проморгал. Руки Халыу чинят рубашку, но ее мысли еще дальше, чем мысли старшего сына, и еще безотрадней, чем уныние младшего. Пусть аллах не даст сбыться тому, что приходит Халыу на ум. И только дедушка ни о чем не думает, его и дома-то нет, он во дворе, сидит на чурбаке и спит, шепча что-то беззубым провалившимся ртом.

Башир так смотрит на старшего брата, будто от первого слова, которое тот скажет сейчас, решится его судьба.

— Баширчик, что твой жеребенок говорит?— спрашивает Мухтар, заметив настороженный взгляд Башира.

— Будто жеребенок говорить умеет!— отгрызается Башир.

— А что, не ржет?— Мухтар садится перед ним на коленочки и ерошит ему волосы.

— Еще как ржет!— Башир и раньше знал, что бабуня у него ненормальный, но в такой сумасшедший день, когда все смешалось и люди не знают, как быть, когда к их аулу подходит враг, спрашивает какие-то глупости! Вот и надеюсь на такого брата.— Ты скажи лучше... Какие они, эти фашисты?

— А, эти...— Мухтар обнял его за плечи.— Вот придет и увидим, какие.

— А вдруг они убьют нас?— зашептал Башир, опасливо глянув на Халыу.

— Не бойся, Башир.

— Что я, за себя боюсь, что ли! Я за маму боюсь.

Мухтар обнял брата, прижал к себе и услышал, как сильно бьется его сердечко.

— Отпусти!— отбрыкнулся Башир. Он еще не помирился с братом, не простил ему, что у него есть тайна.

— Пусть я жертвою твоею стану, аллах,— вздохнул Халыу, словно лишь теперь нашла ответ на тайную свою мольбу.— Пожалей бедных детей, будь милосерден!

— Хочешь, скажу, станет твой жеребенок скакуном или нет?— сказал Мухтар.

— Пошли!— просветлел Башир, словно в ту же минуту простил ему все обиды.

Они вошли в сарай. Мухтар угостил жеребенка остатками чурека, погладил по высокой шее, и они подружились. Слов нет, жеребенок был красив, статен, а главное, в нем уже проглядывался будущий Гемуда — мифический нартский скакун, которого па скачках ни одна лошадь не обгонит. Мухтар так и сказал брату. У Башира заблестели глаза. В мыслях он уже скакал на копе, припав к его желтой гриве, а тот летал, копытами земли не касаясь, и вдоль бескрайней долины стояли люди и кричали: «Башир! Башир!»

— Баширчик, если бы ты вдруг, вот сейчас, стал взрослым, ну, вот как я, и у тебя были гранаты, что бы ты сделал?

— Если бы гранаты? Такие, как у солдат?

— Да!

— Клянусь мамой, подпаялся на Нарт-гору, подождал, когда пойдут фашисты, и всех, как воробышков деда, разогнал! Что я, гранату кинуть не могу?

— А если убьют тебя?

— Ну и что, пусть убьют. Я их еще больше убью.

— Мама плакать будет,— сказал Мухтар. Башир молчал: об этом он не подумал.— Разве может мама без сына? Будет плакать, пока не ослепнет.

— А я не умру! Не дам убить. Я спрячусь!

Вот это было правильно! Не следовало умирать! Надо врага уничтожить, обратиться в бегство, а самому остаться живым. Тогда и мама не будет плакать. При этой мысли Башир просиял и посмотрел на Мухтара.

— Баширчик!— Мухтар крепко обнял его, потом, отстранив от себя, внимательно посмотрел ему в глаза.— Башир, ты теперь уже взрослый... Ты уже можешь натаскать матери дров, когда меня нет...

— Ты скажи, куда ты собрался?— спросил он, глядя Мухтару в глаза.

Мухтар округлившимися глазами посмотрел на него. Нет, не ребенком был Башир. Он стоял перед братом, и хмурый его взгляд говорил: «Я спросил тебя как мужчина, и ты ствечай мне как мужчина!»

Тогда Мухтар спросил:

— Ну, идти мне или не идти?

— Возьми меня с собой!

— Мы не имеем права уйти оба.

— Почему?

— А мама?— И чтобы быстрее уговорить Башира:— Если бы я не надеялся на тебя, я бы не пошел туда! Кто-то должен остаться с мамой и дедушкой.

Башир кивнул. Глаза Мухтара наполнились слезами, и, чтобы не выдать их, он быстро отвернулся. Башир успел заметить это, но тоже сдержался, притворился, что ничего не видел.

— Ты иди домой, Башир. Я пойду... Скажи, что я ушел к Хакиму.

— Счастливый!— Башир, чуть не плача, маленьким кулачком несколько раз ткнул брата в ребра, с завистью оглядел его с ног до головы.— Вон ты какой большой!

Мухтар понял: «Если бы я был на твоём месте!» Но Башир ничего больше не сказал, повернулся и ушел в дом, оставив брата лицом к лицу с дорогой, которую он вынашивал, мерил, уже спешил по ней пройти.

Не успел он выйти со двора, как кто-то крикнул ему: «Из одного вола упряжка не получится!» Плохая это примета: выходя в дорогу, оглянуться назад, поэтому у балкарцев нельзя кричать из дома вслед уходящему. Халыу, видя, что сын собирается куда-то, крикнуть не могла.

Мухтар, хоть и плохим это было предзнаменованием, не утерпел, оглянулся назад: никого. И снова: «Найди товарища, чтобы поднял тебя, коли ты споткнешься...» Он еще раз оглянулся и опять не увидел никого, кто бы мог окликнуть его. Дед Жарнес сидел на излюбленном своем чурбане и мирно беседовал с Шырданом. Солнце давно перевалило за полдень. В этот час в Жамауате было тихо и пустынно.

Он прошел через огороды, поднялся на склон и по растоптанной овечьей тропинке пошел к Кюнлюму. Но еще до Кюнлюма он услышал песню. Кто-то пел:

Ой, тай-тай, посылая гонца к Мисирбию, заспорили,
Ой, так-то заспорили, говорят,
Никто не решался к Мисирбию идти...

Мухтар вспомнил. Когда родился Башир и по этому поводу собрали курманлык, эту песню пел у них Кеспуан из рода Чыбыкчп. Кеспуан пел, а отец, Казак и Хаджи-Осман подпевали ему. Они пели эту песню до утра. Когда Кеспуан уставал, продолжал Хаджи-Осман.

Ой, тай-тай, нет обычая, чтоб посланцем ехал один.
Ой, так-то, обычая, говорят.
Дайте мне из отряда по моему выбору, сказал.

Ой, тай-тай, товарищем возьму я глухого Геуюза,
Ой, так-то, возьму, говорят,
Посланцем с Геуюзом поеду, сказал.

Мухтар хотел услышать песню до конца. В тот вечер, когда у них был большой курманлык, Кеспуан допел песню до того места, где Мисирбий, не слушая проклятий жены своей Чаурат, не хотевшей отпускать его, ушел в поход вместе с Баспятами, и как все погибли, и остались только двое — он и глухой Геуюз, — в этом месте Мухтар уснул. А как потом Мисирбий, столько раз пронзенный пулями, сколько пуговиц у него на чепкене, говорил Геуюзу свое завещание, — то ли еще слышал сквозь дрему, то ли уже увидел во сне. После, жалея, что уснул и упустил такую песню, он хотел расспросить, что же было дальше, чем все кончилось, но что-то всегда мешало, и он так и не спросил ни у отца, ни у Кеспуана. А как хотелось узнать, что было

дальше, он понял только сейчас, когда навстречу ему, словно из-под земли, зазвучала эта песня.

Но сейчас эту песню пел не Кесиуан из рода Чыбыкчи, а пела огромная гора Сырбыт, по которой он шел. Кто мог сравниться с горой в знании прошлого? Может быть, все, о чем поется в песне, произошло на ее глазах, и она, гора Сырбыт, сочинила эту песню еще тогда, сразу после того, как Мисирбий совершил свой подвиг:

Ой, тай-тай, лучший из мужчин старый Жута из рода Каражау,
Ой, так-то, старый Жута, говорят,
На берегах Юрха первый мастер по лопатке гадать...

Ой, тай-тай, Бекмырза отважный! Посмотрим на лопатку,
Ой, так-то, посмотрим на лопатку, говорят,
Если дорога выйдет, отправимся в поход...

Ой, тай-тай, лопатка овцы, зарезанной для гостей, правдива,
Ой, так-то, правдива, говорят,
Родовая распря будет жить, пока враг не придет...

Теперь Мухтар уже хотел избавиться от этой песни и прибавил шаг. Ноги сами привели его во двор Байчо. Хозяин был во дворе. «Ты который?» — спросил он. Видно, решил, что Мухтар — тоже его сын. Но ответа дожидаться не стал — работа снова увлекла его, он бросал свежее сено на чердак сарая. Мухтар вошел в дом, но, как говорят, одна нога вперед шагала, другая — тянула назад. И, как бы он ни хотел идти туда вдвоем, он не верил, что Хаким пойдет с ним. Нет, он не думал, что Хаким струсит или не поймет его, но какой-то голос все твердил и твердил, что идти сюда бесполезно. Но Мухтар все же пришел.

Тринадцать человек семейства Байчо были дома (четырнадцать — во дворе). Даже Азинат, которую Мухтар редко видел здесь, — дома. Одного только Хакима не было.

— Добрый день! — сказал Мухтар, обежав взглядом комнату.

— Проходи, проходи, Мухтар, — ответила ему Азинат.

При виде ее Мухтар от смущения опустил голову. (Она такая удивительная: красивая и взрослая, при ней даже рот открыт страшновато.)

Тотчас же трое-четверо младших, точно ягнята, привыкшие есть с руки, подбежали и обняли его за колени. Они наперебой сообщили ему, что Дауус приболела и Хаким ушел за фельдшерницей Залихат.

Гора Сырбыт пела и здесь:

Ой, тай-тай, душа Бекмырза, лопатка недобрую весть говорит.
Ой, так-то, недобрую говорит,
Из похода этого никто из достойных мужей не вернется.

— Я просто так зашел,— сказал Мухтар. Повернулся и вышел.

Теперь он поднимался по крутому склону Сырбыта. Шагал навстречу той песне, словно вышел на поиски ушедшего в поход отважного Мисирбия. И чем дальше уходит он от аула, чем выше поднимался по Сырбыту, тем сильнее из нутра горы стучался мир сказок и удивительных походов — он здесь, заточен в толще Сырбыта. Мухтар шел, чтобы найти двери, открыть их и выпустить этот мир. Трудно было поверить, что в этот час на эти древние земли, в чреве которых ворочался, ища выхода, чудесный мир — просачивался родниками, вырывался водопадами, пробивался травой, исторгался порой лавинами,— шел враг. Что над этим миром, который удерживала в себе гора Сырбыт, будет ходить захватчик. Трудно было поверить. Но освободить землю от порабитителя, думал Мухтар, будет не легче, чем найти и открыть двери в Сырбыт. Ему показалось, что его с каким-то наказом послали в этот потаенный мир, а он самым постыдным образом заблудился. Но песня пришла на помощь, и она должна была вывести на дорогу.

От быстрой ходьбы он задыхался. Это бы ничего... Но вдруг накренился и медленно закружился Сырбыт. Мухтар, силясь остановить это кружение, обеими руками схватился за выступ скалы и уперся ногами в землю. И, поняв, что, покуда он стоит, гора не перестанет кружиться, сел на траву. Тогда Сырбыт медленно остановилась, как жернова, которые отводят воду. Остановилась, чтобы запеть еще громче...

Ой, тай-тай, раб Геуюз с Бекмырзой совет держал,
Ой, так-то, держал, говорят.
И, к роду Каражау обратившись, так сказал:

Ой, тай-тай, душа моя Жута, ты на лопатке гадаешь,
Ой, так-то, гадаешь, говорят,
Пророчишь ты, что Кубадневы будут в убытке.

Ой, тай-тай, хотя ты это пророчишь, дорогу предсказывая,
Ой, так-то, предсказывая, говорят,
Если Мисирбий боится, душа моя Жута, мы не возьмем его.

С вершины Сырбыта Мухтар посмотрел на Жамауат. Аул был похож на раненого льва, а тот, кто ранил его, где-то

затаился. Они — лев и охотник — следили друг за другом. Кровь текла из льва; дрожь проходила по телу, глаза мутнели. Но он не подавал вида. Скрывал, что ранен, — чтобы прыгнуть. И страшно было ожидание льва.

И горы молчали в ожидании поединка. И скалы, и тропинки овечьи, и жидкие неподвижные облачка высоко в небе, и вся долина в стеклянном мареве. Лишь спесивая речка Юрду не хотела остановиться и посмотреть, по блеску на перекате Мухтар понял, что она гневно фыркает и ворчит.

Впервые Мухтар увидел свою землю такою и впервые понял, как он любит ее. Там были его мать, его дед, его брат; и не было на земле аула добрее, чем Жамауат. И что бы ни случилось с Мухтаром — прославлен он будет или опозорен, — все будет связано с этим аулом. Там он увидел свои первые радости, первое свое поражение...

Здесь гора Сырбыт перестала петь и начала рассказывать, что было дальше. «И вот старый Жута из рода Каражау признался, что раб Геуюз перехитрил его. Он, Жута, верно предрек беду, увидев, как ехал Геуюз напрямик, не ища броду. «Старик я, немало повидал на своем веку, — сказал он тогда. — Если мужи славные решили идти в поход, пет у меня сил отвернуть их с этого пути. Но вот вам паказ, запомните его: эти черные зорты¹ умеют сражаться, в бою коварны, на обман, на уловки искусны; в сражении близко их к себе не подпускайте...

Ой, тай-тай, коль по цели бить — Баспят сильней,
Ой, так-то, сильней, говорят,
А в обхват возьмутся — зорт сильней.

Ой, тай-тай, душа моя, Геуюз, нелегкая будет участь,
Ой, так-то, участь, говорят,
Коли так, седлайте белоногого коня Мисирбия...

Земля дрожала. Сквозь песню прорвался далекий гул. Он шел с другой стороны Сырбыта. Мухтар пошел быстрее, он должен был успеть дойти до своего тайника.

Ой, тай-тай, туда поедешь — на белом коне будь впереди,
Ой, так-то, впереди, говорят,
На обратном пути — коню своему ношею мертвою стань.

Ой, тай-тай, пусть столько пуль пробьет тебя, сколько пуговиц
в белом твоём чепкено,

Ой, так-то, пуль пробьет, говорят,
По петлицам белого чепкена твоего кровь твоя пусть струится..

¹ По мифологии — традиционные противники горцев в их походах.

Скалы продолжали гудеть. Солнце рассеялось по всему небу, было светло и душно. Мухтар весь промок от пота. Похоже было, что солнце раскатали по всему небу, словно многослойную кошму из желтовато-серой шерсти. От железного лязга, который шел из-за горы, жара казалась еще острее, и пот катился по спине, режущий, как толченое стекло.

...Перед лазом в капище была небольшая треугольная площадка, чистая, скальная, выскобленная дождями и ветром. А лаз — там, в узком его конце, в кустах можжевельника; не знаешь — ни за что не найдешь. Мухтар раздвинул кусты — ящик на месте. Отдышавшись, он вытащил его. Нет, прежде чем вытащить ящик, он снял пиджак, закатал рукава до локтей, как будто собрался косить сено... Лишь после этого вытащил ящик, осторожно взял в руку одну гранату и сел на камень.

В давние языческие времена Байрым был божеством и жил в этом капище. Раньше здесь молились, а теперь только название осталось — капище Байрыма. Но люди Байрыма, доброе божество, которое исполняло все их просьбы, оберегало жилища от бед, предали — приняли аллаха. Байрым обиделся и ушел высоко в горы, туда, где снега. Некогда высокое светлое капище стало узкой темной пещерой, и там поселились джинны, оттого в ней все время гудит. И люди больше не ходят сюда, боятся. «Вернись, Байрым, вернись из снегов, там холодно, там одиноко, а здесь ты нужен мне, помоги, Байрым. Мне нужен товарищ, из одного вола упряжки не получится»... И Мухтар услышал несню и понял, кто это поет. Оттуда, с ледников, с песней спуускался к нему Байрым.

Ой, тай-тай, княгиня Чаураг впиз по ущелью смотрит,
Ой, так-то, смотрит, говорят,
Смотрит и сквозь марево видит чей-то силуэт.

Ой, тай-тай, то не белоногий ли конь Мисирбия,
Ой, так-то, Мисирбия...

Грохот танков заглушил песню. Мухтар пополз и высунул голову за край скалы. Враг двигался в сторону аула, двигался не торопясь, уверенный в своей силе. Танки прошли, следом катили мотоциклы, в них сидели люди, тоже уверенные, спокойные, не желающие даже думать о какой-либо опасности. Один из них крикнул что-то, и на нескольких мотоциклах, там, где расслышали, засмеялись. И здесь, в ауле Жамауат, так же смеялись люди, когда кто-нибудь

скажет ч а м¹... Нет, не похожи были они на убийц. Молодые, веселые... Такие же парни, как и здесь, в Жамауате... Нет, видно, не эти бросали бомбы, стреляли из пушек. И людей убивали не эти...

Между тем танки на ходу повернули пушки в сторону аула и выстрелили вразнобой. Несколько желтых взрывов — и один белый, там, где снаряд упал в Юрду, — поднялись среди темных крыш Жамауата. Мухтар с ужасом увидел, что почти все они легли там, возле их дома, где были сейчас мама, бабушка, маленький Башир и его жеребенок!

Он отбежал и встал на колени у ящика. Дрожь от ненависти, метнул первую гранату. Взрыва не было. Ровный гул поднимался с дороги, все так же доносились веселые голоса. Мухтар недоуменным взглядом обвел долину, в отчаянии стукнул кулаком по скулам. Взрыва не было. «Чека. Ты забыл выдернуть чеку», — сказал Байрым. Мухтар схватил вторую гранату, выдернул чеку и бросил.

Взрыв он услышал раньше, чем предполагал. Захотелось заглянуть вниз. Нет, надо было бросать, бросать... Он не думал о том, что происходит внизу. Гранаты взрывались одна за другой, и Мухтар хотел одного: дожить хотя бы до того мгновения, когда будет брошена последняя граната.

Он не знал, что урон нанесли только первые три гранаты, — горели два мотоцикла и три трупа лежали возле них. Немцы разбежались, и остальные гранаты падали на пустую дорогу, туда же, где упали первые три.

Пули зацелкали по выступу скалы над ним, каменное крошево осыпало спину. Запахло горелым кремнем, как пахнет от жерновов, когда в них мало зерен или когда они впустую мелют друг друга. Вот как! — значит, враг посчитался так с ним! Если он всем фронтом развернулся против него, значит, гранаты делают свое дело, подумал Мухтар, швырнув последнюю гранату.

И все же опрометчивый, заполошный человек был этот Мухтар! Ну, кто бы другой мог поступить так, как поступил он? Швырнув последнюю гранату, он вскочил, схватил обеими руками пустой ящик, поднял над головой и, подбежав к краю, с криком бросил вниз.

И поплатился за это. Снаряд ударился о скалу, взрывающая волна отбросила Мухтара. Он упал и расшиб себе надбровье и нос. Так тебе и надо! Не чувствуя боли, он отполз назад, к капищу. Рукавом отер лоб и нос — кровь, другим

¹ Ч а м — шутка, острота.

рукавом — тоже кровь... Радость охватила его: «Вот твоя первая кровь, Мухтар!»

Он отполз назад и, раздвинув куст можжевельника, влез в узкий лаз. Байрым, прежде чем войти следом, подошел к краю площадки, заглянул вниз и плюнул.

Мухтар на четвереньках прошел несколько метров, в темноте сел и прислонился спиной к холодной стене. Там, за толщей камня, еще грохотали взрывы. Когда он отдышался, его охватил страх. Он снова пополз на четвереньках — в этом положении он был похож на идущего с ночной охоты зверя. И когда уже не стало слышно разрывов, снова сел. Теперь темнота была полна звуков, поднимавшихся из каких-то неведомых глубин. Гуу-гуу-гуу... эх-эх-эх-эх-эх-хе-ей... гуу-гуу... гур-гур-гур... Мухтар не боялся этих воплей. Рядом с ним сидел Байрым, доброе божество, которое наконец вернулось в свое капище. Потому и воют так джинны. Но сколько бы ни выли, теперь им придется уйти... Они уже уходят, удаляются их голоса, и Мухтар отдохнет только и пойдет дальше, через толщу горы, на ту сторону, где над Ажокой среди камней на крутом склоне — другой выход.

Несколько раз голова его опускалась на колени, но, коснувшись разбитой переносицей, он дергался от боли и вскидывал голову, но потом как-то пристроился.

...Что это? Ошеломленный, он поднял голову. Стихли вопли в глубине пещеры, раздвинулись стены, поднялись своды, все светлее и светлее становилось в капище. Конечно — ведь Байрым вернулся. На землю аланов пришла беда, и Байрым вернулся — он их, неблагодарных, никогда не бросал в беде...

В глубине Сырбыта, в одном из изворотов его чрева, свернувшись, словно маленький теплый плод огромной горы, спал Мухтар.

XVIII

Жарнес забеспокоился. То ли надоело ему спорить с Шырданом, то ли вспомнил что-то, — словом, он вскочил с дубового чурбака. Нет, что-то подтолкнуло его под зад, и он, сам того не замечая, оказался на ногах. А уж оказавшись на ногах, удивленный ли тем, как это он очутился на ногах, чувствуя ли, как по иссохшим жилам от чресел к стопам побежала кровь, — постоял: ноги широко расставле-

ны, правая рука на палке, левая заложена за пояс, голова в лукавом ожидании лежит на плече. «Что ты качаешься, словно будыль на ветру!» — сказал ему Шырдан. В споре Шырдан попортил ему крови, и Жарнес еще не остыл, а потому, особо не раздумывая, он ответил: «И-и, голова твоего отца!» Воробушки Жарнеса, в восторге от того, как дед срезал Шырдана, дружно зачиркали на плетне. Теперь очередь была за Жарнесом: он сделал шаг, другой, остановился и, ликующе-злорадно посмотрев на Шырдана, сказал еще хлестче: «Видел я твоего отца в час его срамный!» Сказал громко, даже палкой махнул. Что и говорить, зол он был на Шырдана, и, поскольку на это последнее слово Шырдан ответа не нашел, Жарнес уверился, что окончательно заткнул ему рот. Теперь ничто не держало его во дворе, и он решительно направился в сторону дороги. Но у ворот остановился. Сначала посмотрел в сторону Езена — ничего не увидел. Повернулся в сторону Чегета — увидел густой веселый дым, клубящийся из горбатого дымохода дома Чыккы-кызы. «Кизяком топят, язычники», — подумал Жарнес. От кизячного дыма ему стало хорошо, он почувствовал себя уверенней. Успокоившись, Жарнес повернулся в сторону Кюнлюма — увидел длинную предвечернюю тень от перекалдин ворот. В сторону Ажоки смотреть ему не хотелось. В этом случае ему пришлось бы повернуться назад и смотреть через собственный дом, через Шырдана, который зачем-то залез на крышу и оттуда смеялся над ним. Вспомнив об этом, он остановился в полудобороте. И так, стоя вполоборота, он спросил то ли у невестки, то ли у дороги, то ли, позабыв, что в ссоре, — у Шырдана: «Алапы, где парод?» Ибо кроме вертлявого густого дыма, идущего из кривого дымохода Чыккы-кызы, в этот час в Жамауате других признаков жизни не было. Никто не ответил ему, и он не на шутку испугался: «Вот будет потеха Шырдану, если случилась кыяма, а я один остался...» От этой мысли беспокойство перешло в страх, он, не раздумывая, перепрыгнул через перекалдины ворот. Он, конечно, просто выпел на дорогу — снятые перекалдины лежали возле плетня, — но остался в полной уверенности, что перепрыгнул через них. Ему очень хотелось оглянуться, узнать, видел ли Шырдан, как он перепрыгнул через высокие перекалдины. Но он был настолько горд, что не опустил до такого любопытства и пошел вниз по дороге своей обычной языческой походкой, похожей на причудливый танец. Так, танцуя, Жарнес подошел к дому Хаджи-Османа. Он остановил-

ся у ворот и ударил палкой по перекладине. «Аланы, где вы?» — крикнул он. Недовольная чем-то, оттого ходившая по двору нахохлив перья, раздраженно кудахта, пестрая курица, увидев потешного старика в короткой шубенке, остановилась и удивленно вытянула шею. Ее кудахтање перешло в пастороженно-вопросительную скороговорку. Жарнес еще раз стукнул палкой по перекладине. Пестрая курица, поперхнувшись скороговоркой, сорвавшимся криком вывела: «Сги-инь!» Тут на причитания пестрой курицы из дома вышли Хаджи-Осман, а за ним Тебо.

— Жарнес, заходи в дом, — сказал Хаджи-Осман.

Жарнес же:

— Алан, Тебо, где народ?!

Хаджи-Осман:

— Я не Тебо, я Хаджи-Осман.

— Отступник! Вот этой палкой голову расшибу, лажим, — ничуть не смутившись, сказал Жарнес. — Я спрашиваю, где весь аул?

Между тем из дома вышла Ляпшу — жена Тебо, а к пестрой курице подошел петух. И когда Ляпшу сказала: «Дед, бедный, не сидится дома?», петух, опустив крылья, точно штаны, начал кружить вокруг пестрой курицы. Ляпшу сама же и ответила. «Да и как тут усидишь... Дед, что с нами, бедными, будет?» Можно было и не спрашивать, этой заботой жили все мужчины, оттого стояли опустив головы. И в этот миг петух, завершив недолгий обряд оболъщения, прямо на глазах у честного народа изнасиловал курицу. Мужчины — всегда бессердечные — сделали вид, будто бы не видят насилия, женщины же — отзывчивы всегда, и Ляпшу сказала «Кыш!» и, раскинув руки, прогнала потерявшего стыд петуха. Курица же, давно привыкшая к этому роду насилия, стерпела молча и, когда петух ушел, не особенно восхитилась участливостью Ляпшу, не умилнулась, так и стояла, будто вспоминая свой сладчайший сон.

— Аллаха на вас нет, — сказал Жарнес, — надо идти на ныгыш. Укрывшись, врага не одолеешь.

— А что поделаешь? — сказала Ляпшу. — Наверное, человечину даже они не едят...

Первый снаряд упал в Ажoke. Поток земли взлетел вверх и, ударившись о небо, просыпался вниз. Все застыли: Жарнес, собравшись было начать свой языческий танец, Тебо — потянувшись взять что-то из каменного забора, Ляпшу — глядя куда-то в сторону. Хаджи-Осман — с открытым

ртом, собираясь сказать Жарнесу, чтобы он не ходил на ныгыш. Первый взрыв остановил идущего — в шаге, стоящего — стоящим, берущего — с протянутой рукой, собиравшегося что-то сказать — с открытым ртом. Окаменение продолжалось до следующего взрыва. Второй взрыв их снова оживил, все разом пришли в движение. Жарнес шагнул дальше, Тебо передвинул камень в ограде, Ляпшу оторвала взгляд от той неопределенной точки, Хаджи-Осман сказал Жарнесу:

— Дедушка, не ходи, сиди дома.

Ляпшу сказала мужу:

— Домой!

Они пошли — Тебо впереди, Ляпшу в семи шагах сзади, как положено идти за мужем благовоспитанной горской женщине. Хаджи-Осман поставил на место перекладины ворот, словно этим преградил путь врагу.

— Отступники! — сказал Жарнес, мотнув головой. — Если бы Жолай из Темирболатовых был жив, не прятались бы вы все по домам во время ташыуула! — Рука его, засунутая под шубу за пояс, дернулась раздраженно, и так же раздраженно застучала его палка по каменистой дороге.

Вспомнив Жолая, Жарнес вспомнил, что шел на Нарт-гору. Не на ныгыш, как говорит этот спятивший Шырдан, а именно на Нарт-гору. Он должен подняться на Нарт-гору и, крепко воткнув палку в землю, стать там! Теперь, после смерти Кыкыны Жаубермезова, после того, как исчез Жолай Темирболатов, кто, если не Жарнес, выйдет навстречу врагу?

Он прошел через двор Байчо, спустился на Нижнюю дорогу. И только поравнялся с домом Кесиуана, как во дворе упал снаряд. Как рассказывали потом, Жарнес улетел метров на пятнадцать. Даже в изнанке его шубы в длинной свечье шерсти оказались осколки стекла и черепицы.

А еще рассказывали, что сын Кесиуана, то есть хозяин двора Кыйык, был чрезвычайно рад тому, что снаряд упал именно в его двор. Было известно, что уже много лет каждую осень жена Кыйыка, упрямая и своенравная Батчау-Кымпырт, пилила его за то, что он не может выкопать во дворе яму для картошки. От ее нитя жизни не стало, и Кыйык несколько раз пробовал совершить чудо, но земля была тверда, не поддавалась, так что сыну Кесиуана, хромому Кыйыку, слывшему человеком не очень усердным (скажем так), приходилось терпеть зудеж Кымпырт — Курпосой — и дальше. А тут, словно аллах сжалился над Кыйы-

ком, упал снаряд — и вот тебе яма, похожая на азиатский котел или на сваискую шапочку Ордана, если перевернуть ее кисточкой вниз. Оставалось только чуть-чуть почистить, углубить — и все! Но это была мелочь, сделать которую не составляло труда даже Кыйыку. А что в окнах ни стеклышка не осталось, об этом пусть Кымпырт печалится.

Как бы там ни было, сам Жарнес не любил потом вспоминать то, что случилось тогда во дворе Кыйыка. Он, Жарнес, шел на Нарт-гору, а когда человек в пути, с ним что угодно может случиться, он может упасть, даже просто споткнувшись. Так что нечего сочинять небывицы. Все видели: Жарнес поднялся на Нарт-гору, крепко уперся палкой в землю и встал навстречу врагу — не спиной, а грудью.

Сначала он увидел машины, похожие на те, что появились в Жамауате недавно, и называли их, кажется, тирак-тиль. Они остановились недалеко от Нарт-горы, из них выскочили люди и по той дороге, по которой только что поднимался Жарнес, ринулись на Жамауат. Только что дворы были пусты, а теперь то там, то тут над заборами, плетнями торчали лохматые горские шапки. Пришельцы шли и ни на кого не смотрели, лишь прижимали к груди что-то похожее на обрубок дерева с одной веткой — так прижимали, словно кто-то собирался его отнять у них. Жарнес понял, как они шли: они шли, как грабители. И он видел, что они только притворялись храбрыми и решительными, — чем дальше входили они в село, тем ближе прижимались к заборам. Отсюда, со склона Нарт-горы, это было смешно. И серые они были, как мыши, и разползались по аулу, как мыши.

Но Жарнесу было не до смеха. Горя от стыда, смотрел он вслеп следом, как мыши разбегающимся по аулу, пришельцам. Нет, никого не осталось в Жамауате, кого бы они боялись. Не было никого, кто бы вышел и спросил: что им нужно здесь?

— Нет! — сказал Жарнес. — Стоять на горе и смотреть на них сзади — не дело.

Трудно было подняться на гору — много раз останавливался Жарнес. Теперь же, опираясь на палку, пришлось спускаться вниз. Еще в молодости, лет шестьдесят назад, так было: спускаться с горы всегда тяжелей, чем подниматься на нее. Дикими язычниками были эти пришельцы. Иначе они бы знали, зачем стодвадцатисемилетний старик стоит на горе у входа в Жамауат. Теперь по их дикости ему

пришлось снова спускаться вниз, самому идти им навстречу.

У подошвы Нарт-горы, там, где дорога в аул сливалась с дорогой на Алмалы, возвышался большой камень. Еще в детстве Жарнес слышал, что на этом камне нарт Дебет укреплял свою наковальню. Камень этот был весь закопчен, а в боку, прямо в теле его, была глубокая яма — там Дебет держал чудодейственную воду и в ней закалял свои заговоренные кинжалы. Над ямой с внешнего края тянулась перемычка метра в четыре длиной — адская мука для всех ишачков Жамауата во все времена, потому что каждое поколение жамауатских мальчишек своим умом доходило до такого истинно нартского состязания: оседлав бедного ишачка, да порой еще и с грузом, палкой и пятками тпали ишачка на эту перемычку в два ишачьих копытца шириной, с одной стороны которой метров на восемь вниз уходил гладкий, в коричнево-зеленых пятвах бок камня, с другой — шестиметровая яма, в которой когда-то от раскаленных кинжалов кипела вода, а теперь лишь красноватая железная окалина шуршала и осыпалась со стенок. Бедный ишачок, дрожа от ужаса, входил на этот мост Сират¹, но так как на самой перемычке начинала думать уже голова ишачка, а не мальчишки, у которого голова, надо полагать, вообще никогда не начинала думать, то до беды дело не дошло ни разу. Сам маленький Жарнес не раз переезжал тот мост, да еще верхом на паре вязанок хвороста. Как он помнил, еще сто двадцать лет назад по другому краю камня шла трещина — небольшая трещина, с детскую ступню шириной, и опасности, что камень развалится, не было, во всяком случае на ближайшее тысячелетие. И мужи Жамауата знали, откуда она появилась. Ведь каждый мужчина Кюняюма, Ажоки, Чегета и даже Езена (если идти по кругу) в душе считал себя потомком нарта Карашауая, того Карашауая, который самого Дебета заставил сломя голову выскочить из собственной кузницы. Поэтому, когда нартский сказитель доходил до места: «Тогда Дебет вручил Карашауая кувалду и сказал: «Твой отец Алауган двумя ударами этой кувалды выводил лезвие топора». Карашауай же, почитая отца, сначала тихонько ударил по наковальне. Но сказал Дебет: «Эй, немощь, бей, если ты нарт», — и ударил Карашауай так, что кувалда вошла в наковальню, а наковальня — в землю. Затрещали потолочные балки старой

¹ Сират — мост над адом.

кузни Дебета, и сам он выбежал вон», — каждый жамауатчанин, ухмыляясь, принимался крутить усы. Никто в Жамауате не сомневался, что трещина в камне появилась именно в тот день. И никто в Жамауате не говорил, что дожди сильнее Карашауая, тем более, когда они в союзе со временем. Дожди-то и продолжили дело Карашауая, и трещина настолько разошлась, что теперь в нее мог провалиться такой мальчик, как Башир. Сколько школьных тетрадей упало туда, сколько гребешков! А Башир однажды уронил туда даже свой замечательный кнут из козьей сыромяты. «Нартом будешь!» — утешил Жарнес плачущего Башира, но только горе растравил. Куда больше радости катать на льду хайнух, чем быть нартом. Но Мухтар сделал из проволоки крючок и вытащил кнут.

Вот этот камень Дебета и стоял у входа в Жамауат. Он и свидетельствовал о том, что все ремесла и все промыслы на любые случаи жизни пошли из Жамауата. Поэтому когда жамауатчане бывали в других аулах по делу или без дела, то разговоры свои, как бы между прочим, начинали с наковальни Дебета.

Расстояния между камнем Дебета и вершиной Нарт-горы Баширу было на один пробег. Жарнес же останавливался четыре раза. Когда до камня оставалось примерно на три отдыха, случилось два важных события. Первое: только было Жарнес решил идти дальше уже без отдыха, вдруг из-за сплошных, бесцветных туч выскочило солнце и ударило ему прямо в лицо и тем самым заставило остановиться и отдохнуть. Второе: пока он стоял и злился на солнце, там, на Желтых скалах, загрохотало, будто утес об утес ударился. Как известно, вдаль Жарнес, если хорошенько вытрет рукавом глаза, видел хорошо, он и увидел, что какие-то люди мечутся под скалами, — казалось, там сыпалось что-то и человечки, падая и вставая, быстро собирают это. «Клянусь, проделки шайтана, — решил Жарнес. — Они шайтана увидели...» Поскольку, как справедливо полагают Жарнес, шайтаны были свои, здешние, то и враг был их врагом. Жамауатские шайтаны и своих-то не больно жалуют, а тут — пришельцы! Уж с этими-то они поиграют вдоволь. Жарнес с лукавым удивлением стал ждать, что же предпримут эти язычники, чтоб их... Как они будут воевать против чертей? Однако они повернули свои машины, похожие на тирактели, начали бить по скалам. Но дело чертей — чертовское дело — долго продолжаться не может. О чем в этот раз можно только пожалеть. Теперь они

спрятались в расщелины и оттуда следили за пришельцами. А те продолжали палить по Желтым скалам. Но что какие-то тирактили для скал? Стояли и будут стоять. А черти забьются в щели и будут прыскать, хихикать, фыркать, закатываться от смеха. Аллах свидетель, Жарнес слышал дружный хохот чертей! Да как не смеяться, если эти чужеземцы стреляли по скалам! Жарнес и сам хихикнул раза два. Но веселиться в компании с чертями, если даже они на сей раз на твоей стороне, не занятие для мусульманина, и Жарнес, одернув себя, строго посмотрел на скалы.

Вдруг он увидел дым перед капищем Байрыма: видно, загорелся кустарник. Жарнес забеспокоился, тут и до беды недалеко, такой может заняться пожар — скалы сгорят! В гневе он и сам не заметил, как очутился возле наковальни Дебета.

Надеясь, что камень выдержит, он уперся в него спиной. Но это вражье племя и не думало смущаться при виде старика, они даже не заметили, с каким гневом он смотрит на них. Тогда, перестав надеяться на их совесть, Жарнес поднял дрожащую руку: «О чем вы думаете, отступники?» Но нет, им до него не было дела, такой маленький, слабенький был Жарнес, что даже заметить его было ниже их достоинства. Знали они: нет в этом ауле никого, кто бы оставил их.

Шырдан понял это сразу и тотчас же стал сверлить в тугие Жарнесовы уши: «Ну что, не сиделось тебе? Так-то, знай свое место». Тогда Жарнес поднял свою палку и погрозил. И не только стал размахивать ею, словно примеривался, как бы удобней огреть их по этим железным котелкам, которые они напялили на головы, но и крикнул: «Отступники! Я покажу вам!» В руках у него была палка из дерева шемшер — такого твердого, что впору было не стругать его, а ковать, за спиной высился камень Дебета — так почему он, мудрец и заступник народа, должен кого-то бояться! И не только мудрец и заступник, но, если верить этому негодному Биязурке, — и святой!

И со словами: «Клятвопреступники, я покажу вам, как идти, не спросясь!» — он шагнул вперед. Ему показалось, что те испугались, отступили на края дороги, пошли быстрее. Что ж, праведный гнев старика был так велик, а неправота чужеземцев так ясна, что не могли они не испугаться.

Один из них вышел из строя, пошел прямо на него, вырвал палку и ударом об колено переломил ее. Сломал, точно

перекладину ворот Жамауата, точно опоры Жамауата! Он даже не посмотрел ни на старика, ни на палку, отбросил обломки в сторону и вернулся, палач, к таким же палачам, как и он сам.

И Жарнес, становясь снова молодым и снова старым, становясь мудрецом и безумным, подобрал обломки своей палки и, держась за воздух, добрался до наковальни Дебета. Он понял, что скрывали от него в последний год, считая его выжившим из ума стариком. Да, он был стариком и изжил свой ум. Долго он пробыл на этом свете, слишком долго,— в этом была его вина, много видел — и в этом была его вина, он поверил, что ему под силу будет то, что не под силу оказалось всем молодым мужчинам Жамауата,— и в этом тоже была его вина.

Видно, подумал он, даже в этой палке больше жизни, чем в нем, потому что на концах обломков, по излому, выступила сукровица. Он прислонился к наковальне Дебета. И тысячелетний камень за его спиной тоже разваливался надвое.

XIX

Они проснулись одновременно. Пока Ачахмат опускал с кровати раненую ногу, Зайнаф, накинув бота, бесшумно скользнула к окну и отогнула войлок. Было еще темно, стояла непривычная в последние дни тишина. До самого последнего часа Зайнаф крепилась, а теперь вдруг вся ослабла.

— Тихо как...— сказала она дрогнувшим голосом и повернулась спиной к окну, точно прикрывая эту тишину от мужа.

Но тут что-то задвигалось во дворе, и они услышали звук, который, видно, их и разбудил. Ачахмат достал из-под кровати автомат, доковылял до окна и, отстранив Зайнаф, посмотрел в щель. Никого. Ветер раскачивал погосившиеся двери сарая.

— Что ты вдруг?

— Не знаю, Ачахмат, прости меня... Как же ты уйдешь? Ведь ты еще нездоров. Я боюсь...

Они отошли от окна и сели на край кровати. Зайнаф пальцами легонько погладила ствол автомата.

...Он понимал, что эта ночь, возможно, последняя их ночь вдвоем. Оттого он так следил за каждым ее движением, запоминал ее волосы, глаза, руки, губы. Насколько

все-таки женщина может быть родной, самой жизни роднее. А женщина не понимала, почему так неистов муж, так ненасытен, почему так мучает, так истязает ее своей любовью, словно другой ночи не будет больше никогда. А он был счастлив. Истинная правда, человек счастлив, когда любит он, а не когда любят его.

— Хорошо, что никто не видел, как я вернулся. Если бы тебя взяли, я бы не выдержал, я бы вышел... Старайся сидеть дома, не маячь у них на глазах. Если же я погибну, одного не забудь: я люблю тебя. И не забывай меня, слышишь?

Ачахмат был упрямец. И это его упрямство когда-то снасло ей жизнь. В самый разгар ее любви к Жабраилу Ачахмат сказал ей, что любит ее и все равно женится на ней. Зайнаф же только посмеялась над самоуверенностью парня. Что ж, он не преследовал девушку, даже не старался быть рядом, он только жил в любви и надежде. А потом Жабраил затеял охоту на дичь побогаче... Ачахмат все же отнял Зайнаф — отнял не у любимого, отнял у смерти, посланной любимым.

В ту ночь, когда Жабраил играл свадьбу, Ачахмат стоял под окнами Зайнаф. Она то плакала, то, утерев слезы, принималась что-то писать, потом снова бросала карандаш и заливалась слезами. Наконец, закончив письмо, Зайнаф спрятала бумагу на груди, стоя посередине комнаты, оглядела стены, словно прощалась с этим домом. Ачахмат не обманывал себя: с каждой стены на нее смотрел Жабраил, и если она прощалась, то прощалась только с ним. Зайнаф закрыла глаза, у нее — Ачахмат и это увидел — закружилась голова. Так и выбежала из дома с закрытыми глазами. Ачахмат побежал за ней. Когда же Зайнаф прыгнула с Каменного моста в воду, бросился следом и на руках принес ее к себе домой...

— Бог не всегда будет к тебе милостив, — сказала она. — Сколько смертей ты избежал...

Ачахмат вздрогнул: ни об одной смерти он ей не говорил и даже о тяготах не рассказывал. Выходит, Зайнаф слушала его, но видела все по-своему, понимала войну, как может понимать ее женщина, проводившая в бой своих близких.

— Ничего, везло в дальних краях, повезет и здесь. Сама земля поможет...

Зайнаф достала хурджин и стала укладывать вещи — белье, вязаные носки.

— Тебе легко говорить, а я, как только где-нибудь стрельнут, буду умирать: вдруг это в тебя стреляют? Ждала тебя, ждала, надеялась. И вот — вернулся. Как во сне, проснулась, а тебя уже нет... — взгляд ее затуманился, отдалился, словно пелена дождя завесила его.

Ачахмат вспомнил другой дождь.

Это было год назад. Оставшиеся в живых после боя восемь солдат пробирались из окружения. Ничего — кроме дождя — в промокшем насквозь лесу. Они были усталые, голодные. Шли из последних сил. А дождь хлестал по лицу, валя их в желтые лужи, заставлял вздрагивать от каждого взрыва молнии! Трое суток они шли, но края леса все не было, казалось, край тоже брел где-то впереди, уходил от них. Дождь, дождь, дождь.

На четвертый день умер командир их небольшого отряда. Рану его, перевязанную лоскутьями нательной рубашки, чисто промыл дождь, и уже не багровые, а светлые струйки стекали из-под повязки. Теперь по званию старшим остался Ачахмат. Превозмогая боль и усталость, он встал сам, заставил встать товарищей. Они вырыли яму, опустили в могилу, сразу наполнившуюся водой, командира и двинулись дальше. Они еле-еле брели в темноте, чуть ли не коленями раздвигая желтую жижу, не зная, куда ведет их этот путь. Пройдя немного, они снова остановились. Ачахмат, укрывшись плащ-палаткой, достал из-за пазухи сухих веток, настругал тоненьких стружек. Когда огонь разгорелся, они почувствовали, как возвращаются силы, пытались даже шутить, веселым словом поддерживать друг друга. Огонь, вместе с теплом, вернул им надежду. Они пошли дальше.

Утром они вышли из леса и побрели через поле. И увидели: отрезав от леса, взяв их в полукруг, наезжали мотоциклы. Кончился дождь, кончился лес, и для них все было кончено. Ачахмат вскинул автомат, но что-то толкнуло его в плечо, ожгло, земля пошла кругом, заплясала опушка леса; с силой зажмурившись, он остановил это кружение, но тут земля встала на ребро, перевернулась и накрыла его...

— На войне человека от всех бед защищает любимая, — сказал Ачахмат Зайнаф. — Не плен это был, а настоящий ад. Но если я терял надежду, перед глазами вставала ты. Ты мне дала силу пережить плен, ты меня оберегала, когда я бежал оттуда, дашь силу и теперь... — Ачахмат взял ее за щеки и, глаза в глаза, сказал: — Помни, самое трудное выстоять здесь!

Она, как-то беспомощно:

— А этот мальчик тебя увидел...

— Мухтар? Он парень надежный. Я его в комсомол принимал.

Зайнаф смотрела ему в глаза, а видела другого, Жабраила. Ей всегда казалось, что если кто и может погибнуть, так это Жабраил, но никак не Ачахмат. Она никак не могла представить, что с Ачахматом может что-то случиться. Если и случится с кем беда, так это только с Жабраилом. Странно, Ачахмат ничего не говорил о нем. Только сказал, что вместе лежали в госпитале. Со стыдом вспомнила, что и тогда она думала о Жабраиле больше, чем о муже. За мужа была спокойна, а за чужого, обманувшего ее человека всем сердцем изболелась. Она ругала себя, старалась забыть о нем, но ничего не получалось. И даже сейчас ей хотелось спросить, как они расстались, где он и что с ним.

— Пора... уже ночь кончается,— сказал Ачахмат. Взял хурджин, уложенный Зайнаф, взял палку, закинул за плечо автомат. От двери опять вернулся к ней, обнял...

Он пробирался через огороды. Как назло, и ветерок затих. Высокая сентябрьская кукуруза уже высохла, и при каждом шаге шуршание и скрежет разрывали преддвухминутную тишину — точно не человек крался, а ломился заблудившийся медведь. «Дурак,— ругал он себя.— Нужно было еще той ночью, до их прихода уйти. Нет, с женой расстаться не мог!..»

Быстро таяла ночь. А ведь в ауле встают очень рано. Увидит кто — провала конспирация. А там могут и до Зайнафа добраться.

Он проковылял через дорогу и, перевалив через ограду, нырнул в огород Батырбековых. За огородом был крутой обрыв, а под ним — ручей в густых зарослях тальника. Теперь другой дороги к дому Казака у него нет. Он перепрыгнет через забор, скатится вниз по склону, а там пойдет вверх по руслу.

Снимая хурджин с ограды, он оглянулся и увидел по ту сторону дороги двоих — они сидели на корточках под высокой кукурузой. Ачахмат быстро присел и глянул в щель между камнями. Немцы. У обоих автоматы. Ясно, что они заметили его. Еще бы, каждый сухой кукурузный лист визжал на весь аул о незадачливом партизане. Те двое, полусогнувшись, побежали через дорогу. На рукаве одного из них блеснул значок офицера полевой жандармерии: серебряная стрела на золотом поле. Ачахмат вскочил, дал длин-

ную очередь. Не успел он присесть, как по камням ограды хлестнули пули. Острая каменная пороша ожгла щеку и шею — с другой стороны вдоль забора, гоже полусогнувшись, бежали еще трое. Он отпрыгнул назад и, уже падая, ударил короткой очередью в их сторону. Его пули ушли высоко, но те, за оградой, видно, залегли. Он прокатился по разрытой земле, вскочил и, хромя, цепляясь ногами за ботву, бросился в глубь кукурузных зарослей. Опять застучали автоматы. Он лег и начал отстреливаться. Потом закинул автомат на шею, вскочил, побежал, снова залег. В последнюю перебежку домчался до обрыва и с разбега, словно обезумевший вожак-олень, прыгнул, стукнулся боком о каменный выступ и, перекатываясь с бока на бок, покотился вниз.

Ачахмат упал на полосу прибрежного ила. Рот, нос, уши забило липкой грязью, но он, словно зверь, шел и шел на четвереньках, дышать было нечем, ноги и руки вязли в тягучем иле, когда он поднимал голову, чтоб отдышаться, серая в сумерках стена обрыва кружилась, готовая рухнуть и придавить его. Пули, вонзаясь в гребень откоса, выщелкивали на него камешки и комья сухой земли.

Немцы подбежали к обрыву, заглянули вниз. Там еще лежала тьма. Спуститься вниз они не решились — если даже и не сломаешь шею, то можно скатиться прямо под пулю партизана. Они обстреляли заросли и бросили несколько гранат.

Потом все стихло. А он полз и полз, утопая в иле, полз, боясь поднять голову, оглянуться; казалось, вот сейчас вспикнет перед ним чья-то тень и над самой головой раздастся глумливый оклик на чужом языке.

Весь день Ачахмат отлеживался в густых зарослях тальника. Похоже, и на этот раз он ушел от смерти. Он думал, не было ли в хурджине, который он бросил на огороде, чего-нибудь, что могло навести на его след, — вроде бы нет, только белье да шерстяные носки. И еще он думал о Зайнаф — что она там пережила, поняла ли, что стреляли в него?.. Далеко за полночь он приковылял к дому Казака и три раза постучал в заднее окно.

XX

На другой день за Нарт-горой враг хоронил своих убитых. Четыре могилы выкопали они — троих убили возле Желтых скал, а одного — возле Батырбекова огорода. Ни-

кто в Жамауате не знал, кто были те смельчаки, которые дали врагу первый бой — один у входа в аул, другой — в самом ауле. На глазах молчаливого аула зарыли они своих мертвецов, поставили над ними жора¹ и ушли.

Хоронили сами, не сгоняли людей копать могилы для своих поганных трупов, не потребовали десятикратной жертвы за голову немецкого солдата, как это делали в других местах, о чем в ауле уже были наслышаны.

Вроде бы мало что изменилось в повседневной жизни аула, но все пошло по-иному — пришел враг.

Над Домсоветом висело знамя со свастикой, у входа в аул стояли часовые, солдаты заняли дома — где по двое, где по четверо, как тараканы рассыпались они по Жамауату. Немало было их, поганцев, и в самом Домсовете, и в школе.

Но покуда они молчали — и враг, и Жамауат.

Ережип, чтобы разглядеть поближе, какой он, этот враг, сделал вид, что решил навестить родственников в нижнем ауле, и дважды прошел мимо Домсовета — туда и обратно. «Какое геройство!» — воскликнул Латырай, узнав об этом.

— Оррай, биррай, кроме того паскудного знамени над Домсоветом ничего не изменилось, — уверял всех Ережип.

— Что же ты еще хочешь, мало, что ли, если знамя другое! — сказал Биязурка.

— Крянусь отцом, никто даже не спросит: куда? — удивлялся Ережип.

— Так что же, по-твоему, они собираются делать? — спросил Биязурка, но Латырай, не дожидаясь ответа Ережипа, сказал:

— Они влезли в наш дом, но они боятся нас.

От этого разговора, как брызги после всплеска, разлетелось по аулу:

— Кто становится султаном на чужой земле? Аллах единый, нельзя стать султаном на чужой земле. (Фердаус в Езене.)

— Нет, чтоб их скрючило, они что-то выжидают. (Ляпшу в Ажоке.)

— Молчат — мало ли, что молчат? А кто видел крикливого душителя? (Чыккы-кызы в Чегете.)

— Ай, суфхан аллах!² — изумленно заключил Латырай.

¹ Ж о р а — крест.

² Возглас удивления

Что правда, то правда: золото в горсти весь блеск теряет. А Латырай был золотом Жамауата, той головой, которая находит выход в самых запутанных случаях — и житейских, и исторических. Те, которые считали, что они куда как умнее Латырая, и умели молчать с таким глубокомысленным видом, будто измерили толщину земли, Латыраю и в подметки не годились. В то время, когда они думали не о том, насколько силен враг, а, не слушая друг друга, спорили о том, почему он молчит, Латырай объединил, обобщил их разбегающиеся во все стороны мысли в одном вздохе — словно озорного мальчишку укорял: «Ай, суфхаан аллах!» Следом за ним вздохнул и аул.

— Откуда только притазились такие прозорливые? (Майруш.)

— Аллах милосерд, врать не стану, но рыскают, как псы... Прямо в гумно лезут... Псы, ну просто голодные псы. (Даус.)

Ляпшу:

— А я что сделала! Все равно, думаю, отберут, так пусть не из чистых моих ларей берут. Масло спрятала там, куда и ханы пешком ходят. — Лицо Ляпшу вдруг запылало — впасть, и сама изредка и тихо наведывалась туда. Но не в этом дело. — И что вы думаете?! Словно на запах прямо туда пошли! Что ж, но гостю и почет!

Но совершенно иной почет неожиданно для всех оказала пришельцам жена Кичинау из Чегета — Сылыухан. Это была женщина, известная в Жамауате своим строгим, помужски твердым характером. Говорила Сылыухан редко и дельно, мелких придилок и праздной болтовни себе не позволяла, а что касается таких человеческих черт, как милосердие, участливость, щедрость, и тут ни одна женщина Жамауата не могла сравниться с нею. Муж ее — Кичивау — был человек незаметный, но благодаря кипучей энергии Сылыухан, ее уменью делать все на удивление всем хорошо тоже пользовался уважением среди мужчин Жамауата.

Сылыухан была женщиной глубоко верующей, ни за какие блага мира не поступилась бы она и малой долей этого чувства. Однако она не мешала своим детям учиться в советской школе. Наоборот, Сылыухан следила за их учебкой, только усадив детей за уроки, садилась совершить намаз сама. Когда же дети стали учиться в Нальчике, она ухитрилась вырвать время и на арбах, на случайных подводах, днем ли, ночью ли, добиралась до города, доставляла

им продукты. Так дети ее выросли образованными. Старшая дочь — Жулдуз — стала учительницей в Жамауате. Перед войной она вышла замуж в другой аул и там тоже стала работать в школе. Младшая дочь, Жамилат, доставившая ей много горя, после учебы работала секретарем у какого-то большого начальника, к ней без пропуска и войти было нельзя. Сама Сылыухан ездила к этому начальнику. Она села перед его огромным столом, положив пухлые, пахнущие жиром руки на колени. Говорила недолго, слова — единственное, на что была скупа Сылыухан. Коли по воле судьбы, сказала она, ее молодая, неопытная дочь оказалась среди больших и мудрых начальников, так пусть они берегут честь ее как зеницу ока. Иначе весь позор, если падет он на дом Сылыухан, будет обращен на него, человека, знающего жизнь, немолодого уже и к тому же по воле аллаха ее, Жамилат, прямого начальника. С тем она и ушла. Но прошло время, и весь Жамауат был поражен вестью о том, что этот большой начальник — теперь уже не большой начальник или даже совсем не начальник, потому что он ушел от жены и детей и женился на Жамилат. За это его сняли с высокой должности, исключили из партии. Поговорили в Жамауате и забыли. Но Сылыухан не забыла, дочь свою не простила. Не могла она понять, как это дочь ее — ее дочь! — могла разрушить чужую семью и выйти замуж за человека, который — сама видела — был старше ее отца! Она прокляла дочь на все времена и после никогда не интересовалась ее судьбой.

О сыне, среднем из детей, — Мурадине — говорили с уважением не только в Жамауате, но и в городе. Он, на зависть подругам Сылыухан, работал в газете. Когда по утрам жамауатчане получали свежую газету и если там встречалось имя Мурадина — читали громко, чтобы слышала Сылыухан. Они громко обсуждали то, что написал ее сын, а она скромно молчала, считая, что здесь больше заслуг не Мурадина, а тех, с кем он работает в газете. Всем своим видом она говорила: нашли чему удивляться, так и должно быть.

Но когда дело касалось веры, мудрая Сылыухан не считалась ни с кем и ни с чем. Из-за веры она была готова поссориться даже с самым близким родственником, с любой властью. Советской властью она была довольна, но не понимала, почему такая хорошая власть не может ужиться с религией? «Ну кому вера приносит вред? — вопрошала она. И сама же отвечала: — Аллах свидетель, кто искренне

верит, тот и живет честно, никому зла не чинит. Да посмотрите сами! Кто честно трудится, кто не гуляет, не вогулет? Да все те же, верующие! Ибо вера требует этого. Почему же большевики не могут примириться с религией?»

Конечно, не потому эти важные вопросы многие годы мучили Сылыухан, что не было в Жамауате сведущего человека, который толково разъяснил бы ей ее заблуждения,— и Мурадин, и дочери изо всех сил пытались растолковать ей, почему советская власть не может примириться с религией. Бывало, когда Сылыухан начинала чувствовать, что уже спиной и обеими лопатками приперта к стене, что вот-вот ей придется сказать: «Вы правы», она спохватывалась и уже материнской властью обрывала спор: «Перестаньте, я не трогаю вашей веры, так и вы не трогайте моей!»

Сылыухан не знала и не могла знать, откуда шли разговоры о том, что немцы не только никого не обидят, а, наоборот — открывают мечети. Сылыухан была одной из тех женщин, которые любую ложь, если только она касалась религии, принимали без малейшего сомнения и готовы были молиться за того, кто эту ложь принес. Вот и тут она стала молить аллаха за пришельцев еще до того, как они появились в Жамауате. В своих пелерных кощунственных молитвах она забывала, что те, за кого она молилась, были заклятыми врагами ее родины, ее аула, ее детей, что они несли гибель той власти, которую она уважала за многое, власти, которая дала ее детям образование, вывела в люди, сделала дом Кичинау зажиточным и светлым, забывала, что при этой власти она из темной, приземистой сакли переселилась в большой дом, а муж ее Кичинау несколько раз был ударником колхозного труда и зерно, масло, сыр за трудодни привозил на воловьих арбах. Нет, Сылыухан была человеком веры и веру свою ставила выше всех земных благ. И она не постеснялась, вышла на улицу и, обычно немногословная, запричитала:

— Да будет жертвой им моя жизнь! Они, говорят, мечеть откроят!

— Пусть только твоя жизнь и будет им жертвой! — выругался Ережип.

А Сылыухан:

— Эх, люди! Если будем свободно молиться аллаху, еще какое счастье нам нужно?..

— Сылыухан тронулась! — говорили в ауле.

...Но нашелся еще один, кто приветствовал врага.

В час вторжения жамауатчане ушли по домам, завесили окна войлоком, задвинули засовы на дверях. И в каждом темном, глухом доме кропотливо, одного за другим перебирали людей Жамауата. Надо было точно знать, кто где находится в этот час, кто чем занимался все годы и в последние дни. И еще вспоминали, кто на каком собрании и что сказал, кто из начальства на чью дочь посягал, кто первым вступил в колхоз, а кто долго упирался и не шел. Бесконечные четки перебирал в эти дни Жамауат. Потому что в такие дни нужно было вспомнить и знать все. Вот и вспомнили, что однажды Биязурка сказал, и слова его упали тогда на середину ныгыша, и все вздрогнули. Но тут остальные, и в особенности Латырай, ссылаясь на отца того, о ком было сказано ТО слово, успокоили Биязурку. Потом сделали вид, что тех слов не было вовсе. И давние слова Биязурки ударили словно камень в голову — теперь, когда на вороном наспех оседланном коне, к ушам которого были привязаны белые тряпицы, появился Мачар, появился недалеко от того места, где Биязурка и высказал те самые слова о нем. На вороном с развевающимися белыми тряпичками на ушах коне выехал Мачар из Чегета навстречу немцам и слился с бесконечным вражеским потоком.

Нет, еще не все удивительное познали жамауатчане. Самые удивительные дела только еще проклевывались на белый свет, словно змеиная молодежь из яйца.

Жарнес сказал:

— Сырбыт, хотя и не высокая, — все гора, враг, хоть и тихий, — все враг.

Беда Жарнеса была в том, что он, занятый своими мыслями, сказанное утром слышал только к вечеру; аул уже ухватился за другое, а он еще цеплялся за прежнее. Кто же не знал, что это враг? Одного лишь не знал Жамауат — кто был Мачар. Жарнес в прежние годы говаривал, что ближнего узнать трудно, на пришельца же глаз всегда навострен. Иначе почему же на ныгыше говорили: «Мачар и с непчатого луга больше одной копы не накосит»? Если бы в Жамауате больше к своим собственным словам прислушивались и немного подумали, о чем говорит эта копына, они, может, лучше поняли, кто такой Мачар. Ведь первая доблесть горца в мирное время — умение косить сено. И если Мачар, будучи колхозником, так относится к колхозному добру — это, вероятно, неспроста. Конечно, он умел отвести глаз, ссылаясь на то, что добро наживать не рвется. «В росе первым не шагай, в чащобе сзади не отста-

вай, — говаривал он. И усмехался: — Если есть возможность сидеть, когда другие бегут, — значит, сиди. — И добавлял, воздев палец: — Яйца высидивают сидя». Зная нрав Мачара, люди уже не спрашивали, много ли он таким образом высидел. И само собой, как в косьбе не ему доставалась первая коса, так и за столом на почетное место сажали не его. Кто нес на плечах полную тяжесть жизни, тех и сажали на лучшие места. Мачар же обычно, вперив свой безразличный взгляд в чашу, наполненную бузой, стоял у дальнего края стола. Порой ему приходилось обслуживать гостей, но ни главой застолья, ни водоносом, ни костерщиком он не был никогда. Если приглашали, приходил одним из последних, уже на готовое. Одним из последних и уходил, но не был при этом хмелен, как другие, не шутил, не смеялся и не обещал в свою очередь угощения идущим рядом сотрапезникам, как это делали другие. Сколько бы ни ел, сколько бы ни пил, сколько бы ни стоял с краю стола, поддакивая «аминь», он не пьянел. Удивлялись: «Мачар, чтоб ты клятвой своей поперхнулся, что у тебя, мешок в утробе упрятан, что ли?» — «Конечно, упрятан!» — лениво усмехался Мачар. Иные, кто поазартней, бились об заклад, что сумеют упить его. Мачар хоть и знал, что в этой потехе он был за шута, все же не возражал, пил и ел, что подносили, спорил, смеялся, шутил вместе со всеми. А те, азартные, теряя последние надежды и последние припасы, входили в долги, песли еще и еще, но стол пустел, Мачар благодарил за угощение: «Будьте богаты, будьте сыты» — и уходил домой.

Как бы то ни было, Мачар считался человеком безвредным. И это не было оплошностью одного человека, это было просчетом всего аула. И просчетом тем более странным, что Жамауат мог ошибаться в чем угодно, но только не в человеке. Но в одночасье Жамауат понял, как он обманулся, и эта его ошибка стоила многих ошибок.

Нет, Мачар не был человеком ни мирным, ни ленивым. Он сам признавался, что у него в утробе мешок, но он скрывал, что мешок этот был полон злобы к своему селу, к колхозу, к соседям, даже к родственникам и даже к тем, кого он называл друзьями. Если бы кто-нибудь прозорливый вовремя присмотрелся к жизни Мачара, то увидел бы, что лень его, так обманувшая односельчан, не та данная аллахом лень, которая в костях сидит, — нет, она была чешуей, панцирем, кюбе, как говорили в Жамауате, — нет, он сам нарастил ее, эту лень, чешуйка к чешуйке, и носил с удо-

вольствием, усмехаясь про себя людской слепоте и доверчивости. Ленъ была его мезтью — мезтью односельчанам. И потому так обманулъ Жамату, что личные обиды Мачара, если смотреть на них с точки зрения интересов всего аула, показалиъ Жамату не больше, чем курица Ляпшу, когда грифъ поднял ее под самые облака.

Уж теперь-то Мачар за все рассчитается, он покажет, что личная обида человека — не мелочь, не чепуха. И эти счеты, на которых две костяшки — курица Ляпшу и его, Мачара, кровная обида — оказались рядом, он, Мачар, разобьет о голову Жамату. Бог милосерд, бог справедлив, он даст ему возможность отомстить своему аулу за все. Милостью бога сбежал он из тюрьмы, и белые лоскутки развевались на ухах коня, когда вороной шел, выплясывая, навстречу немцам.

Мачар был единственным сыном Молая, из рода Хачьевых. Хотя Хачьевы не были ни князьями, ни даже узденями¹, но были людьми зажиточными, а кое-кто из них — и богатыми. Поскольку были богатыми, то смело общались и с таубиями², и с узденями, на равных с ними решали дела аула. Лишь один двор в роду Хачьевых — тот самый двор, в котором родился Мачар, — был бедный. И понятное дело: хозяин этого двора — Молай — никакого веса в делах рода, а тем более в советах старшин рода не имел. Мачар вступал в совершеннолетие, когда в горах началась революция и отец его Молай пошел партизанить против белых. Мачар и не знал толком, какова была доля Молая в этой борьбе, какие подвиги тот совершил, но он хорошо усвоил и всегда помнил, что в той войне победила та сторона, на которой воевал его отец. Когда уздени, те, кто выжил, злословили про «Хачьевых, самих себя грызущих», потому что именно Молай сжег дом Хачьевых в Жамату, Мачар помалкивал, он это умел делать, хотя внутри жгла изжога от досады на выходку отца. Братья Молая и другие родственники хоть и были состоятельными, но против большевиков не пошли. Они были людьми мирными, а оттого, что не поняли революции, в первую очередь пострадали они сами. Никто не мог сказать в Жамату, что тот из Хачьевых обидел кого-то, а тот — нажился чужим трудом. Они были людьми работающими и, как чаще всего бывает с людьми работающими, были зажиточными. Переделывать мир они

¹ Уздени — независимое от феодалов сословие.

² Таубий — князь.

не хотели, и любая власть, если давала возможность трудиться, сохранять традиции рода, его достояние и честь, была для них хороша. Молай же был человек нетерпеливый. И если по его наговору подожгли дом Хачыевых, то это была месть. Молай утверждал, что братья его — самые алчные, самые жестокие эксплуататоры, именно потому и нищенствовал Молай, что собственные его братья дено и ноцно угнетали его, они даже из своих бедных родственников все соки выжимали.

Как бы там ни было, никто в Жамауате не сомневался, что боролся Молай за новую жизнь от чистого сердца. Мачар был уже джигитом, когда Молай погиб. И смерть отца-партизана в бою оказалась хорошим последствием. Поначалу монета эта была в ходу, и Мачара, как сына погибшего за советскую власть, ставили на разные должности в ауле. Случалось и так, что ни он сам, ни другие не знали толком, в чем же, собственно, заключается его должность, но он все околачивался вокруг конторы.

Однажды председателя жамауатского колхоза решили перевести в районные начальники, и встал вопрос, кем его заменить. Мачар, разумеется, никого достойнее себя самого на место председателя не пошел. Ему казалось, что так думал не он один, ибо кое-кто стал прибиваться к нему. Он почувствовал: пришло время — и надо, не глядя ни на что, щедро пустить в дело все, что он имеет. Он стал зазывать в свой дом людей без разбору — и тех, кто наверху, и тех, кто внизу (так разделял он их). Улыбка его стала ласковой, язык же — совершенно непонятным. Еще он хотел походить на прежнего председателя Рахая. А в чем ходил Рахай? В серой каракулевой шапке, блестящей кожанке, хромовых сапогах. Шапка у Мачара была — хоть и не серая, но все же каракулевая. Сапоги он купил на базаре, выторговал у тата. Что касается кожанки, то ее можно было заказать в колхозной мастерской. Слава этой мастерской давно дошла до Москвы и даже до Кремля, в ней сшили кожанку для самого маршала Ворошилова.

Мачар пришел в мастерскую.

— Доброй вам работы! — он сцепил руки за спиной и по пропахшей кожей и потом мастерской прошелся туда и сюда, и еще раз туда, и еще раз сюда. И руки за спиной были не пусты: четыре гёренке дорогих конфет купил Мачар в гостинец. — Раздай девушкам, — протянул он с величайшей щедростью Азинат, заведующей цехом.

Азинат взяла кулек и сказала:

— Пусть и тебе добром воздастся за твое угощение!

Мачар мог сказать так: «Подождите, я еще не так ода-рю вас!» И мог сказать так: «Ничего, скоро от звука моих шагов будете вздрагивать!» Но не сказал ничего. Во-первых, светлая мечта его, хоть ждать и осталось недолго, еще не исполнилась, во-вторых, хотя он и был уже в возрасте, но еще ходил в женихах — так что девушки, чего доброго, могли понять его превратно.

— Не сердитесь, девушки, на одну минуту украду вашу начальницу,— улыбнулся он девушкам. И повел Азинат под ручку в ее кабинет.

— Только не насовсем,— сказали девушки, чем сладко смутили будущего председателя.

«Красивая,— думал Мачар, шагая рядом с Азинат. Хотя длинное платье и большая кожанка скрадывали фигуру, рядом шагала красивая девушка, и ни разу не испытывшее женской ласки тело Мачара начало дрожать.— Тейри, только все решится, сосватаю ее»,— подумал он. «Если пойдет за тебя»,— сказал голос из того мешка в утробе. На что Мачар усмехнулся мешку: «Хе-хе! Стань ты председателем колхоза, и даже от струи твоей мельничное колесо закрутится. Кто председателю откажет! Нет, в жены я возьму девушку получше. А эта... дочь недоумка Байчо... Мы таких для забавы только...»

— Красивая ты, Азинат,— сказал он в кабинете, встав спиной к ней у окна.

— Что вы хотели, Мачар?— спросила Азинат сухо.

— Мне пужна кожанка,— сказал он.

— А кожа? Она — колхозная.

— Конечно, колхозная. Правильно! Однако... Ведь и мы сами колхозу не чужие... Э-э, как знаешь сама...

— Ничего не знаю. Выпишите, закажите — и будет кожанка.

Если минуту назад Мачар хотел бы сорвать с нее платье, то теперь готов был содрать с нее розовую дурманящую ненавистную девичью кожу.

— Азинат, иной раз стоит подумать о том, что будет завтра,— сказал Мачар значительно.— Не такой я человек...

— Если бы я не думала о том, что будет завтра,— сказала еще значительней Азинат, настолько значительней, что ее слова придавили слова Мачара,— я бы всю кожу, какая есть, уже к вечеру растратила.

— И тоже верно...— Мачар поближе подошел к Азинат, повторил глухо, сквозь зубы:— тоже верно... Ладно, пока

оставим это, девка...— Тут ему пришла в голову мысль. И он улыбнулся, ощерив покрытые желтой плесенью зубы. Азинат быстро отвернулась.— Тогда уступи мне это,— сказал он, взяв двумя пальцами за лацкан ее кожанку.— Я возмещу, подарю...

— Не высок ваш базар сегодня, Мачар, не идет торговля,— дерзко сказала Азинат.— Если у вас других дел нет — так я тороплюсь.

И, не дожидаясь ответа, вышла из кабинета.

Мачар почувствовал у себя по бокам два крепко сжатых кулака. По скулам его забегали желваки:

— Не быть мне Мачаром, если я не разорву твою девичью честь прямо здесь, в этом кабинете!

Но клятва эта умерла, как умерли сотни других клятв и желаний, которые вынашивал он, пока рвался к председателскому стулу. Ибо Жамауат не изменил себе и на этот раз. Он хитроумно молчал до самого последнего дня, смотрел на Мачара, щурился лукаво, а в день выборов Езен. Ажока, Кюнлюм и Четет взорвались здоровым, как шум водопада, смехом и председателем колхоза избрали Харуна. Харун сразу же сказал Мачару, что он, как председатель правления, в его услугах не нуждается. Жамауату пужны люди, умеющие работать. Он устал от гарцующих возле конторы бездельников.

И Мачар затаил обиду — ноющий ком, от которого тускло в глазах. И размыть этот ком не могло ни время — сколько бы его ни прошло, ни богатство — сколько бы его ни привалило, ни раскаянье Жамауата — каким бы горьким оно ни оказалось. Мачар исчез, а через некоторое время в ауле услышали, что он стал директором маслосырзавода в урочище Хаймаша, неподалеку от Жамауата. Вслед за этой вестью появился и он сам — на гнедом танцующем жеребце, в черной блестящей кожанке. Видавшие и знавшие жизнь старики молча, долгим взглядом проводили танцующей бег его коня.

Видать, оседлал гнедого жеребца Мачар, надел черную блестящую кожанку и забыл, что маслосырзавод ему достался не от Молая по наследству. Ибо очень скоро в Жамауат пришла вторая весть: Мачар сел в тюрьму и сидеть ему там восемь лет.

А потом мы видели, как он сократил этот срок, когда во время налета ринулся в кукурузу, бежал, как раненый медведь, а еще позже сидел на высокой горе над Жамауатом и думал о том, что настало его время, что теперь-то аул

знает, над кем он смеялся, и водопады того смеха взметнутся обратно и черной тоской забьют глотку каждому, кто хохотал тогда на собрании.

XXI

Прав был Ережин: над Домсоветом, словно коптящее пламя,— даже казалось, что запах гари стоит в осеннем воздухе,— зловеще развевалось знамя с черной свастикой. Там обосновались комендатура и гарнизон. Полевая жандармерия с полицией выбрали себе школу. И зря беспокоились жамауатчане, что не загоняют их в тюрьмы, не расстреливают, не вешают, не устраивают на них облавы. Все это предстояло. Просто они не спешили.

Начальник полевой жандармерии фон Гельмут и комендант Юнге были людьми опытными, прошедшими через Белоруссию и Харьков. Перед наступлением на Северный Кавказ они получили предписание аппарата Розенберга «вести себя с горцами осторожно». И вот вместо устрашения и насилия — «миролюбие» и «мусульманская пропаганда».

Сорокалетний офицер полевой жандармерии Карл фон Гельмут, которому Ачахмат прострелил руку, принадлежал к старинному баронскому роду в Баварии, история которого прослеживалась знатоками чуть ли не до XV века. Но в истории Жамауата внимание к личности фон Гельмута связано отнюдь не с историей его рода. В лице жандармского офицера Жамауат увидел подлинное лицо жестокости. И поскольку любое природное явление имеет две стороны, так и жестокость с одной стороны рождает страх, а с другой — рождает противостояние себе. Еще известно и то, что она пробуждает глубоко спящее чувство: человек, вдруг оказавшись лицом к лицу с нею, начинает открывать для себя, что кроме еды, сна, работы — есть на свете что-то другое. Он чувствует боль, и боль объясняет ему, что корни его связаны — что связаны! — прямо-таки переплелись, срослись под землей с другими корнями — сотнями и тысячами, прошлыми и будущими... и если вырвать один корень — боль пойдет по всему сплетению.

Если эта жестокость явилась в аул Жамауат в лице отпрыска баронской семьи фон Гельмутов и если вспомним, что это Гельмуты хотели переделать Жамауат, а не Жамауат Гельмутов, то нелишне на минуту остановиться и бро-

сильный взгляд на этого Гельмута. К тому же (хоть автор и с неохотой сообщает об этом читателю раньше времени) то, что аул расправился с Гельмутом не сам, а при помощи волка, — история, согласитесь, не рядовая. Прежде, когда о Жамауате не писались такие толстые книги, как эта, жамауатчане умели содержание любой из них выразить в одном изречении, вроде: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь!» Не такие уж грамотные были жамауатчане, чтобы о вещах само собою разумеющихся говорить, а тем более писать длинно.

Сидел офицер полевой жандармерии в большом школьном классе, служившем ему кабинетом, и думал. Это большое горное селение ему не понравилось. Странное, неприятное селение. Никак он не мог понять, как его жители смотрят на новых своих хозяев — признают их власть или нет? Или же в душе издеваются над ними? «Похоже, они больше боялись своих налоговых агентов, чем нас», — подумал он. Во всех домах, кроме домов с закрытыми ставнями, где не было хозяев, жизнь шла своим чередом. Казалось, жамауатчане никаких перемен и не почувствовали. Мужчин не было видно, а женщины шли за водой, топили печи, доили коров. Мальчишки же ходили с таким видом, будто собиравшись подраться с пришельцами. И даже сам аул смотрел со склонов и покатых дворов как-то странно — словно тоже сейчас выйдет помериться силами.

И фон Гельмут почувствовал, как в нем поднимается бешенство.

Он встал, подошел к окну. Осенняя ночь стояла над миром. За окном темнел крутой склон. Гельмут уже знал — там росли дикие груши и яблони. Он почувствовал запах зреющих яблок и лесной дичи. Смотрела осенняя ущербная луна. Глядя на эту прекрасную землю, на эту прекрасную ночь, он подумал: «И это — тоже война. Война дала мне все это». И вспомнил, как его мать сказала однажды: «Война никогда никому ничего не дает, она все забирает себе». — «В войне каждый получает то, что ему причитается», — ответил ей тогда Карл. Теперь он стоял у окна большого класса на втором этаже жамауатской средней школы с первой причитающейся ему раной в руке, глядя на землю, которая ему совсем не причиталась.

Он не был солдатом и с самого начала войны ни разу не поднимался в атаку. Это делали другие. Его же миссия была гораздо сложнее. И почетней. Он работал в управлении заместника Бакке, в окружном управлении «Горная

страха», куда входил и Северный Кавказ, под непосредственным руководством рейхскомиссара Кавказа Шикеданца. Их обязанности: насаждение немецкой культуры, разработка путей будущей сознательной ассимиляции, проведение политики сокращения кавказского населения. Не солдаты, завоевавшие жизненное пространство для отечества, а они, именно они — люди Бакке и Шикеданца — должны были обеспечить устойчивый порядок в будущем.

И вот он получил эту рану — совершенно несправедливо, как он полагал. Подстрелить его подло, исподтишка! За эту рану следовало бы расчитаться немедленно. Однако: «миролюбие». Нет, этого он решительно не понимал. А такому самолюбивому человеку, как он, терпеть эту рану было так же унижительно, как оскорбление.

В письмах домой он обещал жене и дочери, что скоро покажет им Кавказ. По пути сюда он с нетерпеливым ликованием оглядывал скалистые ущелья, пахнувшие ледниками, бьющие прозрачно-белым бисером водопады, сияющие кизилевым цветом склоны... Он так живописал все это, что, черт подери, они там, конечно, не спят ночами! Наверное, приобрели карту Кавказа и строят догадки насчет имени... В ответном письме, которое вместе с портретом дочери он получил перед самым наступлением на Северный Кавказ, жена спрашивала об имени и требовала, чтобы там было озеро... Оттого-то, когда они вошли в это ущелье, он чуть не подпрыгнул от радости: озеро! Сказочной красоты... Голубое, бездонное. Гуляя на берегу озера, он бросал камешки в воду и, не отрываясь, смотрел, как расходятся круги, а камень долго шел на дно — далеко, далеко было видно. Никакого сомнения — лучшего места не сыскать во всем мире!

Но это мерзкое селение неподалеку от озера — его бы нужно уничтожить. Немедленно. Это было бы лучшим решением вопроса. И военным, и политическим. И весьма справедливым возмездием за его простреленную руку.

Решив написать домой, он зажег свет, сел за стол, осторожно положил забинтованную руку и взял ручку.

...В отличие от Гельмута, комендант Юнге был человеком уравновешенным. Простой и доступный на первый взгляд, он хорошо скрывал истинные свои чувства и намерения. Он тоже внимательно присматривался к поведению Жумауата в эти дни.

Первым к нему явился и выразил горячее желание служить новому порядку Мачар. Юнге принял его без энту-

знама. Человек наблюдательный, он хорошо знал людей и понимал, что в долгой кропотливой работе, которая предстояла ему, полагаться на таких, как Мачар, не придется. Этот горец, так торжественно и нелепо, на разукрашенном коне, явившийся к нему, слишком злобствовал на свой аул. Слишком ему не терпелось мстить, чтобы он мог управлять своими земляками. По свидетельству Мачара, в этом ауле жили лишь одни негодяи, коммунисты, безбожники и оттого ему, единственному порядочному человеку, много пришлось претерпеть при советских начальниках... Он старался показать себя солидным, осведомленным, деловым. Каким должен быть новый порядок, Мачар толком не знал, какие будут его обязанности, тоже не представлял, но уже метил только на самую высокую должность, какую могли дать немцы деятелю из местных. Юнге одарил его самой любезной из своих улыбок, но ничего определенного не обещал.

Обогретый этой улыбкой, Мачар порой забывал свое место и в присутствии хозяина начинал ходить взад-вперед, заложив руки назад, — как он ходил однажды в цехе у Азинат, как любил похаживать в бытность свою директором маслосырзавода, — и спокойному Юнге пришлось раза два за эти несколько дней довольно резко одернуть его. Этот человек вызывал в нем не только недоверие, но и неприязнь. Но и злая собака будет нужна, только попозже, и Юнге терпел Мачара.

Когда началась регистрация всего населения Жамауата. Мачар действовал строже самих оккупантов. Он успевал быть при всех, давал дополнительные сведения, рассказывал Гельмуту или Юнге о том или ином поступке, совершенном регистрирующимся при прежней власти, причем поступки эти оказывались в основном такие, за которые по немецким законам полагалось бы вешать. Но пока не вешали.

Каждый аул, каждый житель проходили регистрацию строго по расписанию — по назначенным дням и часам. Те же, кто не успеет или решит уклониться, подлежали строгой каре. Комендатура работала все дни с утра до вечера. Только пятница была объявлена священным мусульманским днем. В этот день жамауатчане должны были молиться, отправлять религиозные обряды, очищаца — как по-русски сказал Юнге. Этот день был днем отдыха и для самих немцев.

На следующий день после пятницы регистрировался Езен. День склонялся к вечеру, и, по подсчету Мачара, про-

шли, кроме тех, кто на фронте, все езенцы. Но вот явился последний, и Мачар при виде его вскочил от удивления. Он не верил своим глазам: в дверях стоял Жабраил Билекчиев! Бледный, он стоял как-то неловко, теребя шляпу в руках. Но взял себя в руки и с достоинством вошел в комнату.

— Кто? — сурово спросил Гельмут, опередив всех.

— Это? Это... пусть я ослепну... Это самый большой советский начальник в Жамауате! — Мачар шагнул к Жабраилу и со злорадством спросил: — Как поживаешь, Жабраилчик? Видишь, как времена меняются? Теперь стоишь передо мной и шляпу в руках держишь, будто я секретарь райкома. — Мачар упивался минутой, ему сейчас казалось, что Жабраил действительно был в Жамауате самым большим начальником.

Жабраил ничего ему не ответил, а, как бы испрашивая, что ему делать, повернулся к немцам.

— Билекчиев! — сказал он.

Юнге проявил живой интерес к этому представителю и, очевидно, не простому человеку. Встал, подвинул стул, знаком пригласил сесть.

Как это бывает у всех мелких хищников, Мачар мгновенно почувствовал опасность. Он сообразил, какую угрозу его планам представляет Жабраил при таком к нему отношении коменданта. Не только верховной гражданской власти в Жамауате, Мачар лишался и своих видов на красавицу Залихат, вдову, как он думал до сего часа. Две страсти были у Мачара: место председателя и Залихат. О первой Жамауат узнал и хохотал полчаса, узнай он о второй — хохотал бы до сегодняшнего дня. Мачар полагал, что теперь-то черед смеяться ему, и вдруг появляется на пороге этот вернувшийся из мертвых баловень судьбы и, еще не успев открыть рта, завоевывает симпатию коменданта. Нет, видать, не скоро придется смеяться Мачару. И, улыбнувшись дрожащей улыбкой, он сказал тихо:

— Скажи им, Жабраилчик, скажи им, сколько на тебе немецкой крови. — И закричал: — Сколько?!

Юнге недовольным движением руки отстранил его и, спросив через переводчика, знает ли посетитель по-русски, приказал Мачару выйти. На морщинистом лбу Мачара появились мутные капли пота. Не веря своим ушам, он еще раз посмотрел на Юнге и, встретившись с ним взглядом, повернулся и вышел.

Жабраил рассказал о себе, о своей семье, рассказал все,

как было, кем он работал, чему верил и каким тяжелым испытанием обрушилась на него война. Он не скрывал, какими патриотическими чувствами был движим, когда отправился на фронт. Юнге подкупила его искренность. Давно, кажется с самого первого дня своих военных дорог, не встречал он такого чистосердечного, может быть, даже в чем-то дерзкого в отношении к победителям признания. Но туземец этот понимал обреченность любого сопротивления германскому оружию.

Выслушав его, Юнге спросил:

— Ну и что думает господин бывший директор советской школы о новом порядке?

Пока что ясного представления о новом порядке Жабраил Локманович не имел. Если же честно, то благам, которые обещали немцы Кавказу и человечеству, он мало верит. Дело не в этом. Ведь если взять Балкарию... Судьба малочисленного народа, затерявшегося в глубоких ущельях Центрального Кавказа, никак не может быть заботой будущей великой Германии. Она и не может терпеть процветающей независимой области, со своей культурой и экономикой. Идея развития наций была провозглашена советской властью и осуществлялась с немалыми успехами. Но цель Германии — уничтожить советскую власть. Следовательно, она в корне уничтожит и идею независимого развития малых народов. Так можно ли, оставаясь честным, рассуждать о какой-либо независимости? Нет, о независимости мечтать не приходится. Тут другой расчет: в борьбе против немцев любая малая нация погибнет, на это у Германии сил хватит; в случае же мира с ней есть надежда остаться хоть и зависимой, по все же нацией...

Юнге внимательно и спокойно выслушал Жабраила Локмановича, но Гельмут от негодования не находил себе места. Несколько раз он кричал на Жабраила, но комендант осаживал его. Гельмут был существо ничтожное, жил одним днем и по приказу. Себя же Юнге считал человеком культурным, старался быть объективным. И сейчас, слушая Жабраила Локмановича, он наполнялся гордостью за то, что принадлежит к великой нации. Чувство превосходства над этим человеком, как и над многими другими, ему подобными, окрыляло его. Какой ужас! Он мог родиться среди туземцев. Но ведь бог создал его арийцем! Возложил на него великую миссию очищения рода людского. Вот он, подлежащий очищению, уничтожению... Уже сам это знает...

Вдруг ему стало жалко этого человека. Даже не его самого, а его народ, который обречен на гибель. Возможно, что еще при жизни Юнге не останется ни одного человека, говорящего на этом языке. И дело тут даже не в том, что Германии необходимо жизненное пространство. Настроение его поднялось. Он стал ходить взад-вперед, заложив руки назад. Юнге не собирался наказывать этого горца за разглашение о высоких материях, ведь тот признавал превосходство немцев, их силу и мощь, признавал свое бессилие. Юнге спросил:

— И на что ж вы надеетесь?

— Не знаю. И будущего предсказывать не умею. Но долг мой — быть вместе со своим народом.

— Что значит быть вместе со своим народом? Если вдруг народ восстанет против нас? — Юнге остановился прямо перед ним, и Жабраил Локманович впервые увидел его лицо: оно не было таким уж дружеским, каким показалось поначалу.

— Быть с народом — значит делать свое дело честно, добросовестно, жить жизнью своих земляков. Что касается восстания... Если немцы дадут возможность жить, трудиться, зачем тогда восставать?

— Это почти ультиматум! — буркнул, скрипнув стулом, Гельмут.

— Я отвечаю на вопрос, — сказал Жабраил переводчику.

Юнге заметил в его неглупых рассуждениях много противоречий. Это потому, решил он, что учитель сломлен. Как он, например, собирался разделить боль своего народа, если народ его покорен, а сопротивляться этому, судя по всему, этот господин не собирается. А есть ли большая боль, чем боль побежденного? Или же он хитрит?

Юнге спросил:

— Чем вы хотите заниматься?

— Я учитель, — сказал Жабраил Локманович. — Хочу учить детей.

— Чему же вы будете учить? Нам нужны не ученые, а работники.

— Я историк, — сказал Жабраил Локманович. — История одна для всех — и для ученых, и для рабочих, для немцев и для горцев...

— С учебой подождете, — сказал Юнге. — Какая будет нужна учеба в будущем, подскажет время. Пока же, господин... — Юнге посмотрел на секретаря, ведущего регистрацию, пытаясь вспомнить фамилию Жабраила.

— Билекчиев, — подсказал переводчик.

— ...Да, господин Билекчиев, подумайте об отношении местного населения к новому порядку. Повлияйте на них. Если вы желаете вашему народу добра, попытайтесь образумить... не столь уравновешенных, как вы...

С тем он и отпустил Жабраила Локмановича, взяв его, однако, на особую заметку.

XXII

Азинат разучивала новую песню.

Орден Трудового Красного Знамени, комсомольский билет, похвальные грамоты она спрятала надежно — зарыла в землю. Да, надо было уйти, уйти вместе с девушками из райкома! Но отец не отпустил. «Куда может уйти девушка из аула! Воюют с мужчинами, а не с женщинами! Или они язычки какие!» — сказал Байчо. А слово отца для дочери — железная стена, ни обойти, ни перепрыгнуть! Теперь она сидела, прислонившись к спинке кровати, и, держа в руках листок со словами, разучивала новую песню.

Змея, выскользнувшая из расщелины,
Медную голову ко мне повернула...
Пусть провалится кровавая Германия —
С Родиной меня разлучила...

И, побелев, осеклась на полуслове: в дом, не постучавшись, вошли четверо — двое в штатском, двое военных.

Все замерли в доме: Байчо впереди своего большого семейства — стоя, Азинат, прослонившись к спинке кровати, с бумажкой в руке, Даус — с двумя малышами в охапке — впереди Азинат, словно стараясь прикрыть ее собой, Хаким — зажав коленями братишку Чачия, и все остальные, кто где был в тот миг, когда открылась дверь, так и застыли, все в разных позах.

Те, кто вошел, прошли взглядом по лицам, и им показалось, что это было одно и то же лицо, повторившееся четырнадцать раз, — страх и изумление одинаково выбелили каждое, и сразу стало видно, что все они — одна семья.

Троих из вошедших, безродных пришельцев, Байчо не знал, четвертый — Мачар, сын Молая. В окно было видно стоявших во дворе автоматчиков. Тот из вошедших, который был в светло-зеленом, высокий, красивый мужчина лет тридцати пяти, молча смотрел на растерянное семейст-

во; другой, в черном, у которого рука лежала на черной повязке, свисавшей с шеи, играя длинным прутиком в здоровой руке, вперил свой блеклый голубой взгляд па Байчо и пробормотал что-то вроде «артель», «ясли». Услышав слово «ясли», Байчо подумал, что незванный гость говорит, что у него, Байчо, много детей. И, подумав так, он чуть смягчился к пришельцам и был готов сказать им: «Слава аллаху, тут мы не обделены, дом наш многолюдный...», но, пока он собирался, вмешался Мачар.

— Колхозник Байчо!— сказал он, подойдя к военному в зеленом.

А тот, в черном, с прутиком, расталкивая* большое семейство Байчо, словно раздвигая заросли, подошел к Азинат. И, ткнув прутик в грудь девушки, как-то скрежещуще, как ученый скворец, выкрикнул:

— Комсомол?

— Комсомол,— подбежал к нему Мачар.

Немец улыбнулся, убрал прутик с трепещущей груди девушки и, закинув руку за спину, стал ходить по комнате.

— В нашем ауле будут стоять немецкие солдаты,— сказал Мачар хозяину дома.— Теперь вот этот будет главой Жамауата, то есть по-военному — ку-мап-дат.— Мачар показал на военного в зеленом френче.— А этот... жан-дармерий. Он там начальник. А этот,— он показал на человека в штатском,— толмач... Они сегодня обходят аул, знакомятся с жителями, смотрят, кто как живет. Тех, кто никакого отношения к советской власти не имел, они не тронут. А вот тех, кто ей подсоблял, оллахи...— он посмотрел на Азинат и усмехнулся:— Хе-хе...

Азинат ничего не сказала. Удивительно: вдруг в этом мире не стало места, куда можно было бы спрятать кусочек бумаги! Но, несмотря на растерянность, она почему-то представила Мачара в длинной рваной шинели, в растоптанных кирзовых сапогах — сгорбленный, дрожащий, слюпявый, он входит в их двор, прося подаяние. Представив это, Азинат тоже усмехнулась: хе-хе!

— Тейри, зря,— сказал Мачар.— Тебе сейчас не до смеха.

Даус, обругав дочь взглядом, оттолкнула ее назад. Мачару сказала:

— Пусть жертвой твоею стану, Мачар. Дите еще, ничего не понимает.

— С чего бы это, сестра? При Рахае и Харуне все понимала, а наше время пришло — вдруг непонятливая стала!—

удивился Мачар.— Зря прикрыть стараешься, все знают, что твоя дочь — стахановка.— И, оставив ее, повернулся к Байчо:— Байчо, бедный, столько у тебя едоков, что будешь делать? Может, они что-нибудь сделают для тебя... Оллахий, я поговорю с ними...

Тем временем комендант внимательно оглядел дом, понял, что за семья, и сказал Байчо:

— Хорошие в тебе семена, горец!

Толмач перевел эти слова на русский, а Мачар — на балкарский. И когда они дошли до Байчо, он удивился, как этот хорошо одетый, грамотный, наверное, мужчина, к тому же намного моложе его, может так грубо говорить при нем, старике? Байчо стало стыдно, и он, чтобы дети подумали, будто он не расслышал этих слов, взял со стула свою шапку и стал разглядывать ее. Но словно от удара камнем зазвенело в голове от новых слов — их сказал другой, в черном:

— И не стыдно рожать на свет столько нищих!

В понимании Байчо не было на свете большей радости для человека, чем рождение детей. А радость — чем больше ее, тем лучше. Аллах захочет, так и Дауус здорова, и он еще не так уж стар, и насчет того, чтоб родить ребенка, то и на это воля аллаха. Об этом ли должен говорить человек, если он благовоспитанный? И поскольку пришелец спросил некрасиво, то и Байчо ответил так же: если у германа, сказал он, рождение ребенка не считается позором, то и у балкарцев это совсем не позор.

Байчо не знал, что эти пришельцы называются оккупантами, он и слова такого не знал. «Чтоб ему на собственной матери жениться, — просто подумал он, — если такие вещи говорит в моем доме. Не я пришел в его двор — он пришел в мой».

«Что им нужно в жизни? — думал недовольный репликой Гельмута комендант.— Черви... Черви ползучие... Они не люди, весь разум у них в желудке. Но если мы уведем сейчас его дочь, то ночью он уйдет в лес. И не один, а вот с этим щенком. Много их из-за этой самки уйдет в лес... Нет, прежде чем увести сучку-щенка, надо бросить кость псу...»

И опять три голоса — очень похожих, так как второй и третий даже интонацией старались походить на первый, — потянулись один за другим. И так же по цепочке прошла улыбка: от Юнге — к толмачу, от толмача — к Мачару, от Мачара — к Байчо, и только Байчо не улыбнулся.



— Похоже, ты мирный человек,— сказал Юнге.— Не сердись, мы просто шутим. Пусть растут счастливыми твои дети. И как бы тяжело ни было тебе растить их, это ничего...

— Да, это так,— помолчав, согласился Байчо.

— Вот до чего большевики довели народ! Раздетые, голодные... Ну, что ждало этих детей? С голоду бы вымерли.

«Чужак ничего не понимает,— решил Байчо.— Покуда я жив, никто бы не голодал, хотя, может, раздетыми и бегали бы». Однако теперь он подумал, что пришельцы только на первый взгляд кажутся бездушными, а на самом деле, может, и не так, и Байчо осмелился:

— О работе... Может, ты, Мачар, скажешь им о работе?

— Ладно,— согласился тот великодушно.— Но пусть они сначала успокоятся.

— И это верно,— кивнул Байчо.

— Их надо сфотографировать и опубликовать в газете,— сказал Юнге переводчику.— Отец — ударник («ударник» он сказал по-русски), а дети на грани голодной смерти... Объясните этому медведю,— обратился он к Мачару и переводчику,— наша задача — дать свободную жизнь горцам. Пусть он не боится.

Байчо выслушал и задумался. Он никак не мог понять, с какой свободой заботились эти чужаки.

— Комендант знает душу людей,— сказал Мачар переводчику.

Но Мачар был недоволен. Его земляки поймут только палку. А потому с Байчо должен был говорить не Юнге, а прут Гельмута. Когда сегодня утром вышли в обход, он был уверен, что в этих домах, где жили люди, к которым он питал многолетнюю злобу, хоть в двух-трех, но прольется кровь. О, Мачар хорошо помнил, как Азинат осадила его тогда, с кожанкой, что ж, теперь и она вспомнит тот случай, вспомнит, все вспомнит — и из собственной кожи готова будет сшить ему кожанку.

Но комендант не спешил. Мачар догадывался, что рано или поздно, но Азинат будет арестована. Но какой для него-то прок в том, что эту упрямую суку, к которой горел он нетерпеливой, горячей мужской мезью, уведут куда-то, даже если потом убьют? Он сам должен расправиться с ней, насладиться страшной ее минутой. И это будет справедливо. Она первая жестоко обидела его. Этой кожанкой она прихлопнула его, накрыла, как накрывают курицу, когда ловят

ее, чтобы зарезать. А ведь он должен был взлететь еще выше! И взлетел бы, если б не эта кожанка! Ничего, стерва, я еще привяжу белые тряпочки к твоим ушам и оседлаю тебя...

А вместо этого в глазах большого глупого семейства он выглядел холуем, послушным псом прищельцев. От чувства бессилия кровь прилила к глазам, и на мгновение все закрыла алая мгла.

— А эта Азинат — первая комсомолка... коммунистка! — сказал он в отчаянии. Стало тихо. Видно, Мачар сам оглох от собственной смелости. Мгла сошла. Он подошел к Азинат и спросил ехидно:— А... что за бумага?

Азинат отвела руку назад, он зашел сзади, вывернул ей руку и, вырвав бумажку, начал читать ее.

— Свинья! — можжевелевый прут ожег лицо Мачара. — Отдай бумагу обратно! Проси прощения! — и каждое слово Мачар понял без перевода.

— Хорошо, хорошо... — дрожаще улыбнулся Мачар, хотя ему казалось, что след от прута, должно быть, уже обуглился.

Горя от стыда, он сунул бумажку в руку Азинат и с видом человека, взявшего на себя удар, предназначенный его дочери, отошел к Байчо. И Азинат во второй раз, теперь уже воочию увидев позор Мачара, усмехнулась: хе-хе!

Комendant переступил через зазубренный порог дома Байчо и остановился посередине двора. Почесал белую щеку большим пальцем и кивнул на Байчо, который вышел следом и, стоя поодаль, с интересом разглядывал автоматчиков.

— Спросите у него, умеет ли он резать скот?

— Почему он это спрашивает? — обиделся Байчо. — Какой же мужчина не умеет резать скот?

— Он все может, — перевел Мачар.

Презрительный взгляд Юнге прошелся вдоль набухшего рубца на щеке, и Мачар сжался, опустил голову. Странное дело: чем больше он старался услужить им, тем неприязненнее относились они к нему, тем бесцеремоннее обращались с ним. За спиной он чувствовал насмешливые лица автоматчиков, сверлящий, злорадный взгляд Азинат. И этот, в черном мундире, — чтоб ему вторую руку прострелили, чем бы он тогда свой прут держал? — не от избытка любви к семейству Байчо хлестнул, а для славы: опи, дескать, честь и достоинство горцев защищают. А для этого, значит, Мачара и поперек рожи хлестнуть не зазорно.

— Прекрасно,— сказал комендант.— Пусть завтра придет в комендатуру.

— А что это такое?— спросил Байчо.

-- Контора, где он сидит, в Домсовете,— объяснил Мачар и добавил:— Ты покажи им, что рад, признателен, хе-хе...

— Алан, спрос не грех, а как это делается?

— Сними шапку, опусти голову, выкажи готовность услужить.

— Тоба, тоба!— удивился Байчо.— Что за чушь ты говоришь, Мачар? Кто видел, чтобы мужчина перед мужчиной шапку снимал?

На что Мачар ответил:

— Снимешь, еще как снимешь и еще лишний раз снять перед ними шапку будешь рад.

— Бывал ли он на волчьей охоте?— неожиданно спросил Гельмут.

Байчо, обеспокоенный предсказанием Мачара, решил больше к нему не подходить. Но вопрос Гельмута заставил его снова обратиться к этому паскудному сыну Молая:

— Алан, не кори старика, еще раз спрошу, о какой волчьей охоте говорит этот язычник, чтобы он от свиньи родился?

Мачар побледнел, хотя знал, что слова Байчо, кроме него, тут никто не понял.

— Богом прошу, Байчо, говори подумавши,— прошипел он. И успокоившись:— Ему волк нужен. Ищет человека, который мог бы изловить. Первое, что он у меня спросил, есть ли в наших горах волки.

— А ты что сказал?

— Сказал: горы—это леса, а какой лес бывает без волков?

— Тебе-то что за печаль, любезный раб аллаха, что этому язычнику нужен волк? Сказал бы: не водятся...

Хотя Мачар про себя издевался над темнотой Байчо, был готов спалить его дом, но вслух сказал печально:

— Оставь, бедный Байчо, ушли наши дни. Теперь только и осталось, что о своей голове думать.

— Не иначе,— согласился Байчо, тронутый печалью Мачара. Но тут его что-то смутило, он настороженно посмотрел на Мачара:— Алан, именем Чонпа скажи, что за тряпка у тебя на рукаве? Словно черту подол пришили.

Мачар ему:

— Живому о жизни позаботиться надо.

Байчо, кажется, не постиг, какая все же связь между белой тряпкой на рукаве Мачара и вполне понятной заботой человека о своей голове. Он так и стоял во дворе, удивленно покачивая головой, которая была еще на месте, и смотрел вслед Мачару, пока тот не догнал своих немцев.

Этот странный и, как показалось Мачару, совершенно праздный обход, затеянный комендантом Юнге, закончился поздно вечером. И все же они успели побывать только в Кюнлюме, Чегете и Ажоке. Езен комендант оставил на завтра. По-разному он вел себя в жамауатских домах. То молчал с сосредоточенным видом, то, сцепив руки за спиной, расхаживая взад и вперед, пространно говорил о благах, которые принес новый немецкий порядок. В одних домах он вдруг терял самообладание, кричал, размахивал руками, в других был тих, насторожен, словно боялся чего-то. Мачар измучился, не зная, с какой стороны к нему подойти. А подойти было необходимо — нужно как можно быстрее сгладить то неловкое положение, которое установилось между немцами и им после случая в доме Байчо. Он все еще надеялся получить место старосты Жамауата. Конечно, кого-либо более достойного, чем он сам, Мачар не видел, но, наученный горьким опытом своего несостоявшегося председательства, боялся, как бы новые хозяева не обошли его, не предпочли кого-нибудь другого — взять хотя бы Жабраила, уж очень с ним был любезен Юнге. Поэтому, пережив позор в доме Байчо, он даже обрадовался: что ж, значит, они лишний раз убедились в его верности. Так что, если они не круглые дураки, то должны сделать из этого вывод. Рассудив так, он даже повеселел. И как кнут делает осла более покладистым и старательным, так и прут Гельмута не погасил в нем рвения, а, наоборот, подстегнул его, прибавил страсти.

Но когда вечером, возвращаясь с обхода, они вошли в приемную коменданта, там сидел встревоженный, со шляпой в руках, Жабраил. Он встал. Юнге что-то радушно сказал ему по-немецки, взял его под руку и, предупредив о чем-то унтер-офицера, сидевшего в приемной, вошел в кабинет. За ними вошли Гельмут и переводчик, а когда Мачар шагнул следом, унтер-офицер резким окриком остановил его, а автоматчик, стоявший у дверей, показал ему на выход.

Воистину: кого бог проклял, того и пророки не помилуют!

Теперь Жабраил не прятался. Правда, он еще не выходил на люди, не сиживал, как прежде, со стариками на ныгыше — но кто нынче ходил свободно по аулу и кто думал о ныгыше? Вот и Жабраил — возился во дворе, работал по хозяйству, с соседом парой слов перекинется, чего же еще?

Однако для всего аула он оставался непонятым. Люди недоумевали: почему Жабраил дома, когда вернулся, почему никто не видел, как он пришел домой?.. Но даже для молвы, которая одним зернышком два года кормится, не было пищи. Ну, сидит дома и сидит, ранен был, кажется вот и все. Только мальчишкам, бывшим его ученикам, давно уже было ясно: они твердо установили, что Жабраил Локманович остался в ауле для подпольной работы, и очень этим гордились.

Жабраил тем временем занимался хозяйственными делами — готовил сено на зиму, убирал кукурузу, гонял скот на водопой. Чего лучше — встать рано утром, выйти в хлев, почистить под скотом, вынести свежеспавший навоз в огород, а потом, подоив корову, гнать ее вместе с теленком и овцами на водопой, напоив, вести их на выгон, на ближние склоны, и, лежа на траве, смотреть на знакомые с детства, с первой памяти, места. Он вырос на этих склонах: играл, бегал, плакал, когда, скатившись с кручи, расшиб колени и оцарапывал лицо, пас ягнят, вместе с мальчишками поднимался вон на тот гребень и там они устраивали «каменные скачки» — пускали камни вниз по склону. Потом, как некогда «каменные кони» вниз по склону, помчались-покатились его взрослые дни и годы, и так они были полны всяческих забот, что он, казалось, забыл запах и цвет этих белых скал и зеленых холмов...

Или, сидя возле дома на припеке, вдыхал запах кизячьего дыма — ничто на свете не могло сравниться с этим запахом! Пьянея от него, он вставал, шел в хлев и острой лопатой резал втоптаный годами наст овечьего помета. Получались ровные тяжелые квадратики, словно резал он не овечий помет, а глину на кирпичи. Потом переворачивал эти квадратики, ставил так, чтобы они подпирали друг друга, — на просушку. В полу хлева оставался причудливый лабиринт, и Жабраил стоял и подолгу смотрел, как по этому лабиринту снуют встревоженные лопатой насекомые. «Я вижу это, — думал он, — а Ачахмат уже не увидит ни-

когда», — и пахнувший землей, сеном, молоком, овечьим па-
возом, он входил в дом. Хурмет вздрагивала каждый раз:
в этом запахе чудился ей покойный муж Локман. Жабраил
все больше становился похож на отца — в жестах, в словах,
в работе... И дети были счастливы, что отец всегда рядом.
Прежде, до того как он ушел на фронт, у него не было вре-
мени даже приласкать их. Теперь Жабраил недолгу играл
с Кемалом, носил на руках Лейлу, рассказывал им забав-
ные истории.

Так он жил в эти дни, стараясь не думать ни о войне,
ни об оккупации, ни о Харуне, ни о немцах. Одного хоте-
лось: чтобы забыли и о нем. И действительно, никто за ним
не приходил, никто не беспокоил. Иногда, услышав чужую
речь возле своего двора, он застывал, затаив дыхание. Но
голоса проходили, и он снова брался за лопату или вилы.
То, что после регистрации его оставили в покое, давало
ему темного уверенности.

Но над Жабраилом висел тяжелый долг, который нет-
нет да тревожил его: он знал, что Зайнаф получила похоро-
нку на Ачахмата, но он должен был пойти рассказать ей,
как погиб ее муж. Он боялся этой встречи с Зайнаф и все
откладывал и откладывал ее: Ачахмат уже стал являться
к нему во сне — приходил и требовал ответа за то, что он,
хоть и мертвого, бросил его. Жабраилу казалось, что, если
он исполнит свой долг перед ним, расскажет Зайнаф, и
Ачахмат успокоится, простит его и перестанет приходить
к нему.

Однажды он гнал скот на водопой и увидел Зайнаф, ко-
торая с коромыслом и пустыми ведрами в руках спускалась
к реке. Сердце его забилося, и не от жалости — он вспомнил
свою любовь к ней и то, что Ачахмата теперь нет... Он по-
чувствовал слабость в ногах и, обняв корову за шею, встал.
Да, когда-то он любил ее, и теперь она одна...

Но Жабраил не подошел к ней, все так же прячась за
коровой, смотрел, как Зайнаф подошла к роднику, набрала
воды и пошла обратно. Ему хотелось, чтобы она заметила
его. Он даже представил себе такую картину: Зайнаф уви-
дела его, уронила коромысло с плеч, звеня покатились вниз
по склону ведра, а она, не в силах оторвать от него взгляда,
идет к нему... Но она шла, опустив голову, только раз гля-
нула в его сторону и, не узнав, равнодушно отвела глаза.
Этот равнодушный взгляд вызвал в нем острое желание
поскорей свидеться с ней...

Он решил вечером сходить к Зайнаф. Весь день до су-

мерек он был молчалив, рассеян, бездумно, не находя себе дела, слонялся по комнате, несколько раз брался за книгу и откладывал ее. Смутное ли чувство еще не совершенном вины перед Залихат волновало его, предстоящая ли — через столько лет и по такому случаю — встреча тревожила, он даже на стуле усидеть не мог, то и дело вскакивал, но и стоять столбом посреди комнаты было нелепо. Тянулись долгие осенние сумерки, идти все еще было рано, ждал, когда станет совсем темно. Все же при людях он не мог идти в дом Ачахмата: в ауле все знали о его бывшей любви к Зайнаф.

Но встретиться Жабраилу с Зайнаф в этот вечер было не суждено. Часу в девятом за ним пришли солдат-румын и жамауатчанин с белой повязкой на рукаве: Жабраила Билекчиева вызывали в комендатуру.

— Что от меня нужно? Я регистрировался, — бледнея, сказал Жабраил.

Жамауатчанин, рыская глазами по стенам, ответил, что-де почем им знать, зачем он нужен коменданту, их дело доставить, а там... — от смущения он несколько даже обнаглел, — а там Жабраила пусть хоть вешать будут.

Жабраил быстро оделся и, молча кивнув застывшим от страха матери и жене, вышел. Точно арестанта — он впереди, а солдат и полицейай чуть сзади — вели его по улице. Идти было близко, он не успел даже обдумать, как будет вести себя, что будет говорить.

Пришли быстро. Но еще примерно с полчаса пришлось сидеть в приемной. Жабраил попытался собраться с мыслями — но о чем думать, если даже неизвестно, зачем его привели сюда?

Открылась дверь, и с улицы вошли комендант, Мачар, переводчик и четвертый, в черном эсэсовском мундире. Юнге любезно улыбнулся Жабраилу, взял под руку и провел в кабинет. Там пригласил садиться, закурил сам и ему предложил. Жабраил, хотя уже давно бросил курить, взял папиросу, размял ее, но она так и осталась у него в руке. Юнге забыл предложить спичку, а попросить он не смел.

Юнге поделился своими впечатлениями об обходе аула, спрашивая у Жабраила о том или ином доме. Попросил рассказать об истории народов Кавказа. Жабраил рассказывал сначала неуверенно, сбиваясь, словно нерадивый ученик у доски, но потом, почувствовав себя в привычной роли лектора, увлекся сам. Он говорил о происхождении кавказских народов, о жизненном укладе их, о религии, обычаях,

психологии. Переводчику пришлось нелегко, множество слов и понятий он не умел перевести и тогда повторял без перевода. Станным казалось слуху Жабраила это густое картавое месиво немецкой речи с частыми комочками русских и балкарских слов. Немцы слушали терпеливо, а вошедший немного спустя заместитель коменданта капитан Шрайнер — даже с интересом. Когда Жабраил Локманович рассказал легенду о Жамауате, Юнге, прервав его, воскликнул:

— Вот вам и готовый бургомистр!

Гельмут и Шрайнер переглянулись. Гельмут с первого раза невзлюбил этого долгоязычного горца в шляпе, но, хоть и дернул недовольно ртом, промолчал. Шрайнер же про себя одобрил выбор коменданта.

Переводчик перевел слова Юнге.

— Нет, бургомистром я быть не могу! — быстро сказал Жабраил. — Есть, наверное, люди более готовые к этому...

— Не станешь бургомистром — станешь пленным, — резко бросил Гельмут, взбешенный тем, что этот краснобай еще смеет спорить. Комендант молчал. Гельмут добавил: — У немцев есть или друзья, или враги!

— Я могу стать другом немцев, но чиновником... бургомистром быть не могу...

— Интересное представление у этого господина о дружбе, — сказал первую за все время беседы фразу Шрайнер.

Юнге расхохотался. Жабраил Локманович со страхом и горечью слушал, как вдох чистейшего балкарского воздуха выходит язвительным немецким смехом. Каким же ничтожным делал его этот смех! Он почувствовал себя пленником, маленьким ничтожным пленником, он понял, что отныне в воздухе, которым он дышит, будет всегда подмешан этот смех, и от него всегда будет теснить в груди, и смех этот отныне всегда будет властвовать над всеми его желаниями и поступками...

Ночью, в тяжелых думах, Жабраил снова и снова возвращался к словам Гельмута и смеху Юнге. Он думал о бедах, которых и не предугадать, но они уже вызревали в зловещих словах и смехе этих сильных, лениво-пренебрежительных людей.

Трудная была эта ночь! «Да, я выбрал, — думал Жабраил, — путь самый крутой, самый скользкий! Такой крутой и скользкий, что если и захочу вернуться назад, то неминуемо сорвусь в пропасть — и не грохот поднимется от моего падения, а лишь тот глумливый смех. А пойду дальше —

уже никогда не вернусь назад, даже оглянуться будет нельзя. А позади — огромная долина прожитой жизни. И там, как высокая чинара, видная отовсюду, стоит Харун...» Слезы навернулись на глаза Жабраила, будто бросил он долгий, прощальный взгляд.

— Тревожный ты... — сквозь сон пробормотала Залиха, которой он ничего не сказал об ультиматуме немцев. Она лежала в объятиях мужа, и оттого сон ее был и глубокий, и чуткий. Вместо ответа Жабраил стонуще вздохнул, но она уже не слышала, снова ушла в сон.

«Ну, хорошо, не буду я старостой, стану пленником — понесу кару за все, за глупость свою, — размышлял он. — Кто тогда будет старостой? Мачар? Этот у людей не шапка с головы будет срывать, а голову с плеч. Уж он-то все свои обиды припомнит».

Вдруг кто-то рядом голосом Харуна сказал: «Тому, кто упал в воду, донный камень не зацепка. Печальна судьба Жамауата, если в такой день он будет цепляться за тебя. Ты сам себя обманываешь». И Жабраил снова, чтобы заглушить этот голос, думал: «Я всегда хотел своему аулу добра... Всегда хотел... Да, хотел... Да...»

Наступило утро. Он так и не сомкнул глаз, но к какому-то определенному решению не пришел. Встал иссиня-бледный, глаза опухли. «Что ж, — думал он, натягивая сапоги, — хотя власть и рухнула — остался народ. В такой день у народа должен быть надежный человек. Я пойду, но пойду не ради выгоды или спасая себя, а для народа, ради его блага». В разламывающейся от бессонницы голове проскрипело: «С-се-бя обманываешь, с-себе лж-жеш-шь...» Чтобы заглушить этот скрип, он заходил по комнате. Скрип сапог, казалось, заглушал скрип внутри, с которым разваливалась его душа.

Потом, оглядываясь назад, он думал, что это мстание по комнате, когда он сапожным скрипом задавил отчаянный писк совести, было последним, что совершил он своим усилием. А дальше все, что он ни делал, казалось, делалось без его участия, само собой, чьей-то чужой волей.

XXIV

По соображениям Юнге, пора было собрать народ и разъяснить политику фюрера на Кавказе. То ли такой был приказ, то ли сам, по своему собственному почину, хотел

показать, что пришли они сюда не как оккупанты, а как освободители,— еще никого не допрашивали, никого не арестовали. Теперь, когда аул был в замешательстве от этой неожиданной снисходительности, когда горцы успокоились и вроде бы примирились со своей участью — участью побежденных, можно было собрать их и растолковать, что от них требуется.

Юнге падеялся поставить дело таким образом, что они сами выявят смутьянов, большевистских активистов, партизанских пособников и прочих нелояльных к новым властям элементов. Конечно, комендант не забыл про те взрывы у Желтых скал и ту ночную стычку в самом ауле. По сей день не был обнаружен партизан, который убил солдата и ранил Гельмута в руку. Конечно, жители аула что-нибудь да знали о нем. Он, скорее всего, и сам из этого «Джа-мау-атта». А коли так, то полагалось за каждого убитого немца или союзника повесить по десять местных жителей. Ничего, они еще будут повешены. Но опыт подсказывал Юнге, что в первый же день вышли с оружием в руках самые отчаянные и безумные, основные же силы затаились в горах. Их следовало выловить, обезвредить. А это лучше, чем сами туземцы, никто не сделает.

Что же касается жесткой политики на оккупированных землях, то из нее ничего не вышло ни в русских областях, ни на Украине, ни в Белоруссии. Нет, не правы те умники из ведомства Гимmlера, которые утверждают, что, кроме железа и огня, у немцев союзника нет. Первым союзником немцев должна быть мысль — уверенная, холодная, проникающая во все человеческие глубины... Если бы мы, имея такую силу, умели еще и думать, мы бы на второй год войны не торчали все еще где-то на подступах к бакинской нефти... Нет, на Кавказе жестокостью мы ничего не добьемся. Горы близки, тропы, по которым надо идти искать партизан, круты, только сами горцы знают их... Если же вести здесь другую политику... Нет, гораздо больше даст почтительное отношение к их женщинам, уважение к старшим, к вере... Разведка показывает, что у них немало боеспособных мужчин, но они ушли в горы... Но все-таки — что же заставляет их оставаться верными большевизму? Какая сила объединяет это множество таких разных по вере и по языку народов? А ведь в ведомстве Розенберга, инструктируя их, говорили именно о наличии сильной национальной воли у каждого кавказского племени, выражающейся в необыкновенном свободолюбии, и в силу этого невозможности

добиться долгого единства под общей большевистской идеологией.

Юнге должен был разгадать эту тайну. Должен был разрушить это единство. И оттого перед этим сходом он волновался. Он шел туда безоружным и должен был там, на месте, найти оружие и выиграть поединок с этим молчаливым туземно-большевистским противостоянием аула.

В большом зале Домсовета собирался народ. Сцена пуста, посередине — стол, застеленный, как прежде, красным сукном. За ним, закрывая почти весь задник, — огромный портрет Гитлера, под которым большими буквами было написано по-балкарски: «Великий имам Кавказа». С правой стороны сцены висело знамя со свастикой. У дверей стояли два молоденьких автоматчика.

Зал быстро заполнялся, шли так, будто кто-то сказал им, что в клуб привезли оюн-тамашу¹, они спешили занять места, потому что, когда в клуб привозили оюн-тамашу, мест не хватало и опоздавшим приходилось стоять у двери. Обычно кто-нибудь, который видел это зрелище раньше, говорил, что оно очень смешное. Оттого они лениво, снисходительно посмеивались и, чтобы выдержать этот дух насмешки, искали повод для смеха, поддевали друг друга, остряли. Да, конечно, мы знаем, зачем нас собрали здесь, знаем, что сюда придут представители высшей на свете расы, выше, говорят, не бывает, которые пам из такого далека тащили свою свободу и счастье. Да, да, все это так... Но только и вы, пришельцы, должны знать, что собрались мы здесь, потому что всегда собирались в своем клубе так, смеясь, поддразнивая друг друга, семьями, хуторами, дети — с детьми, старики — со стариками, а женщины, как всегда, — с женщинами, чтобы обменяться последними хабарами, узнать, что нового привезли в магазин; нарядные девушки — уже взрослые и красивые — и девочки, еще только-только выходящие из детства и тоже красивые, потому что и те, и другие ни о чем, кроме своей красоты, не думали; мальчишки, по извечному праву занявшие пол перед самой сценой, женщины с грудными детьми, старики с палками в руках... Смотрели ли они в сторону представителей нового порядка? Поглядывали! Изредка словно говорили: «Если вы — это вы, то мы — тоже мы!» При этом у каждого в лице пробуждалась застывшая смешинка, издевка, а может быть, и затаенный гнев...

¹ О ю н - т а м а ш а — игра, зрелище, представление.

На сцене появились они: Юнге, держа руки за спиной, Гельмут, играя можжевельным прутиком, переводчик в штатском и Жабраил Локманович. Они прошли за стол и стали в ряд. Через боковую дверь вошел Мачар и встал у сцены под знаменем со свастики.

Юнге поднял глаза, взгляд его, зоркий и пронизательный, прошел почти по каждому ряду. И когда под этим взглядом наступила тишина, он спокойно, но так, чтобы услышали все, сказал:

— Поздравляю село Жамауат с освобождением! Хайль Гитлер.

И когда толмач в штатском перевел слова Юнге на русский, а Жабраил Локманович передал их по-балкарски, в зале поднялся шум:

— Пусть живет, кто спорит!

— Пусть он будет единственным высохшим деревом в нашем лесу.

— Мою боль да в его живот!

— Аланы, перестаньте, беду накликаете.

— Выходит, теперь мы этому Итлеру должны долгую жизнь просить, е-а?

— Скажи, сын Локмана, чего он хочет, будь он упомянут после ужина?¹

— Село Жамауат готово слушать дорогого начальника господина коменданта,— обобщил и перевел высказывания своих невожатых на язык земляков Жабраил Локманович.

Комендант кивнул, и они все четверо сели.

— Россия разгромлена,— начал комендант, снова окинув зал пронизательным взглядом.— Последний ее оплот — Сталинград — на днях будет в наших руках. А в Европе война кончилась. Разумеется, воспетый великими поэтами Кавказ мы не сравниваем в России, ибо знаем, сыны Кавказа — чистейшей арийской крови... Конечно, если его большие и малые народы сделают все для того, чтобы приблизить нашу победу... Если они покажут свою верность великой Германии не на словах, а на деле... Мы несем много-страдальной земле Кавказа свободу! И вот сегодня я могу сказать, что недалеко тот день, когда весь Кавказ, освобожденный непобедимой немецкой армией, вздохнет полной грудью. Но было бы непростительной политической слепотой как для лидеров народов Кавказа, так и для немецкой

¹ Присловье — пусть с ним случится что-нибудь худое.

государственной программы не видеть то, что в настоящее время ни одна из кавказских народностей не имеет силы, чтобы обеспечить себе самостоятельное существование...

Как бывает, когда мулла читает молитву на непонятном арабском языке, а лукавые, суетные слушатели, нерадивые мусульмане, не зная смысла, но завороженные темным, а оттого грозным звучанием сур корана, слушают и смотрят на муллу покаянными глазами,— так и жамауатчане слушали речь сначала коменданта, потом переводчика. Но когда Жабраил Локманович стал переводить сказанное на свои посконный жамауатский, в устремленных на сцену взглядах всплыл насмешливый интерес. От слов коменданта, прошедших через два сита, мало что осталось, но Жамауат понял, что герман пришел с великим благодеянием. При последних словах Жабраила Локмановича в зале поднялся шум, он возник где-то в задних рядах и быстро прокатился туда, где сидели люди из Езена, то есть передний левый угол. Из глубины этого шума ясно и отчетливо выплеснулся голос кюнлюмчанина Ережица:

— Оррай, биррай, я эту вашу свободу и за черный рубль¹ не возьму!

— А ты привык свободу задаром получать!— крикнул ему из середины зала Хаджи-Осман из Кетенчиевых.

Латырай никого не слушал, только удивлялся:

— Асто-о... Как сходны зад бедного Гычы² и лицо этого коменданта-а!

А тот, который предостерегал от беды, снова предупредил:

— Аланы, перестаньте! Беду накликаете! Жару из очага наелись, что ли!

Юнге насторожился: кажется, туземцы насмеются над ним.

— Что за шум?— раздраженно спросил он у Жабраила Локмановича.

Но и тот еще где-то в глубине души оставался жамауатчанином и ответил:

— Радуются победам немцев и спрашивают, скоро ли война кончится?

— А это зависит от того, как народы Кавказа будут помогать нам,— сказал Юнге, смятаясь.— Вольные горцы должны встать рядом с нами!

¹ Черный рубль — 25 копеек.

² В народных присказках Гычы знаменит умением пускать ветры.

Словно обдумывая слова коменданта, люди притихли. В этом молчании угадывалось: «Н-да... коли уже нашей помощи запросили... Так и скажите, что дела ваши неважные...»

Тут из задних рядов выскочил маленький мужчина в огромной лохматой шапке и, размахивая палкой над головой, быстро-быстро заговорил:

— Коли ты раб аллаха, сын Локмана, переведи этим ненасытным гостям то, что я скажу... Переведи в точности. Так мы встанем рядом, скажи, так встанем, долго потом не забудут. А как же! И даже песню споем... о Татлыуке...¹

— Садись на место, Кичитотук, тебя тут не спрашивают, — сказал Мачар.

— Не обессудьте, говорю, что думаю, — сказал уже спокойно Кичитотук. — А ты, Мачар, не кричи! Уж тебя-то мы знаем. Он говорит: помогите, я говорю: поможем... Разве не так, Биязурка?

— Чтоб тебя аллах покарал! — сказал довольный Биязурка, улыбаясь в усы. И усадил Кичитотука, ткнув его палкой под колено.

— Говорите, свободу принесли, а солдаты ваши в наших домах шарят! — крикнула старая женщина, она встала, ее клетчатый, черно-белый бота соскользнул с головы, обнажая нижний шелковый платок, туго стянувший седые волосы. — Ты тут болтаешь, а они рыщут по домам, словно псы вокруг падали. Или я не верно говорю, женщины?

Но куда женщины открыли рты, раньше их, что редко бывает, заговорили мужчины:

— Сплюньте себе под ноги: что им, теперь и не есть, что ли, раз приперлись?

— Я бы подсказал, чего им нужно покушать, да нельзя пока, — сказал Биязурка, — придется подождать.

— Аллах свидетель, они и там ищут, куда ихний даже имам пешком ходит, — всколыхнулась наконец Ляпшу.

Когда Жабраил Локманович перевел жалобу женщины, комендант возмутился:

— Если кто без разрешения или без надобности будет входить в ваши дома, сообщите нам. Мы их накажем. Но солдат на войне хочет есть, и потому мы будем собирать мясо, хлеб и картошку. Вам придется поделиться. И вы не

¹ Татлыука — белый офицер, о котором поется в песне времен гражданской войны: он хвастал, что всех большевиков сбросит в море, но сам еле унес ноги.

должны считать за тягость кормить армию, принесшую вам свободу.

Тут уже зал притих надолго. Ережип смотрел на свои чабуры. Чыккы-кызы только теперь увидела край своего платка, Тебо глянул на Казака, Ляпшу — на Майруш, палка Кичитотука взметнулась было, но тихо опустилась...

Теперь Юнге собирался сказать особенно важное, чего он и не хотел бы говорить, с угрозами следовало подождать. Это могло с самого начала помешать налаживанию сотрудничества. Но насмешки — хотя учитель переводил, явно смягчая, — уязвили его. «Умен учитель, — подумал с признательностью Юнге, — переводит он точно, что бы оставалось мне делать?» Но было ясно: оружия, которым он выиграл бы в этом противостоянии, он не нашел. И решил: нечего сыпать бисер перед этим сбродом в овчине, нужно и силу показать. К тому же здесь сидел Гельмут, а перед ним выглядеть излишне мягким было опасно.

— Прежде чем приступить к решению наших организационных дел, а именно выбрать старосту и муллу, — сказал Юнге, — а также назначить полицейских, я скажу вам несколько слов. Отдельными злоумышленниками предпринимаются враждебные акции, вследствие чего погибают победоносные немецкие солдаты. В первый же день нашего прихода погибли четыре солдата. А виновные по сей день не выявлены... Лишь два человека пришли к нам с желанием сотрудничать. Таким образом, создается картина нелояльного, даже враждебного отношения к новому порядку. Каждому разумному жителю должно быть понятно, что такого отношения к себе, а тем более разгула большевистских агентов на освобожденной нами земле мы терпеть не можем... Если партизаны не будут найдены, мы потребуем справедливого возмездия — по десять жизней за каждого убитого немецкого солдата и по одной жизни за каждого раненого. И чем скорей вы поможете нам найти преступников, тем скорей мы приступим к нашим мирным занятиям...

Это был второй удар, от которого зал не сразу пришел в себя.

— А теперь нам следует выбрать старосту села Жамауэт... Мы предлагаем кандидатуру господина Билекчиева... — И, полагая, что этим вопрос решен, он обратился в зал: — Билекчиев, директор школы, назначается старостой вашего аула. Каждый разумный человек должен взять с него пример. Его, бывшего советского чиновника, привело к нам

полное понимание того, как и в чью пользу развиваются сегодняшние события. Перед нами он будет представлять вас, а перед вами — нас. По любому вопросу вы можете обращаться к нему.— Комендант встал и перед всем удивленным народом подошел к Жабраилу Локмановичу и крепко пожал ему руку.

— Поздравляю!.. Я обращаюсь к вам,— повернулся комендант к залу,— и особенно к вам, господин староста,— поворот к Жабраилу Локмановичу.— Вам следует знать, что всему населению Жамауата полагается в обязательном порядке приветствовать немецких солдат и офицеров, а также воинов союзной армии. Неуважение к немецкому военному персоналу будет расцениваться как неуважение к великому имаму всего Кавказа,— он повернулся к портрету Гитлера,— и виновные будут строго наказываться. Это особенно следует учесть полевой жандармерии и полицииским. (Тут длинные — во весь ряд — усмешки поползли по залу: жамауатчане уже за минуту до перевода знали, о чем пойдет речь, потому что переводчик, как деревянная кукла, тут же повторял движения коменданта: повернулся к залу, к Жабраилу, к Гитлеру, будь он помянут после ужина, потом так же строго, склонив голову к плечу, посмотрел на Мачара и немца с перевязанной рукой.) При встрече с немецкими офицерами мужчины должны снимать шапки, а женщины приветствовать, как приветствуют своих мужчин.

Юнге ждал, что при этих словах поднимется гневный ропот, но, к его удивлению, даже ни одна скамья не скрипнула, только что потешавшиеся мужчины сидели с таким видом, будто у них, как злорадно подумал Мачар, у всех разом подошли ишаки. «То-то же!» — так же злорадно усмехнулся про себя и Юнге.

— Теперь я должен сообщить вам радостную весть: Адольф Гитлер объявлен великим имамом Кавказа! Зал молчал.

— Нам необходимо выбрать муллу. Поскольку мы открываем мечеть, а в скором будущем, возможно, и медресе, то на кандидатуру муллы следует обратить особое внимание. Одна из величайших свобод, которыми великий фюрер одаривает народы мира, это свобода вероисповедания.— Он посмотрел в зал, и взгляд его показался бы внушительным, если бы точно так же не уставился в зал и переводчик.— Жду!

Молчание длилось с минуту. Потом тихо, неуверенно стали перебрасываться словами, советами, и наконец поднялся Ережип:

— Вот тут рядом со мною сидит уважаемый всеми нами Ратырай...— Он почтительно кивнул на Латырая.— Я предлагаю избрать его муррой.

— «Муррой»?!— первый раз в жизни вскипел Латырай.— Ты что городишь, Ережип?!— В Жамауате человека по прозвищу называли только за глаза, но в ярости Латырай забыл об этом. Так и сказал: Ережип! — Какой из меня мулла? Ни одной молитвы не знаю, в жизни намаза не совершал! Алиф от би² отличить не могу!

Сидевший задумчиво Биязурка очнулся вовремя:

— Ты, Латырай, не совершал намаз не оттого, что не знал, а оттого, что боялся. Многие так делали. Теперь почтенный комендант говорит, что свободу веры нам возвращает. Так почему бы тебе не возложить на себя это священное бремя, если народ просит?

Народ, принявший было слова Ережипа за шутку, от этих речей совсем растерялся. Неслыханное дело — всеми уважаемый Биязурка нес сущую чепуху: никогда Латырай не знал ни одной суры корана. Но замешательство прошло быстро, все поняли Биязурку, и к ним вернулось счастливое насмешливое настроение — божья благодетельность для всякого жамауатчаннына во все времена.

Опять вскочил тот маленький старичок в огромной лохматой шапке и выкрикнул:

— Каков имам, таков мулла!— и опять его палка описала круг над головами.

— Верно Кичитотук говорит,— сказал Биязурка.— Латырай будет достойным мюридом великого имама Итлера! Именем аллаха, мы выбираем его муллой. Будешь перед нами представлять бога, а перед богом — нас,— с усмешкой добавил он.

Настороженный комендант обратился к Жабраилу Локмановичу:

— Кого они хотят? Почему тот сердится?

— Бойся ответственности. И по обычаю положено отказываться,— сказал Жабраил Локманович и, чувствуя всю опасность минуты, быстро добавил:— Исключительно порядочный, мирный человек,— и это была истинная правда.

— Аллах покарает тебя, Жабраил!— вскинулся Мацар.— Ты обманываешь коменданта: еще бы этот дурак не был мирным!— И раздраженно заговорил в зал:— Они к

¹ Ережип — означает: стоящая веревка.

² Алиф, би — первые буквы арабского алфавита.

вам с добром пришли, а вы издеваетесь. И это ваше спасибо? Кто не знает, что Латырай полный жахил¹ — Он повернулся к переводчику, чтобы повторить свои слова по-русски, но тут на него набросился Казак:

— Ты, Мачар, сам жахил, городишь, чего не знаешь. Я вместе с Латыраем учился у Курмана-эфенди. Разве я не правду говорю, аланы? — обратился он к высокому собранию.

— Аллах свидетель тому, что ты говоришь, — в сердцах сказала Сылыухан.

Свидетельство было двусмысленным, но Мачар, знавший о глубокой набожности Сылыухан и о ее отношении к захватчикам, в растерянности замолчал. Сылыухан же до глубины своей верующей души была возмущена кощунственной дерзостью односельчан, но ее, возможно единственной, не коснулась благодать насмешливости, и она похолодела от страха — этот безрассудный оюн мог накликать новую беду на головы поредевших жамауатских мужчин.

— Воистину так! Мы хотим Латырая! — кричали со всех сторон.

— Он был лучшим сохтой у Курман-эфенди, — крикнул Кыйык, сын Кесиуана, и шепнул на ухо Тебо: — Кажись, он аптюека и в руках не держал.

— Ну, как же я буду вести намаз в мечети? — взмолился Латырай, окончательно сбитый с толку. Он, бедный, даже вспотел.

— Ой, чтобы дом твой свалился, губами шевелить не можешь?

Между тем комендант, которому надоел этот долгий туземный обряд с отказами и уговорами, отослал своего помощника куда-то, а Латырая позвал на сцену.

Латырай, растерянный, держа в руках свою войлочную шляпу, подошел к нему. Комендант поздравил его точно так же, как Жабраила. Между тем его помощник принес сверток, положил перед ним на стол. Комендант, развернув его, достал новейшую белоснежную, с верхом из красного бархата чалму, надел ее на голову Латырая. Смех разбирал жамауатчан, но они мужественно терпели, словно охваченные священным моментом возвращения к вере заблудшей души Латырая. Потом комендант вынул из пакета красные пчиги с глубокими азиатскими галошами и новейший коран. При виде корана по залу прошел восхищенный шумок.

¹ Жахил — неуч, невежда.

— Аллах велик! — крикнул Биязурка.

Латырай, ошалело тараща глаза, в белой чалме с красным бархатным верхом, с красными ичигами, кораном и своей войлочной шляпой в руках, шагал по залу и ничего не видел перед собой.

— И последнее, — сказал комендант и кивнул Гельмуту.

Тот встал, тяжелый, медленный, свинцовый его взгляд, подминая все другие взгляды, прокатился по залу. Праздник обновления души Латырая кончился. Теперь настала пора жамауатчанам начать искупать грехи, ими содеянные.

— Чем скорее будут выловлены скрывающиеся в лесах и горах бывшие советские чиновники, — сказал Гельмут, — тем лучше для вас. Вы должны способствовать этому. — Он открыл лежащую перед ним папку, достал несколько скрепленных вместе листков и стал читать, с трудом произнося горские фамилии. Их было много, всех тех, кто ушел из аула перед приходом немцев. — Сначала ищите их сами, — заключил Гельмут. — Тот, кто придет к нам добровольно, осознав свои преступления, тот избежит кары.

— В этом мы надеемся на помощь муллы, — вставил комендант.

— Но тем, кто будет продолжать борьбу против нас, — заключил Гельмут, — пощады не будет никакой — ни самим, ни их семьям.

Народ сидел в глубоком молчании. Ну, вот и отсмеялись. Не было у них сил ни посмотреть друг на друга, ни вздохнуть, ни подумать... Но как бы долго они ни сидели, все равно надо было встать и идти по домам.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Партизаны держали перевал. Большинство из них — жамауатчане: коммунисты, колхозные активисты и простые крестьяне, было и несколько красноармейцев, излечившихся от ран, но не успевших попасть в свою часть. Командовал отрядом Харун.

Скоро здесь должен был занять позиции отряд войск НКВД или части регулярной армии. До их прихода партизаны перекрыли все тропинки, щели и ложбинки, по которым мог пройти враг.

Здесь, на высоте, было холодно, особенно по ночам. Не хватало продуктов, боеприпасов. Но духом не падали. Ребята шутили, ухаживали за девушками, да и девушки не отмахивались... Глядя на эту жизнь со стороны, можно было подумать, что вовсе здесь не партизаны, а просто колхозная бригада — приехали на сенокос и из-за дождей приостановили работу. Смех помогал одолеть чувство томительного ожидания.

Бурая прохлада осени была разреженной, чистой. Неугомонно дул высокий перевальный ветерок, словно тоже хотел снять с партизан усталость и тревогу. Но хотя партизаны и шутки шутили, и по хозяйству хлопотали, и доброму ядерному ветерку вроде бы радовались — они вконец истомились. Не было никаких вестей об отряде НКВД, который уже должен был быть здесь. Харун с тревогой думал: кто подойдет раньше — подкрепление или вражеский десант?

Возможно, этим томительным бездельем, угнетающей тишиной и был вызван тяжелый разговор, который произошел у него с Рахаем.

— Не знаю, какой смысл сидеть в этих снегах, — сказал однажды Рахай.

Он был старый солдат, закаленный в революционных боях, один из прославленных комиссаров Жамауата. В те времена, когда Харуна принимали в партию, его имя называлось рядом с именами таких прославленных красных командиров, как Жолай Темирболатов или Баттал Заурбеков. Да и вся семья Чомая, отца Рахая, была настоящей революционной семьей. Когда еще в Жамауате почти не знали грамоты, три сына Чомая — Рахай и два его старших брата — учились в Кумухе, у тамошнего эфенди получили арабское образование. Старшие еще знали и русскую грамоту. Рахай не был так образован, как братья, но и он многое узнал от русских, которые в урочище Доугуат строили сыроваренный завод. Пришла революция, и все три брата пошли сражаться за советскую власть. Двое старших погибли, а Рахай был на всех фронтах гражданской войны, дошел до самого Владивостока и в аул вернулся только в двадцать третьем году. Когда в Жамауате организовали колхоз, Рахай избрали первым председателем. Потом его перевели на работу в район, и он предложил на свое место Харуна.

Теперь же, в это трудное время, когда Харуну пужно было сплотить отряд, вселить в каждого веру в победу, Рахай все дни ходил мрачный и молчал.

— Рахай, прости, спросить хочу... Скажи, что мучает

тебя? Ты всегда был примером для меня, для всех, Рахай,— и голос Харуна дрогнул от волнения.— Здесь молодые ребята, о чем они подумают, глядя на твое унылое лицо?

— Жизнь прошла, а я покоя не видел,— глядя перед собой, сказал Рахай. Было уже темно. Он, запахнувшись в шубу, сидел возле раскиданных по земле красных углей от костра.— Мне о смерти своей надобно думать,— сказал он тихо.— В молодые годы я о пей не думал, а теперь вот думаю. Уже там, видать, будет мне покой.

Да, вот о ком можно было сказать: «Постель его — из железа, подушка — из камня». Но лишь сейчас, уйдя в партизаны, задумался Рахай о том, что в который уже раз покидал он дом, семью, уходил и не знал теперь, что будет с его детьми, с его терпеливой женой. И вот он устал. Устал уходить от своих родных и близких, устал обделять их своим теплом, своей лаской, своей заботой.

— Ни оставить перевал не можем, ни действовать. Глянь, что возле очагов наших творится... Ты моложе меня, Харун, и глаза у тебя острее и моложе. Скажи, что это? Конец всему — чем мы жили, чему верили?.. Я вот жил и жизни не видел.

— Ты знаешь, Рахай,— Харун так посмотрел на Рахая, что у того слезы навернулись на глаза: долгие годы знал его Рахай и теперь понимал, насколько Харуну мучительно самому.— Ты сам знаешь, что это не конец, и как ты жил — жил не зря! Нет, Рахай, это не конец, это еще только начало.

Рахай слушал Харуна, не отводя от него глаз. Ему было радостно, что не ошибся в этом человеке, что, когда он, сам поддавшись слепой воле старости, требующей покоя, дрогнул, Харун оказался рядом и вернул ему силы.

— Ты отдохни,— сказал через некоторое время Рахай.— Посты я сам проверю.— Он встал, скинул шубу ему под ноги и исчез в темноте.

Харун надел шубу, расшвырял ногой угли и лег на прогретую землю.

...Ему показалось, что он проспал что-то важное, что-то непоправимое. Но тут же успокоился. Холодный ветер с далеких снежных вершин, пахнущий ледниками и хвоей, разбудил его. Ветерок прополз через рукава и подол шубы, гнал его к теплу, в шалаш. Но он остался лежать, только высвободил руку и, облокотившись, подпер щеку.

Чистейшее небо, чистейшие звезды, чистейший перевал. Не было ни беды никакой, ни тяжелого разговора с Рахаем,

а Жабраила — того и вовсе на свете не было. Там, внизу, — горные луга, пастбища, где Харун провел детские годы в подпасках, затем был пастухом, бригадиром животноводов. И потом, уже председателем, он часто приезжал сюда, сидел в коше, забавы ради гадал на лопатке овцы... И его предки веками пасли здесь овец, тысячи сказок, былей и небылей рассказывали они тут почками у костра и, лежа, как он сейчас, смотрели на эти звезды, на те высокие вершины.

Еще ниже — Жамауат. Там темно. Ни в одном окне нет огня. Он увидел Аминат. «Не горюй, у нас все хорошо», — сказала она. Жюзум спала, и, когда Харун посмотрел на нее, улыбнулась во сне. А вон — Домсовет. Быстрым утренним шагом вошел он в правление колхоза. Нет... Только он вышел из-за угла, раздались тяжелые шаги, блеснули во тьме автоматы — и рядом с его лицом вытянулись бескровные лица фашистов.

Сон его был недолгим. Проснувшись, он вскочил на ноги. Пошел к стану, где мирно дремали лошади и ишачки. Осмотрел хозяйство, обошел спящих товарищей. Уже светало. Но все же он не стал будить людей, вернулся на свое остывшее костровище.

Нет, сколько бы ни успокаивал он себя, как бы ни отмахивался от тоскливых дум, с отступничеством Жабраила что-то там, в глубине души его, треснуло. И весь опыт, знание людей, которые пришли к нему за многие годы, которые давали ему уверенность, чувство равновесия в этом мире, пузырясь, уходили в эту трещину. Собирал годами по ложечке, а выкидывал черпаком. А ведь Харун многому научился от Жабраила, шел с ним вместе стремя в стремя; они были друзья, односельчане, люди, пьющие воду из одного родника. Теперь же беда, как яростная речка, развела их, оставила на разных берегах.

Два оружия у войны, думал Харун, двумя способами убивает она — правдой и хитростью. Правдой — достойных, а хитростью — тех, кого презирает. Война говорит такому человеку: «Ты уходи отсюда, ступай, постой в сторонке, еще лучше — лезь под жыйгыч. Ты никого не убиваешь, не предаешь. Главное — ты жив. Рядом с тобою мать, жена, дети. Спрячься. Кому от этого плохо? Кого ты этим убил?» И человек лезет под жыйгыч и думает: «Те умерли, а я жив». Так он лежит лицом к мышам и уже мертв. И не знает, что нет у него матери, жены, сына — нет родины...

А ты, кто упал лицом к врагу, кого война убила прав-

дой... она убила тебя, но, если у тебя есть сын, он будет жить, он будет похож на тебя, словно облик твой перенесся к нему. И будет жить твоя жена, с именем твоим в душе. если даже твое место займет другой. Мать будет жить, и сестры твои, и братья... И те, которые знали тебя, любили, дружили с тобой, учились в школе. И дом твой, и твой двор, деревья, посаженные тобою. Вся родина...

Но что скажет Кемал, сын Жабраила? Если вырастет достойным человеком, он не простит отцу. В том-то и беда непоправимая, что ни в чем не повинный Кемал всю жизнь будет нести на своих плечах тяжкое бремя того покоя, который избрал когда-то для себя его отец. И в жгучей боли он скажет: «Лучше бы и мой отец погиб на фронте!» Боясь отцовской любви, мучаясь от стыда за него и от любви к нему, скажет он эти слова. Если же не скажет этого, если же не будет его терзать стыд за отца, пролежавшего под жынгычем, лицом к мышам, никогда он не испытает того прекрасного чувства — когда человек и на птиц-то на небе смотрит так, словно они оперились в одном с ним гнезде.

Донесся вой волков. Белые вершины, словно наставленные в небо кинжалы, вонзились в чистейшую тьму. Холодом тянет от этих лезвий, и Харун плотнее запахивается в шубу.

...Неоглядными, уходящими к вершинам рядами, тяжелая, как ледник, с тысячами алебард, сабель, щитов — словно стояла перед Харуном конница. В ожидании приказа наступать застыла она. В нетерпении перемпнались кони. белые гривы их волнами скатывались вниз, до самых долин. И лица всадников были суровы. Лютый предстоял бой, враг шел сильный, коварный, свирепый.

Но почему молчал предводитель? Почему не спешил с приказом о наступлении? Или, стоя выше своего войска, он уже приметил, где, на каком рубеже удобней встретить врага, смять его, разбить, уничтожить? Чували кони, чували вопы: враг близок. От поступи его уже дрожит земля. «Предводитель — старший наш брат, самая высокая вершина — ты молчишь! Но мы готовы! Алебарды наши из стали, кобанной Дебетом, кони наши — из табуна Гемуды¹, нетерпение наше — царственное нетерпение Ачея из рода Ачевых!² Дай нам приказ! А если не дашь приказа, то мы са-

¹ Мифический конь нарта Карашауая.

² Ачей из рода Ачевых убил крымского хана и изгнал с родной земли крымских захватчиков.

ми пойдем. Пойдем сами и разобьем врага. Мы устали стоять. Уже тысячу лет стоим мы...»

При виде нетерпения ночных гор Харун и себя почувствовал сильным. В молчании своем горы скрывали великий гнев и великую боль — там, внизу, земля горела, а они тут стояли, белые от нетерпения.

Харун понял, насколько же он любил эту землю, ее тяжесть, ее движение — горы и леса, реки и тучи, проплывающие над извилистыми дорогами. Теперь, в эту ночь, он постигал, что горы, леса, тучи, реки, как и все живое на свете, имеют душу, что и они живут своей нелегкой жизнью. И все в мире связано: когда разрушалась одна гора, другая гора теряла свой вид и полноту. И если бы неподалеку от перевала не выли волки, если бы не горели в вышине звезды, если бы там, внизу, не белели узкие белые тропинки — не будь хоть чего-то одного из всего этого, — и в жизни не было бы полноты. И оттого, что в лесах выли волки, на небе горели звезды, по склонам вились белые тропинки, жизнь перевала была полна и светла.

Тогда он понял, что не зря говорил с горами, не ради хвастовства и славы они рассказали ему о своем нетерпеливом ожидании, а ради того, чтобы прибавить ему уверенности, поддержать его в трудный час окончательного разрыва с другом.

II

Рассвет они встретили возле Стены Чабдара — огромного, в зеленых лишаих, камня. Далеко было видно отсюда, все подходы к перевалу лежали как на ладони.

— Какая тишина, никогда не слышал такой в горах, — сказал Харун, опуская бинокль. — С чего бы это, Рахай?

— Осень, пора урожая, — сказал Рахай. Он сидел на земле и неотрывно смотрел в сторону Жамауата. Казалось, он и не слышал Харуна.

Харун присел рядом на корточки:

— Рахай, тебе побриться надо. Твой урожай — на твоих щеках, убери хотя бы его. Нет, я сам тебя побрею, сегодня же.

— Наконец-то догадался, — засмеялся вдруг Рахай.

Оба хотели забыть ночной разговор, и оба это понимали.

— Ночью пошлю двоих в аул, — сказал Харун. — Сидим здесь, ничего не знаем, как там, что там...

— Мясо готово, идите есть,— позвал их райфининспектор Исмаил.

Теперь он был поваром и ходил черный, как зорт, весь закоптился: партизаны, чтобы дым не выдал их, готовили пищу на древесном угле и Исмаил выжигал его ночью в пещере неподалеку отсюда.

Когда они подошли к очагу, все встали, оказывая честь старшим, уступили место.

— Ты, Рахай, такой грустный, словно у тебя подош ишак,— сказал его племянник Мурадин, тот самый Мурадин, гордость Сылыухан. Он видел уныние дяди и хотел шуткой подбодрить его.

— А что, джигит, другой беды у горца не бывает?— сказал Рахай сухо, не принимая шутки племянника.

Только он взял горячий кусок мяса, перекинул его с ладони на ладонь, запыхавшись подбежал дальний часовой. Партизаны вскочили на ноги.

— Десант!— крикнул он, ткнув винтовкой в сторону ущелья. Все вскочили.— На два отряда разделились, один по северной тропинке пошел, другой — по южному склону.— Харун не успел спросить, тот сам уточнил:— Видно, сгери, обучены воевать в горах, правильно поднимаются. И снаряжение у них альпинистское. Много, человек, наверное, пятьдесят. Кажется, и проводники есть, из наших кто-то, сволочь...

Не успел часовой договорить, как по северному склону что-то пронеслось, то ли камень скатился, то ли пролетела всдугнутая птица, партизаны залегли. Но для десанта еще было рано.

— Каждый на свой пост,— скомандовал Харун.

Добежав до большого угловатого камня, встал на колени и, настроив бинокль, начал осматривать ущелье. В ясном, разреженном воздухе все было видно отчетливо: камни, трещины, каждый листик на кустах, турьи тропы на скалах, казалось, обведены полоской чистого света. Трудно было поверить, что в такой тишине и чистоте гор продвигается враг, что вот-вот начнется кровопролитный бой. Харун, не убирая бинокля от глаз, сказал:

— Ты, Азамат, возьми троих и спускайся вниз к поляне; а ты, Василенко, и еще Мурадин, и ты, Сагит, ждите их южнее, возле бурой скалы.

Отсылая дозорных вниз, он предупредил: не упускать десант из виду и ни в коем случае не выдать себя.

Партизаны расположились так, чтобы видеть любое про-

движение с любой стороны. Теперь бинокль Харуна обнаруживал открытое плато, сверкающее на солнце. Через несколько минут он заметил, как три фашиста перебежали от одного камня к другому. У них, конечно, тоже были бинокли, и они могли обнаружить партизан. Солнце светило так, что вспышка на стеклах бинокля могла выдать его. Харун снял пиджак и накрылся им так, чтобы бинокль оказался в тени. Похоже, что немцы уже обнаружили их. Те трое забились за камень и, конечно, вовсе не думали идти дальше. В этот момент прозвучал выстрел. Харун не понял, откуда он донесся. Кто выстрелил? Их? Наш? Но кто бы ни был стрелявший — все стало ясно. И партизаны, и десант хотели начать бой неожиданно для противника, теперь же обе стороны знали, что выдали себя.

Если верить дозорному, немцев — человек пятьдесят, вдвое больше, чем партизан. А боеприпасы даже сравнивать не стоило. Но партизаны у себя в горах и наверху. В этом их преимущество. «Они идут, чтобы взять, а мы свое уже имеем,— усмехнулся Харун.— Так пусть они и пачнут. Нам торопиться некуда».

Бой начался через час. Немцы не могли сидеть в укрытии вечно. И Харун ждал, взяв прицел на тот камень, за которым скрывались те трое. Один наконец попытался перебежать к другому камню. Стукнул выстрел, и он скатился вниз по крутому склону. Двое других, увидев это, решили отползти назад. Но Харун несколькими выстрелами загнал их обратно за камень.

Этот обстрел вынудил врага начать бой. Дружный огонь с северной тропы ударил по расположению партизан. Фашистские стрелки, видно, этот час потратили не зря, как-то высмотрели, кто где прячется, и били прицельно. Егери были хорошо обучены драться в горных условиях. Перебегая от камня к камню, от куста к кусту, упорно шли вперед. Стреляли безостановочно, все время держа партизанские засады под прицелом. И отряд Харуна, то и дело меняя позиции, медленно отступал.

Подбежал Мурадин:

— Та группа, что идет по южному склону, пробилась к гребню горы!

— То, что нужно,— кивнул Харун.

Оттуда десант мог пройти к перевалу только по открытой ложбине, хорошо простреливаемой партизанами.

— Рахай! Мурадин! Василенко! Поставьте пулемет за Стеной Чабдара! Теперь с пулеметом вы трое удержите их всех!

Рахай и Василенко взяли пулемет и поползли за Мурадином.

Между тем десант с северного плато подошел совсем близко. Партизаны били почти в упор, уже различая лица врагов. Но и егеря дрались упорно, они уже поняли, что противостоят им не регулярные части, а партизаны. И когда вдруг на минуту затихла перестрелка, снизу закричали по-балкарски:

— Хватит, сдавайтесь! Все равно без толку. Ну, убьют вас — и что? Сдавайтесь — и будете жить!

От этих мерзких слов, сказанных на его родном языке, Харун чуть не застонал.

— Сблуй то, что пил от матери! — крикнул он.

У Стены Чабдара заговорил пулемет Василенко... •

Когда уже оставались считанные метры до гребня перевала и Харун понял, что еще минут десять — и их выбьют на голую площадку, к нему подполз дозорный, который был оставлен по другую, грузинскую, сторону перевала: оттуда подходил отряд войск НКВД. Через четверть часа энкавэдэвцы вступили в бой, и егеря поняли, что к партизанам подошло подкрепление, судя по методу ведения боя — опытная, обстрелянная часть. И, отстреливаясь, забрав своих раненых и убитых, они начали отступать в долину.

...Девятнадцать убитых, вытянувшись, лицом вверх, лежали на вершине перевала. Лысый Батоко, бригадир скотников, всегда такой быстрый, разговорчивый, от улыбок морщины на лице ходили ходуном, и только сейчас, когда он лежал неподвижно, можно было понять, какой же он был старый, очень старый. Молодая красивая Халимат открытыми глазами смотрит в небо, никто не решился коснуться пальцами ее нежного лица и опустить ей веки, она была секретарем райисполкома, и когда-то Жабраил назвал ее «звездой Домсовета» (при воспоминании о Жабраиле лицо Харуна потемнело от негодования). Фининспектор Исмаил — у него словно лица и рук нет, словно три пятна копоти лежат на камнях рядом с пробитой автоматной очередью гимнастеркой. Рахай... Вот и кончилась твоя жатва, Рахай, еще темнее и гуще выступила щетина, обчернив выступы скул и ямы щек. Они втроем, Рахай, Василенко и Мурадин, удержали половину десанта. Рахай — убит, Василенко лежит весь в бинтах, ранен в ногу, в руку и, падая, ободрал о камни бок, только Мурадин не пострадал, сидит рядом с Василенко, держит его голову на коленях.

Вечером Харун отозвал Мурадина и Азамата в сторону.

— Пойдете в Жамауат,— сказал он коротко.— Узнаете, какой там гарнизон, какие работы ведут немцы? Какое у народа настроение?

— Ясно!— сказал Азамат.

— Когда?— спросил Мурадин.

— Сейчас,— ответил Харун.— Деть туда, день обратно. Самим разузнавать не надо, сведения уже собраны. В полночь подойдете к дому Казака и три раза постучите в заднее окно. Когда спросят, скажете: «Не забрела ли в ваш хлев чужая скотина, Казак? Овца потерялась, ее ищем». И если он ответит: «Тейри, лазим, забрела какая-то, заходи, джигит, посмотри»,— войдете в дом. Там будет Ачахмат.

Нарни удивленно переглянулись, в ауле все знали, что Зайнаф получила извещение о гибели Ачахмата. Но переспрашивать не стали, быстро собрались в путь.

III

В Чегете лишь у одной Сылыухан был сепаратор. Все женщины по соседству после утренней дойки с ведрами шли к ней. И каждое утро Сылыухан, дородная, пахнущая молоком, как божество молочного изобилия, не вмешиваясь в разговоры, порою только вставляя свое редкое, но веское слово, сидела у машины и крутила ручку сепаратора. Шесть дней пропускала она соседское молоко, на седьмой день сливки собирала себе. В тот день, когда была ее очередь собирать сливки, в дом пожаловали двое из тех, за кого она так усердно молилась в последнее время. Женщины, стоявшие к сепаратору гуськом, отпрянули и прижались к стене, а Сылыухан, с присущей ей благовоспитанностью, встала.

«Голодные, наверное»,— сказала она женщинам, но, не найдя в них отклика, обратилась к немцам, мешая балкарские слова с русскими, которые часто употребляли ее дети и она запомнила. Но пришедшим не было дела до Сылыухан. Они, даже не посмотрев на нее, убрали ее кастрюлю из-под трубки сепаратора и поставили свои котелки. Грубость эта возмутила Сылыухан, но она сдержалась.

Когда один котелок наполнился сливками, немцы под-

ставили другой. Теперь струя потянулась тоньше. Они сердито посмотрели на Сылыухан, им показалось, что она плохо крутит. Тогда один отодвинул ее и стал крутить сам, а другой пачал шарить по дому. Он вел себя так, словно был в отъезде и вот, вернувшись домой, осматривает, все ли на месте. И так получилось, что первым ему на глаза попался висевший в расшитой сумочке на стене коран. Он снял сумочку, вытащил коран, полистал, покрутил его и, не поняв ничего, швырнул на пол. Сылыухан чуть не потеряла сознание. Женщины поддержали ее, стали успокаивать. А тот кяфыр сунулся в шкаф и увидел яички, прибереженные Сылыухан на случай приезда сына, расстегнул гимнастерку и быстро, ловко уложил всю дюжину за пазуху. Тем временем наполнился и второй котелок, и они, так ни слова и не сказав, взяли котелки и вышли.

— Ну, видала, Сылыухан! — торжествующе сказала одна из женщин.

— Аллах, и среди них есть невежи, — ответила Сылыухан, но скорее для своего успокоения. — А невежа — он везде невежа.

Но скоро она убедилась, что эти двое не были исключением. Особенно невоспитанные, не знающие никаких человеческих правил, пришли на следующий день. Вчерашние хоть не тыкали ей в бок автоматом. Эти же перевернули весь дом вверх дном, взяли топленое масло, изловили всех кур, а напоследок пальнули в медный кумган, стоявший на крыльце, — аллах спас, не попали!

Сылыухан пошла к Жабраилу. Она коротко высказала свою жалобу. Жабраил подумал и, решившись на что-то, сказал:

— Пойдем, Сылыухан, скажешь все это коменданту.

Юнге был не в духе. С одной стороны, он как личное оскорбление воспринимал враждебную настороженность аула — уж мало ли он сделал для него! — с другой, он никак не мог удержать солдат в узде, потому что кроме солдат гарнизона стояла и войсковая часть, не подчиненная ему, командованию которой было наплевать на политические задачи, стоящие перед ним, Юнге. Эти свинцовые головы не понимали, что его задачи — суть задачи военные. Когда наступление захлебнулось возле самых перевалов, умнее было бы не ссориться с населением, живущим возле этих перевалов.

Если бы сейчас с какими-либо претензиями или жалобами на жителей аула пришел представитель вермахта, он



бы язвительно отчитал его: они, мол, того не понимают, что если твоей задачей стоит взять перевалы, то нужно бы не грабить местное население, которое знает здесь все тропки. не раздражать его по пустякам, а постараться привлечь на свою сторону.

Но первой пришла Сылыухан, и Юнге, сдерживая вспыхнувшую злость, оттеканил, что немецкому солдату, как и любому другому человеку на свете, свойственно есть, вот он и добывает себе еду, как может. И если бы эта дородная, словно на дрожжах замешенная старуха сама принесла ему поесть, тот не пришел бы к ней в дом.

Если слова его дошли до Сылыухан через два перевода, то бешенство, кипевшее в его глазах, перевода не требовало.

Сылыухан не могла понять, как эти люди, столь почтительные, как ей казалось, к ее вере, давшие им муллой Латырая, полного, конечно, жахила, но человека порядочного, гораздо порядочнее тех мулл, какие были прежде, — как эти люди, только дело коснется еды, теряют всякое благочестие.

Вот и этот — даже глаза пожелтели, будто слова Сылыухан проткнули его желчный пузырь.

Но очень скоро Сылыухан поняла: не только в еде эти пришельцы были нечестивыми.

С тех самых пор, как на этом месте встал аул, сначала пазванный Тогалан, а потом Жамауат, не бывало такого! Стучилось то, чего не случалось ни с одной женщиной с тех самых пор, как аллах создал людей и разделил их на женщин и мужчин, — мерзкое, непристойно-языческое, даже черные джинны, изгнанные аллахом с неба, не позволили бы себе такого! Она была опозорена, как ни одна женщина на свете, и лучше бы она провалилась в седьмой ряд земли, откуда выхода нет.

Сылыухан возвращалась из Ажоки, проведав деда Жарнеса, который доводился ей родственником. Она отнесла ему немного сметаны и жареной грушевой муки, которую Жарнес любил есть со сметаной. И теперь спешила к полуденному намазу. Она прошла мимо Домсовета и поравнялась с двором Айсейира, когда сверху из проулка вышли солдаты. Хотя и не так приветливо, как в первые дни, но все же с жалостью она посмотрела в их сторону, заметила, что они молоды, красивы, и вспомнила своего сына. Но когда солдаты подошли совсем близко к Сылыухан, один из них остановился и вдруг прямо перед нею стал расстегивать пуговицы брюк, словно не женщина стояла перед этим не-

честивцем, а ишак Айсеййра. Еще не поняв, в чем дело, Сылыухан в растерянности остановилась. Она почувствовала, как жар охватил ее старое рыхлое тело, потом она удивилась, почему земля не разверзлась и не скрыла ее от такого позора на старости лет. В эту долгую минуту она испытала всю глубину своего унижения, неведомого ни вере, ни чести. Немец же, как ни в чем не бывало, застегнулся и, смеясь, присоединился к товарищам.

Она не помнила, как добралась домой. Пришла и упала на топчан. Не было у нее сил ни говорить, ни жаловаться. И чем дальше уходила та минута, тем сильнее и сильнее билось сердце Сылыухан. Сильней и невыносимей становилась ненависть. «Такое язычество, такое язычество», — только и повторяла она. Нет, такого прощать нельзя, не могут мужчины гор, если они покуда мужчины, простить такое! И сын ее должен отомстить за унижение матери или умереть! Она поднялась, вымыла руки, лицо, с трудом переоделась и, тяжело шагая, пошла к Чыккы-кызы. А та, выслушав горе Сылыухан, даже не удивилась.

— А ты как думала! — сказала она спокойно.

— Что ты говоришь, женщина! — возмутилась Сылыухан. — Они меня даже за ишака Айсеййра не посчитали!

— А за кого еще они должны считать тебя! — гневно сказала Чыккы-кызы. — Разве они нас за людей считают?! Мы для них скот и даже хуже скотины. Небось перед своими женщинами они бы такого не сделали. Иди, Сылыухан, иди, уже вечерний намаз скоро, иди, молись за них!

И Мурадин в самый раз угодил — именно в эту ночь явился домой. Сылыухан, вместо того чтобы радоваться его приходу, сразу набросилась на него, вымещая весь свой позор и унижение на ошеломленном сыне:

— Позор! На седины отца, на мать, грудь вскормившую тебя, позор! По горам шляешься, родившийся от собаки! Какой толк, если ты ходишь с винтовкой где-то, а твою единственную мать любой может унижить и опозорить. Или вы не матерей своих защищаете, а деревья в лесу? Камни защищаете?

Мурадин стоял перед матерью и ничего не понимал. Ей же было не до объяснений: гневно размахивая кулаками, она то садилась, то вставала и ходила по комнате.

— Чтоб со срамного своего места начали гнить, чтоб худой смертью околели... Язычники, встающие перед женщиной в срамоте своей...

— Мать, скажи толком, в чем дело?

— Замолчи! Сейчас же замолчи! — крикнула она. — Будете вы мужчинами, разве дошли бы мы до такого унижения! Аллах свидетель, сама выйду с колом в руках!

Но Мурадину было некогда — Азамат ждал его во дворе.

— Мать, — обнял он Сылыухан, — если дашь, возьму немного продуктов. Нельзя мне тут долго оставаться, сама знаешь... Ты же... Сиди дома, не показывайся. Не бойся. отомстим за все. Очень скоро отомстим...

Сылыухан заплакала. Заплакала, может быть, впервые в своей жизни. Заплакала и рассказала, что случилось. Лицо Мурадина налилось черной кровью.

— Враг поступает как враг, мама, — сказал он.

Больше Сылыухан не обронила ни слова, ни слезинки. Молча собрала провизию, какая нашлась, и проводила сына.

* * *

В полночь в заднее окно дома Казака постучали тихо три раза. Через минуту в темном провале окошка очертилось бледное пятно, вплотную придвинулось к стеклу. «Кто там?» — тихо спросили оттуда.

— Не забрела ли в ваш хлев чужая скотина, Казак? — спросили с улицы. — Из стада ушла овца, ее ищем.

— Тейри, лазим, была тут чужая овца, — сказал Казак равнодушно. — Заходи, джигит, посмотри, — и отступил от окна.

Мурадин, оставив Азамата на дозоре, вошел во двор. Казак открыл дверь, он стоял во всем исподнем и во тьме, слабо разбавленной лунным светом, походил на белого джинна. Он молча провел его во внутреннюю комнату. Не доверяя закрытым ставням, окна завесил войлоком и лишь тогда зажег лампу. Потом отдернул занавес перед жыйгычем, убрал несколько сложенных матрацев, одеял, и Мурадин увидел небольшую дверь в стене. Казак отворил ее, и оттуда, улыбаясь, вышел Ачахмат.

Настолько счастливой была эта встреча для двух друзей, что они даже забыли о всякой осторожности: ликуя, с громкими восклицаниями, они обнимались крепко, по-мужски хлопали и теребили друг друга. При каждом тычке Ачахмат стискивал зубы и улыбался, чтобы не выдать боли в не зажившей еще ноге.

— Теперь я вам не нужен, — сказал Казак и вышел.

Они просидели больше часа. У Ачахмата были полные сведения о расположенном в Жамауате гарнизоне. Сведе-

ния ему поставлял Казак и два прекрасных парня — Мухтар и Хаким.

— Мне, вероятно, придется уйти отсюда,— сказал под конец Ачахмат.— Не знаю как, но, кажется, Тебо заметил, что я здесь прячусь. А Казак и Тебо хотя и не враги, но и не шибко дружны. От страха за своих детей Тебо может выдать. Но куда бы я ни ушел, Казак будет знать, где меня искать.

Мурадин же рассказал о партизанском движении в горах, о том, как недавно республиканское партизанское соединение провело большую операцию в верховьях Малки, в бою уничтожило гарнизон врага и много матерпальной силы. Но для самого Мурадина самым значительным было собственное сражение — бой с вражеским десантом на перевале, где, как он с гордостью сообщил другу, получил боевое крещение.

Ачахмат потрепал его по плечу, но о стычке на Батырбековом огороде рассказывать не стал.

В дверях появился Казак.

— Поторопитесь,— сказал он.

* * *

В большом светлом доме Гейтмырзы поселились двое завоевателей — помощник коменданта Ганс Шрайнер и его товарищ Зуппан. Хотя они и жили, и ходили всегда вместе, но были очень разные. Ганс Шрайнер был грустный, ходил он как-то... застенчиво, что ли, говорил тихо. И Халыу не раз примечала, как что-то теплое, дружелюбное проскальзывало в нем к ее дому, детям и к ней самой. Но участливость эта дальше него самого не уходила, он как будто бы боялся выказать ее. Халыу думала: наверное, он просто не имеет права относиться к ним с уважением. Иногда Шрайнер оставался дома, и ему приносили готовую горячую пиццу; или он сам готовил себе что-то, похожее на жидкую коричневую похлебку, пахнущую странно и приятно, он сидел, вздыхал и пил эту жидкость. В такие дни он выходил во двор, садился рядом с дедом Жарнесом, который, с тех пор как они поселились в их доме, ни сказал им ни слова. Шрайнер, так же, как и Жарнес, подолгу смотрел на его воробушков. Если же появлялся Башир, он заговаривал с ним, давал понять Баширу, что хочет с ним поговорить, пошутить. Башир же хмурил брови: он вовсе не собирался говорить и шутить с фашистом. Башир хорошо знает и дру-

гие мальчишки в Жамауате хорошо знают, кто такие фашисты и почему они здесь. Но Башир, хотя и напускал на себя строгость, посматривал на него с любопытством. И называл его этот фриц на свой лад, очень забавно,— Баишер. Но Башир на ласку не поддавался, отходил подальше и шептал оттуда:

— Гитлер капут!

Немец улыбался, спрашивал что-то: наверное, что это Башир там шепчет? Башир шептал снова. Потом он смеялся, смеялся и фриц. Но однажды он, кажется, расслышал — изменился в лице, сердито погрозил ему пальцем и отвернулся.

Зуппан же был совсем другой. Прожорливый, с квадратным желтым лицом. Когда бы его ни видели — он ел. Он все время ел. Был грузен, бесцеремонен. Иногда откуда-то, наверное из дома, он получал посылки. Придя домой с посылкой, он ставил ящик на стол и крутился вокруг него, как пес, ожидающий, когда остынет похлебка. Наконец он открывал ящик, доставал оттуда что-то похожее на курдюк, пахнущее лежалым мясом, смотрел, наслаждаясь его видом и запахом. Потом резал его на тоненькие кусочки, накладывал на хлеб и ел, и выдавленный жир пенился в уголках рта. «Это сало,— пояснил Мухтар,— свинья свинью ест». Во всем прочем этот человек, казалось, ничего не видел и не слышал. Вечером, придя домой вместе с Шрайнером или же без него, растягивался в сенцах на деревянной кровати, и все — до утра хоть гром греми! Ему-то что, а другим не было сна: он храпел, точно недорезанный кабан, и никто в доме, хоть и голова уже шла кругом от усталости, не мог уснуть. Храпел он не то что громко, а как-то невыносимо гнусно. Халыу иногда удивлялась Шрайнеру: такой вроде бы воспитанный человек этот молодой немец, как он мог взять себе в товарищи такого Зуппана? Но Шрайнер, казалось, даже этого гнусного храпа не замечал...

IV

Халыу не могла понять, что творится с Мухтаром. Он то лежал подолгу на спине, закинув руки за голову, то ходил от стены к стене, а то уходил в сарай и там пробовал что-то делать, но все валилось из рук. Халыу боялась: слишком дерзким было поведение сына. Мухтар все делал с вызовом. Когда приходили постояльцы, он уходил, не глядя

на них, и возвращался, только когда они спали. Халыу понимала: сын ее не мог смотреть в лицо тем, кто мог убить, а может быть, уже убил его отца, многих односельчан.

— Ты весь извелся, Мухтар. Что с тобой случилось, чего не случилось с другими? — сказала Халыу.

— А я что? Сижу себе тихо-мирно.

Но Халыу была в тревоге. Оттого ли, что отяжелела она за последние дни, оттого ли, что темно и больно было на душе, — она больше лежала, чем была на ногах.

— Мирно? Не знаешь, на кого броситься!

— Оставь, мама.

— Он за ворота выйти боится, — сказал Башир.

— Много знаешь! Иди, за жеребенком своим смотри.

Нет, зря Башир дразнил брата. Совсе не боялся Мухтар выходить на улицу. Он изнывал от бессилия и негодования. О, как бы он хотел остаться там, в капище Байрыма, превратиться в каменного истукана и сидеть там. Но кровь его, молодая, неподвластная разуму, полная ненависти, еще сильнее билась бы в этом камне — она бы бежала, разламывая каменные жилы, если бы он и впрямь был истуканом.

...В какое-то время ночи он очнулся от глубокого сна. И в каменной темноте прополз не вперед — к выходу, а назад — к площадке. Там он встал во весь рост и посмотрел на Жамауат с высоты. Остуженные, исхудавшие звезды тоже смотрели вниз и видели себя в разделявшей аул надвое реке. Мухтар ближе к ним, чем к земле. То, что называлось миром, это была темнота, а удивлением его — звезды. Темнота. Звезды. Мухтар. И еще осенняя прохлада. Лишь они были действительностью. Мухтар на мгновение забыл свое горе, ему показалось, что если улететь отсюда, то он тут же смешается со звездами, сольется с ними. Когда не жгла изнутри обида, он был таким легким: только оттолкнись — и полетишь к звездам...

Он не помнил, как спустился вниз, как пришел домой. Он не чувствовал ничего, кроме ненависти, от ненависти, казалось, он даже глохнет. Такими были для Мухтара эти дни.

Наконец однажды ночью тайком пошел к Ачахмату. Вернулся к утру. Поспав часа два, он встал, умылся, как обычно, во дворе холодной водой и, обтираясь, весело сказал матери:

— Мама, дрова кончились, я схожу в лес.

— И шагу не ступишь, — отрезала Халыу. — Разберем илетни и будем топить.

- Плетни, которые поставил отец?— удивился Мухтар
— Вернется, еще поставит.
— Мама...
— Сиди дома — и все. Если не хочешь, чтобы я прокля-
ла тебя, — рассердилась Халыу.
— Да что случится, если я схожу за дровами?
— А что случилось с сыном Жандыра? Разорвалась мя-
на, оторвала руку.
— Ну, мама, разве это с каждым должно случиться?
— Иди, если так, иди и будь клятвопреступником, если
вернешься обратно.— Но знала: упрям. Если уж он решил
что-то — сделает непременно.

Башир сказал:

— Что с ним случится, а дров нет.

Но Халыу молчала — уже другие мысли заняли ее.

Мухтар оседлал осла, послал Башира к Байчо за вторым ослом. Приторочил веревки и топор к ишачьему седлу, взял прут. Тут и Башир пригнал другого осла.

Мухтар спустился к реке, но пошел не как обычно. вверх по ущелью, а завернул ишачков вниз. Но куда он собирался? По дрова? Нет, не о дровах он сейчас думал. Ишачки упирались, не хотели идти по непривычной дороге. Не по известному ишачьему упряму, а потому, что не могли понять намерения дровосека. А тот знай погонял — только прут из руки в руку переключивал. Он шел к ольховым зарослям. Но разве ольха годится на дрова? Раньше он на двух и на трех ишачках за дровами поднимался вверх, в ложбину Агазлы или дальше, к Разрушенным скалам, где росли береза и клен. Теперь и река текла вниз, и он шел вниз. Оба они были сердиты — и река, и Мухтар, оттого не смотрели, а только косились друг на друга.

Но и в нижнем конце ущелья можно было заготовить дрова: ведь запасались же в ложбине Подохшего кабана жители Езена. Если же перейти мост Геуюза и не поленишься забраться дальше, то на холме Нартбора можно нарубить и чинары. Не раз видел Мухтар, как возвращались оттуда, тяжело навьючив ишачков чинаровыми дровами, езенские ребята.

Но Мухтар не пошел к холму Нартбора. Он завернул вконец озадаченных ишачков к лесистому берегу и пошел напрямик по бездорожью. Реку нужно было переходить вброд, и Мухтар сел верхом на ишачка. Давно так не ездил — показалось странным. А если кто-нибудь увидит? Вдруг Лазимат... Ну и пусть видит, мне-то что...

Перебравшись через реку, Мухтар въехал в густой ольховник. И только въехал — услышал голоса немцев. В страхе Мухтар спрыгнул с ишачка. Прислушался. В следующую минуту он чуть не столкнулся с ними. Ледяные ножи вошли в ступни и прошли до самого сердца. Взгляд его пробежал по немцам — показалось, что один из них снял с плеча автомат. И Мухтар побежал, бросив ишачков. Страх гнал его. А стыд, отстав где-то, мчался следом, но не мог догнать.

Наконец Мухтар приостановил бег и потом перешел на шаг. И тут стыд догнал его. Мухтар тут же услышал тихий издевательский смех.

— Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха!

И лес повторял этот смех. Каждое дерево смеялось по-своему — звонко или глухо, тихо или раскатисто. Мухтар не мог поднять глаза, и некуда было ему отвернуться. Он не слышал, был ли выстрел ему вслед, не видел, преследовали ли его. За деревьями поднималось солнце, и в сумрачном еще лесу лежала утренняя изморозь. Мухтар стоял, но сердце его еще бежало.

— Трус! — сказал он себе, и сердце перешло на шаг.

Густой ольховник высился вокруг него, и каждая ольха во всю свою легкомысленную длину была полна молчаливой издевки над его позором. Он рукавом отер пот со лба. «Да уймись ты! — сказал он все еще не угомонившемуся сердцу. И опять выругал себя: — Трус, последний трус на земле!»

Но рядом со страхом уже проклюнулось удивление. Они — страх и удивление — так и жили вместе, как два желтка в одном яйце, съежившись, сидели в его сердце. И теперь они смотрели на этот осенний ольховый лес рано поутру, не моргая уставились на занятых чем-то немцев. У каждого немца в руке был моток проволоки, они шли, разматывая мотки, изредка останавливаясь, продевали проволоку в железные колышки и вбивали их в землю.

Когда они пошли дальше, Мухтар вернулся к своим ишачкам. Те стояли голова к голове, спокойно ждали прута хозяина.

Мухтар потрогал проволоку. Тут же зазвенело: «Зуу-зуу». «Связь тянут с нашим селом», — догадался Мухтар.

Дальше он погнал ослов в сторону Нартбора. Теперь он знал, почему Ачахмат посылал его осмотреть ольховник, окрестности и мост, взорванный при отступлении нашими войсками.

В то самое время, когда Мухтар погнал ишачков и ольховника в сторону Нартбора, но теперь уже за дровами Башир тоже вышел из дома. Он собирался в это путешествие с тех самых пор, как услышал, что в Жамауат пригнали пленных и каждый день их водят чинить взорванный мост. Но на какие бы уловки он ни пускался, что бы ни выдумывал, как бы ни просил — Халыу не отпускала его от себя ни на шаг. Впрочем, если бы не Мухтар, он как-нибудь улизнул от матери. Но как потом отчитываешься перед Мухтаром? Не так уж он и боялся его, просто не хотел, чтобы старший брат был недоволен им, своим младшим братом. А страхи матери? Да кто принимает их всерьез? Башир только ждал, когда Мухтар отлучится из дома. Поэтому, только тот заговорил о дровах, он тут же с радостью принял его сторону.

И только Мухтар, подгоняя ишачков, вышел со двора. Он засуетился, объявил, что надо вести жеребенка на водопой, и выгнал его за ворота. Нет, взять жеребенка в таком опасный путь он не мог. Поэтому, напив, он пригнал его обратно, запер в хлеву и заложил корма больше обычного: кто знает, когда он теперь вернется и вернется ли вообще, — только он сам знает, в какое опасное путешествие он выйдет! Халыу, как обычно, хворала. дед Жарнес был занят своими воробушками.

Башир шел с таким видом, будто прогуливался просто так, от нечего делать, залезал на каменные ограды, шел по ним, спрыгивал на землю. Перед высоким зеленым забором Домсовета он остановился. Попытался заглянуть в щель между досками, но кроме узкой полоски земли ничего не увидел. Тогда он, царапая носом по доскам, быстро пошел вдоль забора. Просветы сходились вместе, и сквозь зеленую рябь мелькающих досок он увидел широкий двор. Точно так же скользя лицом по забору, пошел обратно. По двору ходили солдаты с автоматами, но пленных не было видно. Но все же он не торопился уходить. Там, где кончался зеленый забор, начиналась каменная ограда высотой Баширу в рост. Он подкатил к ограде несколько камней и встал на них. Положил руки на ограду, как клал их во время урока на парту, опустил на них подбородок и стал смотреть.

Смотрел долго. Он уже собирался уходить, когда из Домсовета вышли двое — один с автоматом на боку, другой с наганом на поясе — и направились к подвалу в глубине

двора, открыли железную дверь и вывели оттуда пленного. Он еле держался на ногах, но те двое, подталкивая в спину, повели его в Домсовет. Он был похож на того русского, который подарил жеребенка Баширу. «Спорим, что капитан!» — сказал себе Башир.

И тут же в руках у него оказался автомат. Башир — «тра-та-та», и нет того, с автоматом, «тра-та-та» — упал и другой. Капитан — бежать. Ах, вошь твою, вон еще выскочили немцы, увидели бегущего капитана. Но Башир снова — «тра-та-та», уложил и этих. И, пригнувшись, побежал вдоль забора. Нужно передать капитану автомат! Скорей, скорей! Вот капитан перепрыгнул через высокий забор Домсовета, тут и Башир подоспел:

— Вот вам автомат!

— Это ты герой, который спас меня?

А Башир скромно:

— Бегите! Вы должны спастись!

Капитан в восторге обнимает Башира, натягивает ему на голову свою пилотку. А пилотка теплая!

Когда эта счастливая картина растаяла, капитана во дворе уже не было. Башир вспомнил, что собирался к взорванному мосту. Но тут же одернул себя: туда он всегда успеет. Он должен ждать, когда капитана поведут обратно.

Башир проголодался, замерз. Уже всю надежду потерял, что капитан когда-нибудь выйдет оттуда. Он слез с камня. Но тут же вспомнил, что он, как мужчина, дал себе слово: дожждаться капитана. Нет, Башир терпеливый. И всегда будет терпеливым. Он опять надолго забыл про голод и холод. Потом опять слез с камня, собираясь уходить. И опять данное себе слово остановило его. Наконец капитан вышел оттуда... Не вышел — вытащили его. Лицо окровавлено, рубашка порвана. Два фашиста, держа с двух сторон, поволокли его через двор. Башир сам не заметил, как очутился на ограде и встал во весь рост. Пальчики его, посиневшие от холода, сжались в кулаки, и он в бессилии бил себя по бокам, словно птенец, пытающийся взлететь. В груди и горле — пустота, голод и холодная дрожь.

— У-ух! — только и смог сказать Башир.

Между тем капитана подтащили к подвалу и, открыв железную дверь, бросили туда в темноту и сырость. Еще крепче сжались кулачки Башира, еще сильнее забились раненая птица в груди. Он услышал непонятный злой смех двух немцев, бросивших пленного в подвал.

И не смолк еще этот смех, как из дверей, откуда вытащили капитана, вышел Жабраил Локманович. Он подошел к коню, привязанному к коновязи перед Домсоветом, влез в седло и медленно поехал вниз по улице. «Что тут делает дядя Жабраил Локманович? — подумал Башир. — Как же они посмели так избить при нем капитана?»

Это было уже совсем удивительно. Из слов матери, из ее сказок и рассказов Башир уже давно сделал вывод, что дядя Жабраил — настоящий герой, прямо как Карабатыр. И Башир больше всех на свете стеснялся его. Если Жабраил Локманович приходит к немцам, то это неспроста. Значит, дядя его задумал какую-то хитрость, чтобы уничтожить фашистов. Башир, обрадовавшись своей догадке, побегал за конем. Как удачно получилось! Начнет мать ругать Башира, он и скажет: «А я с дядей Жабраилом был!» Мать обрадуется и перестанет ругаться.

Так, не упуская его из виду, Башир вышел на край села. Жабраил Локманович остановился у реки, где было много людей, и спешил. В другое время и при других обстоятельствах Башир, может быть, и не осмелился бы подойти, но тут, увидев немцев с автоматами, сразу же подбежал к нему. Бросая взгляд то на него, то на его коня, он встал перед ним.

— Башир?.. — удивился Жабраил Локманович. — Какие дела вершишь, джигит?

Жабраил Локманович за руку поздоровался с ним, потрепал по волосам, а потом поднял его и посадил в седло. Снял с коня удила и сказал:

— Выгуливай!

Теперь, сверху, Башир увидел и немецких часовых, и пленных красноармейцев. Увидел и мост, который они строили. Пленных было семнадцать — Башир не из тех, кто не умеет считать.

С утра моросило, потом шел дождь со снегом. А пленные были раздеты. Мелькали в прорехах локти, колени, спины, у некоторых не было даже сапог — ноги обмотаны каким-то грубым тряпьем.

Башир старался держаться ближе к мосту. Он слышал разговоры пленных. Он и по-русски понимает: если говорят хорошо — значит иги, плохо — это аман, отец — ата, мать — ана. Башир даже знал, как по-русски будет тай: же-ре-бен-ка, вот как! Но пленные хоть и говорили по-рус-

¹ Карабатыр — герой балкарских сказок.



ски, Башир ничего не мог разобрать. «А-а, понятно! Осталь- так говорят, чтобы фашисты их не поняли».

Одни из пленных складывали из камней сваи моста, другие тесали огромные кругляки. Пахло сосновыми щепками. Чуть дальше ломачи и кирками вытаскивали камни из каменистого откоса, раскалывали их так, чтобы ровно, плотно ложились на подпорки. Там и тут над ними стояли автоматчики, понукая и торопя их.

Вдруг один из пленных, которые выковыривали камни, распрявился, держа отломанную ручку своей кирки.

Конвоир резко крикнул ему что-то.

Пленный, глядя на кирку, развел руками.

Конвоир размахнулся, чтобы ударить его. Но бить не стал. Пошел к арбе, вытащил новую кирку и подал ее пленному. Тот взял кирку и начал остервенело расшатывать ушедший в землю камень, и еще не успел немец отойти, как он снова сломал ручку кирки.

— Сеня, не валяй дурака,— сказал другой пленный.

Немец снова прибежал к нему и, развернувшись, ударил его прикладом автомата. Пленный упал. Другие, как по команде, испуганно вскочили, замешкались на минуту, а потом подбежали к упавшему товарищу. Но конвоиры, расталкивая автоматами, разогнали их, крича «гунд», «швайн». Тот, который ударил пленного, пошел к арбе, но взял оттуда не одну кирку, а целую охапку, принес и бросил их возле лежащего в грязи пленного.

— Я скажайль: арбайтен².

— Нет, не арбайтен!— сказал пленный. Он сел на камень, который только что выворачивал.

— Я скажайль: арбайтен!— повторил фашист.— Арбайтен!

Он толкнул его автоматом, поднял. Тот нехотя пошел туда, где лежали кирки, взял одну из них. Встал, широко расставив ноги. Немец еще раз толкнул его автоматом, и вдруг пленный мгновенно развернулся и со всей силой ударил фашиста киркой в грудь. Тот упал, даже не успев вскрикнуть, рог кирки весь вошел ему в грудь. Даже конь под Баширом вздрогнул и заржал. Но простучала автоматная очередь, и парень упал рядом.

Башир зажмурился. Чтобы не упасть, он схватился за луку седла, уткнулся лицом в гриву коня. Он оглох, каза-

¹ Гунд — собака, швайн — свинья.

² Арбайтен — работа.

лось, ему законопатили уши. Он поднял взгляд, и красное пятно — там, где лежали двое, пленный и конвоир, — обожгло ему глаза. Он снова зажмурился, и его вырвало. Кто-то завернул коня и повел в поводу. Когда конь стал, Башир открыл глаза. Перед ним стоял бледный Жабраил Локманович. Они с минуту смотрели друг на друга. Башир сказал:

— Мне... слезть с коня?

— Слезай... И ступай прямо домой.

Башир сполз с коня и медленно, не видя ничего перед собой, побрел по дороге, упал, поднялся, прошел немного, упал снова. Перестук копыт догнал его и промчался дальше...

* * *

Вернувшись из леса, Мухтар ссыпал дрова и развьючил пшаков.

— Этот негодник с утра пропал, — сказала Халыу.

— Куда он денется, — хоть и почувствовал тревогу, спокойно сказал Мухтар, сматывая веревки. — Играет где-то...

— Время такое, — сказала Халыу, дав ишачкам отрубей.

— Пойду поищу. Если задержусь, не беспокойся, дело есть.

Теперь уже новая тревога кольнула сердце Халыу.

— Дело оставь, сын, — сказала она как-то беспомощно. — Найди этого глупенького, и возвращайтесь вместе.

Ничего не сказав матери, Мухтар сходил зачем-то в чулан и вышел на улицу. Возле Дома Советов он повстречался с Мачаром.

— Что ищешь так поздно, парень? — спросил Мачар.

— Брата, — коротко бросил Мухтар.

— Видел... его сегодня тут. Весь день у забора торчал. У вас что, в Домсовете интерес какой-то? — и пошел дальше.

— Мачар... — сказал Мухтар. Тот остановился, настороженный. — Ты что так усердно ходишь в комедатуру, как Тохай на кладбище ходил?

— А тебе что?

— Хочу спросить... Почему они наших людей не забирают?

— А что, плохо делают?

— Покуда не знаю.

— А не знаешь, так сиди и помалкивай, свербит, что ли? — выругался он.

— Они это не от жалостного сердца делают! Ты думаешь, мы ничего не понимаем?

Мачар не только остановился, он и вернулся к нему.

— Я вижу, ты не брата своего ищешь.

— Ты ведь из Домсовета не вылезаеть, словно эта коммандатура от твоего отца родилась.— И сочувственно:— А крепко они тебя насадили, как червя на крючок.

— Ну, ну,— ощерился Мачар.— Не больно-то... То, что перепало Билекчиевым, не досталось нам, Хачыевым. Если я полицай, то твой дядя староста.

— Что ж, вы оба...

Мачар шагнул к нему, щелкнул ногтем по кобуре, долгим взглядом смерил Мухтара и опять щелкнул. Мухтар пошел дальше.

— Мы не торопимся, и ты, парень, не торопись,— сказал ему вслед Мачар.

Пройдя еще немного, Мухтар столкнулся лицом к лицу с мокрым и дрожащим Баширом.

— Что за прогулки такие?— спросил он у Башира.

— Такте!— сказал он. У него зуб на зуб не попадал.

— Я тебе покажу — такие! Сорняк ты эдакий!

Башир молча обошел его и пошел впереди. Мухтар схватил его за плечо. Но Башир сам вдруг обеими руками вцепился в его руку, он снизу заглянул в лицо Мухтару и попытался что-то сказать, рот задрожал, но, так ничего и не сказав, он опустил голову и зашагал дальше.

Проводив Башира до дому, Мухтар быстро пошел той же дорогой, какой шел утром. Река была чистая, прозрачная, в ночную ее прозрачность помещались и луна, и звезды, и собственные ее берега с высокими скалами, и идущий вдоль нее Мухтар. Тихой была в эту ночь река Юрду. И луна мирно стояла на небе, и все вдруг словно остановилось на свете.

Огороды кончались. Мухтар прошел под электролинией. нижние провода которой почти касались гребня скалы, а верхние — низкой луны, и остановился. Огляделся. Прислушался. Ни звука, только тихо гудели провода. На часах стояла луна, и в ярком свете ее не было ничего движущегося. Держась в тени обрыва, Мухтар побежал.

Достигнув ольховника, он пошел медленно, часто останавливался, напряженно прислушивался. И здесь было тихо. При свете луны он нашел то место, где утром с таким позором гнал его по лесу страх. Он опустился на землю и, ползая на коленях, начал руками ощупывать палую листву

и кустики вокруг. Нашел провод, припал к нему ухом: «Зы-ынг... зы-ынг... зу-у... зу-у...» Вытащил из-за пазухи клещи и перерезал провод, держась за провод, прошел дальше, снова перерезал, и так — в нескольких местах...

V

Словно пропустив врага, а теперь гонясь за ним, серые туманы налетели на Жамауат. Странно вели себя эти туманы — вроде того незадачливого горца, который искал следы медведя, хотя видел его самого. Обойдя Домсовет и школу, они сначала нагрянули в Чегет. Точно псы-ищейки, врываются в каждый двор, в каждую щель пролезали, а в огороде Чыкки-кызы они даже обнюхали кучи сжатых кукурузных стеблей. Дальше через зады Домсовета они прошли к Езёну, ничего не нашли и, обескураженные, повисели там с час. Потом побежали снизу вверх, осматривая южные серые склоны. Потом разделились надвое, и часть пошла в Кюнлюм, а часть — в Ажоку.

Первым в Ажоке встретил их дедушка Жарнес.

— Пожаловали, язычники? — мягко сказал им Жарнес.

Серый туман, ничего не отвечая, обнял старика. Радостно огляделся, узнавая старый дом, старый хлев, старый дуу¹, потрогал палку, бороду, мохнатую шапку и наконец сел ему на колени.

— Где слонялся, бродяга? — спросил Жарнес.

Этот двор серый туман знал издавна. Не было ничего и никого ему незнакомого. Он ласково окутал старый плетень, просочился сквозь его щели, постоял на острых подпорках и покатался на нем, точно малое дитя, раскачиваясь туда-сюда. В тот самый миг, когда туман, радуясь встрече, забавлялся так, Башир вышел из хлева, ведя жеребенка. Тут-то они взглянули друг на друга и оба пришли в смятение: и жеребенок прежде не видел туманов, и туманы не видели этого жеребенка. И они встали: жеребенок в изумлении, расставив все четыре копытца, туман — готовый ринуться на него. Первым свое состояние выказал жеребенок — все же он был моложе и потому непоседливей клубящегося тумана. Он глянул сначала на Башира, а потом на туман. Чтобы испытать туман, он помотал головой и боднул его. Кто же он такой, этот серый незнакомец? Желая показать

¹ Дуу — плетенная из ореховых прутиков высокая корзина для хранения кукурузных початков.

свое превосходство, жеребенок высоко поднял свою рыжую голову. Туман решил, что это рыжее существо — один из членов семьи, живущей в этом доме, и в дружеском порыве бросился к жеребенку. Но его не поняли. Как бы ни был приветлив туман, объятие его было холодным — жеребенок поспешил увильнуть из его объятий. Прыжок согрел его больше, чем остудил туман, и он, забыв о незнакомце, подлетая на четырех ногах разом, поскакал на улицу. Туман, разрываясь в лоскутки от обиды, посмотрел на Жарнеса. Жеребенок не принял его дружбы! В спесивом прыжке своем отбросил, разорвал, разметал его и, как ни в чем не бывало, ускакал на улицу. На что только не способны живые души в молодости.

Конечно, если бы в то утро не разлетелась по всему Жамауату весть, от которой, как сказали бы ажокчане, «не дойдя до нужника, поставишь кумган на землю», люди, может быть, с большим вниманием встретили старого знакомого — туман. Но в истории Жамауата, где не было двух одинаковых страниц, случилось такое, чего ни в его сказках, ни в его былях (впрочем, сказки Жамауата порой гораздо правдивее, чем так называемые были, по об этом не здесь) не случалось никогда. Услышав это, жамауатчане застыли: стоявший — стоя, одевающийся — одеваясь, а тот, кто собирался справить свою негрешную нужду, — с развязанной завязкой шаровар. Как бы туман ни рыскал по Жамауату, он был туман — а не волк, и никто не мог загнать туман за решетку! А тут рассказывали, что поймали живого волка, привезли, загнали в клетку, а ключ от замка положил себе в карман начальник жандармерии! Что задумали пришельцы? Зачем этому в черном с прутиком понадобился волк? Вот что волновало в то утро всех жамауатчан, кроме Жарнеса и его Шырлана. Если этот гяур хотел видеть балкарского волка, пошел бы, как подобает мужчине, на охоту и поглядел. Если же ему нужна шкура, волка убили бы и сняли шкуру. Нет, видите ли, понадобился живой! Оттого каждый дым, который выходил из жамауатского дымохода, не тянулся вверх, будто хотел настоять на своем, а застывал недоуменно. И потом уже, нехотя, утягивался в небо — уж на небе-то знали, зачем немцам понадобился живой волк... Дым этот, растягиваясь, превращался в горестную черную линию, словно хотел сказать: зря вы, жамауатчане, смеетесь, пора наконец быть и серьезными, если фашисты обзаводятся живым волком, то тут уже не до веселья.

Слов нет, в неурочный час пришел туман в Жамауат. Приди он на день раньше или на день позже, ему бы оказали честь. А в тот день Жамауат только и думал о том, зачем уважаемый кузнец и охотник Ордан поймал волка, привез его и запер в клетке, которую сам же и выковал. Жарнес первым не поверил этой новости, хотя услышал ее последним. И зря не поверил. Башир, который сообщил ему об этом, был человек осведомленный. И Жарнес, даже не попрощавшись с серым туманом во дворе, отправился на ныгыш.

Не успел он выйти за ворота, как Шырдан крикнул ему:

— Что за нехорошие звуки ты издаешь, Жарнес?— И злорадно хихикнул.

Жарнес огляделся: поблизости никого. И, расхрабрившись, зло посмотрел на Шырдана:

— Чтоб ты худой смертью умер, дурак. Вовсе не я! Это жеребенок там издал какой-то звук.

Шырдан хихикнул еще громче. Но Жарнес отмахнулся от него палкой и пошел дальше.

На холме Ашуг еще никого не было. Жарнес пришел, как приходил обычно, сел, как садился обычно. Вскоре пришел Биязурка из рода Кыштыу.

— Салам алейкум, Жарнес,— поприветствовал он и, обойдя старика, сел по левую сторону от него.

— Покуда живы!— ответил Жарнес.— Где вы были, сын Кыштыу?

— Где ж нам быть теперь,— горестно сказал Биязурка.— Сравнялись с женщинами, вот и сидим, как женщины, дома.

— Это правда, что поймали волка?— прямо спросил Жарнес.

Биязурка молчал. И Жарнес умоля, смутившись, что спросил о том, чего не знает человек.

Жарнес посидел, занятый своими думами. И, забыв о своей недавней оплошности, опять повернулся к Биязурке:

— Сын Кыштыу, слышал ты такое слово — «зомпак»? Что это, я что-то запамятовал!

— «Зомпак»?— переспросил Биязурка.— Не упомяну такого слова. А кто это сказал?

— Есть такой озорник... такой озорник, будто его Шырдан воспитывал. Младший Гейтмырзы. Вот он и говорит: волка привезли, чтобы открыть тут зомпак! Так и говорит, язычник!

Биязурка опять надолго замолчал. Он стал палкой чертить что-то на земле, подводил какой-то счет. Жарнес снова смутился: опять, выходит, спросил человека о том, чего тот не знает.

Воистину: из двух человек ныгыш не получится. И куда Биязурка размышлял, аул Жамауат мог еще раз быть разрушенным и еще раз восстать из руин. К счастью, появился третий — Казак из Жанхотовых, который на сей раз пришел один, без Тебо. Но и он не знал, что такое «зомпак». Тогда Жарнес, оставив слово «зомпак», спросил о волке.

— А это правда. Что правда, то правда,— сказал Казак.

— Коли так, почему я его не видел?— возмутился Жарнес.

— Как же не видел? Видел, наверное...

— Да где я увижу?!

— А это спрости у Ордана,— сказал Биязурка.

— У охотника Ордана?— Жарнес повернулся к Казаку:— Ордан, говорят, что ты один знаешь, что такое «зомпак»?

Казак собрался было сказать, что он не Ордан, но в это время внизу показалась мощная, движущаяся в сторону ныгыша фигура Ордана. Он был кряжистый, краснолицый человек с маленьким ртом и большими круглыми щеками. Лоб пересекали глубокие красно-бурые морщины, и рядом с ними как-то странно выглядели бесцветные брови. Руки его тоже были красные, натруженные, пальцы толстые и короткие. Говорил он не разжимая губ, словно у него болят зубы и он боится вдохнуть холодный воздух или будто он на кого-то сильно злится.

Казак сказал:

— Ордан, Жарнес спрашивает у тебя, ты знаешь, что такое «зомпак»?

— Почему я один это должен знать?— сказал перво Ордан, еще и не выслушав толком, но заранее ожидая от Казака подвоха.— Почему это я обязательно должен знать, Казак, е-а?— И, садясь рядом с Биязуркой, проворчал:— Ни один алан не слышал такого слова. Казак иногда такую чепуху спросит...

Но тут на ныгыш пришел Латырай. И если бы он, всегда сведущий и проницательный, как всегда, не разъяснил смысла слова «зомпак», то, возможно, ныгыш в тот день начался с грызни.

Но он пришел и все объяснил:

— «Зомпак», говорите? И-ех, теперь-то я вижу, от какой болезни вы, незадачливые, помрете: от цевежества. Ведь Башир наверняка сказал «заупак». «Заупак», а не «зомпак». Так, аланы, называется место, куда собирают диких зверей.

Ордан вскипел не на шутку: значит, его не потому спрашивали про «зомпак», что не знали, а потому, что именно он, Ордан, поймал фашисту волка. Он уже был готов излить свой гнев на Казака, но тот поспешил его успокоить:

— Не убивайся, Ордан. Ты всего лишь волка поймал, а есть люди, которые подарили им скакуна...

— Как же! Пусть вам аллах с такой же охотой поможет, с какой я этого волка ловил!

— Ты уж, Ордан, прямо скажи: «Чтоб вам аллах никогда не помогал», — уточнил Биязурка.

Теперь ныгыш наполнялся быстро. Латырай — то есть Хаджибекир пз Тамазовых, который когда-то приходил после Курмана-эфенди, занял место эфенди — как-никак новый мулла. Вслед за Латыраем пришел Ережип — Мусса из Атабаевых, за Ережипом — Кыйык, сын Кесуана. Сегодня на ныгыш пришел и Мачар, который не появлялся здесь с того самого собрания, на котором его не выбрали председателем.

— А нелегко поймать волка, — сказал Кыйык. Он был почти еще молодой, только хромал. Когда-то свалился со скалы, сломал ногу, а она срослась криво. И только потому, считал он, его не взяли на фронт. — Никак не могу представить, как это волк дал себя поймать...

Латырай:

— А что поделаешь, коли в капкан попадешь?

Жамауатские мужчины всегда были большие мастера рассказывать с чужих слов тому, кто сам был очевидцем. Биязурка вспомнил это и громко зевнул.

— Говорите, на стадо волки напали? — спросил, выйдя из своего глубокого молчания, Жарнес.

— Да ты не слышишь, что ли, Жарнес, Ордан волка поймал!

— Э-эй?

— Да, тейри!

— Оррай, биррай, дря врага ворка поймать... это, кря-нусь отцом... — сказав это, Ережип посмотрел в сторону.

— Аллахом прошу, Мусса!.. — повернул его взгляд к се-

бе Ордан. И вспомнив что-то:— Если ты такой смелый, то почему вернулся из-под Орджоникидзе, е-а?

— Чтоб дом твой был порной чашей, как же я мог там пройти, когда там было войска... подсчитать, так не меньше двухсот будет,— спокойно ответил Ережин. Он и не думал, что чем-то обидел Ордана.

— Двести, говоришь?— переспросил Жарнес.— Да, это много.— И он повернулся к Биязурке:— Как ты полагаешь, Биязурка. в японской войне... было там столько войска?

Биязурка снова зевнул. Он вытащил из нагрудного кармана николаевские часы с длинной цепью, посмотрел.

— Ну, а где волк?— спросил Латырай.

Ордан смягчился немного и рассказал, как было дело.

— Знаете этого немца, ну, в черном который, по аулу как пес носится и сам себя прутом подгоняет?

— На японской, наверное, было двести...— хорошенько все взвесив, сказал Жарнес.

— Это ему понадобился волк, чтоб он его мать задрал! «Или, говорит, поймай, или из тебя мишень сделаем. А что мне оставалось делать? Жизнь, аланы, каждому дорога. Взять хотя бы Жабраила, сына Локмана, как ведь с ним получилось? Возвращался он с фронта, они — цап его в лапы. «Или, говорят, служить нам будешь, или мишенью тебя поставим».

— А у этих... неужели больше, чем двести?— спрашивал себя Жарнес.

Биязурке оставалось только зевать.

— «Аллах пусть покарает вас,— сказал им на это Жабраил и поставил условие.— Хорошо, говорит, если вы обещаете никого не трогать, я буду вам служить». Так сказал им сын Локмана. А те, значит, согласились, самый главный обещал ему. Отчего, вы думаете, аланы, они никого у нас не трогают?

На этот раз Биязурка так зевнул, что на глаза навернулись слезы. Положив обратно часы, из глубокого кармана широких вельветовых шаровар вытащил не первой свежести платок и вытер слезы.

Ордан:

— И вот в тот день, когда мы всем Жамауатом на сход собирались, пришел я со схода и ковырялся у себя в кузне, и входят туда сын Локмана, этот с прутом и еще один — толмач. Черный говорит: ты кузнец отменный, но мы знаем, ты еще и охотник. Он все это говорит через этого, через

толмача, а он говорит Жабраилу, а Жабраил мне. Этот немец, пусть его грехи при нем останутся, говорит на сей раз учтиво. Начертил на бумаге, показывает: вот такую, говорит, клетку сделаешь. Вот тут, говорит, будет небольшая дверь, не забыл, проклятый, даже, где замок нужно вставить, чтоб дом его обрушился. А потом, говорит, поймай волка — хоть капканом, хоть ловушкой, как хочешь, говорит, дело твое. Что мне делать было? Пошел, изловил его, проклятого, привез.

Кыйык:

— Да ты скажи, как поймал-то?

Латырай (с обидой):

— Ведь я уже говорил. Ты никогда ничему не веришь, сын Кесиуана.

— Коли говорите: скажи и это — скажу. Вы же знаете Суу-Кошулган...

Латырай:

— А как же. Дай вам бог столько сена, сколько я там в своей жизни накопил.

Ережип:

— Там всегда кош Асранкирова Дока стойр, я помню.

Казак:

— Дайте же ему рассказать, аланы.

— Поднялся я выше от Суу-Кошулгана вверх, но не в сторону Тогайлы, а к холму Терен-колла. Пока я дошел дотуда, забрезжила заря. Такое замечательное ружье дал мне этот, ну, пусть имя его будет упомянуто на задах. Пора ставить капканы. Как раз время волкам возвращаться с охоты. На волков ходили, повадки их знаем. Ну что... ставлю капканы. И цепями крепко привязываю к деревьям. Сам же отошел так, чтобы ветер от капканов на меня дул. Лежу, жду, теперь только и осталось ждать. Чтоб материнское молоко сблевал этот немча, во всем лесу, кажется, ни одного зверя не осталось. Не то чтобы волком, даже несчастным барсуком не пахнет. Что же мне делать, думаю. Вернись без волка — так немча этот тебя же в твою же клетку и посадит. Вот и лежу. Ни еды, ни воды, легко ли в месяще абустол¹, глядя на день и глядя на ночь, лежать. Прошел день, наступил вечер. Слышу, волк завыл. Клятву дам — и живот не заболит: между тем, как я услышал вой волка, и тем, как он завыл в капкане, времени прошло

¹ Абустол — октябрь.

меньше, чем я вам об этом рассказываю. Поднимаюсь, гляжу, аллахом клянусь, волк этот лапу свою грызет. Я даже песню про охотника Гежоха вспомнил, ну, того Гежоха, который был заперт на скалах и своими мускулами кормил свою собаку. Теперь что, надо надеть ему намордник. А разве к нему подступишься? Я — туда, он — сюда, я — сюда, он — туда... Ну и я разозлился. Срубил длинный шест с рогатиной, прижал его шеей к земле. Даже шест мой гнулся — такой был сильный волк. Еле одолел я его. Надел наконец на него намордник. Связал ему ноги, потащил вниз... Привез, что поделаешь, попробуй не привези.

— Самец или самка? — спросил Биязурка, который давно уже не зевал.

— Не знаю, не смотрел, — пробурчал Ордан. — А кому пужно, пусть пойдет и посмотрит.

— Самец, — сказал Мачар. Сидевшие на ныгыше словно только сейчас заметили Мачара, разом посмотрели на него. — Я слышал от Байчо, — пояснил он

Казак:

— Почему от Байчо?

Мачар:

— Почему, говоришь? Потому что теперь Байчо смотрит за волком.

Жарнес:

— А что, волк на стадо напал?

Биязурка (с тревогой):

— Щедр аллах на удивительное, что же этот фиргауун будет делать с волком?

Но Мачар не захотел больше участвовать в разговоре, сел рядом с Латыраем и замолчал.

— Ой, оррай да биррай, я скажу, а вы запомните, не зря это немча ворка держит, — предупредил Ережип.

Кыйык переложил кривую ногу на здоровую и сказал:

— Ну, наверное, посмотреть захотел.

— А то ворка не видер, — сказал на это Ережип. — Запомните: этот ворк еще натворит беды.

— Мне запоминать нечего, я его сбыл с рук, — угрюмо ответил Ордан.

— Аран Ордап, спросить не зазорно, есри, скажем, ты ворка поймар, а ворк, араны, скажем, задерет кого-нибудь, кто будет в этом виноват? А? Ну, скажите, кто?

Ережип был человек простой и в этой своей простоте касался таких вопросов, о каких другой, прежде чем коснуться, подумал бы трижды. А он знай тянул их, словно

черные кишки из убитого кабана. Тянул и даже не видел при этом: больно другому или нет.

Ордан же, хотя и был кузнецом и охотником, был человеком обидчивым, а когда человек обидчивый еще и силен, то такому тщедушному человеку, как Ережиц, остается рассчитывать только на аллаха. Нет, Ережиц, хотя и прожил на свете немало, но петлять так и не научился. Лицо Ордана багровело и багровело, сидевшие рядом чувствовали, как напрягалось его тело. Но Ережиц еще сказал:

— Пусть никто не думает, теири, что враг так и останется здесь! Те войска, которые я видер на Тереке, дойдут и сюда...

И этот камень был в огород Ордана. Не в огород даже, а напрямик в кузню — большой с острыми углами черный камень.

Ордан медленно встал. Широко расставил ноги. Кулаки его, с средний кузнечный молот величиной, сжались, уперлись в бока-а...

— Ордан, пора домой, — сказал Биязурка, когда он проходил мимо него.

А когда Ордан проходил мимо Латырая, Латырай сказал Биязурке:

— Успеете, успеете, куда теперь нам торопиться.

А Кыйык с другой стороны круга хихикнул:

— Ордан, почему же ты не отвечаешь Ережицу?

Тем временем Ордан уже дошел до Ережица. Взял его за ворот шубы, приподнял и поставил на ноги.

— Что ты болтаешь, родившийся от попа! — сказал он.

Ережиц, не ведая, в чем дело, мягко сказал:

— Ты и сам ворк, еси по правде, орраий, бирраий...

— Свет божий он раньше тебя увидел, — сказал Ордану Биязурка, напоминая тем, что старшего обижать нельзя.

— Аллах один, — сказал Жарнес. — А пророков много. Бот вы не знаете, а пророк Юсуф был очень красивый человек. И это нынешнее наше солнце аллах создал по его красоте и подобию. Хоть тысячу раз говорите, хоть сто — но это так.

— Убери руку, орраий, бирраий, покуда я не рассердился, — сказал Ережиц.

Жарнес забеспокоился:

— Похоже, что сегодня наш выгыш испортился. Биязурка, почему ты ничего не говоришь?

— И ты еще угрожаешь? Что я, предатель какой или дезертир? — заревел Ордан.

Жарнес:

— Что они дерутся?

Биязурка:

— Больше драться не с кем!

Жарнес:

— А что, враг уже ушел из нашего аула?

Биязурка:

— А с врагом драться кому охота? Легче друг с другом драться.

Тогда Жарнес обратился к дерущимся:

— Перестаньте, вы, чтоб вы больше не росли! Кровь кипит — так идите, камни катайте, лишь бы эти гяуры вашей слабины не видели.

— Только перед стариками стыдно... — сказал Ордан, отпуская ворот Ережипа. — Если даже в шутку говоришь, говори, думая.

— Оррай, биррай, еси бы хоть ногтем меня тронур, — сказал Ережип, садясь на место.

Ордан ушел, твердо пообещав себе больше на ныгыш не приходиться.

Он еще не исчез за спуском, как на ныгыш пришел сам Жабраил Локманович.

— Салам алейкум, — сказал он и обошел круг, поздоровавшись со всеми стариками за руку.

— Как дела, джигит? — всматриваясь в него, спросил Жарнес. — Что это у тебя на поясе? Никак пистолет? Даи посмогрю! — Жарнес смутно помнил, что этот цветущий мужчина — его родственник, и ему хотелось похвастаться этим перед стариками.

Жабраил сделал вид, что не услышал.

— Аксакалы, я вам хорошую весть принес, — сообщил он.

— Говори, — сказал Биязурка

Все приготовились слушать.

— Не сегодня-завтра мечеть открывают.

Первым откликнулся Кыйык:

— А этому пусть радуются те, кто намаз умеет совершать.

Латырай ему:

— И ты не маленький, сын Кесиуана, пора бы и тебе научиться.

Кыйык:

— Я учусь, Хаджибекир, алхаму и кулфу¹ уже знаю.

¹ Алхам а, кулфа — суры корана.

Ережип:

— Бог тебя на путь истинный направир.

— Ты свое слово говоришь, сын Локмана, или же говоришь слова пришельцев?— поднял голову Биязурка.

— Нынче слово принадлежит им,— сказал Жабраил.

— Джигит,— сказал Жарнес.— Аллах один, а пророков много. Во всех пяти горских общинах никто не знает этого лучше, чем я. И каждый день каждый мусульманин должен совершать намаз семь раз¹ — и об этом лучше меня никто не знает. Так что скажи мне, джигит, коли уже давно семь дней, как они пришли, то думают ли они об обратной дороге?— Глянув на Биязурку, хитро рассмеялся: — А мы знаем — засидевшийся гость может и седло свое потерять.— И, не найдя отклика у Биязурки, досмеялся один.

Жабраил покосился на Мачара. Тот слушал, не упуская ничего, и запоминал. Жабраил, делая ударение на каждом слове, сказал:

— Будьте вы живы, будет все хорошо...

— Оттого, что мы живы, пользы мало, вы, молодые, будьте достойными,— сказал Биязурка серьезно.— Ты сказал, что слово теперь принадлежит им... Я, джигит, не возьму в толк, слово им принадлежит или сила?

— И слово, и сила.

— Это печально,— сказал Биязурка. Ныгыш молчал.— Это очень печально. Сила может и прибывать, и убывать, а слово — оно как правда. Или с нами, или его нет. Тейри, джигит, умно ты рассуждал когда-то перед войной...— Редко так говорил Биязурка, но уж если говорил, это было слово всего ныгыша.— Много раз мы слушали твои речи. Однажды ты очень верно сказал: мы не были народом, а теперь народом стали... Так? Я не забыл?— Жабраил не поднял головы.— Ну, народом мы всегда были, наверное. Но ведь не только быть, надо еще и знать. А кто это знал? Поди, Жарнес это понимал, или вон Латырай, или Кеспуан, или отец его Чыбыкчи... Или вот этот старичок,— Биязурка показал палкой на Ережипа.— Тейри, знает аллах, мы тогда, наверное, были аулом, так аулами и жили, но вот народом не были... Оттого, что не было единения. Мы говорим: орус, орус². Тейри, если бы не он, мы так и жили бы аулами. Язык у него другой, и вера его другая, но помыслы у него верные, такие же, как и у нас. Мир пришел к нам в эти короткие годы, валлахи, пришел. Пришли к нам доро-

¹ Жарнес ошибается — должно пять раз.

² Орус — русский.

ги, пришел свет, и слово пришло. Как мы добирались до Баксана? Помнишь, Жарнес? («Хоть и не вспоминай», — вместо Жарнеса со вздохом ответил Ережиц.) Это я к тому говорю, что и ждали мы только лучшего. И вот началась эта война. Там, при немцах, я этого не говорил, а тебе пусть будет известно, джигит: не та игрушка мечеть, чтоб мы обманулись ею. Хотя найдутся, наверное, и такие, кто охотно ею утешится. Эти — как дети. Те тоже радуются, когда посуда бьется: из одного маленького блюдца столько красивых черепков получилось! Но в Чегете таких нет. В разграбленном дому...

— Дом, дом... Какой у тебя дом! — зло сказал Мачар.

— Может, у тебя его и нет, не знаю, а у меня есть! — сказал Биязурка и ткнул палкой в землю.

Однако спор этот, на взгляд Жарнеса, не стоил и копейки. Он жалел, что пришел сюда, — теперь надо спускаться и подниматься по склону, добираться домой. Но чтобы встать и уйти, нужна была причина. И он сказал:

— Опять эти озорники на скалу Чохана забралась! Видать, не успокоятся, пока не обрушат ее на дом Хаджи-Османа. Надо сходить. — И он обратился к Жабраилу: — Джигит, вижу, у тебя и лошадь есть, не поднимешься ли ты на Чохапу? — И объяснил: — Много детей зашиблось, пытаюсь свалить эту скалу. Боюсь, как бы кто-нибудь опять не убили.

С тем Жарнес и отправился. Странно он шел: как малое дитя, топ-топ, ступая всей немощной тяжестью на пятки, словно танцую какой-то старинный языческий танец, кривясь то вправо, то влево, левую руку при этом заложив за спину под шубу, а в правой держа палку, которой при танце выписывал что-то причудливое на дороге. И покуда Жарнес, танцую, не исчез за поворотом, все, кто был на ныгыше, смотрели ему вслед.

Потом, как обычно, после Жарнеса ушел Биязурка. После Биязурки разошлись беспорядочно и молча. На ныгыше остались Жабраил и Мачар. Как стояли, так и остались стоять, будто друг друга и не знают.

VI

Зачем же Карлу фон Гельмуту понадобился волк? Чтобы видеть перед собой живого волка и сравнивать звериные повадки со своими? Или же?..

Ведь когда речь идет о Гельмуте, не стоит выбирать од-

ну какую-то форму жестокости — только человеческую или только звериную, ыр-рр... Волк, конечно, был родственной душой, почти братом, его образом, одетым в серую с рыжим подшерстком шкуру, но в Гельмуте было и свое — жестокость его была с оттенками, она была богата, как погода, она была всегда и всегда была разной. Но не только для этого, даже совсем не для этого хотел он иметь под рукой живого волка.

За исключением войны, Гельмут считал лучшей из всех игр, придуманных человеком, бой гладиаторов. Из всех народов и рас только древние римляне умели устраивать представления, лишь они знали толк в празднествах и играх. Римляне — вот кто всегда удивлял Гельмута! Они на арену вместе с гладиаторами выводили и львов. Они умели наслаждаться! Потому что жестокость — самое яркое, самое впечатляющее проявление жизненной силы. Вот зрелище, улаждающее душу и тело: в смертельной схватке сплелись две жестокости — человечья и звериная. Стоило Гельмуту хоть минут пять посидеть, воображая эту картину, — он чувствовал себя разбитым, обессиленным тело ныло от усталости, разламывалась голова... О, как он мечтал сидеть там, в амфитеатре, пусть даже не в сане императора, пусть даже только в роли патриция.

Впрочем, несбыточного в этих желаниях нет. Древнеримские ритуалы, триумфы и триумфаторы, бои гладиаторов — все это будет... Германский меч и фашистское учение дадут это... А ведь с чего-то нужно начинать. Например, почему бы не устроить бой партизан с волком? Какой интерес — взять и уничтожить попавшего в плен комиссара или партизана? Его надо превратить в раба. Если раб сильный — в гладиатора. Мы хотим быть хозяевами мира, и, значит, мы должны поставить дело таким образом, чтобы все на свете — и люди, и земля, и звери на ней — в одинаковой степени служили нам, людям высшей расы. Только ради этого и можно проливать свою кровь.

Гельмут, если ему случалось задуматься о закопах природы, приходил к выводу, что вся их мудрость заключена в законе о сильных и слабых. То, что природа в животном мире предназначила волкам, в человеческом мире история предназначила Гитлеру. Удивительное совпадение! С этим чувством, от которого на мгновение даже теплые слезы навернулись на глаза, посмотрел Гельмут на волка.

— Хоть ты и оскалился на меня, мы с тобой братья. Больше того, мы — соратники, — сказал он волку.

Волк, уже освобожденный от пут и намордника, сидел в клетке, в большом подвальном помещении. Высокие окна его темницы, забранные решетками, казались ему теснее и холоднее, чем скальные щели, оттого завывало его сердце, глаза волка были полны тоски и ненависти.

— Каждому немцу твоей бы кровожадности! — сказал Гельмут.

«Оу, как бы я разорвал тебя, как бы разорвал».

— Успокойся, ну, успокойся, я не враг тебе, — говорил Гельмут, подходя к решетке. — Я хочу поговорить с тобой.

«Гр-рр... Так бы и разорвал, так бы и вырвал твою глотку, нга!»

— Я вспомнил сейчас древнюю легенду, не помню, чья она, только не германская: но в ней есть правда. Легенда гремен сотворения мира... — Волк сел на задние ноги, наостря уши. — В самом начале, когда был сотворен мир, была Женщина. После Женщины был Мужчина. Между небом и землею кроме них двоих не было ничего — ни людей, ни какой другой твари. Потом Женщина вырыла большую яму и начала выводить там зверей. Последними Женцина создала диких оленей. Увидев это, бог удивился. «Вот то прекрасное, что создала природа, подвластная мне, — воскликнул он. — Поклоняйтесь, люди, оленям — они станут вам кормом и одеждой». Женцина послушалась бога и отпустила оленей, чтобы они плодились и размножались. Олени послушались Женцину, быстро стали размножаться, и вскоре вся земля была полна оленями.

Прошли годы. Сыновья Женщины охотились на оленей, были сыты, красиво одевались, а жилища их были покрыты оленьими шкурами. И они поклонялись богу и оленям.

Но сыновья Женщины убивали только здоровых и сильных оленей. Худых, больных, старых не трогали. И однажды видят они: болезнь начала косить оленьи стада. Не было теперь в оленьих стадах здоровых, жирных, а шерсть их не блестела, как раньше. Увидев это, сыновья Женщины опечалились, пожаловались матери.

Тогда Женцина пошла к богу и обратилась к нему с такими словами: «Ты мудр. Почему олени стали слабыми? Если мы будем питаться слабыми оленями, то и мы станем слабыми...»

Выслушал бог Женцину и ответил ей так: «Я мудр. Я скажу Волчьему Вожаку, а он призовет других волков, и они помогут оленям...»

И все сбылось, как сказал бог. Волки пошли и спасли

оленьи стада от гибели, они вырезали всех слабых, больных и старых. Остались только олени здоровые, сильные, с блестящей шерстью.

Недоуменно слушал волк сказку Гельмута. А когда он кончил ее, опустил на передние лапы. Человек потерял для него всякий интерес.

Гельмут стоял у окна. Волк лежал, положив голову на передние лапы. Они смотрели друг на друга: Гельмут — взглядом испытующим, волк — взглядом презрительным.

— Как видишь, в миссии улучшения живых существ волки — наши братья, — сказал, улыбаясь, Гельмут. — Если бы ты был существом разумным и понимал, что к чему, ты бы не смотрел на меня так. И я бы не держал тебя в клетке. Пошли бы мы с тобой рука об руку уничтожать слабых, больных, полоумных, неполноценных...

«Ыр-рр, нга! О, если бы мне добраться до тебя!»

— Я буду держать тебя для страха. После войны я буду путешествовать по разным странам и буду возить тебя с собой. Разной крови отведаешь ты тогда.

«Оу, крепость решетки!»

Волк переломил наостренные уши вперед. Он смотрел с насмешливой издевкой. Взгляд его был светлым, спокойным, он признавал свое превосходство. От нахлынувшего гнева у Гельмута вздулись жилы на шее, он схватил длинный шест и через решетку ткнул им в волка.

«Не я, а ты начал разговор, — осклабился волк. — Ты один, и я один. Брось шест, и давай схватимся. Кто сильней, тот и останется... Если верно, что на земле должны жить только сильные».

— Э-э, — сказал Гельмут, покачав головой — Э-э. — Больше он ничего не мог сказать.

«Тогда зачем пустые разговоры?..» — Волк отошел в глубь клетки, свернулся и лег. Он закрыл глаза, и опять заскулило его сердце.

Скоро ночь, и он опять услышит запах той, которая ничего не знала о нем, исходя тоской, рыскала вокруг аула... Запах его, пленного, смешанный с запахом железа, доносился к ней словно откуда-то из-под земли. А туда ни силой, ни мольбами она попасть не могла. Она в отчаянии скулила и царапала когтями землю. В сводящей с ума тоске бегала по старым его следам, рыскала повсюду, а днем пряталась где-нибудь поблизости от аула. В загнанных, рваных, коротких снах к ней приходила смерть в облике сытых разъяренных собак, она вставала, уходила из щели, так и просижи-

вала до вечера, одна-одинешенька, на ветру, на холоду... Страшна решетка, но страшней остаться в лесу покинутой, не зная, куда идти, где искать души своей другую половину, где склонить голову, чтобы умереть...

* * *

До того постыдного мгновения, когда скрежетнуло железо и челюсти капкана, достойного детища хитроумной человеческой подлости, захлопнулись на его ноге, Жел-аяк был волком в полном достоинстве, знающим себе цену. Среди других волков он отличался и ростом, и особой привлекательной мастью. На охоте он всегда был впереди и нападал первым. А теперь он сидел в клетке, ел пищу, добытую не им, оттого мясо, которое швыряли ему, не имело никакого вкуса.

Во второй раз он в своей волчьей жизни почувствовал одиночество. Горькое это было чувство — пронизывало даже его жилы, весь костяк — прочный, надежный костяк, который легко прыгал с огромной высоты, по отвесной круче нес на себе тушу большого барана, с лету валил оленя, а в кровавых схватках с соплеменниками был быстрее и сильнее, чем костяк самого быстрого и сильного противника. А впервые это чувство он испытал еще щенком, когда их, четырех братьев, впервые вывели на охоту и трое погибли, оставшись под оползнем. Он, хотя в семье был самым младшим, спасся только благодаря своей сметке и быстроте. А когда старые волки немного отошли после гибели своих щенков, всю свою любовь они обратили на него. Нежно любили, но сурово воспитывали, вели на охоту, заставляли его, малого щенка, свою еду добывать самому. И они были довольны его охотой. Сильный волк выросал в нем, его умению, отваге, быстроте и злости могли позавидовать самые опытные волки. К году жизни он уже был удачливым охотником, и если выходил на след добычи, то не упускал ее.

Его прозвали Жел-аяк — Ветропогий!

Однажды глубокой осенью Жел-аяк, обыскав всю свою округу, но не встретив никого, за кем можно было бы пуститься вдогонку, голодный и усталый бежал домой. Перебегая через гребень холма, он увидел в долине волчью стаю. Чужие. Пересчитал. Шестеро. Отец и мать. Из щенков трое самцы, одна — самка. У них сейчас тоже пора разделения. Ищут место для охоты.

Так он стоял и замышлял и вдруг заметил на холме по

ту сторону долины стадо оленей. Но он не бросился за стадом, а дал знак тем, внизу,— оленям! Волки разом посмотрели вверх, увидели Жел-аяка.

— Идет оленья стада,— сказал он им. И, ожидая ответа, встал, расставив мощные передние ноги, выпятив сильную, блестящую на солнце грудь.

— Жди нас!— дали знак волки внизу.

Уже подбежав совсем близко, волчата пропустили старших волков вперед. Мать-волчица мордой коснулась морды Жел-аяка, потом матерый волк-отец, а дальше волчица-дочь и три брата. Волчица-дочь дольше других задержала морду у морды Жел-аяка, и у старого волка мыском подпернула губа, высветив клык. А дочь приглашала Жел-аяка на совместную охоту, сомкнула передние ноги с белыми отметинами и вызывающе смотрела на него, улыбаясь карежелтыми глазами. Этот вызов, эта улыбка истомой прошли по всем его костям, он бы сейчас вытянулся весь и скулекул — если бы позволило воспитание.

— Ступай вперед!— приказал ему старый волк. Но дочь свою, так бесстыже глядевшую на этого чужака, вперед не пустил.

Жел-аяк повел их в обход. Лесистой горой, охватившей долину с юга, они вышли к оленям выше той поляны, где они паслись.

Жел-аяк знаком остановил волков. И тотчас же сам, словно камень из пращи, влетел в оленья стадо. Олени рассыпались в разные стороны. Жел-аяк начал травить косяк из пяти оленей, то забегая вперед, гнал его обратно на поляну, то, пустившись в безумный бег над пропастью, мотал их, как будто без цели, а так, для своего удовольствия. Наконец он выбрал самую высокую, самую здоровую олениху в стаде. Олени, обезумев от бега, стали скатываться вниз по откосу. Жел-аяк сверху прыгнул на олениху. Та в высоком прыжке отбросила его, он отлетел в сторону, вскочил и, горя от стыда — ведь за ним следила волчья семья и та, которая взглядом заквасила ему кровь,— снова широким гневным наметом понесся за оленихой. Хотя он успел изрядно помотать оленей, силы у него еще были, и, когда остался только просвет прыжка, он оттолкнулся, пронесся по воздуху — удар был такой, будто шея оленихи тоже прыгнула ему навстречу, но он сильными лапами удержался на ее спине и, уже падая вместе с оленихой, вцепился зубами ей в шею. Еще не коснулись они земли, как Жел-аяк перекинул свое тело подальше от копыт — в страшных

судорогах они не то что из какого-то волка, бедного жахи-ла, они из горы, в которую бились, могли вышибить дух. Олениха билась, извивалась, борясь за жизнь. Жел-аяк до ломоты в челюстях давил и давил на шею, уходя от копыт, от которых рябило в воздухе, дугой проволока олениху по залитой кровью палой листве. Улучив момент, он вцепился ей в горло и, с силой отмахнув свою большую голову, вырвал его. Отпустив олениху, встал над ней, даже не глядя на ее затихающие содрогания.

Теперь можно было пригласить следившую за ним волчьей семьей на шир.

Так познакомился Жел-аяк со своей будущей родней. После этого они часто ходили на охоту вместе.

Прошла осень, прошла зима. А весной они с юной волчицей сошлись. Он назвал ее Кек-бел — Серая спинка. У нее по спине от хвоста до загривка шла рыжевато-серая полоса, разделившись на загривке, обегала шею и снова сливалась на груди, там она была совсем светлая, почти голубая.

Новая семья поселилась в ложбине, облюбовав ее для охоты и логова.

На охоту они ходили чаще вместе — Жел-аяк и Кек-бел. Никаких раздоров, размолвок они не знали. Случалось, на охоту Жел-аяк уходил один и несколько дней не возвращался. В такие дни Кек-бел тосковала, места себе не находила; и ложбина эта Назылы, и логово это глубокое — все было постыло. Неподалеку белела скала. Кек-бел выходила на нее и выла.

И в ту ночь на охоту Жел-аяк вышел один. Кек-бел была тяжела чревом. Она собиралась стать матерью, и Жел-аяк не мог рисковать ее здоровьем.

Охота есть охота, но Жел-аяк был тревожен. Смутно было на душе. Мучило что-то. И сумрак вечерний был тяжел. Может, захворал? Нет, ничего такого... Голоден, правда, и вот смутно, тревожно... Пока еще не отошел далеко, он провыл тихонько, дал знак Кек-бел.

...Почуввав запах убоины, Жел-аяк остановился. Первое, что он почувствовал, — потекли слюни. Да, все же он был голоден — столько дней они ничего не ели, не задавалась у них охота. А тут, прямо у дороги, исходя вкусным щекотливым запахом, лежало мясо. Эта убойна могла быть остатками добычи других волков, припрятанной на потом. Жел-аяк попытался в запахе мяса различить волчий дух. Нет, не было тут ничего волчьего. Пахло чем-то вроде че-

ловека и еще железом. Но что нынче не пахнет человеком или железом. Сама земля провоняла ими.

И Жел-аяк побежал к убоине. Что же он — ленился добывать пищу сам? И на падаль был согласен? Или Жел-аяк теперь уже не Жел-аяк? Тоска, голод, запах мяса отбили у него весь разум. И еще — большое любопытство: что за мясо, откуда? Как оно прекрасно пахнет и как хочется есть! Не могло ведь мясо в сезон волчьей охоты так просто лежать у дороги. Стыд тянул его назад, а голод и любопытство — вперед, и Жел-аяк зигзагом, готовый с досады кусать самого себя, приближался к капкану.

И у зверей и у людей повсюду одинаково: когда беда подстерегает их, они сами идут к ней. Вот и Жел-аяк — петлял, но шел к своей беде, Жел-аяк, ни разу не совершивший ни одного недостойного поступка, только своим трудом добывавший себе пропитание, не знавший иной вражды, кроме открытой и честной схватки, и не предполагавший, что в мире существует эта подлая человеческая уловка — капкан. Так шел он к своей клетке, выкованной кузнецом Орданом. Шел и не знал, как Кек-бел будет искать его и, не найдя, будет выть, будет рыскать, теряя силы, теряя свет в померкших глазах... Шел, не зная, что это не мясо возле присыпанного листьями капкана, а его, Жел-аяка, будущее, его муки пахнут падалью.

В тот миг, когда Жел-аяк только почувал запах мяса, заняло сердце Кек-бел. Но в следующее мгновение, решив, что ей просто почудилось, они перелегла на другой бок. И снова вздрогнула, услышав какой-то далекий тревожный вой, маленький обрывок которого донес ветер. Она уже не могла лежать в логове. Встала, вышла. Было темно. Кек-бел побежала по тропке, по свету своих глаз, не отрывая морды от его следов. Запах был слабый, такой неповторимо милый, родной, и он придавал ей уверенности. Взбежала на гору. Ночная холодная тишина высокой степой встала перед ней. И словно двери в этой глухой степе замкнулись за Жел-аяком, а Кек-бел осталась на этой стороне, в страхе она стала бегать у подножья ее.

Она завывала.

«Где ты? Где ты пропал?» — спрашивала она.

Кричала: «Я боюсь, отзовись!»

Молила: «Не иди на эту падаль, вернись назад! Верни-ись».

Жел-аяка не было. За черной стеной начинались жестокие, подлые дела.

Кек-бел в отчаянии прыгнула изо всех сил и, падая, опрокинула черную ступу. Сама упала вместе с нею, скатилась по склону и только внизу вскочила на ноги, быстро нашла запах Жел-аяка, побежала, обнюхивая еще теплые следы. Но не было утешения от этого бега — она опоздала. В ответ на долгий вопль она услышала жалобный, недостойный Жел-аяка скулеж. Он гремел цепью, кусал свои схваченные железом лапы, кусал землю, грыз тяжелый, выпрыгнувший из вороха листьев капкан, он был готов провалиться сквозь землю, но сильная тяжелая челюсть крепко держала его.

Кек-бел видела это. Видела, но не понимала. Перед Жел-аяком ничего не было, никакого зверя, но обе передние лапы его были намертво схвачены кем-то, — может, сама земля ухватила их?

Кек-бел в отчаянии бросилась было на помощь, уже все четыре лапы собрала вместе для прыжка, но тут к Жел-аяку подошел человек. Он нес с собою ту страшную палку, после грохота которой ни один зверь никогда не встает.

Человек срубил деревце и прижал ею Жел-аяка к земле, потом прыгнул на него, придавил всем своим большим телом и надел ему на морду что-то зловещее и омерзительное, и Жел-аяк совсем затих. Кек-бел с налитыми кровью глазами смотрела, как ее мужа, первого волка среди волков в лесу, ломает, гнет к земле человек. Потом он, волоча Жел-аяка, как занесенный паводком чурбан, спустился к берегу реки. Там его ждало что-то большое, перед которым стояли два вола. Он бросил Жел-аяка туда, сел сам, волы тронулись.

VII

Итак, Байчо работал у немцев. Пришел к нему Жабраил и сказал, чтобы пошел к немцам на кухню — будет там скотобоем. Когда же Ордан притащил волка, к его обязанностям прибавился еще уход за волком. Еще через несколько дней Байчо сказали, чтобы он один раз в день возил бачки с баландой пленным, которые чинили мост.

Освежевав бычка, он относил мясо на кухню. Внутренности, голову и ноги откладывал для себя, чтобы потом отнести домой. Немец-повар смеялся над ним: темный, дескать, человек, брезгливости не знает, даже бычьи кишки готов есть. Но, по мнению Байчо, этот немец сам был до-

стои жалости: мужчина, который не отведал толстой жирной говяжьей кишки, чем он может похвалиться, что же тогда вкусного ел он в своей жизни! И наверное, никогда не ставили перед ним вареной бычьей головы! Но Байчо любил свое время и не спорил с этим язычником, он брал бычью внутренности, шел на реку, тщательно промывал их там, отскребывал, отжимал и в двух ведрах уносил домой. И многочисленная его семья всегда была сыта, губы его детей были в жиру, здоровье так и выпирало из них. А весь труд Байчо: забить бычка, освежевать, отнести мясо на кухню, бросить волку в клетку его долю, в полдень отвезти обед тем, у моста, — и может идти домой. И хотя даже собственные дети ругали его, Байчо своей жизнью был доволен.

В тот день с большим куском мяса он подошел к длинному приземистому зданию, в котором прежде была столовая для работников Домсовета. Из-за двери допеслось рычание волка. Байчо остановился, припик ухом к двери. Волк уже хрипел, а тот смеялся.

Байчо был полон жалости к волку. По существу судьба волка ничем не отличалась от судьбы тех, кто сидел в другом подвале неподалеку отсюда. Волк так же, как и те люди, терпел насилие без вины. Видя это, Байчо смутно догадывался, что люди, на которых он работает, несправедливы, что живут они неверно. Каждый день он видел, слышал, испытывал что-то — и потому задумывался о многом. К вечеру он словно просыпался от сна и вспоминал день, как пройденный сон. И как порой один какой-то сон кажется человеку полнее всей его прожитой жизни, так и Байчо вечерами казалось, что видел и пережил он за день столько, сколько не испытывал за всю прошлую жизнь.

Байчо мог выполнить любую работу — его руки умели делать все. Конечно, руки его не умели, скажем, играть на гармонии или стрелять из ружья — но ведь это не работа, а забава. Не знал он и кое-какой женской работы — он, Байчо, слава богу, Байчо, а не женщина. Еще он не мог сделать часы или, скажем, сепаратор — но этого не мог сделать никто не только в Жамауате, но, как он полагал, и во всех пяти балкарских общинах и даже ни один горец, но какую бы сторону Кавказского хребта он ни жил. Часы и сепаратор делает орус, но ведь Байчо не орус, значит, и требовать, чтобы он сделал часы, глупо. Даже на кузне у Ордана мог бы он работать. Байчо работал один раз, но Ордан посмотрел, как мощно он бьет кувалдой по железу, и проводил его за дверь, сказав: «Ступай, Байчо, бедный,

очень у тебя хорошо получается, а когда очень хорошо, то уже не очень хорошо». Нет, что положено делать горцу и мужчине, Байчо все делал исправно.

Но думал ли он, что ему на старости лет придется кормить волка! И каждый раз ему стыдно смотреть волку в глаза, и так же стыдно ему там, возле моста, когда он в полдень приезжает туда с бачками теплой мутной жижи. Вот и стоит теперь на пороге и боится войти туда, где в клетке томится волк... А мог ли он отказаться, не делать этой работы, от которой ему стыдно поднять глаза? А дети? Что станет с детьми, если он откажется? Как он накормит их, если не будет работать? Нет, только безбожники могут не думать о своих детях. Нет, он должен жить, хоть собственного, как говорится, подома боясь, и кормить детей — никаких других дум у него и быть не должно.

Иногда жалость к волку переходила в жалость к себе. В такие минуты он не видел разницы между жизнью волка и своей. А если посмотреть глубже, так судьба волка даже предпочтительней — его боятся, держат в клетке. А кто боялся Байчо? Никто не боялся Байчо. Оттого он и прислушивается им. Если же он будет плохо служить, если они будут им недовольны — они прогонят его. А тринадцать детей — это тринадцать детей, даже если двоих из них, кажется, зовут одинаково.

Задумавшись, Байчо забыл, что с большим куском мяса в руке стоит перед дверью, за которой Гельмут изводил волка. Байчо толкнул дверь и вошел. Тот, в черной одежде, длинным шестом тыкал в клетку, распалывал волка — учился ярости и жестокости. При каждом ударе шеста он свиренел сам и с чувством острого наслаждения смотрел, как волк, с палитыми кровью глазами, бьется в клетке и накалившимися зубами грызет прутья решетки, окрашивая их своей кровью. При виде двух распаленных зверей Байчо попятился. Гельмут резко обернулся назад, глянул на Байчо и с тем же радостно-гневым лицом ударил шестом старика по лицу. Байчо успел закрыться куском мяса, и удар пришелся в руку. По тыльной стороне темной высохшей руки пробежала широкая кровавая ссадина. Гельмут вырвал мясо и бросил его в клетку. Он что-то сказал и жестами перевел сказанное: когда он здесь — Байчо не смеет заходить сюда. И снова, чтобы туземец лучше понял, ткнул его шестом. На этот раз кровавые подтеки всплыли на шее и лице Байчо.

Гельмут отшвырнул шест и вышел.

Байчо казалось, что все это он пережил во сне или в каком-то бреду. Он стоял, дрожа всем телом, закрыв глаза от боли и унижения. Кружилась голова. На занемевших ногах он протаялся к окну. Когда боль немного отошла и зацепило на ссадинах, он вновь пережил случившееся. Так быстро все произошло: он вошел — и Гельмут бросился на него. Он ничего не успел сделать, хоть как-то защититься. Столько лет прожил Байчо на свете, всякое испытал — и хорошее, и плохое, но впервые в жизни узнал, что такое побой. И это было хуже смерти. В трудной его жизни такого унижения не было. «Чтоб ты дерьмом питался! — ругал он себя. — Из рук нечестивцев ты кормишься. Еще не так с тобой надо, заслужил!» Как же так, он, старый человек, вырастивший взрослых дочерей и сыновей, дождался до такого беспричинного, несправедливого унижения! «Чтоб ты сдох! Чтобы ты без жапазы¹ остался! Почему ты тоже не ударил его? Лучше умереть, чем ходить с этими подтеками. Лучше бы он тебя, как кусок мяса, бросил этому волку на съедение. Что же ты не ударил его? Чтобы умершие твои дерьмом питались, Байчо...»

Он припал к решетке и увидел тусклые глаза. Ему показалось, что волк плачет. Шерсть под глазами потемнела и залегла, словно промытая дождем трава. Увидев это, Байчо заплакал сам. По большому рябому лицу потекли тихие горькие слезы. «Какой день пришел к нам, горемычным, какой день пришел, — и он тряс головой, не отрывая помутневших глаз от волка. — До того дожили, что волки лесные заплакали... О, что за день пришел к нам, что за день...»

Байчо закрыл глаза и припал к решетке. Холод прутьев обжег ссадины, но он не отдернул лица. Долго он стоял так возле клетки, не в силах поднять тяжелую голову. Солнце давно уже поднялось на перевал и пошло на закат, и в помещении потянулись длинные тени. Наконец Байчо поднял голову, посмотрел в окно. Во дворе Домсовета сновали солдаты, раздавались их непонятные выкрики. Байчо никак не мог представить, что это разговор, ему казалось, что каждый говорит сам по себе, если даже они говорили по очереди. Потом Мачар вместе с немецким солдатом пригнал кого-то и запер в подвале. И в голову Байчо пришла страшная мысль: они хотят кого-то бросить волку на растерзание!

Он снова повернулся к клетке. Волк лежал на прежнем месте. Теперь он положил голову на пол, а хвост отбросил,

¹ Ж а н а з а — погребальная молитва.

как что-то ненужное. Лапы — в одну сторону, голова — в другую. «И волк сейчас не любит себя, — подумал Байчо. — Устал. И ему лучше умереть, чем терпеть эти истязания...»

— Волк, волк, — позвал он тихо. Жел-аяк устало поднял голову. — Ну почему не ешь, бедный?

Жел-аяк снова опустил голову на пол, откинул лапы и вытянулся словно в судороге. Но тут же, словно что-то вспомнив, вскочил на лапы. Шерсть его встала, глаза загорелись жадным холодным огнем. Он распрямил ноги, встряхнулся, Байчо видел, как к нему возвращались его волчья свирепость, сила, как он становился большим, мощным, грозным.

Волк несколько раз обежал клетку. Потом остановился возле куска мяса, придавил его передними лапами и острыми, словно острие кинжала, зубами быстро стал рвать его. Съев мясо, он обнюхал прутья решетки так, словно искал в них слабое место. Потом он, высоко подняв голову, заскулил. Посмотрел в лицо Байчо очень внимательно, словно видел его насквозь. К удивлению Байчо, волк вдруг мощной своей грудью стал биться о решетку, нацеливаясь на окошко. Он отходил к задней стене, оценивающе смотрел, потом с разбегу прыгал и, больно ударившись, отлетал от решетки. Решетка была крепкая, прыжок волка лишь отдавался в пей глухим тяжелым звоном. Но прутья не гнулись и не расходились — Ордаи свое дело знал.

«На кого спустят тебя? — снова пришла та страшная мысль. — Кого ты будешь разрывать этой своей мощью? — Байчо прошел, скользя руками по прутьям решетки, и остановился у ее дверцы. Осмотрел квадратный стальной, впаянный в решетку замок. — Откроют этот замок, приведут... и втолкнут в клетку. Нет, не здесь, они вынесут решетку на майдан и сгонят народ, чтобы все видели, что ждет человека, который идет против них...»

Нельзя этого! Покуда живы, нельзя смотреть, как волк разрывает человека!»

— А если самого этого затолкнуть сюда? — Байчо, услышав свой голос, вздрогнул, посмотрел на дверь.

«А в самом деле, почему нельзя? Тейри, лазим, если бы выбрать предложили самому волку!..»

Держа в руках свою лохматую шапку, Байчо вышел во двор. Он даже не посмотрел на ведро с внутренностями бычка, которые собирался нести домой. Так с шапкой в руке он и пошел по дороге. И хотя удары шеста прилились по руке, по шее, по лицу, боль и кровавые подтеки остались на сердце...

Жарнес ел, сидя в постели, — Халыу отварила картошки, очистила, размяла с маслом и дала в миске. Жарнес даже жмурился от удовольствия — так было вкусно и так легко елось. Мухтар с Баширом сидели за низеньким столиком и, тоже, сдирая кожуру, ели картошку. Халыу, уже совсем отяжелевшая, поставив на колени чугунок, приткнулась к самому очагу. Она ела картошку, изредка макая в кек-тузлук¹.

— Мама, ешь с сыром, — тихо сказал Мухтар.

— Нет, мне так хочется, — сказала Халыу. Она взяла со дна бочки последний кусок сыра, разломилась надвое и дала детям.

— Споха, сказали вы старикам на пыгыше, что я заболел?

— Разве ты болсень, дедушка, зачем же говорить? — сказала Халыу. — Добавить тебе масла?

— Как не болсую? Тогда почему лежу?

— Дедушка, как ты ешь! Ну как теленок, — Башир знал, что ему влетит от матери, но не удержался: дед не ел, а мял картошку деснами, словно дразнил кого-то.

Халыу:

— Замолчи, чтоб ты пропал!

Мухтар:

— Дурак, деда с теленком сравнивает.

Башир только прыснул в ответ. Мухтар, заметив, что он тоже не взял своего куска сыра, а ел, как мать, макая картошку в кек-тузлук, спросил:

— Почему с сыром не ешь?

— На потом оставляю, — сказал Башир. — Вкусная картошка, рассыпчатая... Можно без ничего есть.

Действительно, картошка была сухая, рассыпчатая, горячий запах ее разошелся на весь дом. Гейтмырза — вот кто любил картошку. И мяса ему не надо, и масла, и меда перед ним не ставь — была бы картошка. Когда он приезжал из коша — а он любил приезжать с полным богатым хурджином, — вытаскивал из бурдюка сыр, масло, каймак, а сам уже просил в нетерпенье: «Жена, негодница, сварил картошки». А когда Халыу, быстро отварив сухой, рассыпчатой картошки, ставила на стол, он, приговаривая что-нибудь от удовольствия, сам — никому не разрешал — очищал

¹ Кек-тузлук — рассол из снятого молока, в котором держат сыр.

ее, и тонкая кожура курчавилась в его толстых, неловких пальцах. Халыу увидела Гейтмырзу: в его усах, бороде, точно белая пена, висели крошки картофеля. Наевшись, большими руками он вытер бороду и внимательно посмотрел на Халыу. Переплел пальцы и положил руки на колени, в тусклом трепещущем свете очага блеснули отделанные серебром подколенные пояски его ышымла¹— эти пояски были самым ценным из всего, что носил Гейтмырза.

«Огород наш на склоне, оттого и картошка рассыпчатая»,— сказал Гейтмырза.

— Да ну, совсем неурожайная земля,— вслух сказала Халыу.

— О чем ты, мама?— удивился Мухтар.

— Астафирулла, астафирулла... Ешьте, ешьте, здесь в чугушке еще есть.

Первым поелся Башир, он встал, потоптался со своей долей сыра в руке и, улучив момент, спрятал сыр за пазухой.

У Халыу сердце запыло. «Аллах,— вздохнула она,— и дети стали о завтрашнем дне думать. Боятся, что голод будет... Аллах, дай любое испытание, но спаси от той участи, когда на тебя глаза голодного ребенка смотрят...»

Но Мухтар этого дела так не оставил:

— Эй, парень, ты что это сыр за пазухой прячешь?

— А тебе что надо?

— Не будь жадным, дитятко,— мягко сказала Халыу. Ладонью сгрела в чугунок кожуру со стола и обтерла руку о край чугунка.— Отнеси своему жеребенку. Все жалуеться, что не поправляется.

— Еще как поправляется!

Но отказываться не стал, взял чугунок и вышел. Халыу, глядя ему вслед, сказала:

— Похудел... Точно котенок из голодного дома.

— Так ведь с улицы не заходит,— сказал Мухтар.— Капитаном каким-то бредит.

— Растет!— коротко разъяснил Жарнес.— Заходи, заходи, Шырдан,— быстро сказал он, оглянувшись.— Будь гостем,— он отодвинул миску, из которой ел:— Сноха, подвинь стул. Шырдан, бедный, проведать пришел. Е-а? Лучше, гораздо лучше... Я тоже говорю: когда ребенок растет, он худеет.— И он снова Халыу:— Сноха, узнала ты Шыр-дана? Проведать меня пришел...

¹ Ы ш ы м л а — гетры.

— Да, дедушка,— сказала Халыу, забрала миску и подвинула стул. Не к добру было это — что-то в последние дни Шырдан повадился приходить сюда слишком часто. В страхе за деда она тихо помолилась, сказала:— Пусть Шырдан помолится, дедушка. Скажи ему, пусть помолится. В этом грешном мире, кто знает...

— А как же, а как же,— бодро сказал Жарнес. И повернулся к пустому стулу:— Слышал я, что ты моему бедному Ахияхакиму завершил читать коран. Пусть аллах добром тебе возвернет! Какие в мире новости? Ушли ли пришельцы?

Вернулся Башир, спросил деловито:

— Мама, можно, я пойду поиграю?

— Далеко не уходи, поругаю,— сказала Халыу.

— Не уйду,— уже из-за двери ответил Башир.

На каменных заборах, на плоских крышах домов лежали редкие заплата промерзшего снега. Башир шел, засунув руки в карманы шубочки. Разбежался, катился там, где в колеях длинными полосами застыл лед. Но куда он шел? Играть? Вон ребята всю катаются с Нарт-горы кто на саях, кто на коньках, кто на саржах. Он остановился, постоял, поглядел, как весело катались мальчишки. Но нет. Нарт-гора могла и подождать. Ему нужно к капитану. Для того он и вышел из дома, спрятав за пазухой кусок соленого сыра, чтобы увидеть и угостить капитана. Что же он стоит, когда бежать надо?

Он стоял в нерешительности, когда увидел Ганса Шрайнера. Тот шел в сторону Домсовета. Башир, точно его-то и дожидался, сорвался с места и побежал за ним. Но по пути все же прихватил несколько застывших луж — благо подошвы его башмаков скользили хорошо. Сыр нагрелся, размяк, от соли начала зудеть кожа. Догнав немца, он остановился и посмотрел на него снизу вверх. Ганс молча взял его за руку.

— Играйт,— подняв палец, наказал он ему во дворе Домсовета, что-то сказал часовому и, оставив одного, вошел в комендатуру.

Башир, делая вид, что играет, подошел к тому помещению, где держали пленных. Он присел на корточки возле низкого зарешеченного окошка с выбитыми стеклами и взглянул туда. Солнце падало через окна напротив, и в подвале было светло. Поискал капитана. Если он жив, должен быть здесь... Вон он! Вон, в углу сидит! Эх, далеко! Как же сыр передать? Вот если бы он посмотрел сюда! Но, ка-

жется, у капитана не было сил смотреть по сторонам. Сидел, уронив голову на грудь. Он был в той же разорванной гимнастерке, под которой виднелась окровавленная белая рубашка.

Когда Башир шел сюда, ему казалось, что передать капитану сыр будет легко. Но вот ничего не получалось. Уйти так Башир не мог, и он сидел, схватившись за решетку, уже весь синий от холода, и ждал, когда же его заметят. Не отрывая глаз он смотрел на капитана. Один из пленных поднял голову:

— Мальчик, иди домой,— сказал он.

— Иди, иди,— сказал другой.

Башир промолчал, он ждал, когда капитан увидит его. Наконец он поднял голову, посмотрел, кого это гонят от окна. Взгляд его был мутный, словно даже сонный, и все же он старался разглядеть его, узнать — так показалось Баширу, и он крикнул:

— Капитан! Капитан!

Вокруг подвала ходил какой-то придурок с автоматом, явно ненормальный. Ну и пусть, подумаешь! Да кто он такой! Башир сюда с самим помощником коменданта пришел — они все это видели! И этот полоумный тоже видел, так чего пинаться. Башир ему сказал бы! Только не хотелось, чтобы этот, с автоматом, догадался о его отношениях с капитаном, и Башир, бормоча под нос угрозы, отошел от окна. Но только автоматчик завернул за угол, подбежал снова.

Капитан наконец вспомнил его! Он попытался встать — нет, не хватило сил. Товарищи помогли ему, поставили на ноги. Капитан — то ли от бессилия, то ли голова закружилась — постоял немного и, с трудом передвигая ноги, подошел к окну. Он точно так же, как и Башир, взялся за решетку, только с другой стороны, и посмотрел на него. Глаза его заплыли, только две мутные щелки поблескивали меж черных полукружий.

— Как зовут, мальчик? — спросил он.

— Башир! Второй класс,— сказал Башир радостно. Эх, надо бы «третий», но ведь не учились они теперь! Видно, так, до самой старости, и придется Баширу говорить «второй класс».

— Не ходи сюда,— негромко, но строго сказал капитан, уткнувшись лицом в звено решетки.— Ты хороший мальчик, но не ходи сюда.

— Кушайт принос,— поспешно сказал Башир и, испу-

гавшись, что он уйдет, вытащил из-за пазухи сыр и протянул через решетку.

Капитан взял, отошел от окна и, отломив кусочек, положил в рот. Пробуя на вкус, пожевал и глотнул. Потом оглядел товарищей, словно пересчитал их, и, разломив сыр на кусочки, раздал всем.

— Мальчик, принеси соли,— крикнул кто-то из пленных.

— Башир, спасибо,— сказал капитан и добавил еще строже:— Не ходи сюда!— И, точно уже забыв о Башире, ушел к себе в дальний угол.

— Что я, бьюсь, что ли?— с обидой сказал Башир и встал с корточек.

Он ушел, пообещав себе больше никогда не приходить сюда. Сколько он думал о встрече с капитаном, как он хотел хоть чем-нибудь им помочь, принести, если им что нужно, а он — «Уходи!» Его так обидело равнодушие капитана, что стало горько и одиноко. «Чтоб я еще раз пришел!— бормотал он, спускаясь с холма. Теперь не то что кататься, он даже смотреть не хотел, как катаются ребята.— Еще ругают. А мне что, жалко, что ли, ну и ешьте одну картошку, без сыра и без соли... А я-то из-за вас своего жеребенка оставил...»

Вот уж кто от души обрадовался Баширу, когда увидел его. Так радостно, так нетерпеливо заржал он и, задрвав хвост, подбежал к нему, что Башир о всякой обиде забыл.

— Глупый ты,— сказал он, глядя его желтую гриву.— Вот сейчас отведу тебя, напою и отпущу. Скачи сколько хочешь!

Надев на него уздечку, он вывел жеребенка на улицу. Но тот не хотел плестись за ним. Он начал мотать головой. «Отпусти, отпусти!— просил он взглядом.— Сам играешь, а мне пельзя?» Смешной, умоляющей мордой своей толкал Башира в спину.

— Ладно, ладно, не рвись, сказал же: отпущу!— прикрикнул на него Башир.— Сколько живу, а такого нетерпеливого еще не видел.

И Башир, намотав уздечку на шею жеребенка, пощекотал его в паху. Жеребенок сорвался с места и понесся вверх по улице. Башир побежал за ним. Но не пробежал и несколько метров, как жеребенок уже был далеко. Он доскакал до берега и, даже не думая останавливаться и напиться, побежал дальше вверх по реке. В верхнем конце узкого ущелья, там, где река, казалось, выходила из самого чрева скал, вошел в реку, попробовал воды. Но, кажется,

вкус ее ему не понравился — мотнул головой, презрительно фыркнул.

Жеребенок повернул обратно, но, заметив Башира, сделал вид, что пьет воду. Когда же Башир, зовя и ругая, подбежал к нему, он поднял голову, посмотрел негодующими глазами, говорившими: «Что ты пристал!», и неторопливо поскакал по тропинке, ведущей в горы. Он взбежал на площадку над самым ущельем и стал носиться по ней, совершая причудливые прыжки и петли, взбрыкивая задними ногами. Башир перепугался, что жеребенок свалится и сломает себе шею, и с криком: «Эмилик! Эмилик!» побежал за ним.

Но Эмилик нынешнюю свою свободу на будущие милости Башира менять не собирался. Он скакал по ровному склону, оставляя за собой радостное ржание, отрываясь в прыжке от земли — всеми четырьмя ногами разом. Баширу вдруг показалось, что жеребенок его летит, но не просто над землею, а в небо, набирая высоту, и теперь никогда-никогда он не вернется к нему! И все оттого, что капитан оттолкнул его, не захотел с ним дружить. Сначала капитан, а теперь и жеребенок. Никто не хотел дружить с Баширом. Слезы прихлынули к глазам.

И тут Башир вспомнил предупреждение взрослых: склон этот заминирован! Ему стало страшно, в любую минуту жеребенок мог наступить на мину! «Эмилик! Эмилик!» — заплакал Башир и еще быстрее припустил за ним. Жеребенок же, гордый своей белой отметиной на лбу, скакал, закинув голову и высоко задрвав хвост. Только полет и был в этом мире! И — белое ржание, отдающееся в горах! И — его журавлиные тонкие ноги, и дрожащие от желания бега подбрюшье и пах.

В страхе Башир побежал еще быстрее. Тот и не обратил бы на его тревожные крики внимания, но теперь Башир кричал не «Эмилик», как прежде, а что-то странное, вроде: «Мина, мина!» И жеребенок то ли удивился незнакомому слову, то ли уже набегался, решил дальше хозяина не гнеть, укоротил свой бег и, то и дело оглядываясь, пошел шагом. Потом повернул обратно и повинно засеменял навстречу Баширу.

— Дурачок! — сказал Башир, обнимая его за шею.

Нет, все было совсем не так, как думал Башир. И жеребенок не собирался убегать от него, и капитан не хоте-

¹ Э м и л и к — необъезженный.

его обидеть... Да мало разве у капитана других забот? Вот как изранено его лицо! И все же нашел силы — встал, подошел, сказал ему спасибо... Глаза черным заплыли, только полесочка светится. А что Баширу больше приходить туда не велит, так это потому, что боится за него, опасно там ходить. Ведь и мать — она тоже не пускает его на улицу, разве она не любит его?

И мин на склоне не было, зря только пугали. И жеребенок любит Башира — сам пришел обратно. Пришел и положил голову ему на грудь. И капитан его любит. Тейри, а как пленные радовались, когда капитан дал им сыру. Просили; чтобы соли принес...

Уже ночью, лежа в постели, Башир поразмышлял немного и решил послушаться капитана и снова пойти к нему, тем более что был и повод: пленные просили соли.

Утром, когда Ганс, как всегда, побрившись и вышив той коричневой, странно пахнувшей жидкости, отправился на службу, Башир побежал следом и взял его за руку. Это был знак: пойдем вместе. Надо было только остерегаться, пока они шли по двору, как бы не увидел Мухтар, а там, на улице, можно снова идти особняком, словно бы врозь: Башир — сам по себе, немец — сам по себе. Чтобы Башир шел вместе с фашистом — этого еще не хватало! Возле Домсовета нужно снова взять его за руку. Это просто военная хитрость: там увидят, что Башира сюда привел не кто-нибудь, а сам помощник коменданта, и никакой караул не посмеет прогнать его.

Ганс улыбнулся, натянул ему шапку на лоб.

— Бергман!

Ну и пусть, подумаешь, негодным обозвал. А сам даже правильно сказать не умеет — не «бергаман», а «бек аман»!

Шрайнер, как обычно, оставив его во дворе, пошел к себе.

Башир прошмыгнул между солдатами, застывшими перед помощником коменданта, и подбежал к подвалу. Он присел перед окошком и, дкнув языком, бросил через решетку мешочек — всю соль, что была дома.

Капитан чувствовал себя лучше, чем вчера, и встретил его радушно, просунув руку сквозь решетку, потрепал его по волосам.

— Я же говорил: не приходи, — сказал он.

И — Сол, — сказал Башир, — сол принос.

¹ Бергман (нем.) — горец, бек аман (башк.) — очень плохой.

— Хочешь? — Капитан снял с головы пилотку и толкнул сквозь решетку. — Ну-ка, надень.

Башир сунул свою шапку под мышку и надел пилотку.

Тейри, это была волшебная пилотка! Только Башир надел ее, как сразу начал понимать все, что говорит капитан. И все, что он говорит сам, стало понятно капитану. Башир не мог сказать, на каком языке они говорили — на русском ли, на балкарском ли, а может, на каком-то другом, понятном только им двоим.

— О, настоящий пехотинец! — весело сказал капитан. — Дарю. Бери.

— А как же вы, в чем будете ходить?

— Я? Найдется у вас дома старая завалывшаяся шапка? Пусть даже будет такая... — Капитан показал, будто держит в руках что-то большое и круглое.

Башир представил капитана в лохматой шапке и чуть не рассмеялся:

— Вы — в лохматой шапке! Как Байчо...

— Ну и что? Тепло, красиво...

— Красиво? — удивился Башир. — Нашли красивую шапку.

— Зато интересно: капитан в лохматой шапке... Да если еще в балкарской рубашке. Точно абрек! — Капитан криво усмехнулся разбитыми губами.

— И рубашки есть — отцовские, домотканые, их в жыйгыче сколько угодно.

— Говорят, Баширчик, ты на днях там, где мост строят, верхом на лошади катался?

— Катаlea, — сказал неуверенно Башир, не зная, хорошо это или плохо, что он там катался.

— Помнишь, там большое дерево? На опушке леса. Большое-большое, чинара, кажется?

— Знаю. Дерево как дерево, что в нем такого?

— А вот что. Я хочу тебя попросить, чтобы ты отнес туда и шапку, и какую-нибудь старую, пусть даже рваную, рубашку и спрятал под этим деревом. И чтобы никто, кроме нас двоих, об этом не знал.

— Сегодня же сделаю!

Помолчав, капитан спросил:

— Кто тебя посылает сюда?

— Никто, я сам!

— А кто проводит во двор? Ведь это не просто?

— У нас живет один немец. Ихний начальник. Он приказал, чтобы тут меня никто не трогал.

— Ты наденешь эту пилотку потом, ладно? — попросил капитан и отошел от окна. — Наденешь ее, когда придут паши.

Башир снял пилотку и прижал ее к груди.

Но голова без пилотки стала совсем bestолковая. Капитан что-то говорил, а Башир не понимал его. Стало грустно. Он снова надел пилотку.

— А когда они придут?

— Очень скоро. А теперь иди. И больше сюда не приходи.

Но Башир совсем не хотел уходить, много было у него вопросов.

— А почему вас тогда избили?

— Я же капитан, — улыбнулся он. — А капитанов положено бить, коли они в плен попадают. И правильно. С утра бить и до вечера, — добавил он, сжав губы так, что на краешке раны в углу рта выступила светлая капелька.

Капитан продел руку в звено решетки, сняв пилотку с головы Башира, сунул ему за пазуху, а шапку глубоко, по самые уши нахлобучил ему на голову. Прихлопнул сверху и пошел на свое место.

Башир пересек двор, прошмыгнул в ворота и только уже на улице сунул руку под шубу и потрогал пилотку. Лишь теперь он поверил, что пилотка — его собственная.

Что теперь жеребенок! Пилотка! Настоящая военная пилотка! Вот чему будут завидовать все мальчишки Ажоки! Прикрутит он к ней звездочку (звездочки, правда, пока нет), паденет пилотку набекрень и выйдет на улицу. У-у! Вверх по улице пойдет — следом гурьба, вниз пойдет — тоже гурьба. И у всех глаза горят. Вверх пойдут — горят, вниз пойдут — тоже горят. «Дай надену разок!», «Ну, дай, Башир!» Кто-то от зависти скажет: «Подумаешь, задрал нос, будто на всем свете другой пилотки нет!» Или: «Такая старая... наверное, в мусоре подобрал». Но увидят, что Башир и ухом не ведет, начнут приставать снова: «Ну, дай хоть разок надеть... Ну, пожалуйста... Я же давал тебе свой велосипед». И дразнить будут: «Жадина! Жадина! Жадина!»

Но Башира им не провести! Не глупее их! Пилотка, которую надевают все, это разве пилотка? Это ведь не шапка Байчо, которую все его дети носят поочередно. Пилотка — подарок капитана. А если ты мужчина, то береги дорогой подарок, как свой глаз, да ведь и глаза-то два, а пилотка — одна.

С тем он спрятал пилотку в жыйгыч. До ухода фашистов. Как предполагал Башир, это должно было случиться весной.

Теперь нужно выполнить просьбу капитана. «Где же найти ему шапку?.. Зачем она ему, не станет он носить лохматую шапку. Ну, а если станет? Он подумает, что я обманул его. Отнесу вот эту. И вот эту рубашку. А шаровары? Ах, чтоб им пропасть, куда же подевались шаровары? Куда их мама спрятала? Сверток какой-то... Нет, и это — старые рубашки. Клянусь, мама их в сундук впахнула. А тут замок. Чего же так, надо было замок побольше навесить, а то ведь сбегут штаны! А, вот!.. Нет, это старые Мухтара. Или мои? Нет, мне велики. Как это Мухтар мог носить такие брюки? И капитану они не подойдут. Ладно, отнесу брюки потом. Поищу, когда мама откроет сундук».

Когда вечером вернулся Ганс, Башир встретил его необычайно приветливо. Только тот вошел в дом, он встал перед ним и попробовал отдать ему честь, чем весьма обрадовал Ганса. Они заговорили — как два глухонемых, гугукая и жестикулируя, и понимали друг друга. Башир сказал, что он относится к Гансу совсем не так, как к Зушпану. Ганс ответил, что ему приятно играть с ним. Потом они тайком от Мухтара и Халыу изображали деда Жарнеса, смеялись от души, показалось, что этот чужой дядя на самом деле человек добродушный.

Старую рубашку Башир спрятал под подушкой, а шапку — в рукаве своей шубенки. Он проснулся с рассветом, вскочил, словно проспал что-то очень важное. Обмотал рубашку вокруг пояса, сверху надел рубашку, перешедшую ему от Мухтара, которая пока еще была ему велика, а шапку нахлобучил поверх своей шапчонки.

Во дворе Домсовета, куда они пришли с Гансом, Башир увидел Байчо, стоявшего возле арбы, нагруженной скобами, ящиками с гвоздями и другим железным скарбом. Вскоре вывели пленных, построили и погнали к мосту. Капитана среди них не было. Один из немцев кивнул Байчо, чтобы следовал за ними. Башир, не спрашиваясь, тут же влез на арбу. Байчо только хмуро глянул на него, но промолчал.

Мост был уже почти достроен. Башир походил взад-вперед. Никого из пленных он не знал. Впрочем, в их строю он даже не смотрел. Ему и дела до них нет, ему просто интересно смотреть на новый мост, на погоны и автоматы конвоиров, и больше ничего... Только туда, где лежа-

ли когда-то конвоир и пленный по имени Сеня, старался не смотреть.

Покидая камешки в воду, он пошел вниз по реке. У большого раскидистого дерева поднялся вверх по обрыву, зашел за дерево и, быстро раскидав слежавшиеся листья, вырыл ямку, снял с пояса рубашку, сунул ее в шапку и положил все в ямку. Затем присыпал землей, листвою и воткнул сверху сухую ветку. Вернулся обратно и больше от арбы не отходил.

Около полудня Байчо отправился назад. Ехали молча. Башир не говорил ничего, только посматривал на садицы на его лице и шее, а Байчо, похоже, и вовсе оглох и онемел.

Этот день и день назавтра Башир провел в ожидании — измаялся донельзя, но к пленным не пошел. А вечером Ганс Шрайнер пришел раздраженный. Потом злость его прошла, он стал тихий и пил всю ночь. Вместе с ним впервые за последние годы в дом Гейтмырзы пришел Жабраил Локманович. Он принес свежей баранины и выпивки. Только он открыл дверь, Мухтар встал, обошел его на пороге и вышел.

Потом Жабраил Локманович и Башир, сидя на корточках, жарили во дворе шашлык.

— Понимаешь, Башир,— говорил дядя, посматривая на длинную узкую спину Мухтара, белевшую в открытой двери хлева,— если бы мы стали жить мирно, то и война скорее кончилась бы. А чем скорее она кончится, тем лучше для всех.

— Как же она кончится, если у нас... вот они,— кивнув на дом, удивленно сказал Башир.

— Ну и что?— улыбнулся дядя и погладил его по голове. Лицо его раскраснелось, они с Гансом уже выпили бутылку.— И с ними можно поладить, Баширчик. Злы мы к ним, злы и они... А кончится война... там видно будет,— он задумчиво смотрел на синие огоньки, бегающие по черно-красным углям.— Главное, чтоб были мы, чтобы мы оставались всегда,— говорил дядя, переворачивая шашлыки на огне.— Есть мудрость побежденного, Башир, потом когда-нибудь поймешь,— и он покосился в сторону хлева.— Смириться — на это тоже нужна сила. Завали камнями родничок, а мудрая вода, не ворочая камней, все же найдет себе дорогу... Нас, Башир, мало, очень мало, а Германия — очень большая. А что ты скажешь о человеке, который побежит останавливать обвал?

- Советский Союз большой, больше Германии!
- Теперь Советского Союза нет — есть сто народов, и каждый из них должен спасти себя сам.
- Красная Армия — самая сильная!
- Ты видел эту Красную Армию, она строит им мост... Ты помнишь пленного, который убил немца киркой? Ну, чего он добился? Его тоже убили и еще троих расстреляли... Вот и сегодня один пленный убежал. Повели его пужду справить — нет и нет. Пошли, смотрят: немец без сознания лежит, скобой по голове огрели, здесь же и скоба валяется, видно, заранее припрятана была, автомата нет, а пленный — как сквозь землю провалился...
- Башир, сбитый с толку странными рассуждениями Жабраила Локмановича, тут же забыл о поднявшейся к нему неприязни, прыгнул прямо на дядю, обнял его за шею и радостно заорал:
- Ур-ра-а! Капитан убежал! Ур-ра-а!

IX

После того как перевал заняли войска НКВД, Харун со своим отрядом двинулся в верховья Малки на соединение с другими партизанскими отрядами. Такой приказ передал ему командир части, сменивший их.

Нагрузив на ишачков скудный партизанский скарб, они шли по мокрому бездорожью. Василенко, который был уже совсем плох, устроили на волокуше. Положили сена, сверху застелили войлоком и, укутав в бурку, привязали так, чтобы в темноте на ухабах, крутых спусках его не выбросило невзначай. Рука вроде бы не тревожила, но нога совсем распухла, почернела. Боялись, что начнется гангрена. К тому же Василенко простудился, и раздражающий грудь кашель отдавался пронзительной болью в распухшей ноге.

Попытка отправить его в Грузию не удалась. В горах неожиданно выпал снег и закрыл все перевалы. Оставалось одно — устроить Василенко в Жамаугате. Выход не лучший, но другого не было.

К вечеру отряд переправился через реку и выбрался из ущелья.

— Дальше отряд поведешь ты, — сказал Харун Азамату. — Как спуститесь со склона Аюташ, выходи к реке, еще раз перейдешь ее и постарайся быстрее пересечь Старые вастбища. А там дорога в верховья Малки идет через пере-

вал Нартла. Там снега нет, еще рано. Возле перевала мы догоним вас, если не догоним, не ждите, идите на соединение. Нужно поскорее войти в партизанскую зону.

— А если бандиты? Как быть с бандитами? — спросил Азамат.

— Как быть с этими вырожденками? Ладно, не тронут они тебя, не трогай и ты их. Ничего, потом и до них доберемся, за все рассчитаемся.

— По совести говоря, Харун, в лесу я бандитов больше боюсь, чем немцев. Свои же, сволочи, все тропы, все перевалы знают.

Уже стемнело. Харун попрощался с товарищами и вместе с Мурадином и потерявшим сознание Василенко свернул в чащу.

Тихо, ровно скользила волокуша по снегу. Ехали не спеша, вернее, ехал Мурадин, ведя коня Харуна за повод, а сам Харун шел рядом с Василенко.

Так они дошли до ольхового леса вблизи Жамауата и остановились. Харун, оставив Мурадина сторожить Василенко, пошел к мосту, осмотрел его. Шел медленно, часто останавливался. Чем ближе он подходил к мосту, тем напряженнее становилось его внимание — он был весь как насторожка ловушки на мелкого зверя: чуть коснулось, щелк — и сработало.

Под мостом шумела река, тут и там валялись ломы, кирки, лопаты, носилки, пилы... Но где же охрана? На той стороне реки в ровном свете дождя что-то мутно блеснуло. Каска! Харун застыл. Пядь за пядью принялся осматривать мост и наконец услышал, как сквозь шорох дождя что-то глухо звякнуло. Второй немец сидел под мостом по эту сторону реки. Харун начал отходить. Мост почти готов, охраняется, не сегодня-завтра по нему уже можно будет протащить пушки, смогут пройти танки.

Он вернулся к товарищам. Подправил подстилку Василенко, накрыл его теплее, и они двинулись дальше. Теперь уже оба повели коней в поводу. Наверху, в горах, уже лежал снег, а здесь все было мокро. Лишь дождь пополам со снегом освещали блестящие стволы прямой ольхи, рядыми расходящейся во тьму.

Еле слышно, но глубоко, словно из-под земли, застонал Василенко. Они разом остановились, подошли к нему с двух сторон. Почти не дыша постояли с минуту. Потом Харун присел рядом, потеревил бурку на груди. Василенко застонал сильнее, сказал:

— Оставьте меня... Не мучайте, ребята, прошу вас... Из меня человека уже не будет...

Голодные кони уныло переступали на месте. Харун и Мурадин сидели на корточках по обе стороны волокуши и молчали. Харун напряженно курил, красный отсвет папиросы ложился на мокрое лицо Василенко. Он был молод, лет двадцати пяти, не больше. Невысокого роста, плечистый, крепкий русский парень. Василенко закрыл глаза и уже в забытьи застонал сильнее. Харун с Мурадином в испуге переглянулись. В человеке, лежащем перед ними, началось что-то ужасное, не подвластное ни ему самому, ни его товарищам.

Харун должен был решить его судьбу — из сотен дворов Жамауата выбрать один, выбрать наверняка. И не только судьбу Василенко решал он сейчас, но, возможно, и судьбу тех, в чей дом они привезут раненого. Пряча у себя красноармейца, каждый жамауатчанин рисковал своей жизнью и жизнью своих домочадцев.

Кого мог выбрать Харун?

Казалось бы, за столько лет он немного научился понимать своих односельчан, знал характер каждого жамауатчанина, уклад каждой семьи. На многих он мог положиться. И все же сейчас, в ольховом лесу, сидя на корточках возле стонущего человека, он делал самый трудный выбор в своей жизни. Оттого он так напряженно курил. Мурадин же в нетерпенье ждал, когда наконец Харун докурит и они отправятся дальше.

«Может, к Сылыухан,— думал Харун.— Что скажет Мурадин? Самая решительная женщина в Жамауате... Нет, к ней нельзя. Если узнали, что Мурадин в партизанах, за домом возможна слежка».

Харун начал снова — сверху, с Кюнлюма. Оттуда спустился к Ажоке. Тебо, Казак, Хаджи-Осман... В Чегете он задержался в доме Биязурки. Достойный это был дом, и сам Биязурка достойнейший мужчина Жамауата. Много горя изведав он, двое его сыновей погибли в гражданскую войну. И все же... Слов нет, надежный человек Биязурка, и уход за раненым в его доме будет хороший. И не было бы лучше дома, если бы Василенко нужно было просто укрыть. Но никакой уход не спасет его, если не будет умелой врачебной помощи. А такую помощь в Жамауате сейчас мог оказать только один человек.

Еще утром, осмотрев раны, Харун понял, что уже никто не поможет Василенко. Разве только Залихат. Но в том до-

ме хозяин — Жабраил... Тот Жабраил, который решил жить заново. А как он начал новую жизнь, Харун уже знал. Когда он услышал, что Жабраил пошел в старосты, он сказал себе: видно, так и должно быть, только шагни за край откоса, а дальше уже ноги сами понесут... Но одно дело прислуживать захватчику, и другое — отдать на смерть человека. Тут уже, что к чему, понимают и Хурмет, и Залихат. Если даже и решится Жабраил на подлость, Хурмет не допустит.

Харун сильнее затянулся папиросой, красный отсвет вырвал из тьмы изможденное лицо раненого. Нет, без врачебной помощи Василенко умрет.

Он сказал о своем решении Мурадину. Тот посмотрел на него, и долгий его взгляд тяжелел и тяжелел и наконец отяжелел настолько, что он уронил его и потупился.

И хотя камень придавил сердце, решение Харуна было твердо: и тогда, когда они — Мурадин впереди, разведывая дорогу, он сзади, ведя запряженную в волокушу лошадь под уздцы — в густом снегопаде вошли в аул, и когда, поравнявшись с огородом Билекчиевых, перешли Юрду вброд и начали подниматься в проулок, ведущий к дому Жабраила, и когда Мурадин, остановив коня, дождался его и сказал дрожащим голосом:

— Харун, мы погубим его, — он показал на Василенко, — и погубим себя!

— Нет, — ответил Харун, — не погубим. Ни его, ни себя. Не прогонит он нас, не сможет... А других таких рук, как у Залихат, в Жамауате нет.

Х

С вечера небо затянуло холодными тучами. Пошел дождь со снегом. Уже давно считалось, что наступила зима, но снега все не было. Люди, зная, что эта крупа с неба — предвестник настоящего снега, старались прибрать в сараях и дворах. Смутен и тревожен был завтрашний день аула, но люди, как и во все времена, старательно готовились к зимовью. Сено лежало по сеновалам, зерно обмолочено, дрова заготовлены. Теперь, когда пришло время выпасть снегу, они желали обильного, глубокого, тяжелого — чтобы он закрыл все дороги, все перевалы и подступы к ним. Не впервой приходил к ним захватчик, и они знали: снег — враг пришельца. Оттого из тьмы окон и тихо приоткрытых дверей или возле овечьих кормушек они подолгу стояли и

смотрели, как дождь перешел в снег, а снег превратил все вокруг в одно — белое и безмолвное.

После полуночи Мачар, надев повую шинель, подаренную ему комендантом, вышел из дома. Задами огородов он прокрался к дому Жабрапла и проскользнул в хлев. То ли страх охватил его, то ли замерз он в своей новой шинели — Мачар дрожал. И так вдруг сильно задрожал, что без сил прислонился к плетню, сгреб в горсти лацкан шинели. Гул в ушах отошел, и он понял, что никого нет, шорохи и чавканье — от скотины, мирно стоящей в темноте. Душа вернулась обратно к Мачару, он тихо вышел из хлева. Во дворе он опять остановился, затаился, огляделся. Постоял под дверьми. Отошел, остановился у окна, прижал ухо к стеклу. Там спали. Там Залихат... И маленький жаркий комок, расплзаясь, заполнил все тело... Спит, прижавшись к мужу... Мачар сглотнул и повел шеей. Нет, очень жаркая эта новая шинель.

Одолов нахлынувшее горькое чувство, он отшатнул от окна, обошел дом. Как бы он хотел прокрасться в дом, залезть под жыйгыч и увидеть... «И увидел бы... — глумливо сказал голос над самым ухом, — увидел бы, как они ласкают друг друга — Жабраил и Залихат...» Мачар вздрогнул и начал беззвучно ругаться, называя самые отвратительные ругательства, пока хватило дыхания. Потом глубоко вздохнул и попытался уснокогться... Нет, сидя под жыйгычем, он бы увидел, он бы разглядел этого Жабраила Билекчиева, он бы узнал, кто же он такой... На месте преступления поймал его. Все бы увидел, и не только то, что он спит со своей женой Залихат. Хотя уже за одно это стоило бы вздернуть его посреди площади перед Домсоветом. Нет, тверд, не по зубам Мачару этот Жабраил. Зря Мачар бродил вокруг его дома, не было тут никаких сборищ, — издеваясь над Мачаром, сладко спал в объятиях самой красивой женщины в Жамауате этот Билекчиев, от свиньи родившийся Жабраил.

Мир всегда несправедлив. Несправедлив он и к Мачару.

Жажда мести, которая подняла его в эту промозглую ночь и послала рыскать по чужим огородам и хлевам, жила в нем давно, — может, с тех пор, как Азинат с оскорблениями выгнала его из кабинета — и оттого его потом не выбрали председателем, а может, еще раньше, когда Жабраил женился на Залихат, а может, еще раньше — с тех пор, как Мачар впервые увидел ее?.. Она, эта месть, как завещанная клятва, руководила всеми его поступками, придавала



силу и смысл всем его несчастьям и мучениям. В злых безнадежных помыслах, в безмолвной безнадежной любви к Залихат жил он все эти годы. Болезнь это была, лихорадка, ни на мгновение не отходила от него, — с ног не валила, к постели не приковывала, но любое лечение было бессильно. Именно эта любовь — отчаявшаяся, бессмысленная — не давала ему покоя. Надеялся, был совершенно уверен — и не стал председателем колхоза; Мачар мог бы забыть, пережить тот позор, но то, что из-за этого он лишился руки самой прекрасной девушки в Жамауате — перед самым носом упорхнула она! — не давало житья. Будь он председателем, он бы женился, точно так же, как держал бы Азинат для любви. Да если бы он на один месяц, хоть на одну неделю стал председателем! Он бы сказал тогда: «Я не рядовой, Залихат, хорошо подумай, как бы потом не пожалеть... Многие будут завидовать тебе...» Пусть бы его сегодня избрали председателем, а завтра он бы сказал это. Залихат. А не согласилась — силой бы женился на ней. Вызвал бы в правление, лишил бы чести — сама бы ему ноги целовала. Но для этого ему нужна была власть. Власть! (Мачар, хоть при этих воспоминаниях и подпрыгивал, как вытряхнутая на угли блоха, как-то забывал, что в пору, когда он зарился на председательский стул, Залихат уже давно была замужем, а увести жену от живого мужа не так-то просто даже председателю.)

Пусть бы только день пробыла Залихат его женою! Один только раз прикоснуться к ее горячему телу... услышать ее горячее дыхание под собой, положить голову на ее белую грудь! Ну, что нужно после этого? Власть? Хы... Богатство? Тьфу! Все это — лишь мостки к заветному: обладанию женщиной.

А дальше жизнь Жабраила так пошла в гору, а Залихат нашла мир и достаток и так расцвела — только черной изжогой гореть оставалось Мачару. И вот, сидя в тюрьме, он узнал, что началась война. Услышав об этом, он с размаху ударился скулой о кирпичную стену и рассмеялся. Неужто у бога еще есть душа? Неужто есть справедливость? Людская злоба и неблагодарность обернулись ему во благо. Ну, скажите, кому было плохо? Или дом чей сгорел оттого, что прогулял он эти деньги? От злости, от зависти посадили его. А теперь вы, кто меня посадил сюда, на фронт умирать идите, а я посижу здесь. Лучше тюрьма, чем сырые окопы.

С этими словами: у бога душа осталась — он вернулся в аул, шепча эти слова, он привязал к ушам лошади две

белые тряпочки и, гарцуя, выехал навстречу пришельцам. Но и тут остатки своей души аллах отдал не ему, Мачару, а Жабраилу. Именно его, непонятно за что, одаривал всеи-лаской. Ну, кто мог знать, что муж Залихат вернется целый и невредимый, прямо к ней в объятия? Вернулся Жабраил и разом отнял у Мачара и Залихат, и должность старосты в придачу — мимоходом и будто нехотя.

С одной целью рыскал в эту ночь Мачар возле дома старосты — в надежде уличить его в измене, если не к Залихат, то к новым властям. На аллаха и па его милость надеяться не приходилось. Только сам, только своим рвением он мог выжить Жабраила и с его должности, и из этого дома.

И шансы на это были. Как понимал Мачар, Жабраил хотя и пошел служить немцам сам, по своей вроде бы охоте, честно им не служил. Или он был разведчиком, оставленным Красной Армией, а может, райкомом, или — себе на уме, решил и немцев обхитрить, и красных. Если его оставила Красная Армия или райком — то к нему должны приходиться из лесу. И Мачар мог выследить связного. Потому он уже много дней сторожил этот дом. Если бы человека из леса поймали в доме Жабраила, то этот счастливый сын Локмана только и успел бы сказать: «Аллах...», а «акбар»¹ уже договорил бы за него Мачар, глядя, как проклятый Билекчиев болтается в петле.

И другое: если он хитрит, сын Локмана, хочет есть из двух кормушек, немцам тоже придется не по праву — и они уберут его с должности старосты. Когда же на его место, они посадят Мачара, уж Мачар-то найдет повод — через три дня ноги Жабраила будут болтаться выше кубанки Мачара, оллахий-биллахий, уж в этот-то раз Мачар не будет завидовать новому взлету этого счастливца. А Залихат... Залихат будет вдовой...

Но если Жабраил с лесом не связан, уличить его будет трудно, очень трудно. Долгое это дело и рискованное. Поэтому он желал, прямо-таки жаждал, чтобы Жабраил оказался разведчиком. Но пока что выслеживал он безрезультатно. И похоже было, что и эта ночь не принесет ему удачи. Потеряв надежду, Мачар повернул обратно...

...повернул обратно и, выйдя в темный, зажатый с двух сторон каменными заборами переулок, увидел человека, ведущего в поводу коня. Он отпрянул назад, забежал за угол дома и, сжав в кармане шинели пистолет, застыл.

¹ Аллах акбар — аллах всемогущ. (араб.).

Ночной путешественник, держа коня за самый недоуздок, вошел во двор, рукоятью камчи тихо постучал в окно. В доме, видно, не спали, тотчас зажгли спичку. Из окна упала тень, пролетела по двору. Фыркнула лошадь, и коротко простонал человек. Мачар взглянул и увидел, что лошадь запряжена в волокушу и в ней лежит человек, накрытый буркой. «А-ха!»—прикусил губу Мачар и сильнее вжался в стену дома.

Дверь открылась, в щель между дверью и косяком Мачар увидел Жабраила, в одном белье, с лампой в руке.

— Убери лампу, Жабраил,— сказал пришелец.

— Харун?— Жабраил отшатнулся.

Харун, не отвечая, подвел коня ближе к порогу. В щели показался край бота, из-под нее высунулась голая рука— рука Залихат!— забрала лампу и унесла в глубь дома.

— Что тебе нужно, Харун?— тихо спросил Жабраил. И Мачар с удивлением и злорадством услышал в его голосе страх.

— Не стой, помоги занести человека,— сказал Харун и отошел к волокуше.

— Уходи, Харун, уходи прочь!— Жабраил шагнул за порог и выпустил дверь, и теперь Мачар видел их обоих: в мокрой черной бурке стоял Харун и в белом исподнем— Жабраил, оба высокие, широкоплечие, они стояли и вглядывались друг другу в лицо.

— Харун,— угрожающе сказал Жабраил.— Уходи... Ты накликаешь беду на мой дом. Я ведь и застрелить тебя могу.

— Не застрелишь, Жабраил. Не сможешь.

— Смогу.

— Я во дворе, а ты дома... Кто же стреляет в человека, стоя на своем пороге? А то без этого мало у тебя позора!

И они опять стали смотреть в лицо друг другу, и Мачар увидел, как Жабраил опустил взгляд и, обойдя Харуна, шагнул к волокуше. Они взяли раненого на руки. В тусклом свете, идущем из глубины дома, Мачар увидел бледное лицо с открытым ртом. «Русский»,— с удовлетворением отметил он. Уже в доме раненый зашелся сухим удушливым кашлем. Дверь закрылась, и Мачар остался в темноте.

Залихат и Хурмет, уже одетые, стояли посреди комнаты.

— Пусть вечер будет удачлив, гелля,— сказал Харун.

— Будь удачлив и ты,— сказала нерешительно Хурмет, еще не зная, как поступить дальше.

— Вот напасть!..— вздохнул Жабраил.— Воистину: не ты об камень, так камень об тебя...

— Я к тебе пришел с бедой,— начал было Харун.

— Да, ты принес беду в мой дом. Ты.

Хурмет пошла к жыйгычу и принесла войлок. Жабраил бросил на нее быстрый взгляд и повторил:

— Ты принес беду, Харун. Ты!— И «ты» прозвучало резко, будто он переломил хворостину.

— А ты его спроси,— сказал Харун, перекладывая Василенко на войлок.— Ты его спроси, кто ему принес беду?— И помолчал:— У меня к тебе дела нет.— Харун сел перед раненым на табуретку, взял в руки мокрую шапку.— Я пришел к бабушке, пришел к Залихат... Они, наверное, не прогонят меня.— Он опять помолчал. Раненый закашлял и попросил воды. Залихат принесла ковш и напоила его.— Я мог пойти в любой дом, и меня бы не прогнали. Но здесь его искать не будут.

— Нет, Харун!— вскрикнул Жабраил. И — то ли матери, то ли жене, то ли аллаху:— Да что же за несчастье такое! Да поймите же вы, что не могу я скрывать в своем доме красноармейца!

— Было бы лучше, если бы Харун не привел его в наш дом,— сказала Хурмет.— Но теперь ничего не поделаешь. Видать, судьба привела его.

— Что ты говоришь, мать! Что ты говоришь!

Хурмет, не обращая внимания на гнев сына, сказала снохе:

— Не стой, келин. Видишь, человек умирает.

Харун вздохнул облегченно и встал.

Залихат завесила окна войлоком, в тускло горевшей лампе прибавила фитиля. Пока она растапливала очаг и кипятила воду, Хурмет с помощью Харуна и сына сняла с солдата мокрую одежду. Жабраил внимательно посмотрел на Василенко. И тот посмотрел на него. И не обессиленный Василенко, а Жабраил первым отвел глаза. Залихат надела белый халат, висевший на протянутой над печкой веревке, вымыла руки и подошла к раненому.

— Удивительно, как еще жив!— сказала она.

— Знает, что надо жить, вот и живет,— сказал Харун.

Но Залихат занялась раненым и ответа Харуна, кажется, не услышала. Харун увидел, как быстро и умело двигались ее руки, и немного успокоился. Он повернулся к Жабраилу и спросил о том, что так беспокоило его в эти дни:

— Кого из наших взяли?

Жабраил быстро поднял голову и что-то похожее на снисходительность скользнуло по его лицу:

— Никого не взяли и, похоже, никого брать не будут. По-твоему, в мире других дел нет, кроме как людей в тюрьму сажать?

— Так вот и смотри, чтобы не взяли.

— Странный ты человек, — усмехнулся Жабраил. — «Смотри, чтобы не взяли...» Будто я только об этом и мечтаю.

Залихат, продолжая промывать раны солдата, оглянулась на Харуна:

— А ты все такой же — упрямый. И все, по-твоему, что-то должны. А в такое время еще неизвестно, кто кому обязан.

— Я так полагаю, Залихат, — сказал Харун, — я так полагаю, что в такое время особенно люди обязаны друг перед другом. Каждый пес в своем дворе лает, но когда приходят волки — лают все вместе!

— Кто ведь ради кого живет, — пожала плечами Залихат, продолжая заниматься Василенко, и все ее внимание ушло туда.

— Что будет с нами — будет и с ним, — сказала Хурмет. Это уже было решением судьбы Василенко.

— Только где мы его спрячем? — на мгновение оторвавшись от раненого, сказала Залихат. — Если узнают, Харун, если узнают... С Жабраила так же, как и с любого другого, спросят.

— Знаю.

— А если знаешь, то почему привел? — неприязненно сказала она.

— Жизнь каждому дорога, Залихат, — в голосе Харуна тоже прозвучало раздражение. — Все мы едим хлеб одной земли. Но одни за этот хлеб платят потом и кровью, а другие норовят — водой.

— Хлеб — всегда хлеб, — сказала Хурмет, и все замолчали.

— Как чуть лучше станет, я его заберу, — Харун подошел и через плечо Залихат посмотрел на потерявшего сознание Василенко, кивнул всем и вышел за порог.

Он спустился к реке, где ждал его Мурадин, и они поспешили выбраться из аула.

Мачар бежал за всадниками, пока не задыхнулся. Но они. → Мачар узнал и Мурадина — к себе заезжать не ста-

ли, проехали по подножью Сырбыта и в слабом свете белеющего снега исчезли в Желтых скалах.

Пусть проваливают! Отомстить Мачар хотел Жабраилу, и теперь он в его руках — просто скотина, предназначенная на убой скотина. Но Мачар спешить не будет, он подождет несколько дней. Он еще наиграется, натешится с Жабраилом, он еще заставит его раза два-три в холодном поту искупаться и в рубашке из огня обсушиться. Нет, тут надо обдумать, а то ведь этот проклятый еще отговорится чем-нибудь таким, что бедному Мачару и в голову не может прийти. Под влиянием этого учителя столько коварства, что ее простой кубанкой Мачара и за день не вычерпать. Пойти сейчас, донести Гельмуту, а Жабраил скажет, что он и сам утром собирался, только сразу не пошел, боялся, дескать, а вдруг за домом следят. А что, если и впрямь выдаст? Мачар похолодел от этой догадки. Пойдет и выдаст? Нет, не выдаст. Он красных боится. И еще — Хурмет. Она тогда сама ему глаза выдавит. Нет, надо еще немного обдумать. Только не спешить, только не спешить! Веревка уже зажалостнулась вокруг шеи Жабраила, и кончик ее в руках Мачара. Дернуть он может в любую минуту, когда захочет.

XI

Что бы ни говорилось в утешение, а Жарнес был тяжело болен: С того самого дня, как пришлый нечестивец сломал его палку, ему становилось все хуже и хуже. Было ясно, что теперь уже дед ближе к миру тому, чем к этому.

Услышав, что Жарнес слег, жамауатчане забеспокоились, стали с тревогой следить за здоровьем старейшины аула: Даже те, кто в каждодневных заботах позабыл о нем, услышав, что он лег на смертную перину, корили себя, словно оттого и заболел двадцатисемилетний старец, что они были невнимательны к нему, — засуетились, стали толпами навещать его.

Да, Жарнес был старейшиной в ауле, совестью, божьим оком. А что это такое — хорошо понимали в Жамауате и стар и млад. Потому что так называли людей самых справедливых, добрых, участливых. А безбожниками называли воров, бездельников, прелюбодеев, тех, кто пахал попеременно чужих угодий. Словом, божий и безбожный у жамауатчан не было связано с обрядовым служением аллаху, с пятиразовым в день намазом, с месячным постом ораза. —

в лексиконе Жамауата божий означало человеческий. Жарнес был оком божьим в ауле не только потому, что прожил на свете много, но и потому, что, прожив много в этом грешном мире, он и видел много. И еще — Жарнес был всегда и всегда такой же, а человеку в его слабости нужно хоть что-то, что было бы всегда, иначе собственная жизнь покажется копченой. Во всяком случае, куда был Жарнес, каждый житель Жамауата чувствовал себя увереннее.

— Оррай, биррай, не уберегри мы Жарнеса.

Тебо, поняв намек Ережица, сказал повинно:

— Если бы удержали его тогда... Говорили: не ходи. Пошел, и палку сломали.

— Что — парку! Душу ему сромари!

Люди приходили поведать его, сидели, переговаривались негромко и, хотя переживали очень, корили себя, все же заставляли Жарнеса рассказывать какой-нибудь хабар. Уходя, говорили:

— Еще поживет...

Но другие в сомнении качали головой:

— ...да недолго.

Сегодня еще никто не приходил. Жарнес лежал на спине, молчал. Башир, сидя у него в ногах, читал «Гулливера среди лилипутов». И хотя внук читал: Гулливер, Жарнес знал, что это все про Шырдана. А эти человечки — кьямалык¹. И потому, слушая чтение Башира, Жарнес удивлялся тому, как живо написал кто-то о Шырдане. Наконец он не выдержал:

— Ты что читаешь, родившийся от ассы!

— Вот, сам смотри, — сказал Башир и ткнул деду под нос книгу в желтой обложке, где над копошащимися людьми, словно над муравейником, стоял Гулливер. — Где я не так читаю?

— Почему про Шырдана не читаешь?

— Это тебе не Шырдан, а Гулливер.

— Принеси таз, родившийся от ассы, мне оправиться надо.

— Мама, дедушка оправиться хочет, — передал Башир матери, не поднимая головы от книги.

Халыу засуетилась, и он убежал, держа книгу перед собой.

Халыу, поухаживав за дедом, подправила ему подушку,

¹ Кьямалык — люди судного дня. По поверью к судному дню люди станут совсем мелкими.

взбила матрац, перестелила постель, и только уложила его снова, пришла Сылыухан. Она сильно похудела, весь свой прежний независимый вид потеряла. Словно сильная душевная боль точила ее — мужеподобную, решительную Сылыухан было не узнать. Даже нарост на левой щеке, прежде почти незаметный, стал гораздо больше.

— Если будут убивать таких, как я, то кто на ныгыш будет ходит?— сказал при виде ее Жарнес. И в раздумье самому себе:— А что аул без ныгыша? Мельница без жерновов.

— Как себя чувствуешь, бедный Жарнес?— тихо спросила Сылыухан.

— Я уже давно здоров,— ответил Жарнес.— Вот сноха не разрешает, а то я бы уже встал. И на ныгыш пошел.

— Что тебя мучает, дедушка? Чувствуешь, где болит?

— Ни то ни се,— сказал Жарнес неопределенно, то ли про мельницу без жерновов, то ли Сылыухан в ответ. Потом, взглядевшись в Сылыухан:— Запомню, кто ты?

— Забыл Сылыухан. Я же дочь Адамея из Кысылыхов. Сестра Чомаля.

— Тоба, тоба... как поживает Адамей?

— Он же умер, Жарнес. В тот год, когда капира тив создавали... Как он, Халыу, ест что-нибудь?

А Жарнес:

— Тоба, тоба, один я задержался... Сылыухан, что слышно, избавились мы от этих нечестивых?

— Избавились Жарнес, избавились.

Жарнес спрашивал об этом у каждого, кто приходил проведать его, и каждый, чтобы утешить старика, отвечал: избавились.

— Хвала аллаху...

Следом пришел Байчо. Жарнес любил Байчо, всегда спрашивал о нем. Тот молча прошел мимо стоящей у очага Сылыухан, сел на край кровати. Увидев струпы на его лице, Сылыухан сказала:

— Байчо, чтоб болезнь твоя ко мне перешла, так и без глаза можно остаться. Что случилось?

— Как поживаете, Сылыухан?— спросил Байчо, словно только сейчас увидел ее.

— Как мне быть,— сказала с горечью Сылыухан.— Ношу по берегу, как сука, у которой река щенков унесла.

— Мурадин на фронте?

Теперь уже Сылыухан промолчала, не ответила Байчо.

— В партизанах, говорите?

— Никто ничего не говорит, дедушка,— сказала Халыу.— Видишь, Байчо пришел, тебя проведать.

Но Жарнес вдруг отвернулся от всех и лег на бок, лицом к стене.

Тут пришли сразу трое — Биязурка, Ережип и Тебо (без Казака).

— Пойду,— сказала Сылыухан; вытащив из-под бота, которым она дважды обмотала пояс, несколько яиц, передала их Халыу:— Покормишь Жарнеса.— И, отвернувшись, пробормотала в замешательстве:— Что нам война оставила...

— Зря беспокоилась,— сказала Халыу, принимая гостинец.— Слава богу, все у нас есть, только бы ел.

Когда женщины вышли, Жарнес повернулся к мужчинам;

— Аланы, что-то я нынче не слышу, чтобы люди пели, где же певцы? Может, все на сенокос ушли, а я ничего не знаю?— И поднял голову:— Чего молчите?

Но никто не сказал ни слова.

— По шее дам, язычники,— сказал больной и мысленно погрозил кулаком.— По шее дам, язычники, не ссорьтесь друг с другом. Может, аул уже за Нарт-гору перешел? А вы от меня скрываете? Аллах не помилует, коли аул дальше Нарт-горы пойдет. Язычники, вы что-то натворили, по глазам вижу. Придется мне встать. Молчи, сноха, мне надо встать. Подайте мне чепкен!

Но он не встал. Закрыв глаза и как-то хитро примолк, Аланы тревожно переглянулись: что это — бред или знаменье?

Мужчины ждали, когда Жарнес снова откроет глаза. С дровами вернулся из леса Мухтар. Вошел в дом, шмыгнул носом и, сняв залатанные рукавицы, поздоровался со стариками. Жарнес покосился на правнука одним глазом, когда же Мухтар повернулся к нему, быстро закрыл глаз и затаил дыхание, будто спал. Но, не сдержав возмущения, воскликнул:

— Бестолковые! Что молчите? Какие новости? Спокойно ли в мире?

— Оррай, биррай, где же быть спокойным... миру. Кто-то, чтоб дом его пропар, снова перерезар, говорят, тереонные проводки. Душой отца крянусь. Торько их свяжут, кто-то снова перережет. Орраи, биррай, это кровь пахнет.

Мухтар, разделся, сел на пол, прислонившись к стене, и, не поднимая взгляда, стал растирать озябшие руки.

— Но это не из наших,— сказал Тебо. Он вытащил из кармана знакомый всем кисет, не спеша развязал его, достал пропахший табаком лист «Социалистической Кабардино-Балкарии», аккуратно сложенной в размер самокрутки, оторвал дольку и, словно силясь прочесть полустершиеся буквы, нахмурил брови и помолчал. На бумаге было лишь полтора слова: «Свою ги...», продолжение он, должно быть, уже искурил. Тонем, будто читает по газетному обрывку, он сказал:— Это, видно, партизаны.— Положил на бумагу едко пахнущего табаку, закрутил, край бумаги сначала погрыз зубами, потом намочил слюной и залепил, пригладив двумя пальцами.— У нас в ауле таких не осталось.

— Может быть...— сказал Биязурка.

— Араны, удивительные вы рюди,— сказал Ережип, отгоняя рукавом густой дым, идущий от Тебо.— Аран, не кури так. Крянусь душой отца, точно курятником пахнет. Уф, уф, уф!

Открылась дверь, и вошел Казак. Ережип тут же ухватился за него:

— Вот, у Казака спросите... Казак, ты черовек на виду, осведомренный. Ну, скажи, кто режет эти терепонные провода?

— Алан, странный ты человек,— сказал Казак недовольно, садясь по другую сторону Тебо.— Везде суешься. Давеча на Ордана насел, чуть не заставил, чтоб он избил тебя.

То, что Казак, прямо с порога, ни в чем не разобравшись, нагрубил ему, задело Ережина. Он вскинулся, готовый ринуться на него. Всем известны повадки этого Казака: за правду словечка никогда не замолвит, а за кривду — горой встанет, дай только случай.

— Оррай, биррай, Казак, еси меня кто когда и бир, так торько не такие, как ты ири Ордан. Хотя язык и без костей, но на лице у черовека доржен быть стыд. Еси тебе неизвестно, так знай, мы говорим о тех, кто терепонные провода режет. Тут аур может пострадать.

— Что за телефон?— спросил Казак, смягчаясь.— Пусть дом мой сгорит, если я что-нибудь понимаю.

— Ну, эти... в Нальчик телефон протянули, там у них тоже, наверное, свое начальство сидит,— Тебо уже докурив до середины толстую самокрутку.— Телефонные провода перерезать — это не шутка.

— Ведь партизаны должны что-то делать. Где же те, кто ушел, если не в партизанах?

— А бандиты?— Ережип вместе с табуреткой отсел от Тебо.— Крянусь душой отца, они ведь тоже в ресу.

— Бандиты?— спросил Жарнес.— Кого вы называете бандитами? Абреков?

— А как узнаешь, кто абрек, а кто бандит? Кто-то от войны и смерти хоронится, а кто-то по зробе по ресу рыщет. Так просто не скажешь,— Ережиин часто терялся, когда нужно было определить то или иное жизненное явление, и с подозрением относился к тем, кто определял его сразу.

— Коли заговорили о бандитах,— вступил в разговор Биязурка,— так этого Чико, Чико из Калдановых, убили бандиты. Мирный был человек. А с бандитами был его двоюродный брат, вы знаете его — сын Мубарика из рода Кичинау. Он и до войны таким же негодяем был. По тюрьмам да по базарам пропадал. Он уже давно на своего брата зло имел. Чико, бедный, не смог вывезти сено, которое накопил на склонах Верхнего Чирикле, и пришлось ему пригнать свой скот туда, чтобы там подкормиться. А эти нечестивцы пришли к нему в кош и потребовали его скот. «С какой стати я должен отдать вам свое кровное добро?» — сказал им Чико. Тогда они убили его и подвесили на жердах, как баранью тушу.

— Крянусь душой отца, возьму, пожаруй, свое старое ружье и парьну им прямо в лицо, родившимся от суки! Газве бандит черовек? Зверя хуже!

— Оставьте вы этих бандитов... Что вы хотите? Там же всех злоба вместе свела, оттого они в стаю сбились. А разве старая месть забывается? Она же ветровой болезни¹ хуже!— Повадки этой болезни Тебо знал хорошо: нахмурится погода — и у Тебо отнимались ноги.— Это не то что наш с Казаком спор. Неутоленная месть человека изнутри всего изгрызет и искрошит. И только случай найдет — тут же человека на ишачьего коня² посадит.

— Так-так...— сказал Биязурка.

— Оставьте, аланы, эти пустые хабары,— сказал Казак.— Не нам их судить.

— Орранй, биррайй, бедным своим отцом крянусь, нам!

— А коли вам, так чего же вы ждете? И кроме Чико есть мирные люди, есть кого им еще убивать.— Никто не

¹ Ветровая болезнь — гипертония.

² В древности человека, совершившего тяжелый проступок, сажали на ишака задом наперед, водили по аулу, и люди плевали в него. Это называлось «посадить на ишачьего коня».

ответил ему. Казак повернулся к Байчо:— Байчо, ты возле этих ходишь, что там видно?

— Оррай, биррай, и Байчо забрудиря,— снова влез Ережиш. Он в упор посмотрел на Байчо:— Не думай, что мы доворьны этим.

Тебо:

— Оставь его в покое. Что он? Ну, темный человек. Сказали «работай» — работает.

Байчо слушал очень внимательно. То, что кто-то резал телефонные провода и из-за этого кто-то в Жамауате мог пострадать, волновало его. Он чувствовал, что и он сам, и аул переживают какую-то одну общую несправедливость. Байчо еще по привычке думал, что переживать, заботиться, предпринимать что-то — дело других. Но душевная рана его все ширилась, расплзалась, отдаваясь глухой неумеренной болью по всему телу, и никто ничего не делал, чтобы уолить ее...

И чем больше он думал об этом, тем острее чувствовал нанесенную обиду. Прежде Байчо начинал храпеть, как только голова его касалась подушки, теперь не спал ночами. Он лежал, подложив скрещенные руки под голову, вздыхал, вскакивал, садился и долго, обняв колени, просиживал так. Даже в трудном детстве его не били; он батрачил, пас овец у бая, недобрый был бай, но и он не бил маленького Байчо. Ругань, обидные слова Байчо слышал, но чтобы кто-нибудь замахнулся на него — такого не было. Теперь же, на старости лет, когда выросли дети, догнали и вровень с ним встали, он пережил такое унижение!.. Уж лучше бы падать рубашку из огня, и то было бы легче.

И чем злее унижение разъедало его сердце, тем яснее понимал Байчо, что про эту боль рассказать он не сможет никому. Гнев его праведен, но перед обидчиком он был все так же бессилен. Порой казалось, что не волка загнали в клетку, не волк грызет холодные железные прутья, в кровь обдирая зубы, а он сам.

— Откуда знать? — тяжело, словно из-под каменного завала вылезая, сказал Байчо. — Когда бы не наше счастье, они бы не пришли. Что можно ждать от захватчика?

— Но, говорят, ты смотришь за верком?

— Тейри, лазим, как смотреть за волком? Зарежу бычка, освежую, и ему кусок достанется. Вот и весь уход.

— На что этому гяурх волк? Не слышал? — сплетенными пальцами Тебо захватил колено и поднял — затрещали суставы.

— Ничего не слышал, — ответил Байчо.

— Аланы, чему я удивляюсь, — Тебо расцелил руки, распрямил колено и, вытянув обе ноги, положил одну на другую, — так это тому, что они еще никого не взяли. Даже тех коммунистов, которые вернулись.

— Вызвали кое-кого, допросили и отпустили, — сказал Байчо.

— Да, — сказал Тебо, — давайте посчитаем. Кади из Алачагировых вернулся? Вернулся. Тяпа из Салимгериевых вернулся? Вернулся. Это из Езена. Перейдем к Чегету. Этот, ну, работал начальником Заготскота... Зулькарний, сын Сулеймана. И он вернулся. Тейри, мне кажется, не будут эти язычники тут у нас бесчинствовать. — Никто ничего ему не сказал, даже Казак — посмотрел только на него в упор и отвернулся. — А ведь что говорили? Жгут, говорили, убивают. Ну, где жгут, где убивают? Видать, придется нам примириться...

Байчо почувствовал, как под стружьями дернулась кожа. Нет, нельзя было с этим мириться. Враг молчал, но Байчо то знал, что молчание это злое.

— Тейри, лазим, Тебо, нельзя мириться с ними. — сказал он. — От тех, кого я знаю, добра ждать не приходится.

— Почему вы молитесь за меня — я и сам еще живой! — вдруг резко сказал Жарнес. Спорившие повернулись к нему и умолкли. — Аллах дал мне, а вы себе хотите забрать?.. Особенно ты, Шырдан! Нет у меня бия¹ по имени Шырдан! Ты уже умер, и тебя похоронили. Так лежи себе спокойно в могиле. Холодно, говоришь? Я, что ли, ее тебе согрею?.. «Отдай душу сына, если жалко своей, говоришь?» Как тебе отдам? У него своя душа, он ей хозяин, а я и своей-то душе не хозяин. Да, Шырдан, да... И нечего ухмыляться. Ты что говоришь, язычник! «Свое ты уже прожил, что суждено было видеть — увидел»... Но что я прожил, если путь мой был короток — от двери до окна? Пусть Гыйтмырза отдаст за меня душу? Молодой, говоришь? Ну вот, а я — старый... Видишь, сидят, мою кончину стерегут, а на лицах написано: «Жарнес умирает». И ты прикидываешь, как бы ловчей ухватить мою душу! Газраил² ты, Шырдан, нет в тебе сострадания! Не приходи ко мне больше. И палку мою из-за тебя сломали...

При воспоминании о палке Жарнес легко привскочил и сел — маленький, сухой, казалось, в нем не было никакого

¹ Б и й — господин.

² Газраил — ангел смерти.

веса, только чистым маревом дымился дух. Ережип просу-нул руку под одеяло, потрогал его ноги и безнадежным взглядом посмотрел на Биязурку. Жарнес повернулся к сидящим:

— Выгоните же наконец Шырлана. Покуда он не уйдет, я не смогу сказать вам всей правды. Аллах, аллах, ты один...

Биязурка тоже быстро помолился, вместе с ним. Халыу, как только заговорил дед, вошла в комнату, чистым белым платком вытерла Жарнесу лицо и шею, осторожно уложила его на подушку...

Жарнес:

— Ну, погнажи? Вот и ладно. А то говорит: на том свете хорошо, родившийся от ассы! А то я не знаю, каково там!

Вероятно, Жарнесу показалось, что он громко расхохотался. Но собравшиеся только по дрожи крошечной сухой груди и блеснувшим глазам догадались, что где-то там, в своем мире, Жарнес рассмеялся. А чтобы слышать, что он говорит, старикам приходилось напрягать свой слух.

— Схороните меня рядом с Ахияхакимом, — наказал Жарнес. Теперь лицо его сияло, казалось здоровым и чистым. Он был спокоен, чувства и мысли ясны и собранны. Он прикрыл веками глаза, чтобы неясная и зыбкая игра мирского света не мешала ему сосредоточиться, сказать остающимся самое главное. — Крепитесь, язычники вы эдакие, слезы — пустое, ими могилы не намоешь. Будете много плакать — и со мной станет как с Шырланом. По нему много плакали, вот ему теперь и не лежит в сырой могиле, бродит, товарища себе ищет. Когда будете за меня молиться, и про него не забудьте. Я умираю дома, а его в поле убили — вилами в живот. Он говорит, что на том свете молодые нужны. «Зачем?» — спрашиваю я его. «Некому там, — говорит он, — стариков почитать. И потому старики у самих себя на побегушках. А старикам, говорит, и на том свете почитание нужно. А где нет молодежи, и почитания нет...»

Халыу принесла ему горячего чая, заставила сделать глоток. С намоченным платком в руке ждала, чтобы вытереть ему губы, и, стыдясь при стариках дать волю слезам, плакала безмолвно.

— Да, о чем я говорил? — немного передохнув, спросил Жарнес. — Да, Шырлана вилами закололи. На быка позарились! Из-за одного быка проткнули ему живот. Нет, не об этом я хотел сказать... Могилы наши, я боюсь за могилы... Помните, словавший у старика палку молодому сло-

мает шею... А, вот что! Человек создан из праха, в прах и уйдет. Надо помнить это всегда. Скорбно, когда не принимает земля. Своими глазами видел, как это плохо, когда проклинает земля! Своими ушами слышал. Вот и того, кто убил Шырвана, не приняла земля. На украденном быке поехал в горы свозить лес, но упала на него сосна и разможила ему оба колена. Так и стыл он в лесу, черви вывелись в его глазницах, зверье и птицы растащили его мясо, а земля его не приняла. Прокляв однажды, земля потом не принимает в свое чрево. Ни за какую корысть мира не отступайте от земли. Даже самой жизни ради. Вечной жизни нет. Я прожил сто и двадцать и еще семь лет и теперь ухожу. Я буду забыт, как только темь земли заложит мои глаза. Никто не скажет, что мгновением была моя жизнь. Но если меня самого спросите, то скажу: вошел утром в дверь, ухожу вечером в окно...

Они сидели пораженные, молча, смотря в землю перед собой. Старик, в самом глубоком детстве которых Жарнес уже был стариком, они с печалью и гордостью увидели, как ясно его сознание в тот миг, когда пришла пора сказать ему самое главное, последний итог жизни — что было венцом его ста и двадцати и еще семи годов. Самый древний человек Жамауата, он так ясно и твердо говорил свое последнее слово, так был уверен в истинности своего завета, что стыдно и грешно было сидящим рядом оттого, что многие годы они считали его слегка рехнувшимся стариком, взжившим свой ум и опыт. Они боялись посмотреть ему в лицо. Они молились — не за грехи Жарнеса, у него уже не было никаких грехов, грехи свои он тоже пережил, — молились от страха. Жуть, исходящая от чуда, охватила их. Они были очевидцами восшествия Жарнеса в святые. Божья дверь приоткрылась им, и оттуда потянуло сквозняком.

— Чего должен бояться человек, покуда он жив? — чуть шевеля посиневшими уже губами, продолжал Жарнес. — Он может ничего не бояться, безбожники вы, язычники. Бойтесь того, что будет после смерти! Мудрейшие люди жили во времена моей молодости — они никогда не забывали о своем последнем часе. Что насилье для живого? Живой может отомстить, может и простить. А мертвый? Надгробный камень твой упадет — ты его не подправишь, плачущих по тебе — не утешишь. А знаете вы, что в земле вам больше придется пребывать, чем здесь? Вот вам правда: настоящая жизнь человека начинается после его смерти. Удивляетесь, язычники? У кого мы учимся жить? У живых или у мертвых?

То-то! У мертвых мы учимся. Мы знаем, как они жили, как умирали. В миг кончины между человеком и аллахом не может быть лукавства. У нечестивца вместо крови по жилам желтой желчью расходятся сожаленья. А кто жил достойно — у того душа спокойна, будет ей там облегчение. А жил грешно — тоже знаешь, нет тебе прощения на мосту Сират. Коли так, у кого же мы учимся, если не у мертвых? С того дня, как мы начинаем понимать, что хорошо и что плохо, мы чувствуем, как на плечо лег молот Накир — Мункира¹. И кто чувствует эту тяжесть на своем плече, проживет праведно. После смерти мы не бедные и не богатые, не молодые даже и не старые. Может, язычество и мусульманство — тоже пустые слова, не знаю. Но остается верный сказ: был добрый человек. Или говорят: давно пора было умереть ему, нечестивому. Я свое прожил, что было суждено увидеть — увидел. Но ухожу я в тревоге за судьбу аула. Аул мой Жамауат находится в руках врага. Не знаю, останется ли он аулом...

Закончив, Жарнес облегченно распрямился, будто снял тяжелую ношу с плеча. Лицо его стало еще моложе и светлей. Совсем уже свободный — от слов, от забот, от привязанностей, — теперь он скорее принадлежал небу, чем земле. И лишь потому оставался он на подушке, что надлежало еще испросить прощения у остающихся.

— Простите меня, — сказал он. — Многих, наверное, обидел сумасшедший старик.

— Мы прощаем, Жарнес. Пусть же аллах и его пророки будут так же довольны тобой, как мы, — в один голос сказали остающиеся.

— И ты, бедный Жарнес, прости нас, — сказал Биязурка.

— И я доволен вами, — сказал Жарнес. — Почему не быть мне довольным? Только вот... Одного я хотел: чтобы мой внук Гейтмырза тоже держал лестницу, на которой вы понесете мое тело на кладбище.

Рванули дверь, в комнату ворвались Гельмут, два автоматчика и Мачар. Гельмут что-то крикнул по-своему. Все поняли: ни с места!

Халыу, удерживая рыдания, стояла у постели Жарнеса. Казак застыл, грудью прислонившись к спинке кровати. Вайчо еще ниже опустил голову. Ережип привстал, будто

¹ Накир — Мункир — два ангела, допрашивающих покойника о его жизни.

собрался прыгнуть, но так и не прыгнул. Мухтар шмыгнул было к двери, но, наткнувшись на дуло автомата, остановился. Лишь Биязурка и Тебо сидели с таким видом, будто задумались и даже не слышали, что кто-то вошел в дом.

Гельмут подошел к Мухтару, можжевелевым прутом ткнул его в грудь и вопросительно посмотрел на Мачара.

— Да, Мухтар! Билекчиев! — зло сказал Мухтар и сунувшимися глазами повел с Гельмута на Мачара.

Гельмут с силой толкнул Мухтара. Тот шатнулся, попятился и, упершись в стену, прыгнул к двери, сорвал висевшее на гвозде коромысло. Халыу с криком бросилась к сыну. Он, оттолкнув ее локтем, замахнулся на стоящего в дверях автоматчика. Мачар успел перехватить другой конец коромысла, вместе со вторым автоматчиком они вырвали коромысло из рук Мухтара и повалили его на пол. Мухтар рванулся встать, но его коромыслом за горло придавили к полу. Мачар широко расставил ноги и наступил на оба конца коромысла. Мухтар захрипел. Халыу бросилась на помощь к сыну. Ее ударили рукоятью автомата в живот, и она, скрученная страшной болью, упала на колени, потом, обхватив руками того своего ребенка, который был в животе, отползла к стене.

Мачар обернул лицо с прилипшей к нему улыбкой, в углу его рта мерзко белела полоска загустевшей пены. Гельмут ткнул его прутом в спину, и он сошел с коромысла. Мухтар был без сознания. Двое автоматчиков подхватили его под руки и выволокли из дома.

— Люди... что же это... — задыхаясь, стонала Халыу. — Люди, скажите... что он им сделал... мальчик... несмышленый... — силясь поймать воздуха хоть на глоток, она мотала головой. Лицо ее было обезображено, растрепанные волосы выбились из-под платка и открылись взору мужчин. Она пыталась встать и снова сползала на пол.

— Дома надо было держать своего щенка, на привязи! — сказал Мачар злорадно и, повернувшись к старикам, добавил: — Не сына вырастила она. А щенка, сука, родила и вырастила! Красного щенка!

И только Жарнес ничего не видел и не слышал. Жарнес умер.

XII

Зажав рот мокрым платком, Халыу сидела у очага. Рядом, уткнувшись в ее колени, сидел Башир.

Халыу была набожная женщина. Много лет, с тех пор

как девчонкой-подростком в первый раз опустилась на молитвенный коврик, старалась она, как положено, пять раз в день совершать намаз. И когда за болезнями, родами, за крестьянским трудом пропускала какой-то из пяти — чувствовала укоры совести. В эти дни она не молилась, но совести своей не чувствовала, та словно занемела, как немеет отсиженная нога. Теперь же, понемногу отходя, она чувствовала, как отходит и совесть. Как и многие матери, потерявшие сына, Халыу надеялась в молитвах найти утешение. Если раньше Халыу молилась для бога, то теперь молилась для себя. На дне каждого ее намаза был горький укор. Халыу была жестоко уязвлена своим богом. Многолетней своей любовью к нему она заслуживала хоть немножко милосердия, а он был глух, не откликнулся, не услышал ее мольбы. Только Башир, словно уцелевший от чумы, сидел рядом с ней.

Оговь в очаге потух. Темнота вошла в остывший дом. Да, соглашалась Халыу, не все еще она видела, не все пережила, что суждено ей увидеть и пережить. Самое страшное, может быть, впереди.

В такой-то час и вернулся Ганс Шрайнер. В эти дни, пока шли похороны, он в доме не появлялся. Не было и Зуппана. И вот, когда все утихло, Ганс пришел. Тьма и холод остановили его на пороге. Что-то насторожило его, он достал фонарик и зажег. Беременная женщина с обожженным слезами лицом мутным, уплывающим взглядом, смотрела на него. Мальчик же и не шевельнулся. Ганс почувствовал, как луч запрыгал в его руке. Он шагнул следом за лучом — не в свою комнату, а к этой женщине. Халыу вскочила, точно испуганный зверь, прижала к себе мальчика. Круг света метнулся к потолку, когда же он опустился снова, в нем встало лицо его матери — фрау Эммы, из-за ее спины полными слез глазами глянула сестра Шерли. Сестра его, любимая сестра, где она теперь, жива ли еще? Но тут же они пропали, и появились прежние два лица — молодой женщины и маленького мальчика.

Ганс резко, будто кто повернул его за плечо, зацагал в свою комнату. Не раздеваясь, сел у темного окна. Хотелось выпить, но не было ни глотка — ни вина, ни спирта.

Он набил трубку, долго не мог зажечь — дрожали руки. И тут в соседней комнате Башир — еще, видно, не израсходовал всего запаса воздуха в кишечнике, — пропустил его тоненькой прерывистой трелью, и эта трель, словно светя-

щаяся нитка, пролетела по дому и осветила ночь. И он увидел себя: он еще маленький, он ровесник Башира, рядом с ним его мать. Какой она была заботливой, его мать — с добрыми руками, добрыми глазами и добрым сердцем. Ночью она вставала, поднимала сползшее одеяло и снова укрывала Ганса. А какие сказки рассказывала она! А песни ее! Песни удивительных миннезингеров! Нежным глубоким голосом пела она их Гансу. «У каждого народа есть свои миннезингеры. Народ без песни — не народ», — говорила она.

Когда же Ганс был в возрасте старшего брата Башира, песни стали иными. Но ведь это здорово! Песни матери, какими бы милыми ни были, принадлежали прошлому. А прошлое — это то, что прошло. Было — и нет его! И пользы от него никакой, тем более такому, как он, — юному, решительному, светлолицему, с высоким лбом. Таким он был — на радость матери, на радость горячо любящей единственной сестры.

И что мешает ему стать счастливым? В те дни началась борьба за тысячелетнее счастье арийской расы. И в том уже было счастье, что эта священная борьба выпала на долю его, Ганса Шрайнера, поколения.

— Настоящим народом немцев сделает лишь война, — говорил он матери.

— Никогда ни один народ не нашел своего счастья в зле чужого пожарища, — качала головой мать.

Накинув шинель, он вышел на улицу. Промозглый воздух дымился сыростью. («Будто шкура, торько что снятая с вора», — сказал бы Ережип, разумея, конечно, всла, а не вора.) Где-то залаяли собаки — то ли человека подозрительного почуяли, то ли зверя, — лай был решительный и дружный. Он втянул голову в воротник шинели — было зябко. Вспомнил про сваленное в сарае сено, пошел и, запахнувшись в шинель, нырнул в стог, как нырял в детстве...

Ласковое сено прижалось к Гансу, обдало его теплом, зацекотало шею, лицо, от его убаюкивающего, как колыбельная, запаха потянуло в сон. И в охватившей его дреме он увидел поле, с которого только что откатился бой.

Была поздняя осень год назад. И то поле ломилось от осеннего изобилия, от края и до края лежали трупы — и огромные тыквы, трупы — и картофельные кучи, трупы — и снопы конопли. И поле, разорванное, разодранное, обожженное, пахло тыквами, картофелем, коноплей. Трупы еще

не нашли. Но страшнее трупов были побитые лошади, словно нарывы пучились их туши по всему полю — оскаленные, с белыми глазами.

Шрайнер, раненный в обе ноги, дополз до груды конопляных снопов и, истратив последние силы, уронил голову в рыхлую землю. Теперь не было ничего. Ничего не было... ни гордости, ни униженности, ни храбрости, ни трусости, ни осознания величия Германии, ни гения Гитлера — все это вытекало из него вместе с кровью и уходило в землю. Точно так же, как, остывая, чернела и выхолащивалась кровь, и эти чувства расплывались, как промозглый пар осенней земли. Было только невыносимое жжение в ногах, пронизывающее все кости, — не тело теперь, не молодое крепкое тело — одно рвань.

Струями лил пот, потрескались губы — пахнущие землей, тыквой, едкой коноплей губы. Потом жар перешел в озноб. Смерть шла к нему. Сгустком темного полыхающего марева шла она к нему через поле. Огромным усилием Ганс закинул тело меж уложенных шалашиком конопляных снопов. Озноб поднимался от ног к сердцу — это смерть уже по нему ползла. «Что ж... — пытался подумать Ганс. — Что ж... Да, что ж...»

Где-то текла вода. Там, вдали, где кончалось поле, лежала большая река.

— Воды! Глоток воды, — просил раненый.

Теперь он лежал и обнимал поле. Но поле знало, с чем он шел сюда: затоптать, покорить его. И он топтал — тяжелыми коваными сапогами. Чго — топтал! Он вспарывал его, рвал на клочки, взрывал, выжигал. Если бы раненый мог взглянуть, он увидел бы, что все поле в таких же кровавых лохмах, как его ноги. А теперь он просит у поля милости.

Стемнело. Пошел дождь. Тихий, мелкий дождик. Похоже было, что он пришел успокоить поле, промыть его раны, смыть кровь с картошки, пятна копоти на серых боках тыкв. Но дождь — он дождь и есть, и кровь, что праведную, что неправедную, смывает одинаково. Он лился в раскрытый рот Ганса, остужал горящие раны.

Что это — счастливая звезда? Железное здоровье? Ночь он провел под снопами конопля, а утром снова полз по разжигенной долгим дождем пахоте, тащил на руках тело, а сзади, словно прицепленные, волочились ноги. Он полз по тихому, обложенному серым туманом полю, мимо запрокинутых лиц мертвецов и думал, что и он сам, хотя еще

ползет куда-то, уже мертвый. Бессмысленны были эти трупы, это мокрое поле, его горящие раны. Все бессмысленно, все глупо. И хоть бы еще одна душа. Ему было все равно теперь — свой или чужой. Только бы живой.

Тело его, черное от боли, выползло с поля и, обессиленное, жалкое, лежало возле обочины...

От той давней боли Шрайнер вздрогнул и очнулся... Трудно понять, как он все же выжил тогда. И не только выжил — здоров, как зверь. Не могильный, а железный крест на китель получил он тогда, и его повысили в звании. И все же тогда на обочине, черный, страшный, жалкий, он был больше живой, чем сейчас...

Это началось потом. Не там на поле, когда он, даже не он, а туловище его, ползло и тащило за собой чужие рваные ноги, и даже не в госпитале, когда уже думали, что поползла гангрена...

Нет, жучок начал точить позже. Здоровье его снова было отменным, миссию свою — офицера победоносного вермахта — он исполнял с верой и неукоснительно, но жукоточильщик все глубже и глубже проедал его печень, сверлил свои ходы дальше. Иногда, в такие вот вечера, он даже чувствовал, как продвигается этот жучок и оставляет за собой красную труху — то, что было его печенью, почками, селезенкой, кровеносными нитями, мечтами, чувствами, памятью.

Он продолжал верить в фюрера, но когда рука его сама при этом великом имени взлетала вверх, он слышал, как внутри вскинутой руки с тихим шорохом осыпалась труха. Твердо и звучно отдавал он приказы — а слова вылетали безжизненные, как хлопья пепла. Он стрелял во врага — а холодные изъеденные пули летели вяло, вычерпывая воздух свищевой трухой.

И никому он не мог рассказать о том, что внутри он весь, как сито, весь взгрызан, что весь он — словно огромный кокон для какой-то мерзкой личинки. Кому расскажешь? Матери? Но ведь с нее-то все и началось... Вернее, с той соответствующей бумаги.

После госпиталя он на короткую побывку приехал домой. Вернулся — а матери нет. Где она, что с нею?

«Да она же...» — мялись соседи, отводя взгляд. «Что с нею? Скажите, что с нею?!» Он видел: соседи что-то скрывают от него. «Эмма... Она ведь очень уж откровенная была». Подошел еще один сосед, блокляйтер. Замолчали окончательно. Но тот сразу понял, о чем был разговор:

«Она изменница была! Изменница!» Ганс схватился за пистолет. И выстрелил бы, если б не схватили за руки, не дернули так, что боль прошла по ногам, и он упал на четвереньки. А тот: «Твоя мать была предательницей!» — «Моя... мать?» Все заговорили разом: «Ведь Эмма... Она помогала коммунистам», «Жить рядом с нами и заниматься такими делами...», «Чем иметь такую мать, лучше...»

Он не стал их слушать. Он пошел прямо в местное отделение гестапо. Там сказали: мать его Эмма Шрайнер, урожденная Гиммельхебер, вела подрывную работу, была схвачена, избита и как изменница повешена. Раскрыть ему обстоятельства дела они не имеют полномочий, но он, Ганс Шрайнер, должен четко определить свое отношение к матери-предательнице. Надлежало: или, как подобает истинному арийцу и офицеру вермахта, отречься от матери, или... Если он избрет первое — требуется соответствующее от него заявление. Тогда он может вернуться в свою часть. В противном случае — последует соответствующее решение соответствующей инстанции. Красноречивый пример: его сестра не написала такого заявления и...

На следующее утро он принес соответствующую бумагу:

«Я, фельдфебель Ганс Шрайнер, отрекаюсь от матери Эммы Шрайнер, девичья фамилия Гиммельхебер, которая была предательницей. Больше ее матерью не считаю, порываю с нею всяческие связи как сын. Выражаю свое глубокое сожаление, что родился от такой женщины...» — и только поставил свою подпись, жучок скрипнул и начал свою работу...

Так в стого сена коротал ночь Ганс Шрайнер. Так приближался к своему концу.

XIII

Всю ночь Чыккы-кызы мучилась странными снами. Встала задолго до рассвета, растопила печь. Совершив омовение, прочла утренний намаз. Но не успокоилась. «Что-то случилось с Хамалаем... Бедное мое дитя, где же ты?» — сидя на молитвенном коврике, спрашивала она. Тихо, темно, только в щелях плиты бьется огонь.

Чыккы-кызы оделась и пошла к женщине по имени Гу-жаи, гадавшей на камнях, предсказания которой всегда сбывались. «Куда же я — в чужой дом в такую рань, точно

с дурной вестью?» — подумала она уже на улице. Но возвращаться не стала, пошла еще быстрее. «Не впервой и не потехи ради иду, Гужай поймет тревогу матери».

Похоже, и у Гужай были свои тревоги, и она уже была на ногах. Пока она расставляла камешки на доске, а Чыккы-кызы рассказывала о своих ночных терзаниях, наступило пасмурное зимнее утро и Гужай погасила лампу. Налмас сидела, не отрывая глаз от камешков. Сын ее Хамалай, говорили они, жив и невредим и уже где-то неподалеку от родных мест. Хвала создателю, зря она волновалась!

Радостная, поверившая в скорое возвращение сына, шла Чыккы-кызы домой. Вдруг она услышала стук топоров под горой. Стук топоров — в грушевом саду! Страх схватил за конец бота и остановил ее. Потом страх потащил ее вниз, в Домсовету. И увидела: немцы, смеясь, перебрасываясь злорадными, как ей показалось, шутками, рубили грушевый сад! С больших раскидистых грушиц сыпался белый зернистый иней, и спины рубящих тоже были в инее.

Перво-наперво Чыккы-кызы схватила камень из чьей-то ограды. «Ах, мать моя несчастная, что же они делают с нами!» — сказала она и с камнем в руке взбежала на холм за школой.

— О-ха-ха-ай! — крикнула она оттуда срывающимся голосом и почувствовала, как дрожат ее колени и судорогой сводит ноги. — О-ха-ха-ай, люди, аланы! Эти язычники рубят деревья! Пожар на ваш дом, чего вы ждете?

Оставив в пасмурном утреннем небе Жамауата свой горестный крик, Чыккы-кызы побежала на Нижнюю улицу: за нею, словно тяжелый черный дым, тянулся развязавшийся бота. Она шла, расплескивая свои проклятья, страх и нетерпение по дворам, бранила каждого, кто выходил на ее крик, и, задыхаясь, шла дальше.

Грушевый сад перед Домом Советов был разбит еще Жолаем Темирболатовым. В тот год, когда Жолай построил в Жамауате мельницу, груши зацвели в первый раз. А уже перед войной в пору созревания не только вокруг Дома Советов, но и все ущелье пахло спелой грушей. Помнили жамауатчане и наказ Жолая — никогда не ставили там охраны, дабы юное поколение Жамауата могло вдоволь лазить по грушевым деревьям. А эти сорванцы — разве они умели жалеть? Но все шло по справедливости: раз ломалась ветка груши, другой раз — нога или рука приткого жамауатчанина. Так что одинаково приходилось горевать и матерям, и грушам.

Один раз — в тот год, когда Жолай Темирболатов привел в Жамауат первый трактор — сильный град выбил грушевый сад. Град величиной с индюшачье яйцо выпал в первый день месяца тотур¹. Чыккы-кызы тогда взяла в одну руку градину, а в другую — яйцо индюшки и пошла по соседям. И хотя через три-четыре двора градина изрядно подтаяла, она все же перевешивала яйцо.

И пусть бы твой враг глядел в тот день на грушевый сад!

Словно калек и нищие со всех ущелий сползались сюда, в ущелье Юрду, — понурые, оборванные, в рубище, с изувеченными, искореженными телами... Они стояли по колено в нанесенном потоком черном иле и тянули обломанные ветви, словно руки за подающим...

И все же сад тогда не погиб.

— Надо его вылечить, — сказал тогда Ордап (он был тогда не стар, недавно женился). — Срезать поломанные ветки, а раны смазать аробным маслом, — может, и примутся снова.

И люди припили. Кто с ножом, кто с секатором, кто с вилой, кто с лестницей, ведрами песли аробное масло... Одни делали обрезку, другие отпиливали сломанные ветви, молодые ребята, взобравшись на плечи приятелей, перевывали рапы, женщины на посылках выносили ил.

Чыккы-кызы и Майруш работали вместе — таскали посылками грязь из сада. (Фердауус, вечной соперницы Чыккы-кызы, не было, в тот день она рожала своего второго ребенка, и оттого, видно, что появился на свет в такой день, мальчик этот уродился таким лупоглазым — каждый глаз с индюшачье яйцо величиной.) Потом Чыккы-кызы и Майруш таскали толстые срезанные ветви и печалились: быстро уходят годы! Кажется, ведь только еще вчера сажали тонкие саженцы, а теперь — вон какие толстые узловатые ветви!

...День посадки сада Чыккы-кызы вспоминала с особой грустью. Тогда она еще звалась Красавицей Налмас, и многие ребята не осмеливались даже поднять на нее глаза. И разве посмел бы кто-нибудь подшучивать над ней, как подшучивали над этой длинноногой Ханифой? Аллах свидетель: не было в Жамауате парня, который не мечтал бы хоть словечком перемолвиться с ней.

В тот день она работала в паре с самим Жолаем Темир-

¹ Тотур — июнь.

болатовым. Налмас держала саженцы, а Жолай, сидя на корточках, ставил их, аккуратно укладывая корни в перемешанный с перегноем чернозем, засыпал и широкими ладонями прибавал землю. Большой человек был он, гордый, смелый. Но что делать: покуда она, Налмас, росла, он успел жениться. Так что никакой пользы Налмас от славы Жолая не было. Но если бы он сказал... если бы она поправилась ему... Кто мог сказать Жолаю: нет? Да пусть она сквозь землю провалится, такая женщина, чего она стоит? Жолай был герой. Жолай был бог: чему надлежало быть — то и случалось его соизволением.

Но вот к вящей досаде Налмас он молчал. И все же к концу дня, вернее, концу работы он сказал... Посадив дерево, Жолай сидел на корточках, а Налмас стояла перед ним и, когда они встретились глазами, растерялась, даже не догадалась хоть чуточку отступить назад. Он же, Жолай из Темирболатовых, смотрел на нее снизу вверх — острый блестящий взгляд прошел по ее ногам, по тонкой талии, по грудям, казавшимся в тот день ей самой особенно большими и тугими. А Налмас почувствовала дрожь в ногах, и не было у нее сил убежать или хотя бы отойти или даже двинуться.

— Красавица... — донеслось будто из-под земли. И большие, в крупцах земли, ладони Жолая скользнули по ее ногам вверх. Сама еще ничего не поняв, она отпрянула, отлетела, словно отброшенная. Но ее догнали слова Жолая: — Красавица... Вечером приходи ко мне на работу...

— Как вам не стыдно...

Так старшая дочь Чыккы — Налмас — могла совсем близко узнать знаменитого человека.

...И, охваченная воспоминаниями, она сказала вслух:

— Да-а, оглушил он меня тогда!..

— Что, что, женщина? — насторожилась Майруш.

— Да ничего... Град, говорю, крупный, в голову попадет — не то что оглушить, убить может, — и улыбнулась, снова уходя в воспоминания.

«Слов нет, оглушил так оглушил!»

Вечером, когда Налмас, согнувшись от тяжести ожидающего ее и родителей позора, сидела, забившись в угол, отец ее Чыккы, будто нарочно, чтобы растравить ее рану, сказал:

— Один мужчина в Жамауате — Жолай из Темирболатовых, человек, каких мало! И к нам хорошо относится, сегодня черепицу на крышу обещал.

Только родители легли спать, Налмас оделась и вы-

скользнула из дома. Шла она белая, как привидение в ночи. Но куда она шла? К Жолаю? С холма посмотрела на Дом-совет. В его кабинете горел свет, Жолай не сомневался: девушка придет — ему остается только ждать.

«Но за кого я могу выйти? — спросила она саму себя. — За Хамалая? За Тапиша? Хамалай болтун и хвастун, а сам, своей жизнью, еще и жить не начал. Нет, этот — не спасение. Тапиш? Вялый какой-то, словно все еще не проснулся, баран бараном. За Ордаана? Не раз он намекал на тоих... Пойти к нему и сказать: «Если всерьез надумал — поспеши!» Нет, высмеет, чего доброго, и отправит обратно. Кому нужна такая, что сама ночью приходит и замуж просится?»

И она сразу отказалась от двух своих поклонников — от Хамалая и от Ордаана. Они были джигиты самолюбивые и с головой. Уж лучше прямо в Юрду, чем опозориться перед ними.

Она пошла к Тапишу. Налмас — и была Налмас. Пришла и, взяв из забора камешек, запустила им прямо в дверь дома. Вышел отец Тапиша, раздетый, в одном белье, стоя на пороге, спросил:

— Кто там?

Налмас затаилась. Отец Тапиша потоптался в дверях, не решаясь выйти во двор.

— Тьфу, кафыр проклятый, бисмилла¹ — выругался он, посчитав, что это проделки шайтана. Послышался стук паброшенной щеколды и вскоре — дружный храп мужчин в доме.

Когда Налмас кинула второй камень, вышел сам Тапиш.

— Иди сюда, — шепотом позвала его Налмас из-за забора. — Небось тоже начнешь шайтана гонять? «Бисмиллой» от меня не спасешься.

— Кто ты? — испуганно спросил Тапиш.

— Я. Налмас.

— Подожди, только шубу накину.

— Хочешь жениться на мне? — спросила она, когда тот вышел уже одетый.

— Что, что? — не поверил своим ушам Тапиш.

— Если хочешь жениться на мне, то женись сегодня, этой же ночью.

Тапиш совсем перепугался.

— Ты дура или сумасшедшая? — спросил он. А пролезу-чало: «Джинн ты или шайтан?»

¹ Так мусульмане гонят шайтана.

— Не джипи я и не шайтац,— сказала Налмас.— Я дочь Чыккы, и имя мое Налмас. И если хочешь жениться на мне — женись. Потом ты меня не найдешь.

— Но ты так странно говоришь, право...

— Нет, не похоже, чтобы ты собирался жениться... Вид у тебя не такой...

— Как не такой! — оскорбился Тапиш. — Очень даже такой.

— А чего же ты ждешь, если такой? — крикнула она, потеряв терпение. — Может, думаешь: завтра в полночь другая Налмас, зажав сердце в горсти, придет к тебе?

— Но ты и близко к себе не подпускала... Ты издеваешься, наверное. От тебя всего можно ожидать.

— Пусть сгниет тот, кто довел меня до такого дня, — сказала она.

— Не горюй, Налмас, — по-дружески утешил ее Тапиш, будто понял наконец безвыходность ее положения. — Правда, я так скоро не собирался, были у меня тут дела... Но коли уж ты пришла... Ладно, я созову друзей, ты готовься.

Весь аул был изумлен этим почтым сватовством девушки, и лишь Жолай Темирболатович, услышав утром, что нынче во вторые петухи украли Налмас, расхохотался, а потом, пораженный ее смелостью и находчивостью, покачал головой.

— Не видел я девушки более хитроумной, чем эта дочь Чыккы, — сказал он.

И с этой минуты она стала называться — Чыккы-кызы.

— Чтоб мое хитроумие тебе поперек горла встало! — в сердцах сказала Чыккы-кызы в этом месте воспоминаний. И все же теперь, в зрелом своем уме, зла на Жолая она не держала. Он был умный, дальновидный человек — что не мешало ему оставаться мужчиной, и, как все мужчины на свете, он любил молодых девушек.

— Непостижимы дела человеческие! — вздохнула Чыккы-кызы.

— А как же... это всегда так, — согласилась Майруш. — А с чего ты об этом вспомнила?

— Да я про деревья говорю... Посадил их Жолай из Темирболатовых. Его уже нет, а деревья растут, плодоносят и будут еще плодоносить.

— Растут, — кивнула Майруш и вздохнула: — Плохие люди, чтоб им провалиться, сгубили его.

— Когда бы не этот сад, и село наше казалось голым и бедным. С тех пор как посадили его, мы и беды не знали.

— Твоя правда, чтоб болезни твои ко мне перешли, какую беду мы видели...

И хотя в тот год деревья не смогли распуścić листья заново, все же быстро набирались сил. А следующей весной они так дружно расцвели, такой сильной была завязь, что осенью уже с тревогой смотрели люди, как еще не вполне оправившиеся от увечий ветви клонились к земле, полные больших краснощеких груш.

Благодарные саду за то, что он выстоял в таком побоище, и потому, что и сами приложили руку к его исцелению, теперь жамауатчане как-то особенно заужавали свой сад и с особой заботой ухаживали за ним. Даже мальчишки, считавшие за доблесть лазить по деревьям, упражнявшиеся в умении перепрыгивать с одного дерева на другое, готовы были теперь сломать себе руку или ногу, лишь бы не сломать грушевой ветви.

И вот теперь Налмас увидела, как немцы уничтожали их сад.

Сначала люди вышли в свои дворы. Потом, увлекаемые друг другом, на улицы. Женщины, ругаясь со своими бота, мужчины, сердясь на свои палки, повалили к грушевому саду.

Первым пришел Ережин. Не замедляя шага, без долгих раздумий, он прошел прямо к потному немцу, рубившему огромную грушу, вырвал у него топор и с силой оттолкнул его от дерева.

— Оrrayй, биррайй... собачье преля... — сказал он и, уверенное, собирався сказать еще что-нибудь.

Другие немцы, рубившие деревья поодаль, распрямылись и замороженно смотрели, как блестел и играл в его руке вскинутый в воздух топор. Глупый старик, сам себе смерти ищет! Тот, который лишился топора, вскочил и, вспахивая сапогами снег, бросился к висевшему на ветке автомату. Остальные стояли, забавляясь зрелищем. Зря он торопится: старик на него с топором не бросается, а стрелять приказа не было, он это знает. Пусть подумается старик, пусть помашет топором, потом он сам примется за эти деревья, сам будет колоть их на дрова.

И они не спеша пошли к обезумевшему старику. Но прежде чем они схватили его, в сад вошел Ордан. За Орданом пришла Чыккы-кызы, за нею Майруш, а дальше, можно сказать, весь аул во главе с Бнязуркой, Тебо, Латыраем и другими. Пришла даже жена Ачахмата — Зайнаф. Тут можно было видеть почти всех знакомых женщин и муж-

чин. Халыу, тяжелая, сторбленная от горя, Дауус с двумя младепцами на руках, за подол платья ее держались еще двое, Фердауус со своим глазастым сыном и в совсем уже старом бота. Тут были и совсем незнакомые нам: Ханифа из Гуртаевых — жена Кичитотука (ее сватал Латырай, но она предпочла Кичитотука. Правду говорят, девушку сватают тысячи, но женится на ней один!), сам Кичитотук, горбатый Хаджи из Хачыевых, кроме них тут были женщины, которых Ережип не знал, был еще один тщедушный человек, который, не поднимая глаз от земли, все время шмыгал носом, кажется, его звали Якуб, и молоденькая женщина, которая никак не могла устоять от соблазна посмотреть на мужчин, но каждый раз, встретившись с ними взглядом, краснела. А там подходили новые или же смотрели на происходящее со склопов.

Перед застывшими в удивлении немцами встал Ордан.

— Мы не дадим рубить сад! Клянусь Чоппа! — сказал он.

— Не дадим рубить сад! — сказал парод в один голос.

Тщедушный человек еще раз шмыгнул носом. Толпа волной подхлынула к немцам и остановилась.

Немцы видели, что толпа не на шутку разозлена, но пустить в ход автоматы не решались. Было приказано рубить сад на дрова, но стрелять приказа не было. Откуда же было знать их командованию, что из-за какого-то сада так всколыхнется Жамауат? Они помнили приказ, который получили от высшего командования: вести себя с горцами корректно!

— Марш! Марш! — сказали солдаты, тыча дулами автоматов в толпу.

— Давайте сюда вашего самого главного начальника, — выйдя вперед, сказал Ордан, — нам коменданта давайте, а не «марш-марш»!

— Надо сказать коменданту, — сказал маленький человек, ошовательно шмыгнув носом.

— Зачем нам этот кяфыр, надо позвать Жабраила, — сказала Майруш. — Ходит где-то, а тут сад рубят...

— Придется тебе сходить за ним, — обратился Биязурка к Ордану. — Возьми Кичитотука, и идите вдвоем.

— Почему бы и не сходить? Как вы думаете? — обернулся Ордан к толпе. — Пошли, Кичитотук! Идти так идти, оллахий, прямо к нему и пойдём! — И Ордан решительно зашагал из сада.

Но далеко идти не пришлось. Бывший Домсовет, где сидел теперь Жабраил, был по ту сторону дороги.

Но он и сам, наверное, услышал шум — когда Ордан и Кичитотук подошли к Домсовету, Жабраил выходил из ворот.

— Оллахий, Жабраил, рубят сад, — взволнованно сказал Ордан.

— Пусть рубят, тут уж не до сада, надо думать, — разглядывая свои сапоги, спокойно сказал Жабраил.

— Алан, Жабраил, странный ты человек! — обозлился Ордан. — Подумай, что ты говоришь! Мы не дадим рубить сад!

— Вы головы свои под топор кладете. Пни от грушиц и будут плахами. — И, вскипев от гнева, закричал: — Оллахий, где еще найдешь таких тупых людей! И сад порубят, и нас порубят!

— Ты это народу скажи, — посоветовал Ордан, шагая рядом.

— И коменданту то же самое скажем, — вставил слово и Кичитотук, он еле поспевал за ними.

— Это все твое упрямство, все оно, — сказал Жабраил Ордану. — Лезешь повсюду со своим упрямством.

— Как не быть тут упрямым, — вдруг успокаиваясь, сказал Ордан. — Алан, Жабраил, вот что я скажу. Ты говоришь: «Пусть рубят сад». Ладно, пусть. Сегодня позволим им вырубить наш сад. А завтра? Что, если завтра они скажут: «Давайте сюда ваших жен»? Е-а? Сказать по совести, твоя жена покрасивее и помоложе моей.

— Оставь, богом тебя прошу, оставь, — тихо сказал Жабраил.

Одновременно с ними к саду подъехала машина, из нее вылез начальник жандармерии и спросил:

— Почему народ собрался тут?

Следом выскочил переводчик, догнал его и перевел.

— У горцев рубить плодовое дерево большой грех, — сказал Ордан.

— Господин Гельмут, кто разрешил рубить сад? — спросил староста.

Гельмут, ничего не ответив, пошел в сад.

Ордан догнал его, обошел, и, когда Гельмут подошел к толпе, он снова стоял перед ним.

— Ты! — Гельмут длинным указательным пальцем (видно, где-то забыл свой можжевелевый прут) ткнул его в грудь. — Ты (Кичитотуку), ты (Ережипу), ты (Биязур-

ке), взять топоры и срубить весь сад. Остальные по домам!

— Расходитесь!— сказал Жабраил.— Беду накличете...

И народ, в замешательстве следивший за длинным пальцем в черной перчатке, разом повернулся к нему.

— Отступник!— сказал ему народ.— А то без твоей помощи они не умеют издеваться над нами!

— Алапы! Чего они хотят?— вдруг разразился гневом тот сухонький человечек, все время шмыгавший посолом (да, его звали Якуб).— Что он заладил: руби — не руби, уходи — не уходи? Пришли мы? Пришли! Покуда они отсюда со своими топорами не уберутся, шагу отсюда не ступим.— И сухонький человечек Якуб, подавшись вперед, с силой ударил палкой о замерзшую землю. И опять не забыл решительно шмыгнуть носом.

Гельмут (слов он не понял, но понял все) подошел к нему, взял пальцами за подбородок и задрал его голову вверх. Но Якуб не думал пугаться. Спокойно посмотрел на него и шмыгнул носом.

Слишком сильный был удар и слишком слабеньким был Якуб — его так и не смогли привести в чувство. Но Якуба подняли, поставили на ноги, и двое с обеих сторон держали его — он и без памяти стоял вместе со всеми. А Гельмут вошел вдоль толпы, вглядываясь в каждое лицо.

— Подумай,— сказал Биязурка.— Вон край леса. Мертвые, может, и здесь останутся, но живые уйдут туда.

Гельмут, меняясь в лице (после того, как перевели слова Биязурки), подошел к нему. Посмотрел на него очень внимательно, подбородок его задрожал, но все же он совладал с собой, закинул руки в перчатках за спину и с силой сцепил пальцы, кожа скрипнула — было тихо, и все слышали.

— Если вам нужны дрова, мы привезем их,— сказал в этой тишине Латырай. Не зря Жамауат выбрал его муллой. Он был мудр, дальновиден и всегда находил выход из труднейших положений.— Где это видано — живые деревья на дрова рубить...

— Богом молю, расходитесь,— просил между тем Жабраил Локманович.— Пусть рубят эти проклятые груши. Живы будем — еще посадим.

Вот тогда Ережип и протиснулся вперед и оттолкнул старосту палкой.

— Расстреляйте меня! Я собрал народ! Я привел его сюда!

— Почему ты! — взъярился Биязурка.— Мы все заодно! Расстреляйте всех нас и рубите сад спокойно,— и он встал рядом с Ережипом.

И через минуту перед немцами, заслонив собой детей и женщин, стал ряд сгорбленных, немощных, опирающихся на палки, в старых шубах, тулупах, мохнатых шапках стариков.

Гельмут взял у стоявшего рядом солдата автомат, закинул ремень на плечо, стукнул ладонью по рожку.

Остановилась река Юрду. Не дышали все — и Жамауат, и немцы. Земля, вся белая, онемела.

И эта тишина привела в сознание Якуба.

— Ой, Жамауат, не дайте рубить сад, — донесся его голос, словно с неба. Он вырвался из слабых рук державших его стариков, подбежал к Гельмуту и вцепился в автомат.

Гельмут с силой оттолкнул его. Якуб снова упал. Гельмут повернулся к нему, и в короткой, в три излома, судороге прыгнуло дуло автомата.

К Якубу с криком бросился Башир. Халыу давно потеряла его в толпе и теперь не поняла, что это кричит он. Она была поглощена думами о другом сыне, о Мухтаре, в душе у нее жила надежда, что Жабраил не даст погибнуть ребенку, пусть только выпадет удобный момент, она скажет ему, чтобы он защитил племянника. Но теперь, видя, как он отмежевался от Жамауата, она поняла, что никогда ни о чем не попросит. Когда народ вслед за Баширом бросился к Якубу, к ней шагнул Жабраил Локманович. Она не увидела, скорее почувствовала его где-то рядом. Халыу на миг расслабилась, что-то тугое, горячее перехватило горло, она была готова разрыдаться, броситься к нему. Но она схватилась рукой за горло, словно сняла душившую ее петлю, подавила слезы и, когда родственник мужа подошел к ней, она, не видя его, прошла рядом с ним. Она шла вслед за народом и думала о том, что судьба Мухтара ни в коей мере не зависит от Жабраила Локмановича, что судьба самого старосты если и не печальнее судьбы Мухтара, то и не радостней. И, вместе с народом плача по Якубу, она чувствовала, как силы возвращаются к ней. Если сын ее не отсиживался дома, а сражался, как мог, с врагом и если не согнули его и не покорили, так это — высшая радость, и не может мать, любящая сына, не гордиться такой стойкостью.

Гельмут, поняв, что заходит слишком далеко без должного разрешения, бросил автомат стоящему рядом солдату и пошел к Юнге. Он комендант, пусть он и решает.

Кто-то накрыл Якуба своей шубой. Халыу опустилась рядом с ним. Маленькая рука Башира легла на ее плечо, она тихо прочитала молитву, встала и отошла в сторону.

И когда она взяла Башира за руку, с полусрубленного дерева, желтый выруб которого уже затянуло тонкой прозрачной наледью, упала груша. Упала, как душа дерева, замерзшая, но вся в своем виде. Халыу, вперив взгляд в грушу, что-то прошептала, словно продолжала молиться. Башир высвободил руку, взял грушу и высоко поднял ее над головой.

— Что, у нас других забот нет? — крикнул Жабраил. — Видно, забывать мы стали, с кем имеем дело?

Вот тогда и случилось то, что редко случается в горах. Сылыухан, которая стояла в толпе, наливаясь тяжелым гневом, но до поры молчала, потому что рядом были мужчины, которых она почитала как старших, при этих словах Жабраила взорвалась.

— Его не касается, тебя не касается, кого же тогда касается судьба этого аула? — набросилась она на старосту.

Женщины подбежали, чтобы увести Сылыухан, зная, какая она во гневе. Но это было им не под силу. Сылыухан расшвыряла их и, схватив старосту за воротник шубы, принялась молотить его кулаком по спине, вколачивая меж лопаток каждую фразу:

— Какой толк, свиное отродье, что ты староста?! Какой толк?! Даже сад не можешь защитить! Такой малости! До чего аул довел? Теперь ослу Айсейира почета больше, чем женщинам! А сегодня? Стоишь, смотришь, как рубят наш сад! За жизнь свою поганую дрожишь? Безвольное, бесштанное дерьмо!

Не было в горах такого, никто из стоявших здесь не помнил, чтобы женщина подняла руку на мужчину. Это был такой позор, такое унижение, — и Сылыухан, осрамившая мужчину, осрамившая и себя, заплакала от стыда. Сылыухан еще плакала, когда вернулся Гельмут с комендантом Юнге.

Жабраил, подняв скатившуюся в снег шапку, отошел от нее, молча, не в силах поднять голову. Не оглядываясь, с шапкой в руках пошел восвояси. Народ уже не смотрел на него, все успокаивали Сылыухан.

Юнге с интересом наблюдал это зрелище.

— Что за проклятье! Что за проклятье! — причитала Сылыухан.

— История с Уллу Хож повторится с нами, — сказал Биязурка. — Ведь что случилось с Уллу Хож? Люди не могли так жить дальше. И нет никого среди нас, кто бы не мог держать ружье.

Груша в руках Башира была полна мира, доброты. Он так и стоял, подняв ее высоко над головой.

Комендант молчал. Там, в Белоруссии, когда он лично дал приказ сжечь такое же селение, он ни в чем не сомневался. Но что пользы с того, что они там в Белоруссии сжигали деревни? Что хорошего вышло? Где сжигали, там-то потом больше и гибли. Тогда он сам чудом спасся от мести партизан, от мести тех, кто успел уйти в лес. А тут... его комендатура упирается прямо в горы, и кто мог сказать, сколько там станет партизан завтра, после расстрела?

— Геверер!¹ — сказал он наконец. И, повернувшись, быстро зашагал прочь.

Гельмут, хлопнув найденным где-то можжевелевым прутом по голенищу сапога, пошел следом.

Пар от дыхания, который было исчез, потому что все не дышали, вырвался вместе с глубоким вздохом и поднялся над толпой.

XIV

Жабраил Локманович жил непонятной, двойственной, мозжащей душу жизнью: точно он ходил по льду, точно вдруг постель его стала грудой камней, а укрывала его Залихат одеялом, которым укрывала любовника. Не зная, откуда эта боль, эта тревога, он порой срывал зло на Залихат; ходил, не в силах видеть мать и детей.

Этот душевный разлад усилился после того, как Харун привез к ним домой раненого красноармейца. Порой он даже думал, что Харун не столько хотел спасти русского, сколько погубить его, Жабраила. Что, другого дома не было в Жамауате? Хотя бы то нужно было понять Харуну, что, если бы немцы нашли раненого в другом доме, Жабраил мог бы как-то помочь. А если раненого найдут в доме самого старосты? Кто поможет Жабраилу? Ясно, Харун хотел избавиться от Жабраила. Эта догадка словно с притихшей было раны скovyрнула струп, и вместо тайных переживаний появился открытый страх. А в страхе он порой терял голову, начинал угодничать не только перед комендантом или жандармерией, но и перед собственными холуями полициями, лебезить перед немецкими и румынскими солдатами. В такие дни он то потел от растерянности, то, холодея от

¹ Геверер — отставить (нем.).

досады, проклинал себя за то, что принял на себя все эти мучения. Порой он думал: «Пойду и выдам, чтоб мать его волчицей выла...» Он сидел полчаса, час, неподвижно, молча, глядя перед собой, и три эти слова: «Пойду и выдам» мысленно повторял в такт мерному стуку настенных часов, говорил их вслух, закрывал глаза и видел их написанными. Но куда это было выше его сил — отдать гостя на расстрел.

И в эти мучительные дни арестовали Мухтара. Никто ничего не видел и обвинить в чем-либо не мог. Но когда телефонные провода стали рваться слишком часто, Мачар донес на него. Потом сам пошел вместе с немцами, сам затолкнул его в подвал.

Но что Жабраил Локманович мог сделать? За Мухтара пытался заступиться Шрайнер — и что он услышал от Гельмута и коменданта? Куда уж тут было соваться несчастному старосте?

Так он жил. Дни шли. На душе у него становилось все тяжелей. А однажды Мачар сказал, словно камнем по голове ударил:

— Как там больные у Залихат? Выздоровливают? — А когда Жабраил, бледнея, повернулся к нему, нагло улыбнулся: — Страшный ты, Жабраил. Сколько раз у коменданта обедал, а его в гости ни разу не позвал. словно друга своего, Харуна, у себя в доме прячешь...

«Мачар что-то знает, — покрываясь испариной, подумал Жабраил, — или хочет убедиться в каком-то своем подозрении... — Он еще раз внимательно взгляделся в Мачара: — Что же ты знаешь, ублюдок?» Все же Мачар был маленький человек — вильнул хвостом и отвел взгляд.

— Залихат и тебе знакома, пойдн и спроси сам, — сказал Жабраил почти дружески. И пошел к двери. Но Мачар не отставал:

— А я убедился... Теперь я вижу, что можно... можно в одной руке два арбуза удержать.

Жабраил вскипел:

— Слушай, Мачар, скажи прямо, чего ты хочешь?

Но Мачар опять вильнул хвостом и промолчал. Жабраил стоял на пороге, ждал.

— А Гельмут только Рахая с Харуном ждет, чтобы начать... И еще — Ачакмата. Он жив, это он устроил им бойню возле огорода Батырбековых. Я все знаю...

— Ачакмат убит, я сам видел. И похоронка на него пришла.

— А тут видели, что живой. Если поймают Ачакмата, даже Харуна не станут ждать...

— Гельмут, конечно, посоветовался с тобой?

Но Мачар, пропустив издевку мимо ушей, отвел глаза и притворно вздохнул:

— Должен же он верить хоть кому-то из нас...

Вот здесь, на этом приступке, Жабраил понял, почему жизнь его стала шаткой, неустойчивой, почему он всегда, даже когда стоял на месте, боялся поскользнуться. Он опять с тоской подумал о том, что в последние дни и комендант, и Гельмут как-то обходят его, ничего не спрашивают, ни в чем не советуются, словно его нет вообще.

— К тебе недоверия нет, Мачар. Комендант лично сказал мне, чтобы при дележке земли учесть твои особые заслуги.

— Не собираешься ты раздавать людям землю, что-то непохоже...— обиженно сказал Мачар, забыв о роли своей. И он почти вплотную, забыв, что он — Мачар, сильный и пронизательный Мачар, который держит старосту, как лягушку, в кулаке, и стоит ему сжать пальцы, как у того из глазниц оба глаза ползут, заговорил жалобно, просяще:— Чего мы ждем, Жабраил, давай разделим землю поскорей. Давай почувствуем себя хозяевами! Тогда и эти... не будут рыскать по лесам и горам, и нам вредить не будут. Увидят, что землю без них разбирают, и сразу прибегут.

— Успеем, все успеем,— сказал Жабраил.— Ты пока присмотри себе. Земля везде земля, да не везде одинаковая.

— Я уже присмотрел,— сказал поспешно Мачар.— И попробуйте вы не дать мне то, что я выбрал, никто не имеет права мне отказать.

Теперь можно было бы уйти. Но Жабраил решил поторговаться и для себя.

— Нашел с кем тягаться, с глупым мальчишкой. Если действовать по-твоему...— и он многозначительно замолчал, глядя сверху на запрскинутое лицо Мачара.— Ты знаешь, пока что я староста...— Поскольку Мачар был умом небыстрый, да и храбростью не отличался, он так и застыл с задранннм лицом и застывшей усмешкой. Жабраил улыбнулся, сейчас он меньше всего хотел напугать его — тот с перепугу всякого мог натворить. Он мягко, дружески сказал:— Мать его бы пожалел — одной ногой здесь, другой — ва погосте¹.

¹ Так говорят о беременных женщинах.

— Алан, страшный ты человек,— Мачар опустил голову, кашлянул, одернул шинель.— Когда с автоматом над душой стоят... Я, что ли, решаю...

— Но ты же не видел, как он резал эти проклятые провсада?

— Как не видел? Видел. Я что, собак на водопой гоняю? Партизан он, каких мало! И он знает, где остальные прячутся. Г... стый он, твой племянник, Жабраил. Он и тебе грозился.

— Одно дело г... стый, совсем другое — партизан,— сказал Жабраил, но дальше спорить не стал.

Он вышел из своего кабинета, следом вышел Мачар. Но дел на стороне у него не было, он вышел только затем, чтобы выпроводить Мачара. Когда тот ушел, он вернулся и сел за стол. «Удивительно,— подумал он,— Халыу так и не пришла ко мне. Даже расспросить, что с ним, не пришла...»

Потом в сопровождении Гельмута и переводчика пришли два немца. Разговор пошел о том, какую работу должен проделать староста в ближайшие дни. Немцы решили открыть шорную мастерскую; и еще они велели ему подобрать молодых людей — мужчин и женщин — на работу в руднике, который вскоре с прибытием немецких специалистов вновь начнет работать. Потом пришли женщины и пожаловались, что эти язычники, чтоб они все от куриной болезни сдохли, не оставили в курятниках ни единой курицы. Они спрашивали: новая власть им разрешила это или же солдаты самовольничают? Еще женщины сказали, что если этот грабеж не прекратится, то они уйдут в лес. А когда женщины уходят в лес, тут есть над чем задуматься пришельцам...

Завонил телефон, старосту вызывали в комендатуру.

— Успокойтесь,— уже на ходу сказал он женщинам.— О курах ли теперь забота? Тут о жизни подумать некогда.

Женщины, оставшись в кабинете одни, думали: почему это куры не могут быть заботой? Соломинка и то забота, если ее из твоего стога утянули... Тебе-то что, у тебя в курятнике по-прежнему кур полон насест. Доволен, живот свой поглаживаешь, второй вон подбородок отрастил. А наши сыновья на фронте...

Когда Жабраил вошел к коменданту, Юнге встал, вышел из-за стола, но тут же поморщился, словно досадуя на себя за то, что оказал такую любезность туземцу. Но сразу же

одернул себя и вопросительно улыбнулся: почему, дескать, он такой хмурый?

— Солдаты ходят по домам,— сказал Жабраил,— обижают население, есть жалобы.

— Свины!— отрезал Юнге. Староста не понял, кто свины — те, кто обижает население, или те, кто на это жалуется? Но следующая фраза коменданта все разъяснила.— Они провокаторы, эти жалобщики. Мне известно, что ваши люди прячут колхозный скот.— Жабраил молчал.— Надлежит сейчас же, немедленно, собрать колхозный скот у населения,— уже помягче сказал комендант.— Это должны сделать ваши люди, под руководством вот его,— Юнге кивнул на стоявшего у дверей Мачара.— Вас же я вызывал по другому поводу.

Юнге говорил по-немецки, четко, не торопясь, и Жабраил понимал все, отвечал же ему по-русски.

Мачар, видя, как напряглось лицо Жабраила, сказал:

— Староста норовит одной ногой шагать по одному берегу, другой — по другому...— Но он сдуру сказал это по-балкарски. На русский же перевести поостерегся, повторенное дважды — это уже звучало бы обвинением. А так — сказал просто, между прочим, и все.

Мачара бесило, когда комендант говорил с Жабраилом по-немецки, потому что ему самому хоть сто лет говори по-немецки, он не поймет ни слова, если только обругают, поймет пемножко.

«За эти слова ты мне ответишь,— подумал Жабраил.— И за утренний разговор тоже».

— Слушаю вас, господин комендант,— сказал он, поворачиваясь к Юнге.

— Дело в том,— сказал Юнге,— что бургомистр города Нальчика организовал радиопередачи на языках местного населения и любезно приглашает нас принять в них участие. Вот я и подумал о вас. Кто может выступить лучше старосты, бывшего директора школы? Вам следует обратиться к своим землякам с разъяснением предпринимаемых новыми немецкими властями мер, которые носят исключительно прогрессивный характер для жизни горцев. Расскажите им о делах, требующих более широкого и активного выполнения. Что это значит? Это значит, что поскольку население вашего народа в основном крестьяне, то разговор должен вестись в первую очередь о земле. Словом, текст будет подготовлен, вам же лишь остается при помощи гос-

подина Грэка,— он кивнул на переводчика,— перевести на родной язык и прочесть его по радио.

— И... когда же это?

— Текст получите завтра,— сказал Юнге.— Послезавтра я еду в Пятигорск, подвезу, а на обратном пути заберу вас. А сейчас я приглашаю вас пообедать вместе со мною.

Командант и староста в сопровождении переводчика ушли, даже не обратив внимания на Мачара. А зря.

* * *

Когда Мачар, вконец убитый необъяснимым пренебрежением к себе начальства, вышел из комендатуры, Залихат возвращалась из Чегета. Она была у Чыккы-кызы, свекровь которой — Адиух — приходилась двоюродной сестрой Хурмет. Но не только это родство связывало их дома — с приветливой, хозяйственной Чыккы-кызы можно было поделиться любой бедой и всегда найти поддержку. Раненого надо было кормить куриным бульоном, но вчера наступил день, когда Хурмет зарезала последнюю курицу. И она отправилась сноху к Чыккы-кызы, единственной, у кого, вероятно, еще оставались куры,— у нее, если нужно было, даже куры могли нестись молча.

Залихат узнала аульские новости, положила в корзину два десятка яиц, курицу и теперь возвращалась домой. И недалеко от Домсовета столкнулась лицом к лицу с Мачаром. Он быстро, с ног до головы, оглядел ее, широко улыбнулся и засеменял рядом:

— А я-то думаю, что это за красавица такая спешит...

— Родных проведать ходила,— вдруг растерялась она.— А вы, Мачар, откуда? Как поживаете?

Мачар схватил ее за локоть, оттащил на обочину дороги и хриплым шепотом спросил:

— Что, дорогому гостю своему угощение несешь?— Залихат помертвела. Мачар, не отрывая глаз, смотрел, как медленно бледнела она, и желтая его улыбка подступила к самому ее лицу.— Ты такая красивая, тебе ли такими делами заниматься?— Помолчав, спросил весело:— Ну, какие, Залихат, новости? Что подельывает партизанский отряд дружка вашего Харуна?

Но Залихат уже взяла себя в руки.

— Ты так иногда шутишь, Мачар...

— А что, не время для шуток?— Желтая улыбка еще ближе подступила к Залихат, и от желтого запаха у нее да-

же заслезилась глаза:— Нет, Залихат, теперь время мое! Судьбу каждой жамауатской собаки теперь решаю я! Тейри, и твою тоже!

— Не выпил ли ты, Мачар? Отпусти, люди увидят, что скажут?

— Пусть видят, пусть скажут. Я этого хочу.— Он снова протянул руку, но она увела плечо.— Долго я ждал...

— Я не та женщина, чтоб ты развлекался, Мачар. Волос длинный, ум короткий, и осрамить могу.

В это время в корзинке Залихат закудаhtала курица.

— Не спеши, всему свое место,— сказал Мачар с угрозой и ткнул пальцем в корзинку: — Помни, даже курица в лукошке не проквохчет, чтобы я об этом не узнал.

— Уж такая у тебя работа.

Мачар схватил ее за руку.

— Или сейчас пойдешь со мною, или же... или же никогда больше не увидишь ни Жабраила своего, ни детей.

Залихат рванулась, оттолкнула его, побежала, не помня себя. Перед нею, выскакивая из-под бегущих ног, плясала тень Мачара, кривая и черная.

Все пропало! Мачар знал: и кто у них прячется в доме, и для кого эта курица в корзинке. Запыхавшаяся, она убежала в дом, пронеслась по комнатам — Хурмет нигде не было, игравшие на полу Кемал и Лейла испуганно посмотрели на нее. Она бросилась в тайник к Василенко.

Он сразу начал надевать гимнастерку.

— Спасибо вам, вы очень добрая, и матушка ваша, муж ваш...— сказал он.— Я уйду сейчас же. Пусть лучше меня на улице схватят, чем у вас. Ничего, так просто я им не дамся.

Нет, это не выход. Но что делать? Что делать? В комнате что-то звякнуло, Залихат выглянула. Посреди комнаты с ведром в руке стояла Хурмет, видно, была в хлеву. Она-то и придумала, что делать.

Минут через сорок во двор Локмана ворвались Гельмут, Грэк, Мачар, два автоматчика и два полиция. Один полиция остался во дворе, остальные вошли в дом, загнали в угол Залихат, Хурмет, детей.

— Пусть партизан выйдет! — сказал Гельмут, смотря на Залихат. Грэк — Мачару, Мачар — ей.

Молчанье, почти минуту.

— Даю две минуты! — сказал Гельмут.

Прошли и они.

— Ты, русский, ты лучше сам выйди! — крикнул Мачар.

Все невольно прислушались. Никакого ответа.

— Обыскать! — приказал Гельмут.

Полицай и два автоматчика принялись за обыск. Они перевернули все вверх дном, разбрасывали все, что попадало под руки, валили на пол и расшвыривали ногами. Один из автоматчиков отодвинул кровать в сенцах и увидел яму для картошки. Побледнев, он наставил туда автомат. Другой осветил дно ямы, но ничего подозрительного не заметил, приказал первому спуститься. Тот не захотел, ткнул стоявшего рядом полицая. Полицай с ненавистью посмотрел на него, выругался и, держа винтовку наготове, начал спускаться. В яме, кроме оставшейся немного картошки, ничего не было, но полицай для верности выстрелил в кучку, перекинул затвор и выстрелил еще раз. Гельмут подошел к Залихат и, к удивлению ее, улыбаясь, почти вежливо спросил:

— Где прячется русский партизан?

Залихат вжалась в стенку, покачала головой: не понимая. Назад не пускала стена, вперед — улыбка фашиста.

Между тем нашли потаенный чулан рядом с зимней кухней, но там было навалено старья и поломанной утвари — и никаких следов пребывания человека. Но на всякий случай перевернули и выкинули в кухню и все это. У Залихат перед глазами поплыли красные круги: ведь если хоть клочок окровавленного бинта найдут... Нет, ни клочка не попало им. Мачар с полицаями обыскали сарай, двое автоматчиков слезили на чердак. Смотрела Хурмет, прижимая к себе детей, смотрела Залихат, слившись со стеной, белая и мертвая, как стена. Белой она была от ненависти — и не к захватчикам даже, а к Мачару.

Теперь, озадаченные, они собрались в передней комнате. На несчастного Мачара смотрели так, словно решали, кто будет стрелять в него первым.

— Это не простой дом, — сказала Залихат, задыхаясь. — Это дом старосты...

— Знаем, знаем, — огрызнулся один из полицаяев. — Староста, только себе самому он староста!..

— Я к коменданту жаловаться пойду, — уже спокойнее сказала Залихат, на белом лице ее злорадством горели глаза. И, глядя на Мачара, повторила: — Это — дом старосты...

— Заткнись! — сказал один из полицаяев.

— Женщина, надень мой платок! — резко повернулась к нему Залихат.

Еще раз обошли дом, еще раз перетрясли все. Но не вез-

ло Мачару при советской власти, не везло ему и при новом порядке.

— На что это похоже! — возмущалась Залихат. — Ворваться в дом старосты! Мой муж так не оставит это! Так глумиться над честными людьми!

— Оллах-оллах! — ощерился Мачар.

Воистину: неуклюжий бросит камень вверх — тот к нему на темя вернется. Гельмут прошагал через комнату, встал перед Мачаром.

— Скотина! — сказал он. И, развернувшись, ударил его в лицо. В этот раз негодование его было искренним. — Грязная скотина! — еще раз сказал он.

Но и Гельмуту было не по себе. Казалось, он только теперь вспомнил, чей дом переворачивал вверх дном в течение того часа, когда хозяин обедал вместе с комендантом! Но толку-то что? Ворвались, перерыли, перетрясли, переворошили — и никаких улик. А Гельмуту так хотелось, разгромив старосту, начать планомерный разгром Жамауата. Так хотелось, что поверил бредням этого глупого, завистливого холуя. Теперь Юнге рад будет донести куда следует, что капитан фон Гельмут своими действиями подрывает их «особую» политику.

— Простите, — коротко кивнул он Залихат. — Во всем виноват вот этот пес. Война, а на войне случаются и ошибки.

— Если же... если власти не доверяют моему мужу... так почему же... почему же они держат его старостой? — Гнев и радость, перекатываясь в груди, душили ее, срывали дыхание. — И может ли... мой муж оставаться на своем месте после такого издевательства?

Гельмут лишь с улыбкой пожал плечами, это уже не входило в их компетенцию. Но переводчик, видно, не был лишен благоразумия, он добавил от себя:

— Вы должны извинить нас. Если иной раз приходится быть суровыми, то это по вине партизан. Или вот таких, — он кивнул на Мачара. — Но вы видите, партизаны день ото дня все больше наглеют. Мы надеемся, что ваш муж поймет нас.

А Залихат слушала его и только сейчас начала понимать, насколько все это удивительно... как они с Хурмет смогли так быстро скрыть все следы, какие остаются после долгого пребывания в доме больного, и как самого Николая успели зарыть в большой куче перегноя, сверху завалить свежим сырым навозом, а поверх всего пабросать кучки подпорченного, сырого, смешанного с навозом сена и поджечь?

Огонь не мог так скоро проесть сырой навоз, а сверху сено это могло куриться дымом очень долго.

Так они и прошли мимо дымящейся навозной кучи — Гельмут, переводчик, два автоматчика и Мачар с полицаями, а когда длинный черный лоскут дыма ринулся к ним и обкрутил их, Гельмут брезгливо сморщил нос и закрыл перчаткой глаза.

XV

Как заблудившийся путник стоял Жабраил во дворе своего дома — не знал куда идти, не помнил откуда пришел...

Залихат зажгла лампу. Хурмет сидела на оленьей шкуре — намазлыке — совершала вечернюю молитву и теперь о чем-то глубоко задумалась. Потом, положив белые, сухие руки на колени, тихо запела зикиры¹.

Ночь эта была как все ночи в Жамауате, а Жабраил не мог войти в свой собственный дом. Мать его тихо пела зикиры, пыталась молитвами предотвратить беду. Но Жабраил понимал: в этой беде — зикиром не отмолишься. Обида жгла Жабраила, а на кого — он и сам не знал. На себя? На судьбу? На Харуна? На своих, прежде всего на мать, которая и накликала беду, приняв от Харуна собственную и всего своего дома погибель?

Взошла луна. Жабраил пошел вдоль каменных заборов вниз, бездумно, бесцельно, чтобы только быть подальше от своего дома. Сухой снег хрустел под его ногами, и хруст этот был пуст, как его думы. Возвращался, снова стоял у забора. Залихат открывала двери — ей мерещилось, что возвращается муж, — и по двору расходился сытный запах супа из вяленого мяса. Она давно уже покормила Кемала и Лейлу, уложила их спать. Потом отнесла ужин Николаю, перестелила ему постель. Тот был очень плох, дым, гарь, едкий навоз растравили его раны. Он чуть не задохнулся, когда его вытащили, был уже без сознания и до сих пор не пришел в себя.

Хурмет убрала молитвенник, поела и, взобравшись с ногами на кровать, теребила шерсть. Одна Залихат не ужинала, никогда еще она не садилась за еду, не дождавшись мужа. Каждый раз, как доносился какой-то шорох или хруст

¹ Зикир — молитва.

снега, она вскакивала, распахивала дверь, вглядывалась во тьму. Но Жабраила все не было. Что с ним? Неужели его все же взяли?

Теряя остатки надежды на то, что в эту ночь муж ее вернется домой живым, она сидела у огня, разговаривала с очажными щипцами. «Ты петь любила, веселая была», — говорили ей щипцы. Правду говорили. Когда-то любой тойсюн без Залихат половину своей прелести терял. В медучилище она участвовала в художественной самодеятельности и с концертами объездила всю республику. Сколько похвальных грамот она получила тогда! Одна из них и сейчас висела на стене. Жабраил как-то сказал, что опасно, надо бы убрать, она отказалась: «Что в этой грамоте? Написано, что Залихат петь умеет. Теперь и это стыдно?»

Однажды в обед вместе с Жабраилом к ним пришел Ганс Шрайнер. Он подошел к стене и долго смотрел на эту грамоту. Обеспокоенный Жабраил поспешил объяснить, за что Залихат получила ее. Ганс сказал: «О, как бы я хотел, чтобы наша прелестная хозяйка спела хоть одну песню». И с надеждой посмотрел на нее. А Залихат, чтобы не встретиться с ним взглядом, возилась на кухне, переставляла горшки, перетирала тарелки. «Жабраил, скажи, что мусульмане днем не поют, грех» — пришла на выручку Хурмет. Жабраил попытался объяснить, наполовину по-русски, наполовину по-немецки, при этом несколько раз ткнул пальцем в настенные часы. Ганс понял так, что в половине второго петь нельзя, счел это отговоркой и невесело усмехнулся. Ничего не понимавшая из их беседы Хурмет внимательно приглядывалась к гостю. Минутами она жалела этого молодого печального человека и забывала, что в ее дом пришел насильник. «Видно, не своя воля носит таких по свету», — сказала она потом Залихат.

Теперь щипцы заговорили голосом Хурмет. «Терпение, — сказали они. — Терпение — вот опора каждого дома сейчас». Когда в дом Локмана пришла беда, когда пошатнулись его стены и пошатнулось его достоинство — Хурмет своим старческим плечом подперла их. Залихат и прежде знала ее постоянное материнское стремление облегчить участь ближних, но лишь теперь она увидела, сколько же силы в этом плечике-косточке, выпирающем из-под старенького застиранного, побелевшего по шву платица.

Жабраил вернулся за полночь. Тихо толкнул дверь и крадучись, словно вор, прошел в свою комнату. Не хотелось рассказывать самому и слушать рассказ домашних. Залихат

в комнате не было, видно, в ожидании мужа прилегла, не раздеваясь, к детям да так и уснула.

Он разделся и лег; знал, что сна не будет, но, возможно, ляжет и отвлечется, забудется от своих больных дум. Не хотелось ходить, сидеть, держать свою тяжесть. Но в постели думы давили еще сильнее. Впору было убить подушку, поджечь собственный дом, разбить голову о каменную завалянку.

Со страхом и стыдом, от которого что-то мерзкое, сладковатое, похожее на рвоту, подступило к горлу, он вспоминал, как в конце обеда вошел Гельмут и полным скорби и издевки голосом сообщил об обыске в его, Жабраила, доме и как они оба наперебой начали извиняться перед ним, но так при этом блестяли их глаза и так они переглядывались, — казалось, они даже довольны, что Мачар устроил им такую потеху.

А он сначала почувствовал жуткий, нечеловеческий страх, от которого он был готов вскочить — он и вскочил — и завопить на весь Жамауат, и тут же потом облегчение, от которого по всем суставам прошла слабость, кости его подогнулись, как молоденькие хрящи, он оперся рукой об стол, чтобы не присесть на корточки, и странно, что в этот миг с ним не случилась медвежья болезнь.

Потом они заставили его пить за дружбу, пили сами, опьянели. Гельмут иной раз грозил ему пальцем и смеялся: знаем, дескать, какой ты баловник, но ничего, мол, сорвалось у нас в этот раз — не сорвется в другой. Особенно ненавистны были ему большие белые щеки Юнге, от выпитого ставшие прямо как известка, его извиняющийся-издевающийся смех. И он никак не мог понять, действительно все было сделано без ведома Юнге или он нарочно зазвал его к себе, чтобы в это время можно было без помехи перетрясти его дом и в конце веселого дружественного застолья представить ему раненого красноармейца. Какое же удовольствие получал комендант от каждой шутки, от каждого дружеского взгляда, от каждого бокала вина, от благодарных, по-кавказски длинных и изысканных тостов Жабраила, если при этом предвкушал такой конец застолья! А как они потом заставляли его пить и есть, и он пил и ел и только молил аллаха, чтобы все это не изверглось из него обратно на стол, а они вконец опьянели, лопотали что-то по-немецки, Гельмут отрывал у курицы то ножку, то крылышко и подавал ему и при этом говорил какой-то немецкий стишок, вероятно, что-то про эту самую ножку или крылышко, обыч-

ную присказку, положенную, когда подносят угощение,— они были довольны: так ли, эдак ли, но позабавились в свое удовольствие. Когда они наконец отпустили его, он сошел с крыльца, и его тут же вырвало, но первым чувством его был не стыд, что его так непотребно вырвало, и, быть может, у кого-то на глазах, а страх, что они заметят и это разгневает их.

И весь этот позор он пережил из-за этого раненого! Если раньше он ничего не чувствовал к нему, понимая, что во всем нужно винить не его, а Харуна, то теперь он почувствовал к тайному своему гостю ясную, холодную ненависть.

Он встал. Постоял посреди комнаты, прислушиваясь к тишине. Дома все спали. Он еще не знал, зачем встал, зачем вслушивается, пытается узнать, все ли дома спят. Он решил пойти и посмотреть на этого человека, ведь он еще ни разу его не видел, не знает, как он выглядит, какое у него лицо, даже когда привезли, он старался не смотреть на раненого. Лишь по настроению матери и жены он догадывался о состоянии непрошеного гостя. Но сам не спросил ни разу, давая этим понять, что никакого отношения к нему он не имеет. Коль мать по своему добросердечию и недомыслию приняла его, то пусть сама и расхлебывает. Жабраил тут ни при чем.

Он даже не знал, в доме ли он сейчас? Почему его не нашли? Может, он ушел, совсем ушел? Может, зря он мучается, может, все его страхи уже позади? Нет, спрашивать нельзя. Спросит — и уже будет с ними заодно.

Он зажег керосиновый светильник — аптечную склянку с пропущенным в нее хлопковым фитилем — и пошел в зимнюю кухню. Там уже все было прибрано. Он откинул войлок, прикрывающий жыйгыч, отодвинул старый сундук матери.

Тайником, в котором раньше скрывался сам Жабраил, а теперь Василенко, был старый чулан за кухней. Раньше здесь жили родители и всю лишнюю утварь держали в чулане. Потом Жабраил Локманович, будучи уже директором школы, расширил отцовский дом, пристроил еще три комнаты, и родители переехали в другую, более светлую и теплую. Эту же перестроили под зимнюю кухню, а чулан совсем заложили цельной стеной, оставив маленькую дверь посередине. Залихат, молодая хозяйка, в старом чулане не нуждалась, дом был теперь просторный, а вся лишняя утварь, снесь и соленья хранились в новом чулане, в погребе или под навесом во дворе. При убранстве кухни Залихат по-

ставила вдоль глухой стены жыйгыч и завесила его узорчатым войлоком.

Он стоял перед маленькой дверью — со светильником в руке, в белом исподнем, — не Жабраил Локманович был он сейчас, а архангел Жабраил¹. Уподобив себя злему посланнику божьему, приходящему по души людей, он вздрогнул. Нет, нет, этого у него и в уме не было!..

Он был здесь. И он умирал. Жабраил увидел это сразу. По лицам матери и жены, по их взглядам, по их настроению, когда они выходили от него, ему казалось, что раненый поправляется. Но то ли ему внезапно стало хуже, то ли настроение женщин было обманчиво — солдат умирал. Правда, он заметил приход Жабраила, пошарил рукой по сторонам, задышал часто, закашлялся, на губах выступила желтоватая пена, но потом голова его упала на сторону, и он затих.

Жабраил поднес светильник к его лицу.

«Умирает... Не сегодня, так завтра... Сколько страданий перенес, чтобы умереть вот так, мучительно, в чужом доме...»

Процарапав боком по стене, он повернулся, чтобы уйти. «Вот он умрет, — подумал он, остановившись. — А я не успею убрать его из дома, а Гельмут — успеет, еще раз явится сюда?.. Пусть даже и не придет... Завтра я уеду в Нальчик, он умрет без меня, — что будут делать с мертвым телом две слабые женщины? Он будет лежать здесь, запах гнили заполнит дом, а рядом будут играть дети, Лейла и Кемал... Ведь он умрет, днем ли, через сутки ли, он умрет!»

Жабраил опустил светильник — так дрожала рука, что пламя срывалось с фитиля. Было душно, маленькое это пламя сжигало воздух, но Жабраила пробирал озноб. «Больше так не могу, — подумал он, в бессилье опускаясь на корточки. — Какая для него разница — сейчас он умрет или завтра, только скорей от мук избавится. Для него разницы нет, а я спасу свой дом... Сам его и похороню в ольховом лесу... В следующую же ночь...»

Он поискал, куда бы поставить светильник, чтобы освободить руку, точно другой рукой вытянуть подушку из-под его головы он не мог. Поставил светильник на ватное одеяло и сцепил руки, чтобы унять поднявшуюся снова дрожь. Он еще медлил, еще смотрел, еще убеждал себя в бессмысленности страданий умирающего. Страх, отчаянный страх,

¹ Ж а б р а и л — архангел Гавриил.

который свел его с ума тогда, на поле боя, пришел снова. Сидя на корточках перед безмолвным Василенко, он видел не его откинутое лицо, а землю, сухую, потрескавшуюся от июльского зноя, в трещины которой быстро, чисто, не оставляя никаких следов, уходила светлая человеческая кровь...

Сидя так в его изголовье, он еще и еще раз уверял себя в своей правоте. Если бы возможно было чудо — и этот человек мог вернуться к жизни, Жабраил вытер бы ему лицо, поправил подушку и вышел, положившись на судьбу.

Но этот ночной купак весь уже в омуте смерти, уже всего затянуло, даже лицо его будто чуть мерцает издалека, из глубины, сквозь отстоявшуюся уже воду, и оттуда теперь его даже чудо не вытянет. Нет, смерть уже запустила свою руку в этот темный закуток Локманова дома. Солдат доживает последние свои часы. Какой же смысл мучиться ему дальше? Лучше, милосерднее избавить человека от мук. Его — от мук, себя — от гибели или хотя бы ежеминутного страха.

Он рывком вытянул подушку из-под головы Василенко. От подушки уже пахло мертвечиной. Так же резко и быстро бросил ее ему на лицо, а потом, кажется, даже придавил рукой...

Жабраил вскочил. Светильник повалился и потух. Он шагнул к двери, ощупью начал искать выход. Чулан катился, переворачивался, дверь убегала куда-то...

— Жабраил?!

В дверях с фонарем в руке стояла Хурмет. Сын ее, весь в белом, был так похож на джинна¹, что она даже опешила:

— Бисмилла рахман рахим!

Но оглядела сына и, почувяв неладное, бросилась в чулан. Она высоко подняла фонарь, вскрикнула. Фонарь выпал из ее руки. Она бросилась к Василенко и подняла подушку. Тот разом выдохнул и, словно вместе с подушкой Хурмет сняла и боль, приподняла голову.

— Он умирает, мать, — сказал Жабраил.

— Ай, чтоб мертвые твоим дерьмом питались!.. — схватив палку, на которую опирался, когда вставал, Василенко, она кинулась на сына. Она била его, разъярясь все больше и больше, со всей своей слабой силы, и горькие проклятья перемежались с благодарностью богу за то, что она подросла вовремя. — Аллах, что ли... с тобой советовался... оставить душу ему самому... или взять на себя?.. — выкрики-

¹ Джинны — добрые и злые духи.

вала она, задыхаясь.— Или же ты не тот Жабраил, которому я имя дала, а тот Жабраил — посланник смерти! Или я тебя не молоком своим кормила, а ядом змеиным, родившийся от ассы! — Хурмет била, плакала, молилась.

Василенко вдруг перестал кашлять и, приподнявшись на локтях, смотрел на них.

Жабраил стоял не шелохнувшись, ни словом, ни движением не перечая матери, принимая ее удары, молитвы и проклятия как заслуженную кару. Но суд матери он принимал не за то, что посягнул на жизнь кунака, а за свое безволие. Никогда эта женщина не била своих детей, не проклинала их и не судила. Но била, проклинала и судила сейчас так, словно ничего другого в жизни и не умела.

Наконец Хурмет отбросила палку. Склонилась над Василенко, бережно подняла ему голову, подложила подушку. Подняла фонарь, он не разбился и не потух, все так же горел, лежа на боку, только боковое стекло закоптелось.

Фонарь, качнувшись, прокрутился в ее руке. Тень от пятна копоти прошла по узким стенам и остановилась на лице Жабраила.

— Из-за него мы все погибнем... — глухо сказал он.

— Ты уже погиб, — сказала мать, в горе и страхе глядя на него. Сын стоял весь в белом, и только вместо лица было темное пятно.

Жабраил вышел из чулана. Залихат, проснувшаяся от шума, стояла в кухне и дрожала от непонятного ей гнева матери. Он, не глядя, прошел мимо нее.

Залихат растопила очаг, налила воды в чугунок, поставила на огонь. Потом прошла к мужу, молча, ни о чем не спрашивая, накрыла его материнским бота. Казалось, не она ходила, а другая Залихат шла рядом и вела ее под локоть. Тихо вышла из комнаты. Уже пора — в это время они с Хурмет кормили Василенко, давали ему лекарство, промывали и перевязывали раны.

* * *

Когда заколотили в дверь, Залихат не спала, по встать, отворить не было сил. И встать незачем, и бежать некуда. Встала, открыла дверь Хурмет. Старосту требовали в комендатуру.

Жабраил поднялся, не спеша оделся. Что же теперь? Его арестуют, и, может, тем он освободится от тяжких, неотступных дум.

Когда он пришел, там были комендант, Гельмут, переводчик, какой-то незнакомый офицер, Мачар, несколько полицаев и солдат. Приезжий офицер сидел за столом, изучал какой-то список.

— Герр староста,— обратился он к Жабраилу.— Пора начинать, откладывать далее нельзя. Все враги рейха должны быть незамедлительно изолированы. Просмотрите этот список, требуется ваше согласие.

Жабраил взял списки. Их было два — один на немецком языке, другой на русском, и по тому, как были перевраны фамилии, он узнал руку Мачара. Так... его просто ставили перед фактом. Распоряжался же тут Мачар. И спрашивали его согласия потому, что издевались над ним. Он понял, что после этой ночи, после того, как возьмут этих, большей частью ни в чем не повинных людей, любой жамауатчанин может плюнуть ему в лицо. А он-то, что он может сделать?!

— Согласны вы со списком?— спросил его Юнге.

Он же боялся услышать собственный голос. Он смотрел на длинную колонку имен и видел тех, кого заберут в эту ночь. Мирные люди, жили своей жизнью. Вот Азинат, дочь Байчо. Получила орден. Что теперь Жабраил мог сказать в ее защиту? Но девушки, работавшие вместе с Азинат? Они-то чем виноваты? Не знал он, что отомстил-таки Мачар за кожанку.

Все ждали его ответа. Жабраил положил список на стол, повернулся к Мачару:

— Ну, к примеру, за что вы хотите взять Гитче? За темноту его и невежество?

— Алан, удивительный ты все же человек,— криво усмехнулся Мачар.— А ты знаешь, что он говорит о новой власти?

«Точно, он и составлял список! — обрадовался Жабраил.— Одного Гитче спасу — все грехи мне спишутся».

Он догадался, что приезжий офицер здесь главный, и, обращаясь больше к нему, сказал:

— В этом списке есть люди, безусловно, для нас опасные, но есть и такие, чья вина только в том, что они чем-либо не угодили тому, кто составлял этот список... А ведь на сельском сходе мы обещали не обижать народ...

Только Грэк перевел последние слова, Гельмут вскочил на ноги.

— Что за лепет? Что мы обещали? А партизаны? Почему ваши жители потворствуют партизанам? Местное население почти поголовно нелояльно к новому порядку!

«Берите партизан, а безвинных-то за что?»— хотел сказать Жабраил, но промолчал. Спорить с Гельмутом он не решился.

— Тейри, была бы зацепка, так староста даже Рахая с Харуном бы защищал,— сказал Мачар Гельмуту.

— Сначала надо установить виновность, а ты даже тех хватаешь, чья курица когда-то тебя, пьяного, клюнула,— сказал Жабраил.

— Действительно, за что ты хочешь схватить Гитче?— спросил один из полицаяев, то ли родственник Гитче, то ли просто совесть заела.

— Заткнись! — набросился на него Мачар.— За что хочу, за то и ухвачу! Твое какое дело!— Он повернулся к Юнге: — Их всех,— и наискось, сверху вниз, прочертил пальцем по списку,— нужно перестрелять, как собак!

Приезжий офицер сидел в стороне, в спор не вмешивался, молча слушал их. Потом встал, заходил по кабинету. Как бы тут ни спорили, последнее слово было за ним.

— К мнению старосты нужно прислушаться,— сказал он к вящему разочарованию Мачара.— Я слушал его внимательно. Он не коммунистов защищает, а людей, совершивших то или иное преступление в силу своего невежества. К тому же не забудьте, что скоро нам потребуются рабочие руки. Так что цель наша заключается в том, чтобы очистить горские селения от большевиков и их прямых пособников. Что касается других, дадим им время, они поймут и будут верно служить рейху.— Помолчав, он предупредил: — Смотрите, чтобы не было шума. В течение часа они должны быть арестованы и вывезены из села...

Список с сорока двух был сокращен до двадцати восьми человек.

Для двадцати восьми жамауатчан в ту ночь не наступило утро. В машине, в которой их везли, было темно и холодно, как в могиле.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Во второй половине декабря генерал-полковник Клейст, недавно назначенный командующим группой армий «А», принимал гостей в своей резиденции в Пятигорске. Хотя прием был и не самый парадный и даже не совсем понятно,

по какому, собственно, случаю, гости, съехавшиеся из городов и сел Северного Кавказа, хорошо понимали, что это расточительство флегматичного генерала имело определенный смысл. Сейчас, во второй половине декабря 1942 года, уже ни для кого не было секретом, что дела немцев на Северном Кавказе, как выразился бы Ережип, «прачевны». Приглашая к себе вместе со своим окружением и горских князей, бургомистров и старост, генерал надеялся через них получить поддержку местного населения. Поэтому и только поэтому он созвал этих людей, поэтому и лишь поэтому он принимал гостей в одной половине своего дома, когда вторая половина дома горела.

Генерал стоя принимал гостей, тех, кого он не знал или кто был у него впервые, представляли приехавшие вместе с ними офицеры.

— Билекчиев. Бывший учитель истории, — представил Юнге Жабраила Локмановича. — Преданный новому порядку староста.

Генерал кивком головы приветствовал его.

Жабраил, когда ему сообщили, что генерал приглашает его к себе, заранее приготовил подарки. Привез несколько баранов и рог, отделанный серебром.

Генерал ласково посмотрел на Жабраила Локмановича. Он с симпатией относился к тем из перешедших к ним на службу, кто и при советской власти были при должности, на виду. Одно дело — когда темный, озлобленный неудачник становится полицаем, и совсем другое — когда на службу к ним шел человек образованный, уважаемый.

Пригласили за стол. Жабраила посадили рядом с Юнге и Гельмутом, не так, чтобы близко к генералу, но и не так, чтобы уж в конце стола. Были здесь и женщины — почти по пояс голые, и Жабраил боялся, как бы ненароком не взглянуть на них, но будто кто-то привязал ниточки к зрачкам — так и поворачивались на розовые колышущиеся в свете люстры пятна.

Напротив него, по другую сторону стола, сидел оберш урбаннфюрер Зиберт — огромный детина с красноватым лицом, желтыми обманчиво-мягкими бровями, неправдоподобно маленькими глазками. Он был пьян, но пока еще держался, стоило ему взглянуть в сторону генерала, и он на несколько минут трезвел. Рядом с Зибертом сидел князь, — видно, приехал из-за границы после того, как пришли немцы. Но лица его Жабраил долго не мог разглядеть, тот сидел потупившись, неподвижно, только пальцы его порой сжи-

мали золотую рукоять старинного кинжала. Сверкающий на фоне черной рубашки, этот кинжал притягивал взоры присутствующих.

Подвыпив, гости повеселели, скованность перед генералом несколько поубавилась.

— ...потому что культура принадлежит образованным, — говорил Юнге.

— Она принадлежит арийцам, — уточнил Гельмут.

Но оберштурмбанифюрера Зиберта проблемы культуры не волновали. Покуда не прошел приступ отрезвления, он хотел выяснить другой вопрос. Он спорил об этом (хотя никто не возражал ему) и дома, в Германии, и потом в Польше, продолжал спорить и здесь: кто выносливей в страданиях и кто более стойко держится перед лицом смерти — германец или славянин? Об этих, с позволения сказать, союзниках, макаронниках, он и говорить не хотел. Так кто же: германец или славянин? Он, Зиберт, утверждает: германец...

— Я еще ни разу не видел (и это было правдой, так как за три года войны Зиберт и минуты не пробыл на передовой)... не видел... чтобы немец перед лицом смерти... хоть бы побледнел. — Опьянение настигло его на середине фразы, он замолчал и в безмолвном изумлении уставился на князя. С минуту смотрел на него, потом вдруг потянулся к его кинжалу, но князь резко откинул его руку.

— Именно поэтому нам следует быть с большевиками беспощадными, — усмехнулся Гельмут. — Если мы будем снисходительны, то это многочисленное племя задавит нас. Помните слова фюрера? «Одна из наших главных ошибок 18-го года заключается в том, что мы жалели гражданское население вражеских стран...» Почему-то некоторые охотки повторяют эти ошибки на Кавказе, — сказал он и с нажимом посмотрел на Юнге. — Если немцы хотят стать подлинными властителями, они должны, по крайней мере, вдвое превышать по численности соседние народы. Победитель всегда прав. Какой из народов более достоин, тот и станет хозяином мира.

— Вдвое превышать, — вновь оживился Зиберт. — Вдвое... вдвое... — он повторял это слово, будто вертел перед глазами и пытался рассмотреть со всех сторон, его крошечные осоловевшие глазки разглядывали что-то в воздухе в полуметре от собственного носа.

...Он видел железнодорожную станцию. Жаркий солнечный день. Вот остановился длинный, тяжелый товарняк. От-

крылись двери пыльных вагонов. И сначала сочился, а потом разом хлынул людской поток. Нет, это не люди, это серая человеческая масса, которую можно выгребать лопатой. Палит солнце, знойный воздух, смешанный с каким-то горьковато-сладким запахом, душит эту растерянную массу. В тяжелом потоке вдруг вскипают быстрые буруны, порою брызги — отдельные человечки — выплескиваются в сторону, но все же он течет туда, в ворота, над которыми огромные трубы, и густой черный дым поднимается из них.

Оберштурмбаннфюрер Зиберт вдруг расхохотался:

— Ха-ха-ха... Вдвое больше... Ох-ха-ха-ха... вдвое больше, чем других. Уа-ха-ха-ха!.. — он мотал головой, бормотал что-то, закрывшись салфеткой, но унять хохота не мог. — Больше, чем соседние народы... Чтобы властвовать — вдвое больше! Уа-хах...

На него уже косились, разговоры за столом начали загибаться, и наконец все повернулось к нему. Тут, встретившись взглядом с генералом, Зиберт осекся на самой середине хохота, вмиг протрезвел и, положив салфетку, выпрямился на стуле, одернул китель.

Так же, выпрямившись, сели и все. Установилось молчание. Никто не осмеливался заговорить первым, вернуться к той непринужденности, которая была за столом еще только минуту назад.

Генерал посчитал это удобным моментом для того, чтобы немного поговорить о том, для чего он собрал своих гостей.

Он вышел из-за стола, отступил немного в сторону и, заложив руки за спину, коротко рассказал об успехах немецкой армии в 42-м году. Тем более об этом нужно было сказать, что группа армий «А» уже больше месяца топталась на месте и так тяжело складывалась ситуация под Сталинградом. Чтобы подчеркнуть успехи вермахта в общем, генерал решил совершить небольшой экскурс в недалекую историю.

— С чего мы начинали? — спросил он, и видно было, что его слова больше обращены к сидевшим в черкесках и высоких каракулевых шапках горским князьям, чем к немцам. Генерал отошел от стола, остановился у стены. — Что досталось нам в наследство от старой Германии? Подгнившее со всех сторон, готовое вот-вот рухнуть государство. А если взять людей, то и того хуже. Недоверие друг к другу, уныние... Сила, чувство собственного достоинства, высшие цели — все упало в цене тысячекратно, как деньги во время

инфляции, когда коробка спичек стоила миллион. Христианские догмы вконец обанкротились — но они успели сделать свое дело, они вытравили из сознания немца остроту чувства своего будущего, я бы сказал, своего предназначенья. И вот в этот час прозябания Германии пришел Адольф Гитлер! Он вселил новую душу в каждого немца, все вдруг обновилось — и сознание, и дух, и сама жизнь. (Кое-кто из немцев с еле заметной усмешкой переглянулся между собой: четыре года назад Клейст был уволен за монархические убеждения, только война заставила Гитлера снова призвать его.) Нам было стыдно называться немцами — теперь нет для нас высшей гордости, чем осознать свою причастность к этой нации! — Генерал замолчал, сделал шага два, но тут же вернулся на прежнее место, словно решил, что оттуда его слова прозвучат убедительней. — И теперь мы здесь, возле кавказской стены, на пути к Индии. Вот куда привел нас гений фюрера, мощь вермахта и верная стратегия. (При слове «стратегия» кое-кто из немцев опять переглянулся: прежний командующий генерал-фельдмаршал Лист за разногласия с фюрером в вопросах стратегии был уволен в отставку.) Стратегия каждый раз создается заново. Теперь мы на Кавказе. Разные народы живут на этих склонах, разные у них характеры, жизненные уклады, отношения друг к другу. Здесь за пядь земли один аул мог уничтожить другой аул и за честь одной девицы один род вырезал другой. Люди гор повсюду имеют одну особенность; они всегда суровые реалисты. Надо дать им реальные причины для противостояния советской власти... Фюрер собирает у стен Сталинграда большие силы. В этой обстановке мы должны тщательно готовиться к летнему наступлению. Русским не выдержать нашего натиска. Мы отрезали Кавказ от советской метрополии... И вот о чем хотелось бы мне поговорить с господами кавказцами...

II

На следующий день вечером Гельмут с Жабраилом Локмановичем и переводчиком Грэксом (Юнге остался на несколько дней в Пятигорске) возвращались в горы. Вместе с ними ехали оберштурмбаннфюрер Зиберт и тот угрюмый князь, который за весь вечер у генерала Клейста не поднял головы. Жабраил подумал, что человек этот пережил многое, но того, что искал, не нашел. Потому, видно, он рано

поседел и разочаровался в жизни. За весь вечер он ни разу не улыбнулся. Трудно было понять, что он думал о словах генерала, как реагировал на споры, которые разгорались по мере того, как гости пили и веселели. Он был невозмутим и неподвижен, только все так же теребил свой кинжал. Присмотревшись Жабраил заметил, что и генерал раза два, проходя мимо князя, выразительно останавливал взгляд на этой дорогой старинной вещи. Потому, когда князь садился в машину и под распахнувшейся шубой блеснул кинжал, Жабраил подивился непонятливости князя. Но оказалось, что дело тут совсем не в непонятливости.

В машине Зиберт снова принялся рассуждать о храбрости. Князь сидел, закрыв глаза, но видно было, что не дремлет, вздрагивали веки, и порой короткая судорога кривила угол рта. Когда Зиберт начинал тормошить его, отвечал коротко, пренебрежительно, но потом раза два резко и гневно, и Жабраил подивился смелости князя.

— Человек сам должен быть храбрым, чтобы судить о храбрости других,— сказал князь, и Жабраилу показалось, что в голосе Грэка, переводившего его слова, скользнуло злорадство.

Действительно, Зиберт своей пьяной болтовней всем смертельно надоел, от его огромного тела в машине было тесно, от него дурно пахло, и к тому же он все время ворочался и от него во все стороны летели слюни. Но он был старше всех чином и должностью, приходилось терпеть. И Жабраил почувствовал, что даже Гельмут был доволен тоном князя. Но Зиберт был пьян и снисходителен, он ничего не замечал. Только то и дело тянулся к его кинжалу, и князь каждый раз отводил его руку. Это уже начинало походить на надоедливую глупую игру.

— Ты не храбрый,— сказал Зиберт,— храбрость— это дух... дух... А твоя храбрость — ата... визм...

— Ладно, ты храбрый, мы трусы, что ж, выйдем в таком случае один на один.

— Э, нет,— сказал Зиберт,— э, нет, назначение оберштурмбанифюрера Зиберта другое. Я не могу рисковать своей жизнью. Она — для более высоких целей,— он размахнулся и, хохотнув, хлопнул князя по плечу. При этом он локтем заехал Гельмуту в бок, и тот с ненавистью посмотрел ему в затылок.— Я покажу, князь, как твои горы на коленях будут просить пощады. Вот приедем в Нальчик — и прямо в тюрьму, я тебе покажу...

Князь долго молчал и наконец ответил:

— Не покажешь.

— Если покажу?

— Тогда получишь моего коня.

— Коня? А ты? — светлые брови Зиберта полезли вверх. — А ты? Ты ведь килзь? А князь без коня это... это...

— А князь застрелится, — просто сказал князь. — Если его земляки на его глазах встанут на колени, он застрелится. Такие не достойны иметь князя.

Сначала слова князя взволновали Жабраила. Ему нравилось, что надменный князь несколько не унижался перед немцем, а в споре с ним вел себя как хозяин, на которого свалились докучливые, невоспитанные гости, и он терпит: таков обычай — гостей надо терпеть, каковы бы они ни были. А потом Жабраил почувствовал стыд. В прежнее время сам Жабраил хулил князей, да и было за что хулить, но княжеская гордость, надменность, от которой страдали его земляки, иной раз оказывалась, как в эту минуту, и вещь привлекательной. Сейчас, глядя на князя, он еще раз поразился безмерности и сложности жизни. Он, Жабраил, не был князем, не был душителем народа, жадным и скупым бездельником. Он, как говорится, вышел из самых народных глубин. Но вот ни словом не возразил Зиберту. А возразить, пожалуй, и можно было, с неожиданным соблазном подумал он, все равно, кажется, этот немец ничего не слушает. И когда Жабраил подумал об этом, он почувствовал себя маленьким, никчемным человеком.

Они приехали в Нальчик около полуночи. Зиберт часа два поспал, но проснулся ненамного трезвей. Потирая руки, он опять хлопнул князя по плечу и что-то сказал шоферу по-немецки. Жабраил догадался, что он приказал ехать к тюрьме. Гельмут, надеявшийся ссадить Зиберта в Нальчике и наконец от него избавиться, крепко поморщился. Зиберт же, чем ближе подъезжал к тюрьме, веселел все больше и больше.

Машина остановилась возле колючей проволоки, огородившей большое поле. Часовые, озябшие и полусонные, быстро встряхнулись, двое взяли автоматы на изготовку, двое подбежали к машине. Командир поста узнал Зиберта, своего непосредственного начальника, и тут же пропустил в ворота. Они пошли к наскоро сколоченным баракам, стоявшим посреди поля.

— Здесь был ипподром, — сказал Зиберт. — Но лошадей эти негодяи угнали. Говорят, кабардинские скакуны несравненны! Итак, пари. Я поставлю на колени четверых... и

ты, — он повернулся к князю, — отдашь мне свой кинжал. — А что отдаст он, если проиграет пари, Зиберт не ска- зал.

Они вошли в низкий холодный барак.

Здесь находились женщины и мужчины, чего не допус- калось даже правилами рейха.

— Встать! — крикнул Зиберт.

Некоторое время никто не двигался, потом начали вста- вать медленно, долго, наконец встали все, сбились в боль- шую, темную кучу в углу. Свет тусклой лампочки под по- толком освещал лица трех-четырех, стоящих впереди.

— Почему нас держат здесь? Судите нас или отпусти- те! — сказал старик в папахе и гимнастерке, выступая впе- ред.

Грэк перевел. Зиберт выкрикнул что-то и выстрелил, старик шагнул к нему, удивленно посмотрел на него и, дер- нувшись резко, словно от толчка, упал. Грэк посмотрел на лежащего, будто недоумевал, кому же он должен переводить то, что Зиберт сказал перед выстрелом. Потом, решив, что переводить умирающему уже не имеет смысла, пожал пле- чами и отступил назад.

Зиберт с пистолетом в руке взгляделся в толпу и, заметив что-то, блеснувшее из тьмы, пошел, расталкивая узников. Он остановился возле девушки, чей взгляд он заметил из тьмы. Но теперь, глянув на Зиберта, она зажмурилась от страха. Зиберт выволок ее из толпы. Девушку колотила дрожь. Зиберт тряхнул ее, и она открыла глаза. Неожидан- но лицо ее осветилось: она, увидев Жабраила Локмановича, шагнула к нему, улыбка разгладила дрожащее лицо:

— Жабраил Локманович!

Тысячи глаз впелись в Жабраила, тысячи языков пламе- ни лизнули его: перед ним стояла Азинат, дочь Байчо, луч- шая его ученица. Как она отвечала по истории! Когда она говорила, весь класс слушал затаив дыхание. Теперь же, в горький свой час, увидев своего учителя, она решила, что к ней, ко всем, пришло спасение. И так посмотрела на свое- го учителя, полная радости и гордости, и такое пришло к ней облегчение, что она почувствовала себя выше и сильнее этих жестоких, бесстыжих людей.

— Встань на колени! — сказал Зиберт.

А девушка не отводила глаз от учителя.

— Жабраил Локманович! — вся съежившись, она попы- талась унять дрожь. — Жабраил Локманович, вы не узнае- те меня?

Зиберт оглянулся на Жабраила, потом, повернувшись к Азинат, ткнул дулом револьвера себе под ноги:

— Встань на колени!

Грэк повторил слова и жест. Но Азинат лишь мельком взглянула на них и снова повернулась к своему учителю.

Грэк и один из автоматчиков попытались поймать ее за руки, чтобы пригнуть к земле, Азинат боролась, отмахивалась руками. Зиберт, раскидав их, встал перед ней, размахнувшись, ударил Азинат по лицу. Но и когда Зиберт ударил ее по другой щеке, Азинат не дрогнула, даже не зажмурилась, стала снова искать взглядом Жабраила:

— Жабраил Локманович, не бойтесь за меня... Я не опозорю вас...

Но Жабраил об этом и не думал. Позор жег его. Но тут же весь похолодел: вырвать автомат, дать очередь по этим зверям и упасть тут же... мертвым... Но не было — малого, самой малости, крошки безумства не хватило Жабраилу для этого рывка. «Азинат... Азинат, ты не одна такая... Нет, я не успею... Если я погибну, тебе легче не станет, Азинат. Я не успею... Может, выхватить автомат успею, но выстрелить не успею...»

Вмешался Гельмут:

— Герр Зиберт, она не встанет, она коммунистка, я знаю ее, и все они тут коммунисты, не тот материал...

— Я не коммунист! — крикнул кто-то из толпы, видно разобрав слово «коммунист». Вперед вышел худой, обросший бородой мужчина. — Я попал сюда по ошибке! Я не участвовал ни в каких мероприятиях советской власти! Я даже не голосовал!

— Встань на колени! — сказал ему Зиберт.

Человек встал перед ним на колени.

Азинат, словно очнувшись, с напряженным лицом начала вглядываться в того человека. Она отшатнулась к стене и, скользя спиной по доскам, начала отходить.

— Я не коммунист! — кричал между тем тот, стоявший на коленях. — Я попал сюда по ошибке! Я даже не голосовал!

— Ты свободен, — сказал ему Зиберт и ласково ткнул его дулом револьвера в макушку. — Отпустите его, — сказал он охране.

Обросшее бледное лицо человека не дрогнуло, но глаза его загорелись безумным блеском, он посмотрел на Зиберта, на своих товарищей по заточению. Он что-то понял из ответных взглядов, вскинул голову и, хотя еще был на ко-



ленях, посмотрел на узников свысока, с каким-то надменным превосходством. Вскочив, он поклонился немцам, среди них и Жабраилу и князю, и быстро, горделиво, пошел к дверям. Уже возле дверей он побежал — как-то странно, виляя спиной, словно вот-вот выстрелят ему вслед.

Зиберт лениво усмехнулся и показал князю палец: один. С пистолетом в руке он пошел вдоль толпы, будто вдоль ограды.

— Кто встанет на колени, тот будет свободен, — сказал он.

Люди молчали. В этом краю такого не знали. Они даже не могли понять, зачем это нужно, какое это дает удовлетворение ополоумевшему фашисту. И они удивлялись не тому, что тот безглазый немец требовал от них непонятного и невозможного, а тому, что встал на колени тот, которого отпустили. Ничтожный человек... а впрочем, чем он виноват, что не умеет умереть достойно? Гельмут остановился возле Азинат. Она уже не дрожала. Поначалу прикрывала прорехи на груди, но теперь и этого не делала, стояла, откинувшись к стене, высоко поднимая голову.

— Встань на колени, красавица! — мягко сказал Зиберт. — Что для девушки встать на колени? И выйдешь отсюда. Встань на колени и выходи на свободу.

Азинат стояла, высоко поднимая голову. Из разодранной кофточки светилась белая девичья грудь, руки ее с тонкими длинными пальцами касались стены, длинные растрепанные волосы рассыпались, стараясь прикрыть исхудавшее тело девушки. Она смотрела на насильника, несколько не боясь его, и, казалось, испытывала гордость, какой прежде не знала. Нет, никогда она не встанет на колени перед врагом! Ни одна горская женщина не вставала до нее, не встает и она! А умирают люди и достойней ее...

Зиберт опять ударил Азинат по лицу.

Князь, стоявший поодаль и глядевший вроде бы равнодушно, словно случайный здесь человек, вдруг резко шагнул к Зиберту:

— У нас не бьют женщин! Разве тот человек, кто бьет женщину!

Зиберт, не глядя на князя, оттолкнул его локтем, что-то сказал, но что...

Жабраил не помнил, то ли шагнул, чтобы защитить Зиберта, то ли бросился удерживать князя, — он упал, оглушенный сильным ударом в заушье. В глазах зажглись зеленые и синие огни, их прорезал блеск кинжала князя. Тюрьма за-

кружилась, вскинулся и начал опускаться Зиберт, куда-то в сторону качнулся князь. Он услышал далекий стон, непонятное глухое гудение. Потом зеленые и синие огоньки начали вздрагивать от грохота — стоявший над Жабраилом Гельмут в упор стрелял из пистолета в князя.

То ли страх, что Гельмут может выстрелить и в него, то ли жадное любопытство подняло Жабраила на ноги. Зиберт лежал с распоротым животом, пальцы его скользили по рукояти кинжала, словно пытались сквозь кровь нащупать узоры насечки, радуясь, что наконец-то получили такой богатый, красивый кинжал в полное свое владение. Рядом лежал князь, спина его вздрагивала в затихающих судорогах. Азинат стояла у стены, белая, бездушная, бесплотная, уже превратившаяся в какой-то старинный настенный рисунок.

Не поднимая глаз, Жабраил пошел вслед за Гельмутом к выходу. Ноги были свинцовые, и трудно было поспевать за разъяренным начальником жандармерии аула Жамауат...

III

Первым был арестован Мухтар, и Жамауат удивился: неужели врагу больше не с кем бороться? Те, кто присутствовали при аресте Мухтара, рассказывали о бесчинстве Мачара в доме Гейтмырзы. Но еще не утихли эти разговоры, как в одну ночь были арестованы еще двадцать восемь человек. Аул Жамауат, как обычно, сначала притих. Притих и вспомнил слова Чыккы-кызы о том, что «молчание врага оглушительней обвала». Не пустые это были слова. Конечно, за поднявшейся водой с топором не побежишь, и все же нельзя было просто стоять и смотреть, как полая вода один за другим смывала дома древнего Тогалана!

Говорят: чтобы хан стал осмотрительным, утони у него табун, так и аул Жамауат, лишившись лучших своих людей, наконец очнулся. То, что давно видели Харун, Ачахмат и, вероятно, Биязурка, и даже Мухтар, хотя был еще мальчиком, видела Азинат, хотя и была женщиной, — теперь увидели все жамауатчане, увидели ясно...

И они поняли, что не выдумкой была песня об Уллу Хоже. Она была жизнью, одной из суровых испытаний, ниспосланных людям аллахом. И Уллу Хож, как и Жамауат, был аулом, и в нем жили люди — и там тоже было три мира — старики, молодые и женщины; и старики тоже считали, что молодежь непонятлива, молодые думали, что старики не да-

ют им по-настоящему развернуться, а женщины были уверены, что если бы не они, женщины, то эти непоседливые мужчины давно разбрелись бы по белу свету. Жизнь шла, дети росли, молодые старели, старики умирали, а женщины, молодые всегда, год от года лишь все больше убеждались, что мужчины ни на что не годны. Но пришла беда, и начался бой. Первыми выступили женщины с детьми, а за женщинами — мужчины. Так они пошли, чтобы ни один не достался врагу живым. Так они сражались и погибли — люди древнего аула Уллу Хож. Семь красавиц вышли из аула Уллу Хож! Семь красавиц, с кинжалов которых стекала кровь врага, и две из них были дочери эфенди — Уркуят и Хужа. И не зря пролилась эта кровь, не от бешенства и сытости люди аула Уллу Хож так защищали свою землю, свои дома. Они знали: жизнь под гнетом захватчика — не жизнь. Не сила с силой встретились, не ружье с ружьем, а любовь к родине с насилием. И люди Уллу Хожа жизни предпочли честь.

Потому и пел эту песню в густом тумане дровосек, когда вез дрова — не к себе домой и не соседу по случаю близкой его свадьбы, вез врагу и по принуждению — за то, что пощадил грушевый сад.

В воздухе мелькает кисть красавицы Уркуят, орайда,
Пусть же сбудется бедного народа мольба, орайда...—

пел дровосек, подгоняя тяжело нагруженных ослов, и песня сходила из тумана прямо на Жамауат как предзнаменование.

И те, кто уже понял это, хотели, чтобы осознали и остальные, поняли и были готовы.

— Да, так и будет. Иначе и быть не может,— сказал Биязурка.

Глубокой ночью Хаким сидел в доме Казака. После того как взяли Мухтара, правой рукой Ачахмата стал он.

— ...Значит, так: доложишь все эти сведения Харуну. Все запомнил?

— Все,— кивнул Хаким и четко, в том же порядке, в каком говорил Ачахмат, повторил донесение — недаром он был отличником в школе. Но пока он говорил, какое-то волнение поднималось в нем, и, договорив последние слова донесения, он спросил: — Скажи, Ачахмат, а что, Мачар так и будет ходить и давить наших людей коромыслом?

— Немного еще осталось ему давить.

— Его избить надо! — сказал Хаким горячо. — Что гор-

цу, если убьешь его? А избить, опозорить — вот это казнь!

— Нет, Хаким, неужели ты думаешь, что, если бы Мачар боялся позора, он стал бы полицаем? Ты передашь все сведения, а потом скажешь Харуну так: «Скотину, отбившуюся от стада, отдай Аймушу¹. Ее мы назначили на курманлык». Запомнил: «Отбился от стада — Аймушу на курманлык».

Хаким недоуменно посмотрел на него.

— Не понял? — засмеялся Ачахмат. — Тем лучше, потом поймешь.

Но Хаким уже понял, что речь идет о Мачаре. Очень хорошо, но только примет ли добрый бог Аймуш в жертву такую погань, как Мачар?

— Жду тебя в следующую ночь, — сказал Ачахмат на прощание.

...Рано утром Хаким взял с собой двух младших братьев — Хыйсу и Чачия, — и они с двумя ишачками под вьючными седлами отправились в лес. Часа через два дошли до Березового холма, где Хаким оставил братьев заготавливать дрова, а сам по еле заметной тропе пошел выше в горы. В полдень на изломе крутой горной дороги ему встретились два всадника.

— Да умножится! — весело окликнул он их. Но — дуп-дуп — забилось сердце. Кто знает — бандиты или партизаны?

— Джигит, а чему у нас умножаться? — сказал один из всадников. — Не знаю, кто учил тебя, но учил, видать, плохо, кто же так приветствует человека, если рядом с ним нет стада? — пристыдил он Хакима.

Сердце Хакима село на место. Ответь они: «И ты жив будь», начини спрашивать, кто он, откуда, куда идет, — худое дело. Тогда Хаким сказал бы, что идет в Верхние Чирики, в кош Чико, там у Чико осталось несколько стогов сена, и нужно посмотреть, все ли цело. Но он встретился именно с теми, кого искал. Ответ был условным знаком, они ждали вестника от Ачахмата. Второй всадник подмигнул Хакиму, и он узнал его: это был Мурадин, сын Сылыухан.

— А что мне сказать — «счастливого пути»? — тоже условно, как учил Ачахмат, ответил Хаким. — Ведь я не знаю, вышли вы в путь или нет.

Мурадин освободил левое стремя, и Хаким влез на круп лошади позади него, и они поехали.

¹ Аймуш — бог скотоводства.

Лагерь Хаким заметил, только когда подъехали совсем близко. Подходя к пещере, услышал нестерпимо вкусный запах варящегося мяса. В неподвижном студеном воздухе он разошелся далеко. Хаким вспомнил, что голоден, того, что он поел утром, хватило только до Березового холма.

В пещере возле огня сидел Харун в белом тулупе. Стараясь не смотреть в сторону казана, в котором варилось мясо, Хаким слово в слово передал донесение Ачахмата. Харун слушал и кивал головой.

— Садись, джигит, — сказал он, когда Хаким сказал о курманлыке и замолчал. — Погрейся, мяса поешь, шурпы горячей попей.

— Я не голоден, — буркнул Хаким, а так как стоять рядом с кипящим варевом было невыносимо, сказал чуть нетерпеливо: — Меня братишки ждут. Дайте ответ, и я пойду.

— Аперим, джигит, — сказал Харун, — вот что я тебе скажу: Байчо, наверное, думает, что мы оставили его дом в беде. Нет, мы не забыли Азинат.

— Мать от кого-то слышала, что их увезли в Германию. Все время плачет... — Хаким опустил голову.

— Нет, не увезли, мы об этом точно знаем, — больше этого Харун ему сказать не мог, Хаким понял это. — Нам еще нужны сведения, я напишу Ачахмату. А с курманлыком придется подождать, все разом и сделаем.

— Харун Хачамаукаевич...

— Скажи, джигит, скажи свое дело, не стесняйся!

— Я тоже хочу быть с вами, здесь, Мухтара взяли, моего друга... Я буду мстить.

— Нет, Хаким, твой командир Ачахмат, — улыбнулся Харун. — Я не имею права распоряжаться тобой без разрешения твоего командира. — Он положил ему руку на плечо. — И там, в ауле, и здесь, в горах, мы боремся за одно дело — за Мухтара, за Азинат, за наш аул, за нашу землю. Ты там нужнее.

Поддавшись уговорам, Хаким поел шурпы, положил за мазуху кусок теплого мяса и ломоть хлеба для братишек, спрятал в соломенную подстилку чабур-письмо для Ачахмата и вышел в обратный путь. Он шел окрыленный, теперь сможет как-то ободрить мать, конечно, он ей не скажет всего, но все же она поймет, что скоро Азинат будет освобождена. И еще он думал, как объяснить братишкам, откуда взялись мясо и ломоть хлеба. Так ничего и не придумав, он просто сказал братишкам, что это — «заячий хлеб». К удивлению, они тут же поверили ему и, увязая в снегу,

запрыгали от восторга. Даже неизбалованным детям Байчо, которым и любой-то хлеб был лакомством, «заячий хлеб» показался вкуснее домашнего. Хаким удивился тому, какие же они еще маленькие, хоть и сами вдвоем заготовили дров, что хватило навьючить на двух ишачков.

Когда же вечером братья похвастали, что ели «заячий хлеб», у малышей от зависти загорелись глаза. Но гут Чачий и Хыйся достали из-за пазухи два маленьких обрызженных ломтика, и малыши с визгом навалились на них. Дауус, видно, догадалась о чем-то и, встретившись с Хакимом взглядом, покачала головой.

* * *

Только в полдень после того, как всю ночь и все утро в разных инстанциях у них выясняли обстоятельства убийства Зиберта, им разрешили уехать из Нальчика.

На каменистой ухабистой дороге машину то и дело подбрасывало, но Гельмут и Грэк, измотанные бессонной ночью, спали. А Жабраил, устав думать о Зиберте, о князе, об Азинат, смотрел в окошко на отступающие в ранних сумерках горы.

Давно уже какая-то мысль, глубокая и тоскливая, зрела в нем, но о чем она, почему наполняет такой раздирающей сердце тоской, он понял только сейчас.

Да, он тосковал о Зайнаф. Любовь, которую он когда-то обманул, теперь мучила его. Однажды, вскоре после прихода немцев, он собирался сходить к ней, но в тот вечер его вызвал Юнге... Потом это чувство забылось. «Я должен был сходить к ней,— думал Жабраил,— должен был выразить соболезнование по случаю смерти Ачахмата, рассказать, как это случилось. Но, говорят, он жив? Или это козни Мачара? Будто жив и скрывается в ауле. А что, если я пойду и вдруг встречу с ним?.. Устал, вот и приходят всякие мысли... Откуда ему быть живым, ведь я сам все видел?.. Бывшая любовь твоя — теперь вдова. Вдова, но, как девушка, еще свежа, недолго прожила с мужем, года четыре, кажется...» Вдруг он ощутил желание. Он ясно увидел Зайнаф, взял ее в объятия, посадил на колени. Лаская, прижал к себе, крепче, крепче... Почувствовал, как задрожала Зайнаф, как жар пополз по ее телу. Скользя губами по трепещущей шее, руками, хорошо знающими свое дело, расстегнул пуговицы на кофте. И таким пьянящим женским запахом пахнуло на него, что он зажмурился.

Странное совпадение: в тот же самый час в другом месте другой мужчина точно так же грезил о женщине — но только о Залихат.

Когда все начальство и вместе с ними Жабраил уехали в Пятигорск, Мачар остался в ауле, как говорят в Жамауате, за хана и за его визиря. И он решил, что настал долгожданный случай заполучить Залихат. Сначала он собрался было идти прямо к ней домой. Нет, тут же передумал он, незачем ногу в капкан совать. Если возникнет скандал — ему несдобровать, больно уж комендант с этим Билекчиевым носится. Нужно вызвать ее сюда, в полицию, где — коли начальство гуляет, то и полицаям, дескать, погулять не грех — не было никого. Уж отсюда-то она голосить на весь Жамауат не пойдет. Он велел одному из полицаяев привести Залихат. Тот уже выпил и хотел идти туда, где гуляли его товарищи. Но Мачар с бранью вытолкнул его за дверь. Полицай, ворча, ушел, а Мачар сел ждать. Он представил: Залихат входит, смотрит на него, и необузданное его желание, сила, исходящая от Мачара, делает Залихат безвольной, как овца. Он медленно подходит к ней, обхватывает ее крутой бок. Ее полные белые руки обнимают ни разу не испытавшую женской ласки шею Мачара. «Как я тебя люблю! — тихо говорит Мачар, лаская ее. — Сколько лет мечтал я о тебе... Аллах свидетель, сколько лет не сплю ночами». Но Залихат молчит, только сильнее обнимает его. «Моя, — шепчет Мачар (целует ее в шею), — моя (высасывает ей все губы), — моя-а-а... (несет ее на диван)... Но Залихат вдруг, словно пробудившись ото сна, отталкивает его. Мачар летит прочь, но, успев-таки ухватиться за угол стола, встает на ноги.

— Сучка! — очнувшись, уже наяву сказал Мачар. — Сучка, ты думаешь, кроме сынка Локмана, и мужчин нет?

Вернулся полицай один, Залихат сказала: «У меня в полиции никаких дел нет. А если же, — сказала она еще, — Мачар покончил свои счета с мужчинами и взялся за женщин, то пусть не с меня, а с кривой своей матери начнет».

— Чтоб твой дом сгорел! — заорал Мачар. — Ты сказал ей, что она не имеет права, коли вызывают?

— И сказал, и даже винтовкой пригрозил.

— И что? — спросил Мачар живо.

— А то, чтоб в дом твой добро сыналось. «Скажи, го-

ворит, этому двусбруйному¹, если не отстанет, я пойду, что мне делать».

Мачар не мог понять, издевается полицай над ним или говорит правду. Ему сейчас хотелось подойти к двери и удариться скулой о косяк.

Полицай же был в хорошем расположении, видно, он услышал от Залихат даже больше, чем передал Мачару, и еще находился в стихии того крепкого, бодрящего разговора. Он сочувственно цокнул языком и вышел, оставив Мачара наедине со своим горем.

...Долго не мог заснуть в эту ночь Жабраил. С открытыми глазами лежал рядом с Залихат, слушал шорохи, шепот ночного дома, когда же на минуту забывался, в дреме появлялась Азинат, говорила: «Жабраил Локманович, не бойтесь за меня... Я не опозорю вас...», но сверкал кинжал, катились зеленые и синие огоньки, и Жабраил, вздрогнув, просыпался.

Мачар страдал. Он сидел в той же позе, там же, где оставил его полицай, и готов был грызть край стола. Он никак не мог простить себе того, что не нагрянул к Жабраилу в первую же ночь, когда к нему привезли раненого. Он все кружил вокруг дома Локмана, как кот вокруг жаровни, — все думал, как сделать, чтобы Жабраила взяли, а Залихат не тронули. Теперь он даже не Жабраилу, а Залихат хотел страшной смерти. Действительно, двусбруйный, из-за женщины потерял место старосты! Мало ли женщин в Жамауате? Стань он старостой — все, все стали бы его! Тогда, наверное, даже русские женщины в Нальчике не отказали бы ему.

Не спал и Гельмут. Допоздна писал домой письмо. Оно, как обычно, было длинным. Но только в этот раз там не было ни слова о будущем имении и озере, затянутом сейчас льдом и занесенном снегом. Он хотел написать о случае в тюрьме, но решил не делать этого: еще неизвестно, как на это посмотрит цензура. Уже запечатывая письмо, он подумал о кинжале с золотой рукоятью. И с завистью подумал: какой чин в гестапо или жандармерии в конце концов присвоит себе это «вещественное доказательство»?

IV

Два события произошли в те дни в Жамауате. Причем весьма важные, хотя между собой и не связанные. Дейст-

¹ То есть двупольный.

вительно, какая могла быть связь между Байчо и Баширом? Правда, когда эти события уже совершились, прошло время — и острые на догадки жамауатчане, обсудив их, решили, что Башир и Байчо шли по одной тропе. Башир разведал и проложил след, Байчо — поднял кинжал мести. На первый взгляд так оно и было. А на самом же деле каждый из них действовал по своему разумению. И если Башир готовился к этому заранее и долго, то Байчо обо всем подумал уже потом.

Дело в том, что вопрос, который волновал оберштурмбаннфюрера Зиберта, по-своему волновал и Башира. С первого дня, как они вошли в аул, он хотел узнать, кто же эти немцы — храбрецы или трусы? Он долго приглядывался, расспрашивал, но проверить этих наглых пришельцев на деле все не удавалось. Байчо же волновало совсем другое. Но как бы то ни было, они, два джигита, Башир из Кюнлюма, Байчо из Ажоки, один — на десятом году жизни, другой — на шестом десятке, один — сначала, другой — на следующую ночь, вышли на первое свое джигитство.

Башир вышел как раз в тот вечер, когда в Пятигорске в доме генерала Клейста разгорелся спор о храбрости. В Жамауате шел белейший снег, мирный и добрый — в самый раз, чтобы исполнить задуманное. Конечно, догадайся Башир спросить у Хурты, пса Кыйыка, какие они, эти пришельцы, тот бы ответил точно. Хурта сразу чуял, как насто-раживался пришелец, когда шел мимо дома Кыйыка, и даже по обвисшим его штанам было видно, как у того две половинки одного места друг к другу поджимаются. Вот о чем сказал бы злой пес Хурта, когда Башир спросил бы его. Но Башир хотел знать сам.

Мальчишки говорили, что фашисты оттого только храбры, что ходят по двое-трое и с автоматами. У них вся храбрость в автоматах. А на самом деле трусы, самые что ни на есть. Но Башир говорил лишь то, что знал, а не как Чачий — что в голову взбредет, только бы сказать.

Теперь, когда Мухтар, его любимый брат, томился в фашистском застенке, это стало особенно важным — трусы они или храбрецы? Кому же, как не брату, предстояло освободить Мухтара? Говорят же: «Брат — панцирь брата». Или еще: «Мужество проявит младший». Так что панцирь должен знать, какой удар предстоит ему принять. Но взрослые, кажется, совсем забыли об этой поговорке. Никто не советовался с Баширом, как спасти Мухтара. Не только не советовались, вообще ни слова не говорили при нем о Мух-

таре. Даже если случайно зайдет о нем разговор, покосятся на Башира и тут же переводят на другое. Обидно, что за новадки у этих взрослых? Думают, что только они все знают, только они умеют переживать, только они могут решать вопросы. А младшие, значит, ничего не понимают! А Байчо? Он-то куда? Башир подошел к нему, когда тот во дворе Домсовета колол дрова для столовой. «Ступай отсюда, что ты крутишься здесь?» — и прогнал. Башир спросил у него, как там Мухтар, а тот снова: «Иди, чем здесь торчать, лучше хайнух крути». Тоже, взрослый называется, сын его Чачий и то умней. Кто же хайнух крутит, когда брат в тюрьме сидит? Все же он стерпел и еще спросил у Байчо: «Как ты думаешь, допрашивали его?» Тот снова: «Иди, иди, что ты в допросе понимаешь?» Кто больше понимает — Байчо или Башир, это еще надо разобратся.

«А дома? Как будто вместе с дедом умерли и стены. Подойди и тронь. Тень твоя сразу же станет похожей на дедушку. Раньше тени были близки к очагу, а теперь и они сторонятся огня. Мама говорит, что хотя дед и умер, но он из стен смотрит на нас. Нет, не верю. Как может человек, если он умер, смотреть из стены на живого? А то я не знаю, почему она так говорит. Им кажется, что пугать детей — это хорошо. А если мы их начнем пугать?.. Мне жалко маму. Днем, когда люди приходят, она ходит тихая, молчаливая, делает что-нибудь, словно ничего не случилось. А уйдут они и останемся мы вдвоем, она сразу начинает плакать. Прочитает намаз, а потом сидит и плачет, плачет... «Бедное дитя!» — вот все ее слова. А если я начинаю плакать, она сразу вытирает слезы и принимается меня ругать, говорит, что ничего с Мухтаром не случится и скоро он вернется. Еще она говорит: «А что он должен был делать? Прислуживать, как его дядя?» Тогда у меня слезы тут же сами высыпают. Я горжусь своим братом. Мама гладит меня по голове, потом прижимается лицом, я чувствую, как клокочет у нее в груди, слезы текут по моим волосам. А лицо! Такое оно горячее, что даже голову мне жжет. Когда ни проснусь, сидит рядом, обняв колени, уткнувшись в них лбом. До самого утра сидит... Оказывается, я давно знал тайну Мухтара. Он храбрый — вот его тайна. Храбрый всегда, каждую минуту. Потому его и арестовали. Я — брат, и я должен спасти его...»

У Башира были заготовлены десятки способов освобождения Мухтара. Вот он выкрал автомат Зуппана и напал на тюрьму, застрелил всех часовых на месте, ворвался, схва-

тил Мухтара за руку и вытащил на улицу. А в другой раз он нашел гранаты, подкрался к забору Домсовета, кинул сразу несколько гранат в скопище немцев во дворе и под железные двери тюрьмы. Двери взлетели высоко в воздух и еще не упали на землю, как он вбежал в подвал и закричал: «Свобода! Башир принес вам свободу! Бегите!» И Мухтар совсем забыл, что надо скорее бежать, обнял его, расцеловал и подбросил высоко-высоко, он чуть о потолок не ударился.

Но приходил рассвет, и все планы рушились. Башир отворачивал лицо от матери, так ему неловко становилось за них. Нужно было придумать новый, самый верный план освобождения.

...Он ушел к партизанам, долго искал их, наконец нашел и во главе отряда вернулся ночью в аул. Под командованием Башира партизаны напали на гарнизон, разгромили его и — не только Мухтара, не только других пленных — освободили весь аул.

Вот это был хороший план! Когда Башир лежал рядом с матерью и обдумывал его, все было просто. Но наступало утро, Башир вставал, шел во двор — надо было сводить жеребенка на водопой, нарубить дров, сходить за водой, заложить корове сена, — и поиски партизан откладывались на завтра.

Каким же будет бой? Храбрые они или трусы? Вопросом этим он задался еще до того, как схватили Мухтара, когда еще был жив дед Жарнес. Храбрые, как же! Легко быть храбрым, когда у тебя автомат, а у других его нет. Еще и ходят по двое да по трое. Попробовали бы они с капитаном, один на один, да пусть трое на одного, только без автомата! Живо бы штаны замочили.

— Мама, а они храбрые? — спросил он тогда у матери.

— Может, и храбрые, коли не побоялись, в такую даль пришли...

Но Башир ей не поверил. Спросил у Мухтара:

— Ну, скажи, храбрые они?

— Храбрые? А что, когда кругом трусы... — выругался Мухтар.

И ему не поверил Башир. Правду знал только дедушка.

— Дед, кто в мире самый-самый храбрый?

— Женщина, теленочек мой неразумный, — ответил Жарнес.

— Да ну тебя, дедушка, я серьезно спрашиваю.

— А я что, вру?

— А то нет! Сказал тоже! «Женщина — храбрая»!

— Женщина и храбрая. Покуда жива будет хоть одна женщина, этот аул не умрет.

— Дед, ты что, дурак?

— Я — нет, а вот ты — дурачок. Не знаешь даже, кто храбрый.

— Позор на мою голову, если я хоть раз о чем-нибудь у тебя спрошу.

— Ты не будешь спрашивать, я не буду отвечать. Посмотрим, кому будет хуже!

Тогда Башир надолго поссорился с дедом. И дал себе зарок: никогда ни о чем его не спрашивать. Самые близкие — мама, брат, бабушка, — самые, как он считал, верные и умные, только поиздевались над его вопросом, толком даже не выслушали, а ответили так, будто не Башир он, а просто дедов сто первый воробушек. Значит, ответить придется и м. Хотя бы вот ему — их постояльцу Зуппану.

Итак, в тот снежный вечер Башир залез на чердак, достал заброшенную сюда с прошлого года шубу Мухтара, из которой он вырос, вывернул ее наизнанку. Улучив момент, вытащил из жыйгыча маску, которую надевал Мухтар, когда играл козу¹. Потом пошел в хлев, обрядился, прокрался задом и спустился на большую улицу. Там, через дорогу, возле дома Кыйыка он увидел Хурту, — тоже чем-то обеспокоенный, тот стоял на ограде. Давно, видно, стоял. Спину покрыл снег, глаза горели. Хурта при виде непонятого лохматого чудища напрягся, ощерился, изготовился прыгнуть, но запах долетел до него, и, угадав, кто это, он отпустил сведенные в ярости складки на морде. И они сложились в усмешку. Он ласково посмотрел на Башира и вильнул своим мужественным хвостом. Башир, неожиданно найдя сподвижника, тихо окликнул его:

— Хурта, Хурта!

В это время из-за поворота показался Зуппан, и Хурта не успел перепрыгнуть через дорогу. Башир юркнул за ограду и начал следить сквозь щели меж камней. Если бы люди так понимали друг друга, как Хурта угадал мысли Башира! Ибо в следующую минуту на Зуппана с двух сторон разом прыгнули два зверя! Во всех домах Ажоки, где в эту пору зажгли лампы, раздували огонь в печах, вздрог-

¹ Ритуальная танцевальная игра. Маска «коза» делается из войлока, с обшитыми красной материей дырами для глаз и рта, с длинной козлиной бородой. К маске прикрепляется также множество железяк.

нули от разнесшегося по аулу воя. Если бы кто был рядом, то увидел бы, как от этого воя колыхнулась завеса снегопада. Выбежала жена Кыйыка, узнала своего пса. Но пес был не один. И вопли лежащего на снегу человека не были похожи на крик горца. И чтобы от греха подальше, Кымырт — Курносая — вильнула своим ладным, как медный кумган, телом и снова нырнула в дом. Пусть себе пес и неизвестный зверь дерут этого человека, который кричит так некрасиво. Башир, прыгнув на фашиста сверху, повалил его и теперь стоял, прижавшись к ограде, смотрел, как Хурта рвет шинель Зуппана. Тот кричал, брыкался, и там, где он хватался руками за снег, уже темнели кровавые пятна. Вскоре оттуда, где барахтался Зуппан, потянуло дурным запахом. Хурта твякнул от омерзения и оставил свою жертву. Тот уже не вопил, он визжал, пронзительно и жалко, но встал и, шатаясь, побежал наверх.

Почти все кюплюмчане, кто был дома, вывалили на улицу. Теперь визг шел по переулку вверх, необычайно быстро, словно по аулу, вырвавшись из мясницких рук, бежал недорезанный кабан. Когда-то подобное зрелище видел в казачьей станице Ережип: «Оррай-биррайи, быстрее своего визга бежар», — рассказывал он потом. И хотя эту оюн-тамашу видели многие, понимал ее только один — тот, в шубе наизнанку. Но он уже не смотрел: оставив Хурту чистить морду о снег, шел через огороды с таким видом, будто он к этим воплям никакого отношения не имеет. Он пришел через огород Тебо и повернул к дому Байчо. Визг же Зуппана уходил к дому Гейтмырзы, к его дому, и перед этим визгом танцевали проулки, каменные заборы, огороды, небо, воздух, прошитый длинными нитями снегопада. Сам же Зуппан все еще видел перед собой лишь зубы чудища, его горящие глаза и еще какого-то волосатого молчаливого зверька, у которого вся голова была в звенящих железках, от звона которых еще больший страх пронзал его.

Навстречу несчастному вышел Ганс Шрайнер, что-то спросил у него. Зуппан дрожащей рукой показал за поворот, пролепетал что-то. Ганс вдруг рассмеялся, причем без всякого сочувствия. Потом он стал успокаивать Зуппана. Скажет что-то и снова рассмеется. Зуппан же огрызался и взвизгивал, словно все это натворил Ганс.

Что же Башир? Он был доволен.

— Это я! Я напугал его! — сказал он Чачию гордо. Тот в одной рубашке выбежал на шум.

— Ты? — удивился Чачий. — А кого?

— Зуппана, фрица нашего!

— Ну да, заставишь ты его крикнуть так! — Чачий, седьмой ребенок Байчо, не поверил Баширу.

— Вот и заставил!

— Ты? — опять удивился Чачий.

— Я шубу наизнанку вывернул и... вот! — Башир приставил маску, которую держал в руке, к лицу.

Чачий от неожиданности даже отпрыгнул, но тут же расхохотался.

— И не побоялся? — спросил он.

— Зуппана, что ли? Слышишь, как орет? Спорим, его автомат там валяется.

Побежали огородами. На повороте в присыпанной снегом колее блеснул вороненый автомат Зуппана.

— Спорим, не тронешь, — сказал Чачий.

— Вот! — Башир взял автомат в руки.

— Давай спрячем, — сказал Чачий.

— Где?

— Ну хотя бы у Ережипа на чердаке!

— Хорошо придумал: найдут там и расстреляют Ережипа... «Оррай, биррай...»

— Кто-то идет. Пошли. — Они перелезли через забор, пробрались в хлев Латырая и влезли на сеновал.

— Интересно, патроны тут есть? — спросил Башир шепотом.

Чачий, шепотом еще более пронзительным:

— Полный диск. Не видишь, что ли?

— Когда вырасту, — сказал Башир, — всех фашистов переблю!

Чачий насмешливо:

— Будут тебя ждать! Знаешь, что Лазимат говорит? Месяца не пройдет, говорит, как наши разобьют их.

— К весне мой жеребенок станет скакуном, я выведу на нем навстречу аскерам и крикну: «Ур-ра-а-а!»

— «Ур-ра-а!» — шепотом передразнил Чачий. — Ты громче кричи, чтоб все немцы сюда сбежались... А я летчиком стану.

— А что в летчике такого? То ли дело кавалеристом!

— А летчик твоего кавалериста... — Тревожный крик Халыу не дал Чачию договорить. — Слышишь, мать тебя зовет.

— Пусть зовет, — сказал Башир. — Теперь, с автоматом, я обязательно освобожу Мухтара.

Между тем спешащие шаги приближались к ним.

— Пешли! — сказал Чачий.— Пока автомат у нас в хлеву под кормушкой спрячем, а потом что-нибудь придумаем. Они шмыгнули за хлев, пригнувшись, пробежали вдоль забора и исчезли в саду Байчо.

V

Две раны горели в сердце Байчо: Азинат и глумление над ним Гельмута. И не было божества, которое утешило бы его. Пусть бы оно сказало ему: «Крепись, Байчо, кто в такой день не обижен?» Маленькое бы сочувствие — и сразу бы стало легче. Но не было такого божества, не было и утешения. И потому насколько было велико его простодушие, настолько же упрямым и сильным оказался его гнев. И прежде-то немногословный Байчо, казалось, замолчал совсем.

Байчо же был безмолвен, но не молчалив. На самом деле никогда в жизни Байчо не говорил так много, как в те дни. И ночью, и днем, и дома, и на службе у немцев он говорил и говорил. И долгая эта речь была бесконечной чередой вопросов. Вопросы, вопросы, вопросы — и ни одного ответа. Сам с собой говорил, сам с собой грызся и самого себя ругал. Эти упрямые вопросы толкали его лицом в мир, заставляли, чтобы он туда высказал свои обиды и негодование. Но он жил, страдая, исходя стыдом, а люди вокруг, главное — этот Гельмут, вели себя так, словно ничего не случилось. Никто не стеснялся, не чувствовал себя виноватым перед Байчо. Тогда он, потеряв терпение, спросил у Жабраила: «Алан, сын Локмана, что же это такое?» — и староста спокойно объяснил: «Что, думаешь, будут они жалеть комсомольцев, коммунистов, весь этот актив, если они мешают им установить все по-своему? Ты знай свое дело, ты работай, а дочка, если не виновата, вернется домой». Байчо же чуть не закричал: «Да какая вина может быть у ребенка?»

Дауус, стойкая и действенная, не в пример мужу, съездила в Нальчик, увидела там в тюрьме Азинат. «Даже не узнаешь!» — сокрушалась она, вернувшись. Байчо понял, что Дауус совсем потеряла надежду на то, что дочь вернется домой.

«Зверь я, волк, — простонал он горестно. — Попал в железную клетку. Но ведь он волк, оттого и попал, а я почему?»

И Байчо, который прежде не умел сердиться, стал раз-

дражительным, все не по нему, малейшее неверное слово или движение приводило его в гнев. Хаким уже был ровень с ним, а в тот день, когда Дауус вернулась из Нальчика, за какое-то незначительное прекословие взял да и ударил его, — он, Байчо, который в жизни ни разу не прибил ребенка.

Так жил Байчо. Все валилось из рук, еда не в еду, питье не в питье, житье не в житье. В эти дни весь аул заговорил о голодном медведе, который пришел в Кюнлюм и напал на немца. Слух этот прошел, как песня из задних уст Гычы, — кого рассмешил, кого удивил, кого раздосадовал. Но Байчо даже глаз не поднял. Что они были, праздные пересуды, рядом с душевной болью Байчо.

Так, идя домой, Байчо вдруг услышал треск сухой хвостины и остановился. Всмотревшись, он увидел, что кто-то весьма ретиво ломает плетень вокруг его, Байчо, собственного огорода.

Он подошел к человеку, к этой тени в ночи, встал рядом, спросил спокойно:

— Что ты делаешь, алан?

Но тот, который ломал плетень, не умел ни ответить, ни хотя бы устыдиться. Он локтем оттолкнул Байчо и, выломав стойку, повалил еще один плетень. Байчо узнал пришельца.

— Что, отца своего плетень ломаешь? — спросил он, уже злясь.

Ночной вор тьякнул что-то. И хотя Байчо не разумел его собачьего языка, все же понял, что он для него — тьфу, никто, и если он ломает плетни вокруг огородов, значит, так ему нужно, не Байчо же он будет спрашивать. И покуда хозяин плетня соображал это, пришелец повалил еще одну стойку.

— Ай, чтоб к матери твоей ишак пошел, разве ты плетень этот ставил! — вскипел Байчо. Вырвал жердь из его рук. — Уходи, а не уйдешь, то пожалеешь. — Он и с палкой был смешон, как всегда.

Немец понял это и, не желая больше терпеть его глупости, со всей силы ударил его локтем. Ударил и начал складывать хворост в кучу. Вся злость Байчо сорвалась с крючка.

Кленовая жердь, хоть и давно уже держала плетень, давно обтачивали ее дожди, снега и солнце, оказалась крепкой. Не сломалась. Немец крутнулся на месте и упал на вздох хвороста, который сам только что сложил. Он только

успел протянуть руку к автомату, который висел на стойке плетня.

— Ты только посмотри, он еще и грозитя,— удивился Байчо.— Сидел бы дома, если с твоей матерью ишак не спарился.

Тот на такое оскорбление даже не шевельнулся. В гневе Байчо обошел его кругом. Сказал:

— Иди жалуйся, родившийся от суки,— собрал в охапку весь хворост, взвалил на плечо.— Чего лежишь, ждешь, когда я тебя на ноги поставлю?— и зашагал к себе домой. Во дворе он скинул ношу, прислонил жердь к ставне и вошел в дом.

Дома уже тревожились, и потому все радостно повернулись к двери. Со всех сторон набежали дети, кто за ноги обнял, кто за колени, кто прыгал рядом, просил, чтобы он взял на руки.

— День мой светлый, что так поздно? — спросила Дауус.

Байчо, отрывая от себя детей, одного за другим, словно колючие головки репейника, подошел к очагу, сказал недовольно:

— Ай, чтоб в дом твой пшеница сыпалась, Дауус, рассыплется вы, что ли, без меня? Там плетень наш ломают, а вы тут сидите. Не легко мне было обнести огород плетнем.

— О каком ты плетне, чтоб дом мой был светлый? — насторожилась Дауус.

— Да вот, «немча», говорите, «беда», говорите, один из них плетень ломал, чтоб он на матери своей...— глянув на детей, Байчо осекся.

— Что же, день мой?

— Что же! Угостил, как собаку угощают... Крепкая жердь попалась!

— Оу, чтоб я упала и разбилась! Пришел к нам день!

— Пусть бы не трогал. У меня руки не чесались.

— Ты думаешь, они тебя только жердью ударят? Одной беды было мало... Ой, дети мои горемычные... Куда мне идти, что делать?— Дауус заплакала.

— Говоришь, пожалуется он?— засомневался Байчо.

— Аллах, когда ты прозреешь? Ничего не видишь в темноте своей! Кого они оставили, кто мог бы хоть чабуры свои завязывать? Хоть то пойми, что из-за этого весь Кюнлюм пострадать может. Пусть бы они вместе с плетнем сгорели! Плетень!.. Тут себя отдаешь, лишь бы детей не тронули!

Только теперь Байчо начал думать. Честный от природы, даже чужой соломинки, зацепившейся за чабур, не уне-

сет, он полагал, что хороший удар жердью совсем не чрезмерное наказание за воровство. После слов Дауус ему стало ясно, что эти нечестивые, схватившие его дочь Азинат, многих достойных людей в Жамауате, не пощадят и его, когда узнают, что он ударил солдата... Повесят и спрашивать даже не станут.

Байчо понял, что он натворил. Дауус ясно сказала: пусть бы вместе с плетнем сгорели, лишь бы самих оставили в покое. Но теперь, когда совершенное уже совершилось, сидеть пригорюнившись толку нет. Надо что-то делать. Так из-за старого плетня и голову сложишь. «Приглашу его домой, чтоб волк его задрал, угощу и попрошу прощения. Испокон веков люди так мирятся. Только вот на каком языке я с ним мириться буду?»

С тем он и вышел на улицу. Взял в руки жердь, которую оставил под окном. «Крепкая жердь попалась мне в руки,— подумал он.— Тейри, а вдруг он... вдруг я убил его, чтоб аллах спалил его дом дотла...»

От этой догадки Байчо вздрогнул и быстро зашагал к огороду. Вышла на крыльцо встревоженная Дауус. Он, отругав ее, заставил вернуться. Тут и без женщины...

Немец, все так же скрючившись, лежал на снегу. «Совершенно как мертвый»,— сказал Байчо, нагнувшись над ним. Нет, он еще не понимал происшедшего. Ему это казалось игрой, розыгрышем. Этот кяфыр напугать его хочет, притворился, будто мертвый. Байчо даже повеселел немного: значит, немец не так уж сердится, коли шутить вздумал. Он снова, уже сильнее, толкнул немца. Взяв за подбородок, он потряс его голову. «Натворил же я беды!»— сказал он, начиная понимать... От злости ли, от недоумения он взял мертвеца за плечи и потряс. Нет, не игрой это было, не притворством. Дверь Байчо захлопнулась.

Оглушенный, он застыл над трупом. Снег падал на большую лохматую шапку, старый тулуп, большое рябое лицо, большие руки, большие старые чабуры, его сгорбленную фигуру. Он — своими руками — убил человека! Он, в котором злобы не больше, чем в этом снеге, он, который и малой твари в лесу не обидел! Теперь он стоял над человеком, убитым вот этими его руками. И на мертвого и на него, живого, падал снег. Белый снег, белый саван.

Байчо мог бы еще поставить новый плетень вокруг своего огорода. Но снова стать Байчо, который никого не убивал, он уже не мог. Губы его одеревенели, точно сухие хворостины, из-за которых он убил человека.

— Ой, анам!¹ — прошептал он этими губами.— Ой, анам, я в крови!

Перед Байчо лежал убитый им человек. И потому все, что в нем было — и дом его, и семья, боль и гнев, заботы и воспоминания,— все, в чем был смысл его прошедшей жизни, отделилось от него. Чашу, полную добра, данную ему людьми, он упустил из рук, разбил ее, далеко разлетелись брызги и черепки. Теперь он не смел поднять глаза на людей, только и оставалось смотреть на свои пустые руки.

— Чтоб сгорел этот плетень в огне,— сказал он.

— Зачем ты мне встретился, чтоб ад был твоим пристанищем? — сказал он.

— Аллах, за что ты покарал меня? — сказал еще.

А мертвый? Он слушал. Ему-то что, он умер. Лежал, зло радуясь над живым Байчо. Смеялся над ним, который притворялся мирным человеком, прикидывался простачком, не ведающим зла. «Ай, Байчо, если бы он ожил, вскочил и этой кленовой жердью огрел тебя! Ай, Байчо, измазанный кровью Байчо!» Он огляделся вокруг. Ни души. Тишина. Снег. Убитый. Сам Байчо. «Отнесу его к ним и скажу, как было,— решил он.— Если аллах послал на меня беду, изворачиваться не буду. Умру там, где и дочка».

Он взвалил убитого на плечо, взял его автомат под мышку и пошел.

«Слабая тварь человек,— думал он, тяжело шагая под ношей.— Ведь одним ударом и курицу не прибьешь».

«Чтоб тебя молоком матери вырвало, зачем ты из такой дали тащился, даже такого мягкого удара выдержать не мог?»

«А зачем я несу этого кяфыра к ним? Что я там скажу? На них бы мою беду».

Дойдя до огорода Ережица, Байчо положил труп на забор. При свете снега он впервые увидел его лицо. «Ай, чтоб дом твой сгорел, какой молодой еще!» Он хотел уложить его так, чтобы ему было удобней на ограде, но ударился локтем о камень. Труп никак не хотел лежать на заборе. Угнувшись от боли, Байчо еще раз глянул в бескровное молодое лицо. Лицо это было полно ненависти к нему, полно готовности уничтожить не только Байчо, но и любого, кто дерзнет сделать ему хотя бы больно. Дай ему волю, он сжег бы дом Байчо, аул Жамауат, эти камни, скалы... Даже

¹ Анам — мать.

вот этот тихий снег. Байчо отпустил мертвое тело, оно со-скользнуло с забора и упало на дорогу.

«Зачем я понесу его туда? Что я скажу им? Посмеются они над моей глупостью и отправят за решетку. Или убьют. Кто защитит меня? Кто накормит моих детей? Один среди них Жабраил, сын Локмана, понимает наш язык, но ведь и он, говорят, держит сторону этих нечестивцев...

Ладно, здесь я уйду от кары, а там, в преисподней? Как там я спасусь от кары за убийство?

— Убийство? — спросил голос рядом. — Разве тот, кто убил убийцу, тоже убийца?

— А кара ахырата? ¹ Как мне быть, бедному?

— Какой там ахырат? О какой каре ты говоришь! Когда эти язычники мирных людей уничтожают... Это справедливо — покарать насильника!

— Кто это, кто говорит, не ты, аллах?

— Ты Азинат вспомни! Видел бы ты ее сейчас, ее муки... А ведь она там не одна, Дауус видела.

— Пусть сгинет ахырат, если и мир таков! — сказал Байчо. Можжевеловый прут Гельмута снова обжег его лицо.

А голос настойчиво твердил:

— Он ломал твой плетень...

— Пропади он, этот плетень!

— Какие мужчины были в Жамауате. А теперь? Может, ты скажешь, чтобы и они пропали?

— А что мне делать? Я теперь в крови, бедный я...

— Ты не бедный. Ты счастливый — ты отомстил. — Голос, немного помолчав, добавил: — Мы с тобой на дороге встретились, когда ты спускался с гор. Помнишь, я дал тебе лопату... Ты меня похоронил.

— И что? Этот тебя убил?

— Он тоже. Все они за этим пришли.

— Я не убийца. Я пастухом был.

— Азинат... Ты забыл про Азинат.

Байчо зажмурился и закачал головой, чтобы не слышать.

— Ты много не говори — выбрось его».

Байчо знал, что человек умирает от болезни, падает со скалы, его бьет молнией. Так аллах убивает в горах. Он и не убивает, он берет назад то, что когда-то сам дал человеку. Но люди... Не могли они убивать друг друга так просто, глядя в лицо. Теперь же, когда он сам стал убийцей,

¹ А х ы р а т — преисподняя.

он понял, что жестокость, убийство и насилие, существующие в этом мире,— правда и касаются всех. И его тоже.

В эту минуту вся прошедшая жизнь показалась Байчо долгим сном. Здесь, возле огорода Ережипа, очнулся он и начал наконец жить. Наконец всеми краями своей жизни коснулся этого мира. Долгим и крепким был его сон, много в него жизни ушло. А ведь и в эту ночь он мог остаться там, во сне, если бы не эта смерть возле старого плетня.

«Что должно было случиться — случилось. Не замахвайся, говорят, если же замахнулся — бей. В крови я теперь, видать, не было мне другой дороги. Посмотрим. Если пронесет — мое счастье, если поймают — что ж, не я один».

Байчо перелез через каменный забор и понес труп туда, где огород Ережипа подходил к обрыву. Внизу, вплотную к скале, образуя небольшой водоворот, подступала Юрду. Обрыв был крутой, и, чтобы не свалились дети или скот, Ережип поставил по краю плетень. Если Байчо сбросит труп отсюда, то течением его может затянуть под скалу, и, если не искать его именно там, никто и не найдет. Удивительно, Байчо все это обдумал так, словно готовился к убийству заранее и заранее решил, где спрятать труп, как замести следы.

На минуту он задумался, но потом облегченно махнул рукой: «Он ведь неверный, жаназы ему не нужна».

Тяжело скрипнула дверь, и из дома вышел Ережип. Байчо отпрянул за ворох кукурузных стеблей. В белой тишине он слушал то, что сделал Ережип, подойдя к краю обрыва,— до него долетел крепкий запах звонкой, потекшей по камням струи, он свидетельствовал об изрядном здоровье Ережипа. «Вот тебе и прощальное отправление»,— усмехнулся Байчо. Ережип, о чем-то споря с самим собой, пошел обратно в дом, Байчо столкнул труп с обрыва. Ночь была так тиха, что Байчо удивился — не оглох ли он? Но тут ясно услышал, как тело шлепнулось в воду.

Он вернулся и сел на ворох кукурузных стеблей. Снег перестал, и на белом снегу мерцали искры. Небо, что не в силах было расстаться со снегом и вместе со своими звездами опустилось вниз, теперь, когда последние снежинки легли на землю, уходило к себе, в свою высь. Все больше и больше становился разрыв меж звездами. Тяжело здесь, на земле,— люди не могут жить мирно, как звезды на небе. Или это нам только кажется? Может, мира и согласия нет и там? И как наши страдания и раздоры не доходят до неба, так и страдания и раздоры звезд не доходят до нас?

Тут Байчо заметил, что автомат все еще у него под мышкой. Холодный, неудобный... Он с любопытством покрутил сто в руках. Повесил на шею. Прицелился, направив в сторону Чегета. Нет, палка лучше. Если бы пришлось подраться с кем-то, хорошая кленовая жердь была бы в самый раз. А не эта неудобная, неуклюжая железка.

Байчо решил выбросить его туда, вслед за трупом. Он встал, подошел к обрыву. Но все же взяло свое, крестьянское, — крепкая вещь, на что-нибудь да сгодится, один ремень чего стоит. Не нужно сейчас, пригодится потом, или можно обменять на что-нибудь. С другой стороны, рассуждал он, в такое время что может человек с палкой? Да, это ружье неудобное, неуклюжее, не умеет он его держать, и все же оно сильнее любой палки. Можно даже научиться стрелять из него. Пожалуй, несложно: наставил дулом туда и дернул за этот крючок.

Вернувшись домой, он зашел в хлев и засунул автомат под кормушку, туда, где уже лежал один, спрятанный Ча-чим.

* * *

На следующее утро Жамауат проснулся от большого шума. Шум этот мог подняться еще посреди ночи. Но из-за нерадивости Ережипа никто ничего не узнал до тех пор, пока Чыккы-кызы не поднялась совершать намаз.

А нерадивость Ережипа состояла в том, что он, выйдя в полночь по малой нужде, пошел не туда, куда следовало порядочному мусульманину, а к обрыву и краем глаза заметил чуть поодаль какую-то тень, но, увлеченный своим занятием, поленился, не узнал, что за тень и что ей нужно в такое позднее время в чужом огороде. Это можно было оправдать тем, что Ережип, мол, подумал, что и тень остановилась с той же безгрешной нуждой, что и хозяин, вот и не хотелось мешать. Но в таком случае возникает естественный вопрос: ведь если Ережип этим делом занимался в собственном огороде, который выходил к краю скалы (а встать на краю скалы очень интересно), то ночной-то нарушитель ни по чьему закону не имел никакого права приходить с этим в чужой огород, да и отдать — не взять, можно и от себя поближе. И потому Ережип должен был выгнать его или хотя бы выяснить, кто это.

Во всяком случае, когда утром на берегах Юрду поднялся шум, Ережип сказал:

— Оррай, отцом своим бедным кир-рянусь — видер!

— А что ты сам в такой час делал в огороде, е-а? — спросил Ордан. Такая у него привычка: где ухватил, там и ломает.

— Аран, еси настаиваешь, скажу: то совершар, что и пророкам не зазорно.

Так стало известно о нерадивости Ережипа. Но простить его можно: вряд ли человек, покончив спросонок с одним делом, сразу возьмется за другое — даже такой неленивый, как Ережип.

Потому первым шум поднял не Кюнлюм, который видел в полночь, а Чегет, который обнаружил поутру. Вернес, Чыккы-кызы. Она встала затемно и собралась совершить намаз. Кинулась, воды дома нет, кумган пуст. Единственная женщина в доме, и винить некого. Взяла ведро и, хоть боялась предрассветной тьмы — аллаха боялась еще больше, — спустилась к реке. Присела на закраине, хлопнула ведро в воду и — увидела торчащую из воды человеческую руку!

Тут она про аллаха забыла, не то что про ведро. Цла — мерзла, теперь в жар бросило.

Ережип, который вышел положить корове сена, услышал истошный вопль из-под обрыва:

— О, ха-ха-ха-ай, покойник в воде!

Ережип возмутился: как громко орет эта женщина! Женщина должна помнить, что она — женщина, и кричать тихо.

— Гротку дерет, бессовестная! — сказал он корове, кивнув в сторону реки. Так должен был сказать каждый мужчина при виде такого женского бесчинства.

— О, ха-ха-ха-ай, покойник в воде!..

Ережип ленивыми шагами подошел к краю обрыва. Чыккы-кызы внизу была уже не одна. Несколько женщин стояли на берегу и со страхом глядели в воду.

— Что сручирись, у кого пожар? — спросил Ережип.

Женщины показывали на него и, размахивая руками, о чем-то тараторили наперебой.

— Чтоб вы пропари, — сказал Ережип дружелюбно.

Но все же подтянул штаны, спрятал руки в рукавах шубы, покрепче зажал вилы под мышкой и, обойдя скалу, с достоинством спустился к женщинам.

— Он же мертвый? — удивился он, глянув на труп.

— И пусть оттуда не вернется, — сказала молодая женщина.

— Еще бы одного сюда, рядом с ним, — того, кто этого

возле моего дома бросил! — сказала Чыккы-кызы, приходя в себя.

— А кто бросил? — спросила первая женщина.

— Ты спросишь, — сказала другая женщина. — Иди узнай.

— Уйдемте лучше. Еще потом затаскают, — сказала третья.

Тут показался Ордан.

— Ну, как быть человеку! — уже издали возмутился он, еще не зная того, что случилось здесь. — Чьи руки чешутся, е-а? — Новость об утопленнике враз устарела, новость Ордана, видать, поновей. Все лица повернулись к нему. — Вот как получается... Опять в лесу телефонные провода перерезали. Кто-то перерезал и скрылся. Ну, есть у такого в голове хоть щепотка мозга!

— А, женщины, откуда мозг у того, кто телефонными проводами играет?

— Того, кто подавится, еще и бьют, — здесь труп, там провода... — проворчала Чыккы-кызы.

— Ордан, бедный, а нас не затаскают? — спросила третья женщина. Взгляд ее, как трясогузка, так и прыгал с утопленника на Ордана и обратно.

— Э... а что с ним стряслось, неверным? — Ордан только теперь заметил труп.

— Кто-то убил, бросил тут и ушел, — сказала молодая женщина.

— Тьфу, чтоб его молоком матери вырвало! — Ордан подошел к краю и заглянул сверху утопленнику в лицо. Потом, задрвав голову, посмотрел на скалу, на гребне которой ночью, подобно пророку, стоял Ережип. — Он сам со скалы свалился, — сделал он вывод. — Они, чтоб мор их выбил, трезвыми ходить не любят.

Женщины, до этого испуганные, услышав, что он свалился со скалы сам, стали злорадствовать.

— Пусть так же чуму выпьют! — сказала одна. А другая:

— Ох, ох, ох! Дай аллах и остальных такими же увидеть!

— Надо его оставить как есть, — сказал Ордан. — Пусть сами найдут.

— Ой, Ордан? — обратился молчаливый до сих пор Ережип к Ордану. — Как ты думаешь, откуда он свариря?

— Аллан, Ережип, странный ты человек, — ответил Ордан, раздражаясь.

— Почему странный? — не согласился Ережип.

— Как не странный? Что я, смотрел, как он свалился? Почему ты всегда стараешься впутать меня в какую-нибудь неприятность, е-а?

— Ну, я ведь просто спросир, откуда он сварирся?

— Не у меня спрашивай, спроси у аллаха. Я же не аллах.

— Ордан правду говорит, Мусса,— сказала третья женщина.— Разве он аллах? Он не аллах.

И женщины затараторили:

— Странный вопрос — откуда свалился? Мы ведь не знаем, может, он и не свалился.

— Ой, пусть мой враг не свалится так, как он.

— Быстро, наверное, отрезвел.

— Зачем только шел сюда? Мало было своих, кто спьяну со скалы валился!

Вот здесь Ережип и вспомнил о своем ночном тахарате¹.

— Идите по домам,— решительно сказал Ордан, когда все выяснилось.— Не шумите здесь. Поищут — найдут. Нам какое дело, если они валяются с наших скал.

Тут, словно только и ждали приказа Ордана, все начали быстро расходиться.

— А как быть тем, кто живет внизу? — спросил Ережип.

Женщины, услышав эти слова, остановились, и каждая со своего места воззрилась на Ережипа.

— Опять ты!..— резко сказал Ордан, еще не примирившийся с Ережипом.

— Я не опять, я спрашиваю... Те, кто внизу, как они будут пить воду?

— Как это — как? — не понял Ордан.

— Ну, чтоб в дом твой добро рирось, они что, оскверненную воду будут пить?.. Он оскверняет воду, вот о чем я говорю.

Женщины, смотревшие на Ережипа, обратили свои ангельские взоры и раскрытые рты на Ордана.

Это обескуражило Ордана. Несомненно, назойливый Ережип снова победил его.

— Вода, говорите? — спросил он, сдаваясь.

На что женщины в один голос пропели:

— Да, да, о воде говорили, о воде...

— Так бы и сказали сразу... Или рты ваши куутом² забило? — Ордан решительно вошел в воду и, ухватив мерт-

¹ Та х а р а т — омовение.

² Ку у т — жареная кукурузная мука.

веща за обе поги, вытащил его на берег.— Чтобы ад был твоим пристанищем,— сказал он трупу с омерзением.— Лежи теперь тут, если такой особенный...— И, посмотрев на обеспокоенного Ережипа, добавил: — Если он такой у них важный, пусть придут и бьют над ним в свои барабаны. Шагай.

Тогда и Ережип снова засунул руки в рукава гулупа, зажал покрепче вилы под мышкой и с тем же достоинством полез к себе на скалу.

VI

Снег — кунак чистоты — тихо падал на улицы Жамауата, на черепичные крыши домов, накрывал своей спокойной белизной тревожные дворы. Всадник на белом коне в белой бурке с чистейшим в мире сердцем — в его загадочном молчании была завязь надежды, в мягкости его — детские сны, в смешной скользкости — лыжи, коньки.

Снежинки, своим светом освещая себе путь, шли словно из глубины веков и, не теряя чистоты, первозданности, падали на печальную землю Жамауата. Казалось, они понимали эту печаль. Но они знали, что скоро земля стряхнет эту печаль, что люди будут радоваться весенним всходам, точно так же, как радовались испокон веков, и никто, кроме них, людей этой земли, не может пахать ее, косить ее траву, собирать спелые ее плоды и гордо смотреть на мир оттого, что земля эта — самая лучшая, красивая, неповторимая на свете, и нет такой силы, которая могла бы вырвать из их сердца эту любовь и гордость. Люди могли лечь рядом со скошенными травами ее, упасть вместе со срубленными деревьями, но жить без этой любви не могли.

Жабраил стоял на улице, облокотившись о забор. Снег таял на его осунувшемся лице, ложился на воротник шубы, лохматил шапку. Не мог Жабраил в эту ночь идти домой — и дом его, и жизнь его стали похожими на пустые соты, из которых уже выгнан мед. Он чувствовал себя так, будто вышел из своей жизни, стал на пороге, а идти — некуда. А дом его? Дом, где мать, жена, дети — Кемал и Лейла? Все пусто, все выжато, и золотой воск, из которого он лепил свою жизнь, сер и мертв.

Жабраил знал: недолг день — и немцы уйдут отсюда, во всем это чувствовалось — и в суетливости Гельмута, и в равнодушии Юнге, и в самом движении немецких частей

через аул, и главное — в том, как складывались дела под Сталинградом. И что будет с ним, с Жабраилом, когда придет Красная Армия? Когда в аул вернется Харун?

Сама земля качнулась под ногами и медленно поплыла от него, и он ухватился за ограду. Так, наверное, чувствует себя человек, когда его вдруг на льдине оторвет от берегового припая.

Тогда чего он ждет, чего медлит? Не может же он оставаться здесь вечно. И уже не утешения он искал. Мать, жена, дети — могли бы лишь попытаться утешить. Ему же нужна была опора.

И в который раз за эти дни он вспомнил Зайнаф. Только она, казалось ему, могла остановить это качание, когда его, словно на льдине, относит от земли Жамауата.

Зайнаф совсем рядом. А он ходит, не смея прийти к ней в дом, носит в себе тоску по ней. Тоска эта сидела глубоко в нем и, как щелок, разъедала душу; тлела внутри него, как сырая верба, — не горит и не гаснет, дымится, чернеет, а с другого конца терпко пенится.

Ты мне говорил, милый,
Что мы два берега с тобой,
Теперь я в воду ухожу...
Может, смерть успокоит душу...—

услышал он вдруг голос Зайнаф.

От известной всему аулу любви Жабраила и Зайнаф осталась лишь эта песня. Сочинила ее Зайнаф самой себе.

...Было это десять лет назад.

Если я пойду с жалобой, скажут:
Тайну свою разглашает...
Ах, мама, для того ли меня ты растила,
Чтобы плакали солнце и месяц добрый?
Не вернусь, чтобы снова взглянуть на тебя,
Не пройду по твоей улице...
Тот, кто под землей,— легкораним,
Помни об этом, милый, всегда.

Как просто родилась эта песня! Написала ее Зайнаф и почувствовала облегчение, словно избавилась от давнего, завещанного кем-то долга.

Дружно пели петухи. Зайнаф встала, опустила фитиль в лампе. Тихо вышла из дому. Было прохладно. Доносился степенный шум Юрду.

Держась тени заборов, Зайнаф пошла к своей подруге Кесам. Хотя Кесам и была моложе, она любила ее — за ровный нрав, открытое сердце. Шла Зайнаф, удивлялась — ни

страха, ни жалости к себе, ни тоски... Только древний шум реки Юрду, похожий на одну грустную старинную песню, которую любила когда-то слушать Зайнаф, сопровождал ее.

— Прощай! — сказала она тихо, стоя под окном комнаты, где спала Кесам, добрая ее подруга. Ничего Зайнаф не скрывала от нее, все рассказала, когда пришла к ней первая любовь, не хотела скрытничать и сейчас. — Прощай, знаю, ты будешь осуждать меня, будешь плакать... Но я не могу, все равно не вынесу. И любовь одна, и жизнь одна... Нет любви — нет и жизни.

В открытое окно она бросила свои прощальный подарок: листок бумаги, на котором была написана ее песня, и завернутые в листок зеркальце, гребешок, пара сережек и ее комсомольский билет. Бросила и побежала к реке, на Ташкепюр — Каменный мост, под которым возмущалась, билась о береговые глыбы и, шипя от злости, падала обратно вода. Перегнувшись через перила моста, Зайнаф смотрела, как пенцалась и прыгала Юрду, холодными рассеченными язычками пыталась дотянуться до ее ног. Река, задыхаясь, затиула песню Зайнаф.

Не вернусь, чтобы взглянуть на тебя...
Те-е-е-е...

Предрассветная мгла, Каменный мост. Река Юрду. Свадьба в доме Локмана — веселые звуки гармоник, мешаясь с шумом реки, доносились и сюда. Утро, как все утра мира, не начало его, не конец.

Не вернусь, чтобы снова взглянуть на тебя...
О-ба-ба, ба-а-а, ба-а-а, шууу...

Поспешно, злорадно уходила темнота: пусть скалы, пусть небо налюбуются на эту глупость. Зайнаф же глядела на волны и свой саван кроила сама. Заметив, что уже светает, она сначала бросила в воду письма Жабрапла, и они поплыли, кружась, уходили вниз по реке.

Зайнаф никуда не смотрела, только на письма, остановившиеся в кипящем водовороте. Не больно и не жалко. С ясным умом, легко, вслед за своим сердцем прыгнула она с моста в воду.

Права была Зайнаф: как Жабрапл оставил ее и женился на Залихат, жизнь для нее кончилась. Она уходила, оставалась песня. Аул Жамауат, услышав о последней глупости, совершенной Зайнаф, вздохнул бы тяжело, поплакали бы близкие, и все бы вскоре забылось. Должны же люди

понять: можно обмануть Зайнаф, но Зайнаф свою любовь обмануть не могла.

А как поступил Жамауат? Ругал, позорил Жабраила, сострадал Зайнаф? Ничуть! Гнев Жамауата первым на Зайнаф и обрушился. Нарушить веру! Если нужно, аллах сам ниспошлет свой привет и заберет к себе. Никто не смеет посягать на свою жизнь, поступить иначе — все равно что упрекнуть аллаха в нерасторопности. Велика беда — обещал жениться и не женился. Что тут такого? Девушку сватают тысячи, а женится на ней один. Да и на Жабраиле счет женихам не кончился. К тому же говорят: камень с дыркой в земле не залежится. Бессовестная, из-за чьего-то сына...

Но если бы все пересуды на этом слове («бессовестная») и кончились — Жамауат не был бы Жамауатом. Тогда он был бы вроде той курицы, которая кудахтала-кудахтала, но так и не снеслась. Но покуда есть Чыккы-кызы и ее извечная соперница Фердаус, покуда есть Ляпшу и Майруш, дружные жены неразлучных двух соперников — Тебо и Казака, покуда есть Шамдарий, оставшаяся в старых девах дочь Латырая, покуда есть в ауле вся ангельская половина аула, Жамауат, конечно, на том остановиться не мог. Потом, правда, пытались вспомнить, кто из женщин первой сунул нос в мешок, откуда вырвался и разлетелся по Жамауату весь хабар о Зайнаф. Но — безуспешно. Женщины по двое-трое и скопом побольше, мужчины на ныгыше пытались доискаться вот о чем. То, что Зайнаф бросилась в реку, это знал каждый и в Жамауате, и в соседних аулах тоже. Но отчего она туда прыгнула — не знал никто: темно, пусто, хоть к ворожее отправляйся. Из-за любви? Да кто же из-за одной любви в воду бросается?

Выручила всех Баллай, кривая вдова Молая. Однажды она спустилась к реке промыть шерсть и возле того самого Каменного моста повстречалась с Майруш, набравшей песок для раствора, которым ее муж Казак обмазывал деревянные брусочки, когда делал точила для косы. У Майруш тогда на уме была телка, которая выгуляла преждевременно, но вдруг на днях скинула и так после этого исхудала, что теперь оставалось только гадать: подохнет или нет. Майруш и с Баллай поздоровалась, и песку набрала, а сама все о телке думала. И наконец возмутилась:

— Опросталась, так еще и подыхать надо!

Обычно неразговорчивая Баллай не изменила себе и на этот раз, смолчала. Но вывод из слов Майруш сделала.

— А-а, вот отчего она...— настолько Баллай была молчалива, что все говорила только наполовину.

Промыв шерсть, она вернулась домой и передала слова Майруш своей соседке, та — своей. Ни Баллай, ни ее соседка, ни другая соседка так ничего и не поняли, но первый этот слушок отрастил пышный хвост, пышную гриву и, став полновесным хабаром, пошел гулять по улицам Жамауата. Но все еще оставался смутным, непонятым, пока не вернулся к самой Майруш и та с присущей ей мудростью не внесла ясность:

— Что ж, кто лука не ел, от того луком и не пахнет.

Мы-то знаем, что еще между первыми словами Майруш и шепотом кривой Баллай уже был маленький зазор, и потому, когда слова вернулись к самой Майруш, она их не узнала. А тут еще Шамдарий, оставшаяся в старых девах дочь Латырая, проявила удивительную для девушки осведомленность:

— Коли мужчина находит женщину на улице, он ее домой не приводит,— сказала она.

Так была разгадана тайна Зайнаф. И раскрыла ее Шамдарий, которая, как все засидевшиеся девушки, была немного завистливой, немного вредной, немного подозрительной и весьма надменной. И когда к одной догадке пристегнулись другую, в богатые на женщин дворы Жамауата пришли счастливые дни. Женщины, которые любили говорить, положив руки на пояс, такие, например, как Налмас, дочь Чыккы,— обсуждали посреди улицы; женщины, которые любили вести разговор за рукоделием — за пряжей шерсти или за вязанием, такие, как Майруш,— переговаривались, стоя на своей высокой веранде, с намотанным на руку пучком шерсти, спуская крутящееся веретено с высоты перил, а те, кому не было места ни среди девушек — уже возраст не тот, ни среди женщин — поскольку еще не сподобились стать женщинами, ну такие, как дочь Латырая,— сидели у окна, наставив ухо на улицу.

Если бы удивительные истории, сочиненные женщинами Жамауата, так и оставались в чаше самого Жамауата, было бы несправедливо. Ибо известно, чем дальше от истоков уходят человеческие истории, тем интересней и красочней становятся они.

Но как бы в других селениях ни обсуждалась история Зайнаф, здесь, в Жамауате, Латырай слышал следующее:

— А, женщины, Майруш колдунья, что ли, откуда она обо всем разузнала?

— И-и, чтобы твоя болезнь ко мне перешла, о чем?

— Да ну тебя, Ляпшу, ты как ласточка, которая смотрит на солнце... Весь народ знает, только ты...

— Так ты не слышала, что Зайнаф от Жабраила понесла?..

— Очень уж смелая была. Вышагивала, что твой иноходец...

— И не говори! Известное дело, когда взрослый парень и спелая девка ходят вместе...

— Чтоб земля его сглотнула, опозорил бедняжку...

— Что мужчина, как собака, в каменный забор пускает, сама разве не знала?..

— Нынешняя молодежь, женщины, нынешняя молодежь...

Это не понравилось тем, у кого были девицы на выданье.

— Что — молодежь? Не каждый, кто родился, вкривь растет.

— Верно, верно...

— Как с сенокоса вернулись, хоть бы раз на улицу вышла. Сидела, точно взаперти. Неспроста-а...

Только Сылыухан, вдумчивая и справедливая, сказала:

— Оставьте, женщины, вы бы лучше тесто свое так усердно месили, как чужой грех. Да и кто это видел?

И Майруш сама:

— При чем тут Зайнаф? Я на то сетовала, что телка наша опросталась... Видно, кое-кому с ситом возле рта нужно ходить.

Шамдарий, решительно почувствовав себя девушкой, возмутилась:

— Из-за любви, говорите? Да кто это из-за любви в реку бросается? Почему же это я в реку не бросаюсь?

Ах, как осадил ее Сылыухан! Нет, аллах свидетель, не нужно злить Сылыухан, опасное это удовольствие.

— Ты... с бычьими бедрами! — сказала Сылыухан. Возьми она чуть выше, нашла бы в ней места и того мощнее, но, не вдаваясь в разбор прочих достоинств девушки, она только фыркнула: — Все-то ты знаешь, вековуха-аксакал.

Каждому ясно: уж лучше девушке тайную любовь завершить открытым рождением ребенка, чем услышать такое. Шамдарий же («кто дольше, дескать, сидит, у того приданого больше») ответила спокойно:

— Хоть и вековуха, да не пошла же за твоего гнусавого сына — рот что жернова...

Тут она была права. У Сылыухан только глаза повернулись, как те жернова, которые вспомнила Шамдарий:

— Даже для метлы, двор подметать, не взял бы он тебя... — пробормотала она.

Чыккы-кызы — без всякого подвоха — уточнила только:

— Выходит, Шамдарий, ты парню только в рот и смотришь?

Шамдарий была боец не из слабых, но в этот раз, чтобы обратить ее в бегство, женщинам даже не пришлось перевязывать платка. Ибо: хочешь спорить на равных с женщинами — выходи замуж.

Майруш не удержалась от соблазна поддеть Сылыухан. Весь Жамауат знал, что когда сын ее Мурадин хотел было посвататься к Шамдарий, та со смехом выпроводила его со двора.

— Воистину, Сылыухан, железное у тебя сердце, позавидуешь. Так оскорбили твоего единственного сына, а ты и бровью не повела. Эта бессовестная, кажется, теперь жалеет кое о чем...

Сылыухан, хоть и было ей не по себе, достоинства своего не уронила:

— Пусть хоть десять раз пожалеет. Мурадин-то не пропал, на такой девушке женился...

Но и это утверждение Сылыухан имело свое слабое место. Когда Мурадин привез себе жену из города, женщины пришли в дом Сылыухан, повидали сноху и на обратном пути обсудили ее по-жамауатски. Сколько бы ни нахваливали невестку свекрови в глаза, но и за глаза в женской своей щедрости нашли еще многое, достойное обсуждения.

Чыккы-кызы хоть искренне была рада, что сноха у Сылыухан — красавица, все же не могла не сказать и о благочестии: «Не знаю, женщины, как бы я ужилась со снохой, которая и на двор-то без кумгана ходит». От благочестья недалеко и до чести. Понемногу дошли до того, что пришли к выводу: наверняка сноха прпехала уже не девушкой. А так как у того единственного, кто знал это доподлинно, не найдешь и не спросишь, на том и порешили.

Итак, от Зайнаф — к Шамдарий, от Шамдарий — к снохе Сылыухан.

Майруш, самая любопытная, все так же — без подвоха — уточнила только:

— А что, Сылыухан, невестка твоя все так же на сторону смотрит?

Веревка, которая держала Сылыухан над пропастью, лопнула.

— Аланы,— чуть не взвизгнула она,— вон Кюнлюм, его и обсуждайте! — То есть: коли речь зашла о Зайнаф, пусть так и идет, оставьте чужих невесток в покое.— А я считаю, что в мой дом сама Адиух вошла.

Тут она вспомнила, как пыталась урезонить женщин, чтобы они оставили Зайнаф в покое, и с горечью вздохнула про себя: вот и еще раз убедилась, чем воздается за добротство.

Единственное, чего не понял Латырай из всего разговора, была Адиух. Насколько он знал, сноху Сылыухан звали не Адиух, а как-то иначе.

— А она говорит, будто к ней в дом вошла не кто-нибудь, а сама княгиня Адиух,— сказал Латырай, когда передал на ныгыше разговор женщин (кроме той части, которая касалась его дочери Шамдарий).

— Чтоб ты охромел,— сказал ему Кыйык, сын Кесиуана.— Не знаешь, кто такая Адиух? Адиух, про которую в сказках рассказывают?

— И одного хромого хватит... Откуда мне твои сказки знать? Кто она?

— Ну кто... красивая женщина,— сказал Кыйык не очень уверенно и огляделся вокруг. Все молча смотрели на него.— Я и песню о ней слышал. Когда она протягивала руку, темная ночь словно солнцем озарялась... Так она спасала возвращавшихся из похода нартов, если им случалось заблудиться... Так чем кончился базар у этих длиннополых?

— Сылыухан ушла.

— А остальные?

— И остальные ушли.

— Чтоб на тебя скала свалилась! На чем они порешили?

— О чем это?

— Ну, чтоб дом твой смерть посетила, если ты еще в своем уме... Ну, отчего, говорят, бросилась Зайнаф в реку?

— Да откуда им знать?

Действительно.

Тогда разговор перешел на Ачахмата, который спас любимую девушку и, наверно, женится на ней.

Он и женился. Правда, только через пять лет Зайнаф пошла за него.

Он шел и мечтал: как бы хорошо было, если бы за ним не оставалось следов. Ах, если бы человеческие следы стирались из памяти людей так же, как стираются с земли. Но нет, память человеческая ничего не забывала. Идешь, вот как сейчас, оставляешь следы на белом снегу, точно на белом листке бумаги, и потом ни одной строчки в этих письменах не сотрешь. Наоборот, чем дальше ты хочешь убежать от своих следов, тем быстрее они нагоняют тебя в твоей памяти. Ничего память не теряет, ничего не пропускает, все помнит — и как вперед шел, и как назад пятился, и как вбок убегал, — всю цепочку тянет и приводит прямо сюда, к самым твоим ногам. Идет человек, и следы его — за ним. Порой даже кажется, что смыло их, занесло, задуло, позабылись они. Но это — покуда не остановишься в тревоге и страхе и не оглянешься назад, замешкаешься в нерешительности, не зная, куда бы ступить дальше, — и вот тогда твои неправедные следы, извиваясь, словно черви, пачнут сползаться к тебе. И удивительно: праведные твои следы, что вели к добру, проложенные истинными человеческими побуждениями, исчезают, невидимые, словно те, черные, постыдные, в своем стремительном нападении затерли их, и теперь лишь черные выплывают вокруг, и только глянешь на них — прыгнут и вцепятся тебе в глаза.

И в эту ночь ему было стыдно своих следов, которые на свежем снегу протянулись от Домсовета к двери Зайнаф.

Что ж, рано или поздно он должен был встретиться с Зайнаф. «Зачем?» — остановившись, спросил он себя. И следы его застыли настороженно, выжидаючи...

Хотя бы потому, что из-за него Зайнаф чуть не поплатилась жизнью. Должен же он встретиться с нею, хотя бы попросить прощения. Но почему же тогда не пришел он к ней раньше? Когда жизнь Зайнаф была полна и горяча? И сама она была моложе и горячее!

Жабраил вошел во двор Ачахмата.

Дом стоял — темел, безмолвен, безответен. И там, спеленутая тьмой и одиночеством, была сейчас женщина — что она делала: думала, спала, плакала? — но, он был уверен, по-прежнему желала видеть рядом с собой не Ачахмата, а его.

...Сначала послышался скрип железной кровати. Сердце его забилося, как у мальчишки, пришедшего на первое свидание. Чтобы успокоиться, чтобы расшевелить тишину, снова оцепеневшую после скрипа, опять постукал в окно.

— Кто там? — спросил испуганный женский голос.

— Я, Жабраил, — дрожащим шепотом сказал он. Без сил, он откинулся к стене. Зажегся свет. — Это я, Зайнаф, — сказал он, и его горячее дыхание смешалось со светом, падающим из окна.

— Мой день! — вскрикнула Зайнаф. — Ой, мой проклятый день, что тебе нужно?

— Не знаю, Зайнаф... Вот пришел... — Он облизал пересохшие губы. — Не кори меня, Зайнаф... Ты одна, и я один.

— Чтоб чрево твое скрутило, один ты... — сердито заговорила Зайнаф. — Угли в твое брюхо, откормленное Залихат... — Донесся короткий железный скрежет, Зайнаф достала что-то.

— Что хочешь говори, что хочешь делай — не уйду, пока не поговорю с тобой. Утреннюю свою ошибку вечером оплакивать пришел.

— Не гнечи аллаха, — сказала Зайнаф. — Никах¹ на мне... Тот, кого я жду, не хуже тебя!

— Лучше... Он был гораздо лучше меня... — «Только ждать-то уже нечего», — хотел добавить он, но удержался. — Кого бы ни ждала, а любишь ты меня, — вдруг смело сказал он — коснулся рапы, что и без того саднила.

Вздвогнув, Зайнаф припала к стеклу, пристально вглядываясь в своего ночного гостя. Посмотрела и ничего не сказала.

— Ты дьявол, — опомнившись, сказала она. — Если ты мусульманин — уходи. Не клади мою голову в огонь.

— Открой дверь, — сказал Жабраил. — Пусть здесь куском льда стану, а не уйду. Я люблю тебя, Зайнаф... А теперь и того сильнее... Больше, чем отца, чем мать. Знаю, что скажешь, но видишь, я и сам наказан... Жизнь не в жизнь, Зайнаф...

— Ни одному твоему слову не верю, — сказала Зайнаф.

Вот так вот... Но ведь он сам был виноват. Нет, не сам даже, виновата была судьба. Это не конь, это судьба тогда выбросила его из седла и шмякнула под ноги Залихат... Это она потешалась, по ее прихоти между ними — Жабраилом и Зайнафом — оказалась другая. И не так по Жабраилу ударила, как по Зайнафу.

— Я не прошу, чтобы ты мне верила, — сказал он. — Ты вправе не верить, ведь я теперь не свободен... Но ведь любовь не спрашивает, свободен ты или не свободен. Чего мне

¹ Никах — обряд бракосочетания, брачная молитва.

не хватало? А видишь... стою у твоего порога. Что же это, как не расплата?

Зайнаф открыла дверь и встала, склонившись к косяку.

Жабраил оторвался от окна, тяжело шагая, подошел, взялся за ручку распахнутой двери. Опустив голову, постоял с минуту. Потом, все так же не поднимая головы, вошел в дом и закрыл за собою дверь. Сказал тихо:

— Зайнаф...

Робко, виновато, нежно погладил ее по волосам:

— Бедная моя...

И Зайнаф заплакала. Навзрыд, громко, не в силах больше удерживать боль, страдание, унижение. Обеими горстями она собрала дрожащее лицо, повернувшись, бросилась в кровать. Плакала, содрогаясь, плакала всем телом, всем своим существом. Все вылилось в этом плаче — обида, радость и горе, прощение и боль, боль, боль... Оттого, что так поздно и в такой неурочный час услышала она слово, которого так долго ждала и которым жила. Жила, теща себя надеждой, что эти повинные слова будут когда-нибудь сказаны... Боялась их услышать, но бзялась и не услышать. Хотела видеть его, но и видеть было страшно. Когда и муж ее, и Жабраил ушли на фронт, она почему-то боялась не за Ачхмата, а за Жабраила. Оба они покуда живы, по-разному трудна их судьба, и она по-прежнему тревожилась за Жабраила. Плакала оттого, что вернулась ее молодая любовь и теперь ее жизнь не будет такой, как была до этого вечера. Теперь она будет трудной, крутой, открытой всем бедам-напастям, всем судам-пересудам. Но выдержит ли она суд Жамауата? Сможет ли почитать за счастье то, что люди сочтут несчастьем?

— Плохо в моем доме, один я там,— солгал Жабраил.— Теперь, когда все перемешалось, я и в доме своем остался один...

— Ты в ад попадешь,— сказала, перестав плакать, Зайнаф.

— Если ты меня проклянешь, Зайнаф,— сказал он искренне.— Если ты проклянешь, попаду в ад,— повторил он.— И если даже не проклянешь... Из-за твоих слез... Что — ад? Каждая твоя слезинка вот сюда,— он ткнул пальцем в грудь,— вот сюда вшивается.

Жабраил скинул на пол шубу и опустился перед нею на колени. Повернул к себе красное, мокрое, горячее от слез лицо Зайнаф. Первый раз в жизни поцеловал ее волосы, единственные в мире — волосы Зайнаф! Вдохнул их запах.

Нет, если бы рядом с ним была не Залихат, а Зайнаф, жизнь его сложилась бы иначе.

— Эх ты! — сказала с горечью Зайнаф, прижимаясь к его груди лицом. — Чужой жене радуешься... А она готова была стать твоей служанкой...

— Молчи, — сказал он, прижимая ее к себе. — Ничья ты не жена. Ты — заблудившееся мое счастье... Я нашел свое заблудившееся счастье.

Отстранив от себя, начал целовать ее в глаза, в губы, в дрожащую шею.

— Уходи! — сказала Зайнаф.

Но Жабраил встал, поднял ее. И так обнимал ее, так целовал, так ласкал, что Зайнаф с большим трудом оттолкнулась от его груди и села на кровать.

— Если бы никого у тебя не было... Я бы никогда не разлучалась с тобой...

— Если бы... если бы... — только и мог он сказать.

Зайнаф погладила его по волосам. Мягкие, уже поредевшие... Потом она обняла его и, так же горячо, как минуту назад целовал ее Жабраил, она стала целовать его. Не было теперь ни воспоминаний, ни обид, ни суда людского, ни пересудов. Не было Ачахмата, его любви к ней, его терпения и мужества. Некаха и кольца... Был только Жабраил — позор, счастье, слезы и утеха Зайнаф, то, что она уже видела и что увидеть должна.

— Я схожу с ума, — сказала Зайнаф, пытаюсь оттолкнуть Жабраила от себя. — Я схожу с ума, — сказала она, так и не сумев оторваться от него. — Богом твоим прошу, не искушай меня... В грех... не вводи... Я женщина, я слабая, сдурела я...

— По лезвию хожу, — сказал Жабраил. — Может, ошибся я, не то сделал — люди отвернулись от меня. Если эти победят — ладно, может, и обойдется как-то. Если же проиграют... и кровнику своему не пожелаю того, что сделают со мною. Если же и ты... Нет, Зайнаф, только ты, ты у меня осталась!

Зайнаф молчала. Думала.

— Кому ты причинил зло, кроме меня?

— Никому я зла не причинил, кроме себя.

— Чего же тогда боишься?

— Не думал я, что так получится. Я думал: все конечно, теперь аулу остается только покориться. А вышло...

— Что вышло?

— Ты что, ослепла, не видишь, весь аул под спудом хо-

дит. До последнего погибнут, но не смирятся. Кто мог подумать, что в карахалке¹ столько упрямства и силы.

— Ничего я в этом не понимаю и понимать не хочу,— сказала Зайнаф.— У тебя своя голова на плечах. Пошутили, и хватит. Теперь — уходи. И не приходи ко мне. Как женщина прошу тебя.

— Что ж,— глухо сказал Жабраил. До сих пор он говорил с искренним раскаянием, сам верил своим словам. Теперь же, хоть ему и действительно было жалко себя, он кривил душой, старался внушить Зайнаф, как же он несчастен, покинутый и односельчанами, и домочадцами.— Что ж, Зайнаф, ты, наверное, права. Хватит того, что один мучается...— Он помолчал, вздохнул глубоко, обреченно.— Я конченный человек. Зачем же еще и тебе страдать? Если есть любовь, вот здесь,— он опять ткнул пальцем себе в грудь,— эта любовь уйдет со мной.— Он надел шубу, взял в руку шапку.— Прощай. Будь счастлива.

Вышел он стремительно. Хлопнула дверь, застучала, качаясь, щеколда. Он замедлил шаги, прислушался, остановился, заглянул в окно. Зайнаф стояла посередине комнаты. Подбежала к окну, оттеняя ладонями стекло, посмотрела на улицу. Жабраил отпрянул к стене. Ничего не разглядев, отошла, села на стул. Встала. Начала искать что-то. Схватила платок, повязалась кое-как и бросилась к двери. Тогда Жабраил, оставляя за собой неровные следы, быстро пошел вдоль забора. Дойдя до конца забора, он, удивленный тем, что дверь все не открывается, остановился. Повернул назад, заглянул в окно. Зайнаф сидела на кровати. Жабраил понял, что сам себя одурачил. Но тут Зайнаф решительно встала. Выбежала во двор. Теперь Жабраил точно знал, что Зайнаф проиграла. Пошел быстро, уверенно, не оглядываясь.

— Жабраил? — услышал он срывающийся голос Зайнаф. Но не остановился. На ходу вытащил из кобуры пистолет. За огородом Ережица свернул в узкий крутой переулочек, ведущий к реке. Зайнаф догнала его на спуске.

— Глупый, глупый,— шепотом закричала она.— Что ты придумал, глупый...

— Зайнаф, вернись домой,— сказал он, не останавливаясь.

— Дурак! Полоумный! Ты что, ишачьего мозга наелся?

¹ Карахалк — темный люд, простой народ.

— И того хуже. Ты — ангел, а я ишачьего мозга наелся. Иди домой.

— И шагу не ступишь! Пошли! — она потянула его обратно.

— Ты — ангел, а я и не человек уже...

— Ты просто глупый. Я говорю, пошли!

— Не знаю, что со мною происходит... — он опустил голову и умолк.

Молчала и Зайнаф. Молча они вернулись в дом. Впервые в жизни Жабраил извещал от тайного... И Зайнаф впервые. Но не чувствовала ни страха, ни раскаяния. Нет, это были ее самые счастливые минуты, во всей полноте узнала она эту радость — быть женщиной.

— Бедный! — вдруг сказала Зайнаф. У обоих блеснули глаза, и они видели друг друга. Кто бедный — Жабраилили же?.. — Лучше бы он умер, — с неожиданной тоской сказала она.

— Не плачь, Зайнаф. Он был храбрый мужчина, джигит...

— Почему «был»? Он и сейчас... Он жив, здоров и все такой же храбрый. — Но в следующую секунду она пожалела, что проговорила. Изменив мужу, она не хотела изменить товарищу. Отводя глаза, сказала: — Джигит, говоришь... Будь он жив, не лежал бы ты в этой постели.

Под подушкой, на которой они лежали, был спрятан брачный меч Ачахмата. Как и всякий любовник на свете, Жабраил забыл об этом и порезался. Он рассердился. Но, прежде чем ссориться, он высвободился из ее объятий и лег рядом.

— Не своим джигитством он взял тебя у меня.

— Ты на все смотрел, как на тамашу, — сказала Зайнаф спокойно. — Ачахмат любил меня, я любила тебя, а ты любил свою походку, свои слова, свою должность, свой авторитет, не знаю, что ты еще любил. — Усмехнулась: — Страшный парод девушки: полюбят, и все тут. Пусть хромой, пусть полоумный, пусть хоть добрый, хоть злой. А ведь были, и получше тебя были... Отважные, великодушные. Но полюбила я тебя, и что для меня их отвага, великодушие — да ни в стертый грош!

Жабраил молчал, что он мог сказать?

Так Зайнаф судила Жабраила. Она хорошо понимала его, до потаенных движений его души. Залихат не знала — знала Зайнаф. Но оттого, что и судила его и ласкала, душа не двойлась. И не потому лежала она в его объятиях, что

была слаба на ласку,— она любила и лежала с любимым. И, любя Жабраила, она не смогла скрыть всего, о чем передумала за эти долгие годы. Хотя уже теперь-то что? Она и это понимала.

— Слава богу, не ты моя жена,— сказал Жабраил с усмешкой.— Житья бы не было от наставлений.

— А что, Залихат не ругает?

— Ни разу такого не слышал.

— Так и не разу?

— Ни разу.

— Значит, не любит тебя так, как люблю я.

— В том, значит, любовь, чтобы ругать?

— Если женщина любит, то любит до конца,— сказала Зайнаф.— И не смотрит, весна у любимого или уже зима. Был бы ты моим, я бы старалась, чтобы слова и поступки у тебя не расходились, были едины. На дорогу бы твою смотрела, чтоб не споткнулся... А теперь мы с Залихат поделим так: ей — весна, мне — зима. Она будет хвалить, а я ругать.

— Так я счастлив сейчас, ни о чем не хочу думать,— сказал Жабраил.— Удивительно, как запутались наши тропинки, но все же встретились.

Взошла большая луна. Она прошла по следам Жабраила и остановилась под окном неверной жены Ацахмата. «Ах, как ясно будут они видны,— подумала Зайнаф, засыпая.— Снег больше не идет, следы твои застыли, замерзли, и луна над ними... Ах, если бы это утро не наступило никогда...»

— Повернись сюда,— говорит Жабраил, поворачивая ее к себе.

Тепло и уютно в ее объятиях. От нетерпения он закрывает глаза. Сон ли, это ли прикосновение — закрывает глаза и Зайнаф. Лицо ее пылает, она забывает о следах. «Зайнаф, Зайнаф!» — слышит она горячий шепот издалека.

* * *

Наступило утро, и трое в Жамауате проснулись в страхе. Первая — Залихат. Оторвала тяжелую голову от подушки, вскочила на ноги и, накинув бота Хурмет, выбежала из дома.

Живого или мертвого, она должна была найти Жабраила.

В другом доме двое других — Жабраил и Зайнаф,— хотя тоже проснулись испуганные, встали не сразу. Они еще по-

лежали, слившись в одно целое. Казалось: шевельнись — и кругами пойдет, расплещется этот удивительный покой мира.

— Вставай, глупый... Уходи, пока народ не встал.

Жабранл посмотрел ей в глаза:

— Довольна?

— Тобою? Если бы даже в ладошку посадил, и тогда не была бы довольна.

— Если мне придется уйти... уйти с ними...

— Глупый ты, глупый, как всегда. Скажи: пошли — и я пойду. Хоть на край света. Только скажи.

И тут Зайнаф услышала шаги во дворе. Как подброшенная, она вскочила с кровати, путаясь в широком платье, с трудом влезла в него. Бросилась к окну. Глянула, и ноги ее онемели: по двору, как идущий по следу пес, рыскал Мачар. Позади у забора стояли автоматчики.

VII

Что должно было случиться — случилось. До Мачара наконец дошли слухи о том, что Ачахмат вовсе не погиб на фронте, как считали в ауле, ведь даже похоронка пришла, — нет, вернулся. Он-то и затеял стрельбу в огороде Батырбековых в первую ночь после прихода немцев. Кто-то видел, как Ачахмат перекинулся через ограду Батырбековых и скатился по крутому склону вниз. Этот кто-то сидел у своего окна, за толстым войлоком, и изредка, отогнувши краешек, поглядывал на мир — так он увидел скатившегося в Юрду человека.

Жамауату этого достаточно: стоит кому-то увидеть, услышать, заметить что-то, хоть вполуха, вполглаза, хоть краешек отогнувши, или только догадаться о чем-то — как это сразу станет достоянием всего аула. Но и тут есть своя хитрость: узнать, услышать, увидеть что-то или догадаться можно было в одно время, а вынести это на всеобщий пыгыш — когда заблагорассудится. Вот и Ачахмата увидели-то еще в первую ночь оккупации — почему же этот очевидец за столько месяцев не уронил ни слова? Видно, решил молчать, да и не вытерпел, сорвалось со злости, когда уже к горлу подступило, или сказал, чтобы подбодрить земляков: жив, дескать, Ачахмат, здоров и скоро задаст немцам, как задал в первую ночь их прихода. И сказал, наверное, жене, та — подруге, а та — соседке, а та — сватье, а та — уже всей

особо охочей до секретов половине Жамауата, и так дошло до Баллай, вдовы Молая, матери Мачара. А Баллай, хоть один глаз ее закрыло бельмом и язык был короток, как обрубленный, слушать умела, уши у нее были длинные. Неизвестно, где она уцепила своим ухом хабар про Ачахмата — у родника ли, когда ходила по воду, у сепаратора ли, на посиделках ли, где валяют шерсть, но она обо всем донесла сыну. Уши эти уже сослужили Мачару кое-какую службу. Когда он составлял списки активистов, Баллай вспомнила многое из того, что слышала и что многие знали, да уже позабыли, память у нее тоже была длинная.

Было из-за чего злобствовать Мачару. Ему было приказано найти того партизана, который возле огорода Батырбековых убил одного солдата и ранил Гельмута. Мачар рыскал, выискивал, вынюхивал, но меньше всего думал об Ачахмате — Жабраил уверял, что тот погиб возле Дона на его глазах.

Когда же Баллай сообщила ему хабар об Ачахмате, Мачар рассмеялся и ударился скулой о косяк двери — нет, как-то Жабраил!.. «Погиб у меня на глазах!» Нет, это что-то немислимое, что они, эти тупоголовые немцы, ослепли? Предатель сидит у них на стуле старосты, предатель! Но Баллай сказала, что извещение о смерти Ачахмата действительно приходило. Для верности сбегала к почтальонке Рабиге — была похоронка. Мачар решил со своими обвинениями пока подождать, хватит, один раз уже обжегся. И никому ничего не сказал. Правило этих проклятых язычников он уже понял: или Ачахмат, скажут, или свою голову клади под топор. Вот поймает Ачахмата, вот уж тогда... Зайнаф он покуда не трогал, чтобы не спугнуть Ачахмата. Если где-то поблизости, не вытерпит, обязательно наведается к жене. И хотя Зайнаф увидела Мачара в своем дворе только в это утро, уже не первую ночь он кружил возле ее дома. Такова была участь Мачара — пес, которого ошпарили в доме Жабраила, в поисках добавки рыскал вокруг дома Зайнаф.

Под утро он пришел сюда и, стоя под окном, услышал разговор, ясно различил мужской голос. Опрометью, подскользываясь, стелясь над землей, понесся он на квартиру к Гельмуту, поднял его с постели, задыхаясь, выложил все. Тот ничего не понял, но, глянув на вытаращенные глаза Мачара, на машущие, как ветряная мельница, руки, тут же позвонил в жандармерию. Когда Мачар прибежал туда, четыре автоматчика были уже готовы. Мачар заволповался,

показал на пальцах: нужно еще двоих! Черт с тобой, бери еще двоих.

И вот теперь, когда дом был окружен, он стоял во дворе, но все же ближе к стене, чтобы не получить пулю из окна.

Зайнаф с кумганом в руке вышла во двор.

— Что ты потерял во дворе Беккиевых, Мачар?

Тот, когда открылась дверь, отпрыгнул к стене, но тут же распрямился, одернул шинель и, закусив губу, свысока, презрительно посмотрел на нее.

— Так вот отчего ты такая веселая,— сказал он и коротко хохотнул.— Лицо сияет, что вот этот твой кумган... Под самым нашим носом своего любимого муженька ласкаешь?

— Может, ты отцовское наследство в моем доме оставил? Кого бы я ни ласкала под самым твоим носом — твое-то какое дело? Или мы у Хачыевых в должниках ходим?

— Давай зайдем и у Ачахмата спросим. Уж он-то хорошо знает, за кем долг.— И Мачар дал знак автоматчикам.

Зайнаф отступила к двери. Один из солдат автоматом оттолкнул ее. Тут дверь распахнулась. На пороге стоял Жабраил — довольный, свежий, уверенный.

— Что тебе надо, Мачар? — мягким голосом спросил Жабраил.— Я ведь тебя не приглашал в улан-нёгеры¹.

Мачар стоял прислонившись к стене, без сил от изумления и зависти. Он был потрясен — и даже не тем, что вновь опозорился, а тем, насколько же везет в жизни Жабраилу! Так легко, просто получал он все, что хотел. Мачар искал, жаждал, как собака подползал на брюхе, гнул спину, мстил и действовал — этому же баловню все само шло в руки. Без крови, без траты сил и сна, без тошнотворных приступов страха и отчаяния. Не ходил, как Мачар, днем — отпущенным узником, ночью — голодным волком. Он просто наслаждался своей жизнью, своей должностью, своей женой и чужой женой... Бедный Мачар, долгие годы он рвался к чему-то неясному, но очень важному для себя и вдруг обнаружил, что это, очень важное, что могло, как он полагал, поставить его над другими, не зависит ни от мужества, ни от волчьей хватки, ни даже от положения и должности. Все — и радости, и наслаждения, и любовь — дается просто везением, умением как-то по-другому жить. И Мачар за многие

¹ У л а н - н ё г е р — товарищ жениха, дружка.

годы впервые усомнился в своем праве добывать себе счастье так, как он пытался его добыть всегда. Вот и стоял как выхолощенный бык. Видать, на нем сбылось проклятье: пусть тело твое врагом твоим станет... Когда же он, Мачар, познает радость жизни? Хотя бы частичку того, что получает в один только день, в одну такую ночь Жабраил Билекчиев! Если есть в мире справедливость, если есть жалость, если есть хоть какой-то смысл во всем этом мире, то хоть раз, хоть для пробы, хоть самую каплю, но должен же был Мачар отведать того, что называют человеческим счастьем? Мать моя, кривая Баллай, зачем ты родила меня?

Вот он стоит, Жабраил Билекчиев, упившийся своей старой любовью. А старая любовь, наверное, как старое вино. Потому он такой довольный, так ласково смотрит на него, окидывает взглядом, сравнивает их — себя и его, и все так же мягко, участливо спрашивает:

— Может, ты, Мачар, тоже на постель Ачахмата поглядываешь? — и, ничего больше не говоря, коротко кивнув автоматчикам, выходит со двора. И даже то, что в конце проулка стоит жена его Залихат, не портит его торжества.

Мачар понимал, что автоматчики смеются над ним, думают, наверное: чего ради усердствует этот темный туземец? Он видел, каким ядовитым злорадством сочилась усмешка Зайнаф. Но он закусил губу и вытерпел все. И, стоя так, он дал себе клятву: если эта ваша радость не отоляется вам, если ваше злорадство не обернется пустой мольбой о пощаде — сбейте мне усы! Но на кого должна была пасть его клятва? На Ачахмата? На Жабраила? На Зайнаф? Да он и сам не знал. Горечь и ярость, что копились годами, жгучая желтая желчь, что поднималась по пищеводу и жгла нутро, — требовали исхода. Что-то горячее, сладковатое плеснулось к горлу. Сдерживая тошноту, Мачар повторил про себя: будь ты хоть кто, отныне, если это случится в безопасном для меня месте, я, Мачар Хачыев, не упущу случая, отомщу за долги мои страдания, за волчью мою жизнь! Будь ты хоть кто — Ачахмат или Жабраил, Зайнаф или Залихат, — любой жамауатчанин, любой мой соплеменник, любой, кто говорит со мной на одном языке, — не пощажу!

Он очнулся, дернулся, как бык, к ляжке которого прижали раскаленное тавро, мотнул головой и ринулся со двора.

Гельмут уже сидел в жандармерии. Узнав, что произошло во дворе Ачахмата, он, против всякого ожидания, расхохотался. Время от времени он окидывал удивленным взглядом незадачливую фигуру Мачара и принимался хох-

тать снова. Даже бесстрашный Грэк рассмеялся. Мачар ожидал каких угодно кар для себя и сначала, когда Гельмут засмеялся, почувствовал облегчение, но скоро понял, что смех этот для него не кончится добром, и чем дольше смеялся Гельмут, тем больший ужас охватывал его.

— Найди его! — Гельмут резко оборвал смех. — Найди! И я брошу его в клетку к волку. Я посмотрю, как его будет разрывать волк! Волк! — Понемногу разъяряясь, Гельмут прошелся несколько раз по комнате. — Ты стонишь народ, и они будут смотреть, как человека, который ранил меня, разрывает волк! А не найдешь его — сам полезешь в клетку. Сам!

— В аule скрываются партизаны... — Мачар с трудом проглотил комок в горле, — а староста...

— А староста спит с женами партизан. И ты после этого хочешь доказать, что он работает на них?.. Если верить этому недоумку, — повернулся Гельмут к Грэку, — странный же способ связи придумали партизаны — через жену главаря. Даже для этих туземцев — несколько странный.

...Через час Мачар, Гельмут и Грэк с несколькими автоматчиками начали облаву. Мачар считал, что нужно начать с Ажоки. Если Ачахмат, рассуждал он, перепрыгнул через забор Батырбековых, скатился вниз по склону, то по размытому руслу он мог идти только вверх.

Первым был двор Тебо. Мачар с двумя автоматчиками вошел в дом, Гельмут и Грэк вошли следом. Возле надворных построек, в проулке и на огороде стояли солдаты.

— Скажи, Тебо, — сказал Мачар. — Скажи, где Ачахмат? Ты ведь все знаешь, в Ажоке и солома не прошуршит, чтобы ты об этом не узнал.

Тебо вытащил из своего глубокого кармана кисет с табаком, скрутил самокрутку, не торопясь закурил. И, только уже пустив дым, спросил:

— Аллан, сын Молая, о чем я должен сказать? Спроси, если знаю, скажу.

Между тем автоматчики, загнав в угол детей и Ляпшу, обыскивали дом, разбрасывали вещи. Ляпшу, прикрыв собою младшую дочь — редкозубую Кызику, забила в угол. Кызика шмыгала носом.

— Знаешь ты, где скрывается проклятый сын Гери?

— Кто это — сын Гери? Оллахий, не слышал про такого.

Гельмут выступил вперед, пистолетом ткнул Тебо в плечо и показал на дверь. Он хотел, чтобы весь дальнейший разговор видели все соседи, тогда, вероятно, в следующих

дворах дело пойдет легче. Но когда они вышли во двор, у Гельмута появилось такое чувство, что кто-то за ним следит и вот-вот выстрелит ему в спину. Он схватил Тебо, словно для того, чтобы в случае опасности сразу прикрыться им. В последние дни это чувство было всегда, стоило только выйти на улицу. И не удивительно: сколько камней вокруг этого селения, по краям огородов и особенно там, выше, на склонах, — оттуда весь аул как на ладони. И нельзя, невозможно заглянуть за каждый камень.

Ляпшу, отбросив от себя Кызику, с плачем бросилась следом за ними. Так все трое вышли в огород. Тут же подошел Мачар.

— Отстань, люди увидят, стыда не оберешься, — сказал Тебо жене.

— Каждый говорит то, что знает, а о том, чего не знает, что он может сказать?

Казак, стоя в дверях своего дома, смотрел на них.

Ляпшу в отчаянии бегала от автоматчиков к Мачару, плакала, умоляла, клялась, что муж ее ничего не знает. Но те лишь отворачивались от нее или отталкивали.

— Люди, если вы мусульмане, скажите им, что может знать старик!

Но люди в соседних дворах молчали. Молчал и Казак.

— Скажи, где спрячется Ачахмат? — спрашивал Мачар.

— Любимый раб аллаха, — ответил Тебо, — и я спрошу тебя так: скажи, где Ачахмат?

— Разве Ачахмат тебе дороже, чем твои дети? — настоятельно говорил Мачар. — Скажи — и они уйдут. Ты словно сам себе эту беду вымаливаешь.

— Оллахий, — все так же спокойно говорил Тебо, — вы можете убить меня, поджечь мой дом, но как вы узнаете у меня то, чего и сам не знаю? Оллахий, даже сто янычаров не снимут штаны с человека, если он и так без штанов.

Казак все так же, не шевелясь, с высокого порога смотрел на него. Он успел надежно укрыть своего гостя, заточив его в картофельной яме. Положил его на дно картофельной ямы, закрыл сверху досками, на доски насыпал земли и завалил картошкой. Пусть теперь ищут. Яма глубокая, картошки, слава богу, достаточно. Могут даже себе отсыпать. Но Ачахмата они не найдут. За это Казак был спокоен. Все, что можно, он сделал, теперь дело за соседом. Выдаст Тебо — погибнет Казак, не выдаст — сам может погибнуть, но, может, и оставят его в покое. Что должен делать Казак? Должен он вмешаться? Нет, не должен. Пусть Тебо посту-

пит, как знает. И Казак поступит, как знает. Так что оба в равном положении.

— Есть у Атахмата родственники в Ажоке?

— Оллахий,— сказал Тебо Мачару.— Мы с тобой из одного аула, хоть мне это и стыдно. И я знаю не больше тебя, хоть и допрашиваешь ты, а я отвечаю. Нет в Ажоке из Беккиевых никого. Ты это и без меня знаешь.

— Из-за Атахмата вся Ажока может стореть и из-за твоего упрямства,— сказал Мачар.— Они знают,— кивнул он Гельмуту и Грэку,— что Атахмат прячется здесь.

— Ну, если знают, тогда, значит, найдут,— сказал Тебо.

Тут немец, который вместо обычного прутика держал в руках пистолет, ткнул им в грудь Тебо и что-то сказал. Тебо, словно ища защиты, посмотрел на Мачара. Все лица, направленные на него, были бескровны. Что-то такое еще выкрикнул Гельмут и размахнулся, чтобы ударить пистолетом. Самокрутка выпала из потрескавшихся губ Тебо, и с громким криком, схватившись за живот, упал Гельмут. Так быстро этот спокойный, медлительный старик ударил его ногой. Гельмут, скрючившись, извивался на снегу, два автоматчика сразу дали очередь по Тебо, и он, перегнувшись в поясе, упал на белый снег в своем огороде, сначала на колени, словно читал намаз, потом ткнулся лицом в снег. С криком подбежала Ляпшу и упала на труп мужа.

Теперь очередь была за Казаком.

VIII

Не зная, куда идти, у кого попросить помощи, две матери — Дауус и Халыу — днями напролет изводили себя. С двумя малышами на руках Дауус прибегала к Халыу, старалась как-то утешить ее. В один из таких дней она и надумала сходить с подарками к Мачару,— может, он заступится за их детей?

— Кто хочет жить, тот и с муравьем угодлив,— с горечью сказала Дауус.— В слезах толку нет. Пойдем к Мачару, бросимся в ноги, ведь и его мать родила.

Халыу заплакала.

— Оу, чтоб земля меня проглотила, на горе я его родила... Сама жива, а дитя не уберегла!..

— Не сходи с ума,— сказала Дауус, хоть и самой было не легче.— Аллах даст, спасутся наши дети. И сын твой вернется, и дочь моя вернется. Кругом беда. У Абдулсейта

шесть сыновей было, как шесть кинжалов. Теперь ни одного. Им-то какво? Терпеть надо.

Халыу вытерла глаза, замолчала.

— Что есть дома, не жалеи,— сказала Дауус.— Живы будем — добро будет. Пойдем к Мачару, чтоб он сгинул. Отдам ему газыри старика... Корзину собрала, бутылку сунула, курицу, газыри положила сверху. И ты собери корзину, и пойдем.

Дауус ушла. Оставшись одна, Халыу думала: что она могла отнести Мачару? Что еще оставалось дома? Ничего, что годилось бы в подарок, что можно было бы посчитать за вещь. В мыслях перерыла весь сундук. Его башлык? О, чтоб дещь мой темный стал, он вернется — и что я ему скажу? Нет, пока жива, не отдам никому. А если этот башлык спасет Мухтара?.. Что я отвечу Гейтмырзе, если он скажет: башлык ты уберегла, а сына не смогла...

Единственной ценной вещью в доме был этот башлык. Его сшила мать Халыу, лучшая в округе мастерица по башлыкам, сшила его зятю. Так ни разу Гейтмырзе и не пришлось надеть его.

А позолоченные газыри, доставшиеся Байчо от отца, — разве они-то не единственная ценность в их нищем доме? Оставшиеся ему от отца. Байчо, наверное, тоже ни разу не носил их. Даже странно: Байчо с газырями! Теперь, когда уже вырос Хаким, Дауус, наверное, думала, что газыри перейдут к нему. Уж они-то подороже башлыка, и, если Дауус не пожалела их ради дочери, она-то, чего она-то раздумывает?.. Дауус, кажется, даже была рада, что эти газыри в конце концов хоть на что-нибудьгодились.

Халыу быстро собрала корзину — положила туда белый башлык Гейтмырзы, материю для рубашки.

Вечером Халыу и Дауус пришли в дом к Мачару. Баллай, бельмастая Баллай, встретила их неприветливо. Бормоча что-то себе под нос, она провела женщин в комнату. Робкие, растерянные, они поставили свои корзины на пол и смущенно поздоровались с Мачаром.

— Садитесь, раз пришли, чего стоите,— сказала Баллай.— От трудов и забот сыну моему покоя нет,— продолжила она, ставя им табуретки.— И ему хочется жить спокойно, да разве от людей покоя допросишься? Вот сын мой и ходит, ни дня ему, ни ночи, а у наших людей совести нет.

— Да, да,— кивала Дауус, улыбаясь униженно.

— Нет чтобы уняться аулу...— бормотала Баллай, подвигая корзины к стене.

— Вы всегда были люди отзывчивые,— начала Дауус, быстро глянула на Халыу и, потеревив бахрому большого черного платка, продолжила:— И от тебя, Баллай, много добрых слов я слышала. И Молай, муж твой, был уважаемый человек...

— Почитали его, на виду был,— вздохнула Баллай.— Вот и у сына — ни сна, ни покоя, все для людей старается...

— Что вам надо? — грубо спросил Мачар. Женщины замялись, он повернулся к матери: — Мать, иди, тебе нечего тут делать.

Баллай, не отводя единственного глаза от корзинок, нехотя вышла.

— Какие у нас дела...— сказала Дауус, перебирая бахрому платка.— О чем же еще думать нам с Халыу? Остались мы с ней, как медведицы, у которых река детенышей унесла. Я о дочке говорю, она о сыне страдает... Вот, пришли к тебе... Сжался над нами.

— А я что могу сделать? — сказал Мачар раздраженно.— Я, что ли, арестовал их?

— Перед женщиной, говорят, и лихорадка отступает, брат,— сказала Дауус.— Мы именем почтенного твоего отца просим: сжался над нашей бедой. Вот я, мать тринадцати детей, никого никогда ничем не обижала, а Халыу, вот она, перед твоими глазами...

— Зря ходите.

— Не потому пришли к тебе, что не знаем сына Локмана,— говорила Дауус, сделав вид, что не замечает раздражения Мачара.— Мы пришли к тебе потому, что сын Молая скорей поможет нам.

— До смерти не забудем,— вставила слово Халыу.

— Да нет же, тут вам только сын Локмана и поможет, идите к нему. Немцы только его и слушаются, идите к нему,— ядовито усмехнулся Мачар,— вы же все души в нем не чаете...

— Нет, Мачар, если кто и поможет нам, так только ты. Тебя молим. Признательность, материнская мольба будет ответом на доброту твою.

— Ступайте домой, вот что я вам скажу,— отрезал Мачар и, довольный, помолчал.— Но... я могу вам помочь... Да, могу помочь. Если вы сможете найти Ачахмата. Если хотите, чтобы Мухтар и Азинат вернулись домой, узнайте, где он, и скажите мне.

Дауус и Халыу опустили головы.

Молчал Мачар. Молчали женщины.

— Дауус, пошли домой,— сказала Халыу. Она встала и стоя покрутилась на месте, словно искала край пропасти, чтобы броситься. Села, снова встала. Спрятала руки под бота.

— Что же, Мачар, если это твое слово, зря мы надеялись,— сказала Дауус спокойно.— Откуда знать, где он, Ачахмат. Мы не знаем.

— Как же так получается, Дауус? Когда я пришел и попросил кожанку, несчастную кожанку, что мне твоя дочь сказала? А теперь вы от меня хотите уважения! Когда я страдал, когда прошел через все суды и тюрьмы, спросили вы тогда, каково мне? Вспомнили вы обо мне, когда Азинат праздновала получение советского ордена? А теперь вы обижены, вон какие у вас лица! А твой сын, Халыу, щенок, сукин сын! Никто еще до него не ругал меня матом! — Тут Мачар вскипел. Он вспомнил, кто такой теперь он и кто женщины.— Да, я выдал их — и дочь твою, Дауус, и сына твоего, Халыу! Идите жалуйтесь! Вот кому только? Это я позаботился, чтобы их забрали! — Да, он мог сказать этим женщинам все, не гранаты же они принесли в своих корзинах, вон — горлышко бутылки, с самогоном, видно. Почему бы и не высказать им всего — он теперь и без их самогона пьян, одной только силой своей и могуществом.— И мы на этом не остановимся. Ведь Жамауат выбрал Харуна — его выбрал, а должен был выбрать меня! Теперь вы узнаете, хорошо ли это — унижать человека, хватать его и запираить в тюрьму. Узнает теперь Жамауат, который так любит своего Харуна, каково это — лишиться всего: дома, коня, кожанки! Ничего, вы еще увидите, самые лучшие аресты впереди!

IX

В характере Жамауата была еще одна черта, о которой мы забыли упомянуть вначале. Определить ее можно было бы поговоркой: «Ждущему неймется». Словом, торопливость была одной из самых досадных слабостей аула. Когда в Жамауате что-нибудь совершалось не ко времени, раньше положенного, ну, например, если ребенок родился через нять месяцев после свадьбы вместо положенных девяти месяцев или хотя бы, на худой конец, семи,— по ныгышам других аулов проходила долгая усмешка: везде Жамауат спешит, и здесь ему неймется. На что почтенные ак-

сакалы аула отвечали: «Тот, кто не торопится, тот не подрастет». Во всяком случае из-за своей торопливости Жамауат пока что не страдал, оттого и прыти своей не стыдился.

Однажды даже случилось так. Приехал на полевой стан кюплюмчан уполномоченный из района — самый что ни на есть настоящий — в кожанке, в галифе, в поющих сапогах. Приехал поздно, все были на работе, даже стряпухи уже пололи огород. Как и положено уполномоченному, он поискал, за что следует отругать кюплюмчан, и нашел: во всем стане у них не было лозунгов. Когда же уполномоченный приехал в следующий раз, еще издали, сворачивая к стану, увидел с двух сторон дороги два больших столба, а между ними красное полотнище, на котором огромными буквами было написано:

«У ТОГО, КТО РАНО ВСТАЕТ, И ЖЕРЕБЕЦ ОЖЕРЕВИТСЯ».

Как видим, Жамауат не только умел слушать критику, но что еще главней — умел делать из нее правильные выводы. И Кюплюм был от души благодарен уполномоченному за то, что он выявил такой большой пробел в работе. И ведь не что иное, как именно этот правильный, а главное — действенный лозунг помог кюплюмчанам выиграть тогда в социалистическом соревновании!

Так что торопливость смело можно было отнести к достоинствам Жамауата.

И в эти зимние торопливые дни, когда Харун исподволь готовил освобождение села, жамауатчане проявили невиданную поспешность в своей истории. Они поднялись разом, не договариваясь, но словно по единому знаку. Многие из тех, кто был той ночью в Жамауате, кто участвовал в схватке, утверждают, что именно с выстрелов Байчо все и началось. Другие же — Ережиц из Кюплюма, Биязурка и Сылыухан из Чегета, Фердаус из Езена и все жители Ажоки — говорят, что меч мести подняла песня об Уллу Хоже. Кто-то в ту ночь спел эту песню. Не случайно, не просто так, а чтобы напомнить аулу, что в том бою горцы поступили достойно и выбрали страшный жребий — погибли, но не покорились врагу.

Ережиц, например, услышал песню, когда лез на чердак за своим старым кауалом¹. Он решил почистить старое ружье, ибо в последние дни поведение пришельцев особенно

¹ Кауал — охотничье ружье.

не правилось ему. Только почистил и смазал ружье, как пришел к нему Байчо. Выпроводив его, он взял свой кауал и направился к дороге, на которой уже начиналось движение.

Песня ли, выстрелы ли — как бы то ни было, встали все разом, и к тому моменту, когда грохот взрыва достиг Жамауата (условный знак Харуна), бой уже закипел. Кто-кто, а уж тогаланцы хорошо знали, как важно в нужный миг понять друг друга без слов. Не зря же потомки Дебета и Ачемеца столько месяцев молчали и терпели это вражье отродье...

Автор не хотел бы походить на того незадачливого мясника, который освежевал целого вола и уже на хвосте сломал свой нож. До сих пор рассказывал все, как было, и не хотел бы на последних страницах сломать свое перо. Хуже нет, когда рассказчик начинает в конце мудрить, еще хуже, когда он начинает выдумывать. Видно, потому жамауатчане говорят: хвост выдумщика — короток. А читатель говорит и того проще: не умеешь — не берись.

Итак, возвращаемся несколько назад.

* * *

Он так и не узнал, что произошло в ту ночь, когда к нему в чулан приходил Жабраил.

К тому дню, когда нагрянули с обыском, он уже чувствовал себя хорошо, вставал и ходил для разминки по чулану, а поздно ночью, хорошенько укутав его, Залихат выводила за сарай на короткое время, подышать свежим воздухом.

И вдруг она ворвалась к нему в чулан — чего никогда не делала днем, при детях, — задыхаясь, сказала, что сейчас могут нагрянуть с обыском. Хурмет придумала, как спрятать его... Сквозь мокрую тряпку, которой Хурмет закрыла ему лицо, он чувствовал кислый запах навоза и горький — дыма. Горячий навоз жег тело, от газов, которые держатся в его толще, он начал задыхаться и потерял сознание. Он не очнулся и потом, когда его выкопали и отнесли обратно в чулан. Ночью он начал бредить. И оттого не слышал, как пришел к нему Жабраил...

Наутро Николай очнулся без сил, от малого движения обливался потом, но была в теле какая-то прохлада и слабая свежесть, и казалось: единственное, что ему сейчас нужно, — набраться сил.

Хурмет выгоняла детей играть во двор и сама чуть ли не целыми днями сидела возле него, ухаживала, отпаивала козьим жиром в молоке, а Залихат промывала и перевязывала раны, массировала тело. Теперь она была грустна и почти совсем не разговаривала с ним. А Николай даже спросить не мог, отчего она такая печальная. Ясно отчего: из-за него, из-за Николая, висит черная беда над ее домом.

Дней через десять он был уже почти здоров, и находиться здесь, подвергать опасности такую большую семью, теперь было особенно стыдно. Но ему ничего не оставалось, как ждать, и с каждым днем росла досада на Харуна, который, кажется, забыл о нем. Но однажды к нему в тайник вошел молоденький паренек, на довольно правильном русском языке сказал, что его зовут Хакимом, что послан он Харуном и что Николаю нужно переселиться в другое место, туда, где партизанам будет легче связаться с ним.

Николай тепло распрощался с женщинами, спасшими ему жизнь. Залихат молча утерла слезы, а Хурмет с мягкой улыбкой на темном суровом лице похлопала по спине, сказала: «Будь счастлив, русский, больше не умирай!» Счастливый, что выздоровел, и еще более счастливый оттого, что эта большая семья не пострадала из-за него, полный благодарности, вышел он из этого дома.

Хаким отвел его к Казаку. Только накануне здесь была облава. Ачахмату, как Василенко десять дней назад, пришлось отсиживаться засыпанным, только на этот раз не в куче навоза, а в картофельной яме.

В следующую ночь Харун пришел сам. Он долго тискал и тормошил Николая, и Ачахмат, заметив странный блеск в глазах Харуна, понял, что тот, должно быть, боялся, что риск его не оправдается и окажется, что он сам, собственными руками, отдал Василенко в руки врага. Но риск оправдался — вот он, Николай, живой и здоровый, стоит перед ним.

— Ну, кажется, все обошлось! — несколько раз повторил Харун, не в силах сдержать свою радость.

Потом Харун и Ачахмат рассказали Василенко, какая перед ними стоит задача. Двадцать жамауатчан взяты заложниками. Десять схватили за найденного в реке солдата. Взяли их почему-то не сразу, а только через неделю. Они не знали, что поначалу был спор между комендантом и начальником жандармерии. Юнге считал, что если можно обойтись без эксцессов, то и лучше, ситуация и без того весьма напряженная, а солдат этот, судя по всему, свалился сам,

проломил голову, падая со скалы. Для Гельмута же это было прекрасным поводом ужесточить репрессии. «Особая политика», считал он, ничего не дала. В конце концов верх взял он, и вот почему заложников хоть и через неделю, но схватили.

Взяли Чыккы-кызы, взяли Хаджи-Османа, взяли Латырая, но по приказу Юнге отпустили — мулла все-таки, вместо него схватили Кичитотука, взяли еще семерых мужчин и женщин.

А через день, после того как перетрясли Ажоку, убили Тебо, но Ачахмата так и не нашли, арестовали еще десять ажокчан. Когда ворвались к Казаку — хозяин был в тайнике за жыйгычем, куда уже снова перебрался из картофельной ямы Ачахмат. Майрун на свое счастье ушла к родственникам в другой конец Жамауата. Мачар с еще одним полицаем прошли по дому, полицаи по приказу Мачара сбегал в сарай и хлеб, даже спустился в подпол. С улицы что-то закричали: видно, ждать было некогда, Мачар выругался, и они вышли.

Хаким разузнал у одного из полицаев, что решения о судьбе заложников ждут из Нальчика, но ответа пока нет.

— Мы не спасли двадцать восемь человек, которых увезли в Нальчик, но этих мы должны спасти во что бы то ни стало, — сказал Харун.

Совещались долго, наконец пришли к такому мнению: нанести удар через ночь. Ачахмат подготовит людей для удара изнутри. Все, кто может взять оружие в руки, должны быть вооружены. Одновременно ударит и партизанский отряд Харуна.

— Мы кое-что привезли. Несколько карабинов и ящик патронов, — сказал Харун. — Мало, знаю, но больше нет.

— Перед атакой мы постараемся достать что-нибудь у врага, — сказал Ачахмат.

— Только осторожнее, чтобы не переполошить их до времени.

— Уж как-нибудь... — усмехнулся Ачахмат.

— Сигнал: взрыв моста. Это отвлечет часть немцев туда. Там, Николай, понадобится твоя помощь, взрывников в отряде нет. Взрывчатку нам обещали, может, и человека пришлют, но все-таки... Ты — как? Сможешь? По горам, по снегу?

Василенко встал, притопнул, подпрыгнул и несколько раз присел:

— Видел? То-то.

Через час, когда согласовали мельчайшие детали, Харун начал одеваться:

— Ну, на рассвете встретимся — через два дня, через две ночи!

Но на следующий вечер в тайник к Ачахмату и Николаю пришел Хаким и сказал, что в ауле большое движение. К Домсовету подогнали машины, началась погрузка. Тот полицай, с которым у Хакима были «приятельские отношения», сказал, что им тоже приказано собираться. Видно, начинается отступление. Ясно, что ждать следующей ночи не приходится.

Ачахмат с Николаем решили, что ударить нужно этой же ночью, — все по плану, но только на сутки раньше. Надо было предупредить Харуна. Хотели послать Биязурку, но ему с больными ногами такое путешествие было не по силам, и Казак сходил к Латыраю, объяснил ему, как пробраться к партизанам, и, только чуть стемнело, Латырай с Василенко отправились в путь.

Вторую задачу — поднять всех мужчин Жамауата и сообщить каждому, кто где должен стоять, — взял на себя Казак.

Потом ушел и Хаким. Немного попозднее он должен был увезти к себе домой Башира и Халыу, у которых жили два немца. А два немца — это два автомата.

Когда Латырай с Василенко подходили к месту расположения отряда, им встретился Мурадин, которого Харун послал к Ачахмату с тем же сообщением: выступить пынче на рассвете. Такой приказ пришел из центра. Харун понял, что ожидается наступление наших войск, которое должны будут поддержать и партизаны.

Так начался этот долгий вечер, который перешел в такую же долгую, полную событий ночь.

* * *

— Вот, Биязурка, пришел к тебе... объясни ты мне, — говорил Байчо, не отрывая глаз от большой лохматой шапки, которую держал в руках. — Ты всему аулу советчик, как ты говоришь, так и случается...

— Что ты маешься, Байчо, свататься пришел? — хмуро сказал Биязурка.

— Того немца, будь он проклят, я убил...

— Ну и что? Плохо сделал?

— Но ведь аул...

— Бестолковый, как же ты его убил?

Байчо рассказал, как было.

— Да, брат, сплеча же ты замахнулся. Жаль только, что не на того, который с прутом ходит, гестапо-местапо.

— Аул ведь... Вон, десятерых взяли. Может, мне пойти, сказать, что это я убил?

— Если убил, так закрой шапкой рот и сиди помалкивай. Оттого, что сознаешься, аулу легче не станет. Только сам одиннадцатым станешь.

— А я думал... Скажу, что я убил, и отпустят их.

— Отпустят...— сказал Биязурка с таким видом, словно думал о чем-то другом, рассеянный какой-то он был. Байчо стало обидно: даже выслушать толком не хочет. Биязурка взял у него из рук его шапку и нахлобучил ему на голову.— Тут война, брат, а не игра в прятки. Это там найдут спрятавшегося, на том и игра кончится. Ступай домой, Байчо, и сиди, пикуда не выходи.

У Биязурки только что побывал Казак, и потому, давая такой совет, он не испытывал сомнений. Когда Байчо стоял у же на пороге, он спросил:

— Что с мальчиком этим... сынишкой Гейтмырзы?

— Слышал я, что мучали его, за пальцы подвешивали, бедного мальчика...— Байчо заволновался, верпулся обратно в комнату.— Биязурка, почему всех в Нальчик увезли, а его одного оставили здесь? Мачар говорит, что его к волку бросят...

— Мухтар — мужчина, — неожиданно спокойно сказал Биязурка.— Если не дал себя согнуть, он мужчина.

Но этим Байчо не утешил. Он ушел от него убежденный, что должен что-то делать. Он видел, что напряжение в гарнизоне усиливалось. За вчерашний день Гельмут несколько раз наведывался к волку.

Войдя в помещение, где в клетке томился волк, Гельмут откладывал свой можжевелевый прут и, ухватив двумя руками шест, тыкал в морду волку. Волк разъярялся все больше и больше, окровавленными зубами начинал кусать самого себя за бока, а Гельмут в злобном нетерпении и восхищении смотрел, как поднималась шерсть, как язык, распухший от ярости и гнева, красным огнем бился в белозубой пасти. И когда наконец, загоняв его, Гельмут бросал ему кусок мяса, волк набрасывался на него, как на своего учителя.

Кого же Гельмут готовил ему в жертву?

Байчо догадывался: Мухтара. Гельмуту не терпелось по-

смотреть на это кровавое зрелище. Признания Мухтара теперь его уже не интересовали. Он знал: если не сейчас — то случай выпадет не скоро. Оттого он и торопился.

И в этот горький час Байчо нанесли новую обиду — теперь уже Дауус. Сама, без разрешения и даже тайком от мужа пошла просить Мачара.

— Так и сказал? — переспросил Байчо, еще не веря словам жены. — «Идите, жалуйтесь, это я выдал их, я сказал, их схватили». Так и сказал? Именем Чоппа?

И еще несколько раз переспросил Байчо, хотя уже знал, что жена сказала правду. Оттого он расширявал и тем еще сильнее растравливал боль Дауус, что слова Мачара не умещались в его сознании.

— Что же делать, жена, терпи, — сказал он. — Кроме терпения, что осталось?

Но если он — мужчина! — не в силах был терпеть, какво было женщине? Нет, ранам его, нанесенным Гельмутом, не дано было зажить. Как и этим ранам — судьбе Азинат и судьбе Мухтара. Признание Мачара еще больше растравило их. Он ворочался на своем топчане, садился, вскакивал, снова садился...

Наконец придя к какому-то решению, он встал, надел тулуп. Сел у очага на чурбан, чтобы еще раз хорошенько обдумать... Да, он решил правильно.

Байчо оделся, вышел в хлев, нащупал под кормушкой автомат, вытянул его, при этом что-то звякнуло. Он засунул руку поглубже и вытащил второй автомат. «Да что си там, отелился, что ли?» — сказал Байчо. Удивленно покрутил оба автомата в руке, потом засунул один обратно под кормушку, второй повесил под тулуп через плечо и вышел из хлева.

* * *

Теперь Залихат стелила себе отдельно от мужа. Если правда, что единая постель мужа и жены — это и есть единение душ, то этого единения между ними быть не могло. Верность как сломанный чурек, и обратно его не слепишь.

Тогда, возле дома Зайнаф, ослепленная обидой, она наговорила много такого, что, право, недостойно было ее имени и чести. Дешевые сказала она слова. Так велика была обида, так попрана ее честь — она не смогла удержаться. В такую тяжелую непонятную зиму, полную страха и горя ко всем бедам Жабраил еще испотанил ее постель! Если

Жабраил устал от нее, если постель чужой женщины для него слаще и мягче ее постели, что же она должна была делать? Не выдержала, расплакалась, рассказала о тех страшных минутах, которые ей пришлось пережить из-за преследований Мачара.

А что Жабраил? Ничего. Залихат впереди, он — за нею, так и шагал по ее следам. Конечно, было досадно, что на первой же измене попался, да еще так позорно. Мужчина ходит к другой женщине — это не ново. Даже, как говорится, пророки и те ходили. Так что пошумит и перестанет. А если не перестанет? Перестанет, куда денется...

Но вечером Залихат забрала постель и ушла к детям. Без шума, без объяснений — взяла и разделилась с ним.

Уже третью ночь Жабраил делил постель только со своими тоскливыми думами.

Судьба, думал он, поставила его, глумясь над ним, между двумя женщинами, как между двумя жерновами, и, видимо, испытывала удовольствие от его страданий. Она играла им: дала жажду жить большой жизнью и сама же ставит его в такие обстоятельства, что все, чего бы он ни коснулся, разваливается, где бы ни ступил — проваливается нога. Отчего он, думая делать добро, только увеличивает зло? Убегает от зла, а зло у него за спиной в хурджине сидит.

Нет, самые скромные, самые простые теперь у него мечты. Они пахли снегом, рекой, сеном, навозом, детским смехом. Но он уже не чувствовал этих запахов, потому что сам пропах злом, как коптильщик дымом. А ведь эти запахи были рядом, всю жизнь окружали его. А теперь даже постель жены отплыла, как облако, и стала такой же, как облако, недостижимой.

И еще один запах заглушал запахи его жизни — смрад, исходящий от Мачара. Из-за домогательств Мачара смрад этот, казалось, перешел на дом Жабраила, на его жену, на его детей...

Он не выдержал, встал, прошел в комнату к детям. В темноте он увидел яркий взгляд Залихат, она тоже не спала.

— Залихат... скажи, чего добивался Мачар? Чего он хочет?

— А чего вы, мужчины, — раздался ее насмешливый голос, — добиваетесь от женщины?

Жабраил не помнил, как оделся, как выскочил на улицу; сжимая в кармане шубы пистолет, побежал к дому Ма-

чара. Прибежав, вне себя заколотил в дверь пистолетом. Молчание. Подошел к окну, с силой ударил, зазвенели стекла, зазияла темнота. Ответа не было. Вернувшись к дверям, он поднял щеколду, со скрежетом открылась старая дощатая дверь. Никого, пусто. Даже кривая Баллай исчезла куда-то. Мачара, который, затаив дыхание, тоже с пистолетом в руке, стоял в темном отоу, он не заметил.

Жабраил пошел в полицию. Решил так: если Мачар там, он выстрелит в него сразу, как войдет. Без единого слова. Убьет и выйдет. Слова на этого подлеца жалко.

Но там, кроме спящего дежурного, никого не было. Жабраил растолкал его. «Нет, Жабраил, он сюда не приходил», — пробормотал сонный дежурный.

Поняв, что табун его коней угнан, нехотя, словно кто-то заставлял его идти силой, он побрел в комендатуру. Посмотрел на часы. Стрелка перешла за два. Ярость сходила с него, и он уже не знал, что будет делать, если Мачар у коменданта.

Но в комендатуре был лишь Юнге. Глаза красные, лицо иссиня-бледное, словно вся кровь с лица отхлынула в глазницы. Он был пьян.

— Вот так, господин староста, — сказал комендант, — утром начинается эвакуация. Прошу к застолью, — он показал на стол, где стояли бутылки и тарелки с закуской. — Еще неизвестно, когда нам с вами снова придется пировать широко, по-кавказски, как бывало...

«Этот подлец Мачар уже все учуял и удрал», — понял Жабраил.

Надо бы идти домой, поднять жену, мать, детей, укладываться, бежать, а он сидел и слушал долгие рассуждения Юнге. Потом пришел Грэк, принес еще еды и выпивки, следом явился Гельмут, при виде Жабраила обрадовался, непонятно почему, произнес тост за здоровье уважаемого господина старосты, с которым его так сблизили эти месяцы общей борьбы... А ночь шла, шла, шла. Жабраил уже ничего не понимал из того, что говорят немцы, только поглядывал на часы — и было уже три часа, и четыре, и пять...

* * *

Побывав у Мачара и поняв, что ничто ее сыну не поможет, Халыу свалилась окончательно. Башир, стоя на коленках возле ее постели, пытался утешить ее. Положив ручку на горячий ее лоб, он говорил: «Мамочка, не бойся, ког-

да я вырасту, я тебя на ладони буду посить, в самолете буду катать, вот увидишь...» — «Да, дитя мое, да, так и будет», — говорила мать. Но лучше ей не становилось.

Ночью Халыу увидела во сне соленую говяжью голову и проснулась. Все месяцы беременности она не хотела никакой еды. А как она мучилась десять лет назад, когда носила Башира! Ей тогда страшно хотелось извести! Но было стыдно мужа Гейтмырзы, деда Жарнеса. От стыда сквозь землю готова была провалиться, но как ей хотелось этой проклятой извести — в глазах даже темнело. Она потихоньку отколупывала штукатурку от стены и грызла. Конечно, все это она делала втайне, но что должна была думать родня, видя ободранные стены? Нынче же, то ли беды вконец одолели ее, то ли молодость ушла, ей ничего не хотелось. И вот вдруг приснилась ей соленая говяжья голова. Запах ее ударил в нос, все тело встрепенулось, полный рот пагнало слюны. Сильнее голода, сильнее жажды мучает это необъяснимое желание! Все нутро горит этой жаждой, и печень сосет червь. Халыу знала, что от этой напасти она не избавится, пока не утолит ее, пока не отведаст соленой говяжьей головизны.

— Проснись, сынок, — умоляла она. — Что мне делать, аллах, — металась она. — Проснись, мой бычок, матери твоей плохо...

— Сейчас... — бормочет Башир.

Халыу заходила по темной комнате.

От храпа Зуппана содрогались стены.

Башир никак не мог проснуться.

— Сынок, ты можешь сходить к Даус? Не испугаешься? — спросила Халыу, когда Башир наконец сел на кровати.

— Я — боюсь? Еще чего!

— Сходи, попроси у них от соленой головы хоть кусочек, может, осталось.

— Просить? Не пойду! — Башир снова уткнулся в подушку.

— Тогда я сама схожу! — и начала собираться.

Башир совсем проснулся. Хоть и не хотел идти просить, но, видя, что мать сама собирается, не выдержал.

— Посмотрим, если я хоть раз пойду просить, кроме сегодняшнего! — твердо пообещал он. Вскочил с постели, быстро оделся и молодецки вышел в темноту.

В одно дыхание добежал он до ворот Байчо. Но, увидев

идущую навстречу тень, в испуге отпрянул назад. И тень заметила его. Башир услышал тихий голос:

— Кто это? — Голос Хакима.

— Я, Башир.

— Ты что тут в такой час?

— Мама к Дауус послала.

— Зачем?

— Да это... — Башир застеснялся. — Очень ей соленой говяжьей головы захотелось.

— Иди-ка сюда. Кто у вас сейчас дома?

— Все. Мама и они...

— Они? Спят?

— Не знаю. Спят, наверное.

— Оба?

— Оба.

— Как они спят?

— Как это — как?

— Ну, в какой комнате?

— В отоу, где же еще?

— Пойдем и заберем Халыу к нам.

— Зачем?

— Надо. Хочешь, чтобы Мухтара спасли?

— Конечно!

— Тогда делай, что скажу.

— А как?

— Узнаешь. Пошли.

По пути, чувствуя, что начинается что-то необычное, Башир признался Хакиму:

— А у нас автомат есть!

Хаким остановился.

— Что есть?

— Автомат!

— У кого это «у нас»?

— У нас. У Чачия и у меня.

— Вправду?

— Вру, что ли?

— Откуда?

— Помнишь... На этого толстого, что у нас живет, медведь напал? Этим медведем был я... — гордо сказал Башир. — Вернее, нас было двое: я и пес Кыйыка. Он тогда бросил автомат и удрал. А мы с Чачием взяли его и спрятали.

Хаким схватил за руку Башира.

— Ты, Башир, настоящий партизан! Вот это брат Мух-

тара! — От гордости Башир не чувствовал под ногами земли. — Я расскажу Мухтару о твоём подвиге, — пообещал Хаким.

— Мы с Чачием поклялись никому об этом не говорить.

— Правильно. Где автомат?

— Это же тайна...

— Но чтобы спасти Мухтара, нужен автомат.

— Мы его в вашем хлеву спрятали. Под плетеной кормушкой. Возьми.

— Спасибо, Башир! — Хаким обнял его, взял за руку и, оглядываясь по сторонам, повел обратно.

Халыу стояла, прислонившись к дверному косяку, уже потеряв всякое терпение.

— Есть? — быстро, не стесняясь Хакима, спросила она и нетерпеливо оцупала в темноте руки сына и пошарила за пазухой.

— Есть! — тихо ответил Хаким. — Мама послала меня, чтобы я тебя привел к нам. Она сама собиралась прийти, раза два даже вышла за порог, но потом послала меня. Мама говорит, что тебе нельзя оставаться тут одной.

Халыу даже не дослушала его, говяжьё голова крутилась у нее перед глазами, она схватила Башира за руку и пошла следом за Хакимом.

В доме Байчо было темно. Куда-то по углам забились дети. Дауус сидела на кровати. Она встала, но лампу зажигать не стала, поставила табуретку, посадила Халыу. Хаким спустился в погреб, вынул из бочки говяжьё голову и поставил перед Халыу. От головы пахло бочкой и солевой кожей.

— Пусть мальчики простят меня, Дауус, прошу, — сказала Халыу и, оторвав кусочек мяса, жадно стала есть.

Хаким тихо выскользнул из дома. Башир проводил его горящим взглядом.

— А если бы тебе чего-нибудь такого захотелось? Такого, что и не сыщешь сразу? Тогда бы что делала? — сказала с жалостью Дауус, сама рожавшая тринадцать раз. — Только та не поймет, кто сама такого не испытала.

И все же Халыу поела немного, и ей стало стыдно.

— Чтоб мне провалиться, среди ночи растревожила вас.

— Нашла о чем, — сказала Дауус. — Зря ты так изводишь себя. Что аллах назначил, то и увидим. Беда — она не спрашивает, когда ей прийти. Ложись-ка лучше спать, — она постелила ей на своей кровати.

Халыу заплакала:

— Дауус, ты так утешаешь меня... Есть ли кто несчастнее нас?

— Оу, оу, оу, таких, как мы, несчастных не найдешь даже среди собак и птиц.

Дауус, сидя на кровати Байчо, больше не утешала ее, не мешала ей плакать. Поплакав, Халыу схватила Башира, прижала его к себе и, словно помешанная, принялась целовать и тискать его. Немного успокоившись, она повернулась к Дауус:

— Что-то должно случиться, Дауус. Не зря ты привела меня к себе.

— Ложись, говорю, спать. Отдохни. Муки твои во вред тому, кто должен родиться.

Но тревога не оставляла Халыу. Или же... По ее подсчетам, до срока оставалось еще недели две. Мутит, болит голова. Руки, ноги дрожат. Горе ее сморило или сон — уронила голову на подушку и забылась. Башир тихо лежал рядом и ждал. Он представлял себе, что он Карабатыр, о котором рассказывал дед. Или нет — он младший из трех братьев и сейчас выйдет, чтобы избавить свой народ от беды. Еще он хотел быть похвастом на того пленного солдата, который у моста убил киркой фашиста. Убил, хоть и погиб сам. И еще на Капитана, который убежал из плена и теперь мстит за народное горе. Но как бы то ни было, пока ему нельзя уйти от матери, но сегодня ночью в руках Хакима заговорит его автомат, и, только раздастся очередь, Башир вылетит в дверь. Он поднимется на Сырбыт и крикнет оттуда, что народный мститель Карабатыр одолел врага и теперь народ свободен! Он не должен проспать этот час. Не должен прозевать очереди из автомата!

И, словно должен был услышать не ушами, а глазами, боялся их сомкнуть. Мать уже спала, и он перешел к Чачию. Так, распластавшись на полу на войлоке, и уснул рядом с ним...

* * *

Двое ходили в эту ночь по домам Жамауата.

Один — Казак — говорил людям: пора.

Другой — Байчо — спрашивал, как быть с волком.

Одного из них — Казака — понимали с полуслова, открывали дверь, кивали и, закрыв дверь, начинали собираться.

Другого — Байчо — выпроваживали вежливо, как гостя не ко времени.

И все же он добивался, чтобы открыли ему двери, чтобы все выслушали его. Он просил, чтобы показали ему, какие есть замки в доме, долго рассматривал их и уходил, огорченный. Не было замков в Жамауате, похожих на тот замок, который был впадн в клетку волка.

«Нет, у кого-нибудь да есть такой замок. Ведь и тот отняли у кого-то».

Так шел он дальше, думая, как быть, когда увидел у спуска дороги уходящего от него человека. «Эй, подожди!» — окликнул Байчо и поспешил к нему. Тот, заметив, что кто-то его преследует, прыгнул через забор в огород. «Ну чего же ты? — обиделся Байчо. — Я ведь Байчо, я человек не опасный. Спросить я хочу...» Он не признал своего сына Хакима, но тот узнал его сразу — другого такого большого в Жамауате не было.

Потом Байчо пошел к Ережипу. А он:

— Аран, какой ты незадачливый! Ему к Ордапу надо идти, а он по дворам шряется. Крянусь душой отца. Ордап даже к райским воротам ключ подберет. Сам выковар решетку, пусть сам и думает, как теперь открыть. Е-а?

Один посреди зимней ночи, он шел, держа свою шапку в руке. Шел и говорил сам с собою: «Не может быть, чтобы убили... Как это — убить женщину? Ай, бедная Азинат... Где же ты, птичка моя несчастная?»

В доме Ордана не открывали долго. Только что здесь был Казак, оставил автомат.

Байчо услышал шорохи, тихий разговор. Но щеколда на месте. Он не сердится на этих людей, знает: время такое.

— Я мирный человек, — повторил он.

— Я тоже мирный, — сердито сказал через дверь Ордап. — Скажи оттуда, что тебе нужно? Е-а?

— Не получится отсюда, — сказал Байчо. Упрямство Ордана начало понемногу изводить терпение мирного Байчо. — Алан, Ордап, что, быка украл и зарезал? Почему не открываешь? Неужели ты думаешь, что я без нужды пришел посреди ночи к твоему дому?

Наконец Ордап открыл дверь. Выслушав, он задумался. Но Байчо видел, что хотя хозяин и задумался, но скорее думает о том, как бы выпроводить позднего гостя. Но и Байчо теперь упрям.

— Тейри, лазим, Ордап... Как же получится, бросят царя к волку в клетку, а мы так и будем смотреть?

— Ну что я могу сделать?

— Ты кузнец! Кузнец все может сделать!

Байчо увидел, что теперь Ордап начал думать о том, о чем нужно.

— Ты скажи, как мне открыть замок, остальное тебя не касается,— сказал Байчо. Ордап молчал, и он прямо-таки набросился на него:— Учти, Ордап, волка поймал ты, и, если случится беда, позор, клянусь Чоппа, падет на тебя!

— Что я, для своего удовольствия, что ли, поймал его?— обиделся Ордап.— Ты-то сам почему им служишь? Ты это скажи, е-а?

— Знаю, Ордап, что не для своего удовольствия, и я не от радости им служу... Надо, чтобы волк убежал обратно. А кто клетку откроет, кроме тебя? — Ордап молчал.— Скажи, сделай что-нибудь, аллах поможет. Чтобы потом самих себя не проклинать.

— Этот замок мне Гельмут сам дал... Правда, ключ я у него в руках мельком видел...

Они пошли в кузнию Ордапа. Плотно закрыли окошко черным войлоком. Зажгли лампу...

* * *

Ачахмат и Хаким вышли из дома Казака, у каждого под шубой был спрятан автомат. У Ачахмата — тот, который он уже испытал на Батырбековом огороде, у Хакима — немецкий, добытый Баширом.

Когда они подошли к огороду Гейтмырзы, Большая Медведица, усталая и поредевшая, уже стояла над Сырбытом. Обычно в это время начинали неть петухи. Но теперь в Жаммауате не было петухов — некому было гнать уставшую Большую Медведицу дальше.

Хаким поднялся на веранду, подошел к слабо светящемуся окну. На столе тускло горела лампа с почти убранным фитилем. Рядом стояли две бутылки и два стакана. У спинки кровати — прислоненный автомат. Спавший на кровати храпел, точно свинья, увязнувшая в трясине. Под самым окном — другая кровать. Хаким взгляделся и вздрогнул: там сидел человек, он не спал. От такого храпа, подумал Хаким, и мертвый на месте не улежит, и он даже пожалел этого немца. Тот встал, подошел к столу, налил в стакан, выпил. Похоже, что-то мучило его. Ачихмат уже обошел дом и, скользя спиной по стене, придвинулся к окну с другой стороны. Немец еще налил стакан и выпил. Потом надел форму, застегнулся, затынулся, поправил кобуру ши-

столета. Видно, этому пора на дежурство. Значит, один ускользнет, жаль. А вдруг он разбудит и другого и они уйдут оба? Хаким с Ачахматом переглянулись, перехватили автоматы, изготовились.

Тот надел шинель, постоял возле спящего, но будить его не стал, повернулся и вышел. Прошел через темные сени, остановился на веранде, в метре от затаивших дыхание партизан. Закурил. Медленно спустился с крыльца, пересек двор, вышел на улицу. Нужно было убедиться, что он ушел и вернется не скоро. Жестом приказав Хакиму оставаться на месте, Ачахмат осторожно пошел следом за немцем.

Тот поднялся по проулку к большой дороге. Возле развилки он остановился. Словно думает: «А не уйти ли мне в горы?» — усмехнулся Ачахмат.

Вдруг немец повернул и действительно направился к горам. Ачахмат растерялся — с чего вдруг этого полуночника понесло туда? — но пошел за ним следом.

Дорога кончилась, дальше был пологий склон, упиравшийся в отвесные скалы. Ачахмат уже не таился. Все тверже, уверенней становились шаги немца. Он смотрел на звезды, смотрел на горы и даже, кажется, не замечал, что кто-то преследует его. Подойдя к подножью скал, он остановился. По напряженной его спине чувствовалось, что он прислушивается. Преследователь его тоже остановился. Немец постоял неподвижно несколько секунд и зашел в тень скалы. На мгновение он исчез, раздался во тьме звук, будто он хлопнул в ладоши или кто-то дал ему там пощечину. И он — будто от этой пощечины — вывалился из тени скалы на белый снег. Тут же попытался вскочить, словно ударился спиной об острое или будто вспомнил что-то. Застоялся. Попытался поднять голову, неуверенными, запоздалыми движениями начал шарить, искать что-то в снегу. Но все реже и тише становились его стоны, все медленнее разбрасывал он руками потемневший от его крови снег.

Ганс Шрайнер застрелился.

Ачахмат не стал подходить к нему. Закинул автомат за спину и, держась тени, вернулся к дому Гейтмырзы, где Хаким сторожил сон Зуппана. Они вошли в дом. Храп стих. С еще одним автоматом они вышли на улицу.

* * *

С ключом, выкованным Орданом, Байчо вышел из кухни. Ключ был еще горячий. Байчо не хотел ждать и раньше времени вынул его из воды. Когда он опустил его в кар-

ман шубы, ключ даже сквозь одежду обжег тело. Байчо сунул руку в карман и зажал ключ в заскорузлой ладони.

Придя на службу, он, как обычно, зашел в хлев, где держали скот, отобранный у жамауатчан на убой, переложил ключ в карман шаровар, снял тулуп и, завернув в него автотомат, сунул в корзину.

Теперь Байчо был при своем деле, тут он знал больше, чем кто-либо другой. Не нужно было выслушивать ругань Ордаана, что не так он раздувает мехи, не так держит клещи, слишком громко стучит по железу. Точа нож, он настроженно поглядывал по сторонам, ему хотелось сделать это дело побыстрее, пока не остыл ключ. Теплый, казалось ему, он откроет лучше.

Но когда он резал годовалого бычка, нож в его руке дрожал. Немец-повар удивился: туземец, который всю зиму отличался твердостью руки, точностью удара, в это утро ни топором, ни ножом не попадал в нужное место, куски получались как вырванные. Но у повара своих забот было на сто голов. Вовсю шла эвакуация, он укладывал свое хозяйство, так что неизвестно, суждено кому-нибудь есть это мясо или нет, его, впрочем, и варить не придется. Бычка и резать было не нужно. Но приказа на этот счет не было, и повар ничего не сказал Байчо.

Покончив с разделкой, Байчо взял долю Жел-аяка и пошел к нему.

Только тут он заметил, что во всех окнах комендатуры горит свет, хлопают двери, бегают по двору немцы и полицейцы, стоит чужезычный трескучий гам, подъезжают машины. Это, как понял Байчо, было началом бегства.

Подойдя к дверям помещения, в котором сидел волк, он знаками показал, чтобы часовой открыл дверь. Часовой посмотрел на часы. Тут за спиной Байчо открылись железные двери подвала. Он повернулся да так и застыл с куском мяса в руке. Двое, держа с двух сторон, за локти выволокли из подвала Мухтара. Байчо шагнул к нему, Мухтар поднял голову. Узнал.

— Байчо... Мама... жива ли моя мама?

Горячий ком подступил к горлу Байчо. Он заволновался, хотел сказать ему что-то доброе, но Мухтара вели быстро, Байчо не успел собраться с мыслями. Слезы пришли быстрее, чем какое-нибудь слово. Наконец, уже вслед ему, он крикнул:

— Жива она, жива... бедный Мухтар... Живы мы все.

— Передай привет Хакиму,— обернулся Мухтар.

А Байчо спросил:

— Куда тебя ведут?

Но этого Мухтар уже не услышал. Зря об этом спрашивал Байчо. Известно, куда его вели. И знал, что Мухтар никак не мог увидеть Азинат, но все же спросил, нет, это даже не вопрос был, а придушенный вопль:

— А Азинат... Ты не видел Азинат?

Мухтар не услышал. Конвоиры заволокли его в дверь комендатуры.

Крик Байчо, брошенный ему вслед, вернулся обратно. Казалось, конвоиры вели не Мухтара, не сына Гейтмырзы, а Азинат, растерзанную, опозоренную дочку Байчо. Он стоял, словно качнувшийся языческий истукап, и казалось, что не тяжелая оспа, а сами градины моровых годов выбили рябь на его лице. И старая домотканая рубашка на нем, и такие же залатанные шаровары, и даже кусок мяса в его руке затряслись в плаче. Байчо прощался с Мухтаром, а может, он вспоминал дочь и прощался с нею.

Наконец Байчо вытер рукавом глаза и огляделся. Мрачным было утро — такое же, как он, большое, темное, сломленное горем.

На кусок мяса, который шлепнулся на пол клетки, Жел-аяк даже не посмотрел. Опустив голову на вытянутые передние лапы, а задние подобрал под брюхо, словно хотел согреть их, он лежал возле самой дверцы.

Наконец Жел-аяк поднял голову и посмотрел на Байчо: «Ну что ты можешь мне сказать?» Укор и презрение были в этом взгляде. За зиму волк и Байчо хорошо поняли друг друга, и волк совершенно справедливо презирал Байчо. Он мог спасти его, помочь выбраться отсюда. А он этого не делал.

— Не бойся, волк (будто Жел-аяк когда-нибудь боялся!), — сказал Байчо.

Он стоял, переминаясь на месте, и не решался достать из кармана выкованный Ордапом ключ. А если не подойдет? Что он будет делать, если не подойдет? Гром на него и проклятие! Аллах да пусть спасет бедного Байчо от такого позора.

«Бисмилла рахман рахим!» — сказал он и, вынув из кармана ключ, поднес его к впаянному в дверцу замку... Ордап был Ордапом — вторым после Дебета мастером Жамауата!

* * *

Халыу, вдруг став здоровее лесной олепихи, вскочила на ноги. Башир спал на полу на кошме. Она осторожно обо-

шла его и тихо пошла к двери. И, только теперь вспомнив, что она не дома, а у Дауус, вернулась назад. Башир спал, уткнувшись головой Чачию в живот, и пусть сейчас хоть рухнет над ними скала, он не проснется.

Халыу отрешенно подняла на руки Башира, прижалась к нему щекой, начала ходить по темной, полной сонного сечения комнате. Пошла к кровати, где спала, положила Башира, накрыла его своим бота. Материнское бота — оно, словно панцирь, от любой беды спасет. Дом вдруг сдвинулся с места, покачиваясь начал подниматься ввысь. Нет, на бота надежды мало. Халыу легла рядом с сыном и обняла его. Вот теперь уже не страшно: если и влетит сюда пуля, она не достанет сына, застрянет в теле матери. Башир проснулся, ему стало страшно.

— Мама, пошли домой, — приподнявшись, прошептал он.

Сказал и, словно ударом кулачка, раздавил вызревший нарыв — темнота вздохнула облегченно и быстро стала рассасываться. Башир, заметив, что с матерью творится неладное, обнял ее за шею, зашептал:

— Мама, мамочка, что с тобой?

Халыу тоже зашептала:

— Комната Мухтара... Пошли, сыночек, прогоним тех, кто поселился там... Ты и не знаешь, дурачок, ведь мы женили Мухтара, а ему жену вести некуда.

— Мам-ма-а... — тихо взвыл Башир и заговорил быстро: — Ты разве не знаешь, мама, наши, ну, партизаны, они освободят Мухтара, они обещали...:

— Знаю, знаю, дитятко, — сказала Халыу, задумалась ненадолго и вдруг заторопилась: — Чего же мы лежим, пошли домой.

Они тихо встали. Не Халыу вела сына, а Башир вел маму, держа за руку и подбадривая ее. Придя домой, он вынул спички из кармана ее передника, зажег лампу. Тени побежали по стене, Халыу повернулась вслед за ними. Тусклый свет лампы раздражал ее чем-то забытым, давно мучившим ее, что нужно было вспомнить. Башир набрался духа и, высоко подняв лампу, шагнул в непривычно тихий отоу.

— Мам-ма!!!

Халыу, спотыкаясь, словно пьяная, вошла следом. Лампа качалась в руке Башира. Пол отоу был в лужах крови. Зуппан лежал так, словно его застигли в тот момент, когда он хотел заглянуть под кровать: одна рука вцепилась в спинку, другая касалась пола.

Халыу отступила в ужасе. Пол стал разрастаться все

шире и шире, далеко разлетелись стены, лужа крови стала быстро подниматься и затоплять комнату. Взмахом руки она отбросила Башира назад. Лампа упала и потухла.

— Оу, моя мать, беда мне, оу, моя мать!

И хотя крик этот и сама Халыу не услышала, дальше, чем выстрел в Чегете, он разлетелся над преддурственным миром. Над всем смятенным, остуженным миром звучал этот крик. Звучал, как голос божества этой ночи, как голос табунщика исчезнувшей Большой Медведицы. Ночь не была беременной женщиной, но она кричала: «Оу, амам, мен жарлы, оу, амам!» Кричала среди гор беременная женщина, но не мукой рождения был этот крик.

На четвереньках выползла Халыу в сени, вытянула Башира и хлопнула дверь. Очнувшись, она разыскала намазлык, расстелила его. Позабыв совершить омовение, она встала на намазлык, подняла руки над ушами, произнесла обязательные молитвенные слова и застыла, словно забыв, что же нужно делать дальше.

Вдруг она встрепенулась, будто аллах спустился с неба и присел на край намазлыка, и стала читать молитву. Но сбивалась в спешке, путались слова. Она поняла, что аллах спустился, чтобы осуществить ее просьбу, и, если она не успеет коснуться его ног, мольба ее принята не будет. Она упала прямо, не сгибаясь, прижалась лицом к намазлыку, точно к лику аллаха, и так застыла. Вцепившись обеими руками в край намазлыка, не отрывая лица от лика аллаха, зашептала самые сокровенные свои слова. Она шептала, плача и содрогаясь, стараясь удержать свою тяжесть, не опускать ее на намазлык, вкладывала в мольбу всю свою материнскую надежду, силу, правоту, всю веру свою — не услышать ее аллах просто не имел права. Она передавала аллаху тоску и скорбь всех ожидающих, тоскующих, страдающих и терпящих...

Наконец Халыу умолкла. Обессиленно, в изнеможении прижалась лицом к намазлыку, сиюсь услышать ответный шепот аллаха. Он услышал ее и сейчас скажет, что сын ее скоро будет дома. С улыбкой на посветлевшем лице ждала она, нисколько не сердясь за то, что аллах не спешит ответить ей. В ее ожидании было столько одухотворенности и чистоты, горячей своей молитвой так очистилась она от мирской грязи, что, если бы вдруг вместе с намазлыком поднялась в небо, несомненно, вошла бы в сонм ангелов. Оттого, верно, аллах и не спешил ответить ей, что был заво-рожен чистотой и преданностью женщины.

Халыу подняла голову от намазлыка. Ответа не будет. Полная презренья, в тяжелом раскаянье за свою долгую терпеливую веру, она посмотрела в очаг, растопленный Баширом, где уже высоко горел огонь, и задрожала, словно не теплом, а холодом ударило от очага. Закрыв лицо руками, она заплакала. Она заплакала, потому что лишилась долголетней веры, песокрушимсой, как она думала, опоры. Она верила, верила, днем и ночью, в беде и в радости, и во сне она верила, даже дыханием своим она молилась богу. Но ни разу он не выслушал ее, ни разу не облегчил ее участи. Когда слезы кончились, она снова упала лицом в намазлык, иступленно колотя по нему кулаками, хватая в горсть и рвя его края. «Ничтожество! — кричала она. — Вырсдок! Если ты бог, утопи меня, вбей в мерзлую землю! Вбей! Вбей! Вбей! Если ты бог, выверни мои ноги, скрючь мне руки, искриви мой рот! Сожги меня, чтоб я обуглилась! Если ты бог!..»

Башир обнимал, пытался унять ее, утешить. Он тоже плакал, молил ее. Но слабые его мольбы не доходили до разбитого сердца Халыу. Не видела Халыу, как тяжело мальчику, как он хочет утешить мать. Она еще не кончила тяжбы с богом. «Сгинь, — говорила она ему. — Если ты на небе — пусть рухнет небо. Если ты в земле — пусть разверзнется преисподняя. Гори, как горю я, рви на себе волосы, бей, грызи самого себя».

Башир не знал, что делать: мать умирала... Он хотел помочь ей, спасти ее. Но Халыу не видела его мучений, бессильную его возню вокруг нее. Бог был глух к Халыу. Халыу — к сыну.

Наконец Халыу затихла. Она стояла на коленях на растерзанном намазлыке и словно раздумывала, как перейти с этого, уже выгоревшего, берега на тот, где не все еще выжег пожар. Руки ее на коленях — загнившие лошади — рухнули и не шевелились. Пойманная птица в груди уже не билась. Лишь ноги ее порошило морозными иглами.

Посидев так, она резко встала, словно только теперь поняла, что должна делать. Оделась. Закуталась в бота. Одедся и Башир.

— Пошли, сынок, — сказала она тихо, взяв его за руку. — Странники мы теперь, странники. Нет у нас дома, нет бога, нет у тебя брата... — Баширу снова стало страшно. Он не понимал, что говорила мать. Но спросить боялся, спросишь — она снова начнет плакать и долго не остановится. — А смерть странника — в пути. Где погибнет Мухтар, там умрем и мы.

С тем Халыу и Башир вышли на улицу. Утренний, колющий холод заставил их остановиться. Но позади не было ничего — только залитые и забрызганные кровью стены. Не может быть домом место, где пролилась человеческая кровь. Поэтому они уходили отсюда. Из груди хвороста возле ограды Халыу выдернула палку — теперь она будет им спутником и опорой. Вместо аллаха. Так надежней. И она пошла, опираясь всей тяжестью на палку, крепко держа за руку растерянного Башпра.

— Я сейчас, мама! — вдруг выдернул он руку, забежал в хлев и вскоре вышел, ведя жеребенка за надетые на шею путы.

Большая Медведица уже сошла с Сырбыта. На земле лежала белая зима, как белая маралица. По этому белому миру шагала женщина, убитая горем, тихий испуганный мальчик и веселый, нетерпеливо дергающий головой жеребенок.

* * *

Первое дело наполовину сделано. Теперь, пока не рассветло, нужно сделать второе.

Байчо направился к Мачару. Шел медленно, словно советуясь со своими шагами. Он любил этот спуск огорода Ережица, любил этот Каменный мост, тысячи раз спускался по этой дороге, проходил по этому мосту, поцукая навьюченных ослов или ведя в поводу степенных, запряженных в арбу волов. Он шел, и сухой растоптанный снег скрипел под ногами, словно радуясь тому, что Байчо решил встретиться с Мачаром.

«Встал ли он, язычник?» — спросил Байчо про себя. И только с этими мыслями завернул в проулок, ведущий к дому Мачара, как увидел в сумраке идущего на рысях всадника. Байчо прижался к забору. Когда тот приблизился, он узнал во всаднике Мачара. Дорога здесь была скользкой, и он придержал коня, за седлом у него были переметные сумы — опять далеко собрался Мачар. Байчо вышел ему навстречу и сказал: «Салам алейкум». Мачар, не ответив на его приветствие, выхватил пистолет, но, увидев, что это всего лишь Байчо, засунул пистолет обратно.

— Салам, бедный Байчо. Что тебя до свету гонит? — придержав коня, спросил он неожиданно мягко.

— Дело к тебе есть, — сказал Байчо. — К тебе шел, да бог помог, ты сам навстречу вышел.

— Что за дело в такую рань? — усмехнулся Мачар.

— Ты правду сказал моей старухе?..

— Оставь, бедный Байчо, не время сейчас разбирать, где правда, а где неправда, тороплюсь.

— Ты, может, и торопишься,— сказал Байчо, подходя к нему ближе.— А я вот на старости лет в неутешном горе. Что с моей дочерью, увижусь ли с ней опять? Скажи, Байчо ведь тоже человек, скажи мне, я своими ушами хочу услышать, какое зло тебе причинила моя дочь?

— Теперь я очень жалею,— сказал Мачар, глядя старику в лицо.— Очень жалею, что просто арестовал ее, а не сделал твою дочь женщиной. Хоть бы какая-то польза мне вышла.— И Мачар с яростью ударил коня кнутом, от неожиданного удара конь рванулся, грудью опрокинул Байчо и, разъезжаясь копытами по наледи, боком пошел вниз по улице.

Оглушенный ударом, Байчо медленно поднялся на четвереньки. Стоя на коленях, он из-под тулупа вырвал автомат и наставил на убегающего всадника. Горячие пули рассекли спину, переломали ребра, вскиптали кровь Мачара. Конь заржал, закрутился на месте, и Мачар, выпрямившись в седле, замахал руками. Еще не веря, что Байчо оказался способен сделать это, попытался что-то сказать. Байчо, оттолкнувшись от каменного забора, тяжело встал и пошел к нему. Мачар упал на шею коня, и Байчо увидел, как по заиндевевшей гриве коня, смывая изморозь, потекла дымящаяся красная струя крови, черными каплями закапала на дорогу.

Мачар еще был жив, глядел на Байчо, глаза еще двигались, смотрели; и у него был автомат, кроме автомата еще был пистолет, надо было убить этого старика.. Он смотрел на него, силясь узнать его, сказать ему что-то; лицо его искажалось, белело, стягивалось судорогой; и конь под ним, чуя кровь, чуя смерть, крутился на месте. Мачар был похож на мальчика, впервые оказавшегося на коне и не знающего, как им управлять. Он был жалок, кровь его большими черными каплями падала на растоптанную дорогу. Байчо даже слышал теплый запах этих капель. Мачар еще жил, еще знал, кто стоял рядом с ним, он еще крутился в танце вместе со своей лошастью, ему очень хотелось хоть что-нибудь сказать этому единственному свидетелю его последних минут, но язык не поворачивался, не слушался его. Все меньше и меньше оставалось воздуха в груди, Мачар беззвучно закашлял, силясь вырвать... силясь вырвать из немоты хоть слово,



— Кто бы мог подумать, что ты умеешь стрелять, — сказал он наконец.

Байчо ничего не ответил. Он почувствовал облегчение, словно вдруг сбросил с себя тяжелый, давивший на его плечи и на его старость груз.

Байчо, не глядя, зашвырнул ключ и автомат за ограду и пошел обратно.

* * *

— Мухта-ар, партизан Мухта-ар, хороший мальтшик Мухта-ар... — на этом запас русских слов у Гельмута кончился. Грэк, так же растягивая гласные, начал переводить: — Какую смерть ты хочешь, партизан Мухта-ар? Помериться силами с волком или... на виселицу, партизан Мухта-ар?..

Мухтар молчал. С того мгновения, как он вошел в кабинет Юнге и увидел здесь своего дядю, он опустил глаза и ни разу не поднял их. И когда его спрашивали о телефонных проводах, об Ачахмате, о партизанах, явках, связных — обо всем, что теперь, собственно, не имело для них значения, и когда разозленный молчанием Гельмут дал ему несколько оплеух, и потом, когда после каждого вопроса конвоир стал бить его рукоятью автомата по ребрам и позвоночнику, он только зажмурился от боли, но взгляда от пола не поднимал. В этот раз его мучили не так, как на прошлых допросах, и он даже не слушал, что говорят ему всмцы, страх и омерзение поднимались в нем от одной только мысли, что поднимет он глаза и встретится со взглядом больших светло-карих глаз Жабраила Локмановича. Потому он не знал, что дядя, стоявший у стены, во все время допроса тоже не отрывал глаз от пола.

Гельмут подошел к Мухтару, дружески хлопнул его по плечу:

— Он выбирает волка. Он храбрый партизан, и он выбирает схватку. — Надевая перчатки, он сказал конвоирам: — Я пойду к волку, минут через пятнадцать приведите отважного партизана туда. Господин комендант, распоряжения насчет заложников так и не поступило. Полагаю, что везти их с собой нет никакого смысла. Так что я распоряжусь и насчет этого.

Он вышел. Юнге повернулся к Жабраилу, долго смотрел на него и с видом глубокого сочувствия подошел к нему.

— Господин Билекчиев, неужели вы допустите это изу-

верство? Поймите, я не вправе отменить эту кровожадную забаву, ваш племянник уличен как партизан, поэтому он пленник жандармерии.

Жабраил поднял на него отчаянный взгляд.

— Только вы можете избавить его от мук, а нас от тягостного и постыдного зрелища. Представьте себе этот ужас... вопли, хруст, кровь...

Юнге взял автомат у конвоира и протянул его старосте. Жабраил, не отрывая взгляда от лица коменданта, принял автомат. Второй конвоир тут же взял его на прицел.

— У испанцев на корриде истерзанного быка добивают точным и сильным ударом. Он называется — удар милосердия. Будьте милосердны — нанесите его. Мы скажем, что он бросился на нас... на вас.

Жабраил, обливаясь потом, все так же смотрел ему в лицо.

«Кровь, брызги, хрип, стон — бр-р! — думал Юнге.— А вот когда все на краю, на самой черте: чуть нажал курок — и ты убийца своего племянника, и при этом все объяснять лучшими побуждениями...»

— Если хотите, мы выйдем. Кроме него, конечно,— Юнге показал на солдата, державшего Жабраила под прицелом.

«Как пахнет пот этого несчастного старосты,— думал Юнге,— смерть так пахнет, душа так пахнет, когда умирает... Нет, у этого барана, у этого животного, луженый желудок — такая тонкая пища не по нему».

— Ну же, ну? — Юнге от нетерпения даже рот приоткрыл.

«Жабраил Локманович, не бойтесь, за меня... я не опозорю вас», — услышал вдруг староста голос Азинат.

Жабраил повернулся к племяннику. Там, где только что стоял Мухтар, была пустота. Зажмурился и снова открыл глаза. Мухтар появился на мгновение и исчез. Жабраил поднял автомат. И тут откуда-то из аула донеслась автоматная очередь. (Это стрелял Байчо.) Все вздрогнули и посмотрели в окно. Жабраил резко повернулся и дал очередь из автомата.

Конвоир замешкался, не успел отвести взгляда от окна и выстрелил, уже падая, короткая очередь из его автомата пробежала по потолку. Юнге отбросило на второго автоматчика, обнявшись, они прокрутились на месте и рухнули на пол. Со стуком и звоном в наступившей тишине прыгали и раскатывались по комнате пустые гильзы. Грэк стоял с

застывшей ухмылкой на лице. Еще четыре пули вошли в эту ухмылку.

Выронив автомат из рук, Жабраил медленно, даже не оглянувшись на Мухтара, пошел к выходу. На пороге он словно в недоумении обернулся. Глаза их встретились. Но восхищенный взгляд Мухтара не проник в его взгляд, стеклянный и помертвелый, только царапнул и соскользнул.

Жабраил вышел в приемную. Хлопнула дверь. Мухтар остался один.

Тишина.

Запах несправедливой крови.

Что делать? Как выбраться отсюда?

Мухтар поднял автомат, оброненный дядей. Подошел к столу и, обливаясь, напился из графина. И почувствовал, как возвращаются силы, хотелось вскинуть руки, закричать о своем освобождении, дать очередь в окно, снова наполнить комнату грохотом и звоном.

Шаги в приемной. Бежать! Скорей — к стене, за шкаф... Открылась дверь. Кто-то шагнул в кабинет. Вскрикнул. Что-то с лязгом упало на пол, кажется ключи. Заорал. Бросился назад. Мимо. Ткнулся в стену рядом с дверью. Обернулся, увидел Мухтара. Поскользнулся на пустой гильзе, нога отъехала и смешно взлетела вверх. Мухтар выстрелил.

Он узнал упавшие ключи — от подвала, где сидел он, где сидят заложники, — схватил их и сломя голову выскочил в приемную. Взглянул в окно. Полон двор машин, подвод.

Мухтар повернул ключ в замке, придвинул к дверям шкаф. Он не знал, правильно это или неправильно. Но что делать? Во всем доме немцы. Ничего, руки свободны, и есть автомат. Даже два. Он вернулся и, зажмурившись, сдерживая тошноту, вытянул из быстро коченеющих рук конвоира второй автомат и вернулся к окну приемной.

* * *

Приказав привести через полчаса команду для расстрела и вывести заложников, Гельмут пошел к волку.

Что ж, ни имения, ни озера он здесь не получил, хоть в одном возьмет свое — увидит, как волк растерзает партизана. Схватки, конечно, не получится — слишком слаб мальчишка. Но достаточно и того, что на его глазах волк разорвет ему горло, выгрызет живот... Он ясно увидел залитую кровью клетку, в ней растерзанного мальчика (надо будет его раздеть, чтобы видеть, как волчьи клыки будут разре-

зять кожу и вспарывать мясо) и мертвого волка. Да, волка, к сожалению, придется пристрелить, увезти его с собой нет возможности...

Времени оставалось в обрез, а еще нужно растравить волка.

...Жел-аяк откуда-то издалека услышал вой волчицы, своей Кек-бел. «Если ты жив, почему не бежишь ко мне? Газорви цепи, разломай решетку», — выла она. Опять заныло сердце Жел-аяка, опять, как прежде, сильными стали его ноги, он учуял запах вольной охоты, близость подруги и несокрушимый бег за добычей... Он опять был готов к смертельной схватке, верил, что снова увидит свою Кек-бел. А она выла: «Стыда в тебе нет, самолюбия, оттого и попал ты людям в лапы, оттого и живешь их подачками... За кусок дохлятины виляешь хвостом! О, позор мне, позор!»

Гельмут взял прислоненную к стене жердь и ткнул волка в пасть. Волк вскочил и прыгнул на него, и Гельмут, отделенный железной решеткой, засмеялся. Ткнул во второй, волк взвыл и прыгнул выше прежнего, на лету отклонился от острия жерди и грудью ударился о решетку ближе к углу. Дверца с лязгом распахнулась. Жел-аяк, скуля, вывалился из клетки прямо к ногам Гельмута. Гельмут остался стоять, как стоял, не в силах шевельнуться от ужаса. Волк тоже лежал, припав боком к полу, словно не мог оторваться от холодного камня. Оба, сцепившись горячими взглядами, застыли в растерянности. В следующее мгновение начальник полевой жандармерии закричал, рука метнулась к пистолету. Волк прыгнул, и оба повалились на пол. Одной рукой Гельмут судорожно рвал клочья шерсти из шкуры Жел-аяка, другой пытался закрыть лицо, отвести дышащую жаром пасть волка. Глазницы его заливало соленой липкой жидкостью. Наконец он нащупал пистолет... Страшным усилием прокушенной руки он отвел пасть волка и вскочил на ноги. Ясно слышал выстрел и почувствовал, как на него посыпалась штукатурка с потолка. Когда волк повалил его во второй раз, он выстрелил еще несколько раз. Но что-то острое и горячее вопилось ему в горло, прорезало и отпустило. Продолжая бороться, из последних сил вырвал из себя это острое и горячее, перевернулся на бок, но тогда оно вонзилось ему в живот. Это было последнее, что он чувствовал.

Передними лапами волк встал на него. Поднял окровавленную морду, посмотрел на двери, на окно. И не в окно он прыгнул, а в высоком прыжке ударился в дверь, пова-

лил ее и вместе с дверью выпал на улицу. На какое-то время он застыл, оглушенный. Потом Жел-аяк услышал грохот взрывов, увидел беспорядочно бегущих людей. Серой поземкой пронесся он по улицам, перепрыгивая через огороды, скатился к реке, почти не касаясь воды, перебежал ее вброд и, выбравшись на тот берег, пошел спокойно, останавливаясь, оглядываясь, словно ждал кого-то еще, кто должен был бежать вместе с ним.

* * *

В «волчий час», в самую темь перед рассветом партизаны остановились на горе Сырбыт. Харун молча кивнул Василенко, тот понял, махнул рукой товарищам. Вдвоем с Мурадином они отделились от отряда и направились к ольховой роще. Еще два партизана пошли следом за ними, ведя в поводу лошадь, навьюченную взрывчаткой.

Возле самой опушки, заведя в прогале деревьев чернеющий мост, остановились, развьючили лошадь. Николай и Мурадин надели белые маскировочные халаты и поползли, таща по снегу взрывчатку. Двое других притаились за деревьями, готовые прикрыть, в случае если охрана обнаружит их.

В будке при въезде на мост тускло горел свет. Они долго высматривали часовых, но так и не обнаружили.

— Их трое,— сказал Мурадин.— Видно, все трое в будку забрались, ветерок здесь до костей пробирает.

Они спустились под мост.

Накопец взрывчатка была заложена.

— Уходи,— сказал Коля Мурадину, сам еще раз проверив гнезда соединения и шнур. Убедившись, что все в порядке, тоже отполз назад.

Взрыв, отдаваясь в далеких ущельях, в горах, скалах, скатился в долину...

И эхом этого взрыва отдался огонь с Сырбыта. Отступающие были у партизан как на ладони. По всей горе, по всему протяжению аула засели партизаны. Отступал враг для победоносной армии как-то совсем неподобающе. Бежали, так и не сумев взять верх над непокорными потомками древних асов и алапов, удирали позорно и беспорядочно. Это и понятно: с Сырбыта наступали партизаны, с долин регулярные части Красной Армии, а в некоторых долинах, стоявших на пути отступления, и за каменными завалами засели сами жамауатчане. Так что этим арийцам лучше бы всего было вспорхнуть и улететь. Но, как выясни-

лось, летать не умели даже они, хотя и принадлежали к высшей расе, выше не бывает.

За одним из завалов, нацелив свое старое ружье на дорогу, лежал Ережип. В его кауале была единственная пуля, и Ережип выжидал достойную добычу. Поэтому он успевал смотреть по сторонам и собирать сведения для будущих пыгышей Жамауата. Так он увидел, что кто-то стреляет в бегущего врага из окна Домсовета. Ережип даже забыл, что выскивает цель посолидней. «Кто бы это мог быть?» — гадал он.

Он так и смотрел, забыв о своем кауале, а мимо него, отстреливаясь, бежали немцы. Партизаны спускались с Сырбыта, бой шел уже в ауле.

Жамауатчане помнили, как они входили в аул. И теперь смотрели, как они покидают его. Когда входили — Жамауат молчал; мужчины подкручивали усы, женщины ту же обычного затягивали бота на поясе. Теперь люди опять вышли на улицу и тоже молчали; и опять мужчины подкручивали усы, а женщины потуже затягивали бота на поясе.

Жамауатчане вроде бы молчали, были заняты усами и бота, а на самом деле какие только словечки не отпускали вслед!

Автор хотел было тут привести какой-нибудь чам, да побоялся Биязурки: еще не так передашь — стыда не оберешься. Уж лучше положиться на мудрость Жамауата, ведь знаменит он не анекдотами, а лукавой мудростью, которая особенно присуща его женщинам.

— Не суди по приходу, а суди по уходу, — так блеснула Майруш. Майруш, которая всю зиму делала вид, что, кроме изречения мудрых истин, ничем иным не занимается.

Но она оплакивала Тебо наравне с Ляпшу: дрогни Тебо — и расстреляли бы Казака.

— Кто приходит без приглашения, уходит без почета, — не отстала от Майруш Фердаус.

Потом, как обычно, сотворил глуность Кыйык, сын Кеспяна:

— Вот, возьмите — Итлеру гостинец, — и бросил в проезжающий мотоцикл старую галошу, которую, надо сказать, вытащил на этот случай из кучи прошлогоднего мусора.

Конечно, на эту шутку хромого Кыйыка из мотоцикла могли ответить автоматной очередью — чтобы уж хромал он не на одну ногу, а сразу на обе, — но не успели. Из окна Домсовета ударили по мотоциклу из автомата, и, к досаде

Кыйыка, просьба его осталась невыполненной. (Потом на жамауатских ныгышах долго смеялись, вспоминая, какой танец вокруг опрокинутого мотоцикла танцевали мотоциклисты. Языческий, ритуальный! Словно это был старинный танец, изображающий смерть,— странные движения, странные корчи. И, даже упав на снег, они продолжали свою пляску, словно зывали к божеству.)

— Чтоб вашему роду только эти пляски и плясать! — сказала Сылыухан.

Но злоязычный Кыйык, который всегда, если не было близости Кымпырт, терся возле женщин, омрачил ее радость.

— А прежде ты по-другому говорила, Сылыухан,— вежливо напомнил он.

— Лучше раз увидеть, чем сто услышать,— отмахнулась Сылыухан.— Тогда моему языку уши были хозяевами, а теперь глаза.

Еще эти доплясывали свой танец вокруг мотоцикла, когда в окне Домсовета показался человек. Он встал на подоконнике во весь рост и закричал что-то. Ережип от неожиданности даже закрыл глаза. (Перед тем как совершить подвиг, он всегда делал так.) Потом снова открыл глаза и узнал в этом отчаянном человеке Мухтара.

— Оррай, биррай, сукина сын! — крикнул он в восторге.

Но еще не успел его крик распрощаться с его глоткой, как Ережип увидел офицера, который из-за машины целился в Мухтара. Пришел черед Ережипа. Наконец он вспомнил, зачем чистил свой кауал и с каким умыслом залег за каменным завалом. Никогда он не был таким быстрым! И таким метким, кстати. Офицер упал, а он снова закричал на Мухтара:

— Оррай, биррай, сукина сын! — дунул в дымящееся дуло кауала и сказал: — Срезай оттуда!

К Домсовету, прячась за каменные заборы, с автоматами в руке бежали Хаким и Ачахмат. Мухтар еще не видел их, стрелял, стоя на подоконнике, и кричал на весь Жамауат.

— Слава аллаху, очистились,— сказала Фердауус и немного ослабила бота.— То, что осталось, можно и метлой убирать.

— Ой, ой, ой, пусть аллах таким чистым оставит наши дома! — Что этим хотела сказать Майрун, никто не понял. Ляшну, подруги ее, чтобы растолковать эти слова, рядом не оказалось — ей было не до этого.

Тогда и увидел стоящий у заборов народ бегущую Халыу. В одной руке она держала палку, другой тянула за собой Башира. А Башир тянул за собой жеребенка.

— Что с людьми, что с нашими людьми? — кричала сна, задыхаясь.

Мухтар увидел сверху мать и Башира.

— Мама-а! — с двумя автоматами, один в руке, другой на шее, прыгнул со второго этажа на ветку тополя, скользнул по стволу и упал в сугроб. Он поднялся и бросился к матери и тут увидел бегущего ему наперерез Хакима.

— Мухта-ар! — кричал Хаким.

С радостным криком повернулся к нему Мухтар. Он был еще мальчиком, Мухтар, и поэтому поделиться своим ликованием он бросился прежде всего к другу, а не к матери. Один шаг оставался до объятия друга и, быть может, минута до объятия матери...

...Он еще бежал, но уже беззвучно открывался рот, и выпал в снег из вытянутой руки автомат, казалось, только тяжесть автомата на шее несет его вперед, и он упал на грудь Хакима, через его плечо попытался найти мать, раза два с усилием опустил взгляд пониже, к земле, но оба раза он выскользывал и уходил к небу. Выпала связка ключей, покрутилась по заледенелой тропинке и замерла...

Народ хлынул во двор Домсовета. Одни окружили убитого Мухтара и плачущего над ним Хакима, другие, подняв ключи, побежали открывать подвал.

Пленные жамауатчане, шурясь от рассветных сумерек, длинной чередой выходили из тьмы подвала.

И лишь когда закричал Башир, все разом повернулись и увидели лежащую в снегу у обочины Халыу. Подбежали женщины и окружили ее плотным кольцом, чтобы скрыть от неба и от мужчин. У Халыу начались роды.

Х

Не в панцире, не со щитом встал перед врагом Жамауат, и страх не раз брал за горло, и смерть рваными черными тучами нависала над ним. И автор радуется, что перед лицом жестокого врага жамауатчане берегли не жизнь, а достоинство.

Все было оружием в этой борьбе — даже злостью жамауатских женщин, даже то, как они перевязывали головной платок и потуже затягивали бота. Даже упрямство Латырая, который так ни разу не отслужил в мечети. А мудрое

слово и мудрое терпение Биязурки? И разве можно скинуть со счета единственную пулю в старом кауале Ережица или ключ, выкованный в последний час Орданом? А Тебо из Жанхотовых — кто скажет, что он не исполнил своего долга? А тщедушный Якуб — пусть каждую весну, когда цветут груши, и каждую осень, когда поспевают они, вспомнят голос его, когда, очнувшись на руках стариков, он крикнул: «Люди! Не дайте вырубить сад!» А Мухтар, с песней идущий к Желтым скалам на схватку с врагом? А Башир, который помог бежать Капитану? Со светлой печалью вспоминает автор Жарнеса, который чуть-чуть не стал святым. Ведь именно он встретил захватчика у околицы и бросил первое слово ему в лицо. Все это — и песня, и слово, и непокорный взгляд — было противостояние. Оттого, что люди эти жили одним миром, на одной земле, у одного родника, поднялись они в одну ночь разом и освободили своих пленных односельчан.

Но великая печаль ждала Жамауат, ждала до последнего часа. Аул надеялся, верил, что двадцать восемь лучших его сыновей и дочерей, которых враг схватил в одну ночь, живы. Автор заклинает: пусть долго живут живые, пусть живут и за тех, кого уже нет. Враг, уходя, зарыл их в противотанковом рву в Нальчике — всех двадцать восемь. И еще сотни из аулов Кабарды и Балкарии.

...Поле ипподрома было полно народу. Многих из Жамауата увидели бы мы здесь. Среди раскиданных тел люди искали своих близких.

Бедный Байчо! Он искал свою дочь. Шел, останавливался в оцепенении, снова шагал дальше, спускался в ров — среди оледенелых, почерневших тел он не мог найти Азинат! Ни слова он не произнес с того утра, как убил Мачара. Обожженные слезами крупные россыпи ряби на его большом лице казались черными пятнами. Сжав кулаки, он смотрел на трупы, которые вытаскивали изо рва и укладывали в длинный ряд. Порой он отходил назад и, словно забыв, что надо делать, стоял, глядя перед собой пустым взглядом. Кулаки его то сжимались, то разжимались, и казалось, что он вот-вот рухнет.

Харун тоже пришел сюда. Вместе со своим отрядом он участвовал в освобождении Нальчика и теперь тоже искал своих односельчан. Каждый погибший был родственником кому-то — горе же принадлежало всем.

Вдруг кто-то вскрикнул: «Азинат!» Байчо, словно давно уже слышал этот крик, несколько не удивился, медленно

повернулся, с трудом оторвав ноги от земли, подошел к краю рва и посмотрел вниз. Как он мог поверить, что тело это, худое, черное, закаменевшее,—его нежная белолицая дочь? Когда она стала взрослой, Байчо стеснялся даже посмотреть ей в лицо. Такая она была красавица — разве такое нежное создание могло принадлежать Байчо? А теперь он стоял над рвом и долго смотрел на труп дочери. Рваное, в грязи и крови, примерзшее к телу платье не закрывало ее наготы...

— Бедные дети,—сказал наконец Байчо. Спустился в ров, поднял дочь на руки.

Народ столпился вокруг него, и он посередине — словно божество, решающее участь мертвых. Держа дочь на руках, он пошел туда, где лежали мертвые жамауатчане, осторожно положил Азинат рядом с ними. Женщины Жамауата уже сидели там и плакали. Одна сняла с себя бога, накрыла Азинат.

— Видишь, Харун, что с нами случилось,—сказал Байчо, задыхаясь от слез.— Ты когда-нибудь слышал о таком?

Но Харун сам еле сдерживал слезы. Не выдержал, отвернул лицо от женщин. Ему нельзя было плакать. Кто-то должен был остановить плачущих.

— Перестаньте, женщины,—сказал наконец Байчо.— Хватит... что — слезы?

— Не мешай, пусть плачут, теперь пусть плачут,—сказал Харун.— Перед врагом не плакали, теперь — пусть.

Арбы, груженые телами, шли с поля весь день. В Кабарду. В Балкарию...

Последним ушел Харун. Он должен был в эту ночь ехать в кабардинское село, привезти Аминат с дочерью домой и вернуться к своему отряду. Трудные дни аула Жамауат еще не кончились. Стояли первые дни морозного января срок третьего года...

XI

А Жабраил, что же он?

В тот миг, когда узники, щурясь, из тьмы подвала выходили в светлеющие сумерки, когда Халыу исходила криками, рожая дочь,—а она родила дочь, мудрый Жарнес не ошибся и на этот раз,—Жабраил на конной бричке подъехал к дому.

— Нам надо уходить, мать,—сказал он.

Он решил уйти с этой земли, где жили его деда и пра-

деды, где он бегал босоногим мальчишкой, от этих склонов, на которых он устраивал «каменные скачки», да и сам скачивался не раз; решил уйти от тех берегов, от лесов, от холмов, от бесконечных тропинок, кривых и запутанных, по которым он поднимался с косой на плечах; решил оставить это небо над Жамауатом, гору Сырбыт, святую для каждого жамауатчанина, реку Юрду, где он купался, ловил форель, эти скалы, такие крутые, что если посмотреть на них снизу, то падала шапка. Он убегал от Харуна. Как он мог встретиться с ним? Убегал от Азинат. Как он мог встретиться с нею? Убегал от брата своего, от Гейтмырзы. Что он ответит ему, когда тот вернется и спросит о своем сыне? Но если по правде — ни от кого он не бежал, а бежал от самого себя.

Хурмет, кажется, давно была готова к этой беде — молча приняла слова сына. Стала быстро собираться, складываться в дорогу, увязывать вещи в узлы. Собирались молча, ни слова не было сказано между ними — Залихат, Хурмет и Жабраилом. Даже дети, чуя недоброе, примолкли.

Залихат бросала в бричку увязанные в спешке тюки. На улице стояли женщины, глядели на них. Не злорадствовали, но и никто не сказал им: останьтесь. Просто вышли на улицу, стояли, сбившись по три, по четыре, и смотрели на отъезжающих.

Хурмет сидела посреди комнаты. На одно колено она посадила внучку Лейлу, на другом лежал старческий вздрагивающий кулачок.

— Выходи, мать, поехали.

Хурмет показалось, что голос сына донесся не от дверей, а со стены, с той, где висит портрет Локмана. Оттого она посмотрела не на дверь, а оглянулась на мужа. Она забыла снять портрет, и он как-то странно, укоряюще посмотрел на нее. От стыда Хурмет опустила голову. Но все же она встала. Взяла за руку Лейлу. Шагнула за порог. Дошла до брички и, растерянная, остановилась.

— Влезай, мать, садись, — торопил ее сын и сам взял ее под мышки, чтобы помочь.

Но она отшатнулась от брички, отпустила руку Лейлы.

— Нет, — сказала она. — Нет, Жабраил...

Оттого, что мать сказала «нет», оттого ли, что впервые услышал, как мать произнесла его имя, Жабраил как-то внезапно осел и оперся о край брички. Хурмет и самой показались странными собственными словами, она впервые в жизни произнесла имя сына, словно в один миг он стал чужим ей человеком.

— Могила моя ближе, чем твоя дорога,— сказала Хурмет.

Казалось, старость настигла ее в тот миг, когда она пошла к бричке. Назад к дому шагала уже дряхлая немощная старушка. И путь от брички к дому показался ей долгим, дольше, чем путь от первого дня до этого часа.

— Прах твоего отца вышел из этого двора, и я хочу, чтобы и моя смерть наступила здесь!

Это уже было все. Хурмет сказала. И никакая теперь сила не заставит ее изменить свое решение. Жабраил смотрел вслед матери и с жалостью к себе думал: «А я, куда я пойду?» Но Хурмет и об этом не забыла. Встав на пороге, она повернулась к сыну.

— Ты мужчина,— сказала она, темной ладошкой держась за косяк.— Куда только не ступает нога мужчины и копыта коня. Где душа твоя найдет покой, туда и поезжай.

Залихат закричала. Все, что копилось в ней в последние дни, что пережила она перед этими молчащими и молчанием своим гнетущими ее к земле женщинами, криком вырвалось наружу, и она зарыдала. Разом забыла и стыд, и клятву, что никому не выдаст своего горя.

Жабраил сказал тихо:

— Перестань, чтоб дом твой обвалился, не собирай народ.

Залихат крикнула сквозь рыдания:

— А как еще может обвалиться дом человеческий! Где какой дом обваливался больше этого? Оу, вот оно, сбывшееся проклятье!

И женщины, давшие зарок не вмешиваться, не вытерпели, подошли к Залихат:

— Успокойся, Залихат... Что с тобой? Успокойся...

— Оу, не спрашивайте, что со мной, не спрашивайте! Оу, пусть с врагом моим случится то, что со мной...

— Успокойся, Залихат... Муж твой рядом, дети твои живы...

Но не об утешении молила Залихат, плача. Она не глухая была, понимала, что думали женщины. В душе у них было другое, то же самое, что и у нее самой. А женщины, утешая, напоминали ей о беде.

Не об утешении горела ее душа. Ее обжигала безвольность мужа. Как подгнил и рухнул ее дом, женщины эти увидели сегодня, она же видела это давно. И не из-за тех бед плакала она, которые ждали ее в предстоящей дороге, а из-за тех, что пережила в пути, уже пройденном.

— Женщина ведь... к дому привязана,— бормотал Жабраил и шепотом Залихат: — Верой твоей прошу, хватит.

Залихат подняла красные, потухшие глаза на мужа, посмотрела, точно пьяная. Взгляд ее молил: «Посмейся над дуростью нашей! Разгрузи бричку, Жабраил!»

— Идите, женщины! Идите по своим домам,— повернулся Жабраил к женщинам.— Попрощались, и хватит.— Одной рукой он перехватил в поясце Лейлу, другой — Кемала, усадил их поглубже на тюки, влез сам, взял в руки вожжи. Видя, что Залихат не торопится, прикрикнул: — Садись, что, ноги твои отнялись?

Залихат покачала головой.

— Нет, Жабраил, поезжай, добрый путь. Я же... Где же тут еще с детьми биться-крутиться? Разойдемся: ты без обиды, я без обиды.

И, не дожидаясь ответа мужа, сняла с арбы дочку, поставила на землю и потянулась за Кемалом. Жабраил шагнул к ней, отвел ее руку.

— Нет, так не годится, Залихат. Если без обиды: дочь — тебе, сын — мне.

— Нет, Жабраил, детей я делить не буду.

Залихат взяла Кемала под мышки, но Жабраил схватил его за ноги, и они стали тянуть его каждый к себе. Люди стояли, не зная, как быть — прийти кому-то на помощь или остаться в стороне. Жабраил изловчился и ударом ноги повалил Залихат на землю. Бросил сына на тюки, схватил вожжи и огрел коней кнутом. Кони рванули с места. Поднятая плачем сына, Залихат побежала за бричкой. Воющий, подпрыгивающий в телеге мальчик перекинулся через край брички, отец не успел удержать его. Он упал на дорогу, и заднее колесо прошло по его ногам. Но Жабраил уже не смотрел на него: срывая гнев на конях, он пронесся по улице и исчез за поворотом.

...Через много лет после того зимнего утра я видел этого парня, Кемала. Он был высокий и стройный, красивый, как и отец, но мягкий и улыбчивый,— правда, только когда сидит или стоит на месте. Когда же шагает, глаза становятся испуганными, и каждый раз, когда западает нога, лицо дергается в судороге.

...Зайнаф стояла во дворе, уже одетая, с узлом в руке. Предупреждал ее Жабраил? Звал ее с собой? Солью поклясться, под палкой тейри пройти может автор — ничего он ей не говорил. Даже не видел ни разу после той ночи. Что это? Дар провидения? Вещий сон? Нет, ответить на это

автор не может. Он знает одно: когда Жабраил подъехал к ее дому, Зайнаф в пальто, в большом пуховом платке, с узлом в руках уже стояла во дворе. Увидев коней, бричку, Жабраила, выбежала на улицу.

Он молча остановил бричку.

Она, ни слова не сказав, села рядом с ним.

...Вниз по зимней дороге ехали двое. Жабраил Локманович сидел, изредка шевеля вожжами, опустив голову в воротник шубы, словно прислушивался к мерному скрипу колес. Зайнаф сидела, тесно прижавшись к нему, и думала о том, что если радость этого печального мужчины досталась другой женщине, то горькие его дни достались ей, и, значит, Жабраила по-настоящему любила она, Зайнаф.

Ехали они, покидали аул свой Жамауат. Уезжали вслед за врагом, по его дороге. Оставляя землю свою, не смея даже взглянуть на нее. Он уезжал туда, где уже никто никогда не скажет ему: «Салам алейкум, сын Локмана!» Руки его вздрагивали, словно затухающие удары сердца, и слабо задергались вожжи, понукая коней.

Вдруг, словно какая-то мысль осенила его, Жабраил вскинул голову. Резко остановил бричку и спрыгнул на землю. Всею силой взгляда он посмотрел назад, откуда спускалась дорога, где оставался его родной Жамауат. Потом опустил голову и уткнулся лбом в край брички. Зайнаф глянула на него сверху и увидела, что он совсем седой. То ли он плакал, то ли смеялся — дергались его плечи, спина, и тихо вздрагивала бричка.

И тут поблизости начали падать бомбы. Взрыв оглушил Зайнаф. Коня понесли. Когда она очнулась, то увидела кружащееся небо, снежные горы стали прыгать и опрокидываться. Каким-то чудом удерживаясь в обезумевшей бричке, она пыталась оглянуться, посмотреть туда, где только что они стояли, где она только что видела седого плачущего мужчину. Но уже ничего не было, кроме опрокинутой земли, — ни дороги, ни позора, ни страданий, ни войны, ни любви... Высоко в небо, сверкая в морозном воздухе, вкатилось колесо, и долго летел в пустоте отчаянный женский вопль, прежде чем упасть вниз, в пропасть.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАЧИН	3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	25
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	168
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	286

Алим Магометович Тепеев ТЯЖЕЛЫЕ ЖЕРНОВА

Редактор Т. И. Петелина
Художественный редактор Л. Е. Безрученков
Технический редактор Г. О. Нефедова
Корректор Т. Б. Лысенко

ИБ № 3926

Сдано в набор 18.07.84. Подп. в печать 30.11.84. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,37. Уч-изд. л. 22,99. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1308. Цена 1 р. 70 к. Изд. инд. ЛН-121

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Отпечатано с матриц областной ордена «Знак Почета» типографии им. Смирнова Смоленского облуправления издательств, полиграфии и книжной торговли на книжной фабрике № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь, Московской обл., ул. им. Тевосяна, 25.